

НОВОБЫИ
МИИР

10

1949

10

НОВОБЫИ МИИР

1949

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXV

№ 10

Октябрь 1949 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕМЕН ГУДЗЕНКО — Голос мира, стихотворение	3
А. ПАНТИЕЛЕВ — Первая неделя, повесть	5
В. ЖУРАВЛЕВ — В колхозе, стихотворение	94
В. КАВЕРИН — Открытая книга, роман. Продолжение	96
ПАБЛО НЕРУДА — Беглец (Из книги «Всеобщая песнь»). Перевел с испанского Илья Эренбург	191
КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>К 125-летию Малого театра</i>	
К. ЗУБОВ — Гордость советского искусства	200
БОРИС ГОРБАТОВ — О советской сатире и юморе (Заметки писателя)	214
На зарубежные темы	
СЕРГЕЙ КОЗЕЛЬСКИЙ — Империя Форда	230
Книжное обозрение	
<i>Литература и искусство</i>	
Вл. Николаев. Век нынешний и век минувший. — Владимир Юрезанский. Забайкальская эпопея. — В. Гальченко. «Бабушкино море». — В. Шкловский. В мире находок. — Лев Крупников. Умение всматриваться. — Н. Раз- говоров. «Весна свободы».	
<i>История. Международные отношения. Всенная наука</i>	
Академик Е. Тарле. Уолл-стрит — хозяин США. — Д. Мельников, Л. Черная. Мемуары фашистского разбойника. — Полковник П. Крайнов. Чему учит история Китая. — Профессор К. Базилович. Найденное сочи- нение А. В. Суворова.	260
<i>Техника</i>	
Б. Ляпунов. Новая книга на старый лад. — Генерал-майор В. Московский. Создатель первого в мире самолета.	269
<i>Естествознание. Медицина</i>	
Доктор геолого-минералогических наук А. Эберзин. Основоположник эволюционной палеонтологии. — Заслуженный деятель науки профессор А. Цейтлин. Советская рентгенология в борьбе с легочными заболевани- ями. — Профессор И. Кочергин. Победа советской медицины.	273
<i>География</i>	
Кандидат географических наук Д. Арманд. Путь географа.	278

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

ГОЛОС МИРА

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

★

Простой и удобный — дорожный
(сработан на нашей земле)
коротковолновый приемник
стоит у меня на **столе**.

Коротковолновый приемник
мигнул мне зеленым глазком,
как будто мелькнула ракета
за черным ничейным леском.

Горят, накаляются лампы,
надрывно трещит коробок,
как будто идет на штурмовку
на полном газу «ястребок».

И ящичек гневно теплеет, —
я грею ладони над ним,
как будто в лесу под Берлином
опять у костра мы сидим.

Мне все это чудится ночью,
когда растревожен эфир
и с грохотом лезет в приемник
чужой и неискренний мир.

Оттуда, из-за океана,
пахнуло чадающей войной,
двойной бухгалтерией ада
и хитростью тоже двойной.

Включаю родную Россию,
мигнул мне зеленый глазок,
как будто райкомовский «газик»
прошел через юный лесок.

Горят, накаляются лампы,
неловко трещит коробок,
как будто закашлялся трактор
и жаркий оставил дымок.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

Повесть

А. ПАНТИЕЛЕВ

★

Глава первая

УТРО

День начинался яркий, солнечный, а мостовая и тротуары густо чернели, обильно политые из дворницких шлангов. Сильный ветер доносил издалека свежее дыхание полей. Постепенно тени становились все резче, стекла в окнах — прозрачнее. Следы шин на асфальте блестели под солнцем, точно кожаные. Автомобили, выезжая из тени домов, вспыхивали стеклом, никелем и лаком. Маленькие скверы на улице уже покрылись молодой травой. Чугунные ограды, фонари, штукатурка стен, машины и люди — все словно обновилось, заиграло весенними теплыми красками.

Справа, на тесной площади, ярко освещенная солнцем, высилась стена многоэтажного дома, улепленная балкончиками, слева тянулся дощатый забор.

Скромный этот забор казался временным на городской площади. На маленькой дощечке у широких ворот было обозначено: «Бюро пропусков».

За этим непритязательным входом внезапно открывался цветник — высокая круглая клумба, и в центре ее — бронзовая скульптура Сталина. Цветы окружало широкое кольцо асфальта и кустов — красноватые лозы в полтора человеческого роста, прямые, как бамбук, покрытые мелкой листвой, вставляли подобно живому занавесу.

За цветником асфальтовые дорожки вливались в аллею, просторную и прямую, как автострада, — две цепи молодых лип тянулись к фруктовому саду. Множество мелких газонов и клумб пестрело справа и слева от этих лип, вбирая в себя солнечное тепло, струясь и переливаясь под ветром всеми цветами радуги.

Под липами было нелюдно. Девушка, тщательно причесанная, в белом халате, пересекала аллею. Прошел молодой человек в потертом, но чистом комбинезоне, с небольшим кожаным саквояжиком, в каких хирургы носят свои инструменты. Прошагал грузный мужчина в светлосером костюме, с очками, поднятыми на лоб. В левой руке он держал развернутый лист бумаги, в правой — обточенный кусок металла. Бумага с одной стороны белая, с другой — синяя; мужчина рассматривал на ходу ее синюю сторону. Под липами он закурил, машинально бросил себе под ноги спичку, но вернулся за ней, поднял, в рассеянности сунул в карман.

Гораздо больше здесь было машин, груженых металлом. Они то и дело въезжали на аллею справа и слева.

Тихий, но слитный шум, подобный бесконечному говору старого леса, висел над липами. Шум исходил из многоэтажных строений, которые возвышались вдоль липовой аллеи. Они были из бетона и стекла. Тяжкие устои, балки, перекрытия казались легкими — так они были изящны. Это впечатление усиливала их окраска — светлосерая, палево-белая, кремовая. Огромные площади между гранями бетона заполняло чистое, незапыленное стекло в белоснежных рамах.

За рамами были видны цветы в длинных ящиках вдоль стен: во всех этажах, широкие столбы света и паутина теней, переплетавшихся в непрерывном движении.

Так обнаруживалось, что за дощатым забором располагался не сад, а завод.

Стоило подняться на крышу, на клетчатый стеклянный скат, поближе к облакам — и глазу открывалось большое хозяйство завода: здание фабрики-кухни, которая кормила рабочих, белые стены поликлиники, которая их лечила, колоннада заводского клуба, справедливо названного Дворцом, прямые линии жилого поселка, дававшего кров семьям заводских людей. В поселке тоже много было зелени и цветов.

Все, на что ни падал взгляд, было выстроено в последние годы. Впрочем, новое обнаруживалось всюду и за границами завода. Вдали широко изгибалась Москва-река: ее гранитное ложе, высокие мосты тоже были новыми.

Отсюда легко взглянуть дорогу на Калинин, некогда узкую, как ущелье; новая дорога стала улицей-площадью. Но самым новым на ней были зеленые цепи лип, подобные тем, что перепоясывали заводскую площадку.

На горизонте, словно белая скала, возвышался новый театр Красной Армии. 23-го июля 1941 года, на рассвете, в той стороне стояла невиданная — в полнеба — стена дыма, заслоняя собой мир. Смолянисто-бурые клубы взгромоздились один на другой и застыли, словно окаменев. Ныне небо было чисто и сияло, как вымытое.

Утром, идя на завод, Павел повстречался близ проходной с Варварой Самарцевой.

Варя верна себе. Первым делом она спросила о Екатерине Вайльевне.

Павел вздохнул с шутливым отчаянием.

— У нее, ты же знаешь, одна песня: пора, пора тебя женить, Павка, а то, гляди, не успею внука понянчить.

— Вот как! — посочувствовала Варя добродушно.

— Веришь ли, сердится на меня. Ты, говорит, после Победы не один год служил, в каких только странах не бывал...

— Ну, и что же?

— Руки, ноги, говорит, целы? Целы. А какая от тебя польза? Одна только видимость, что гвардии капитан. Говорю ей: не в чужие страны нам за невестами ездить... — Павел, смеясь, повернулся к Варваре: — Как, по-твоему?

Она молчала, ласково глядя на него своими черными глазами — эти глаза никогда не умели смотреть равнодушно.

— Ты опять забудешь передать ей мой привет, — упрекнула Варвара.

— Почему же сама не зайдешь? Ты для матери самая желанная гостья.

— А для сына?

Павел рассмеялся.

Милый человек—Варя. Проста, как сестра. Причесывалась она по-украински: волосы черными крылами охватывали уши, и туго заплетенная коса кокошником окружала ее голову. Всего краше была Варя в будни. Синяя, неизменно вытуженная спецовка сидела на ней, как выходное платье. Грубые швы — белым по синему — только подчеркивали тщательный покрой спецовки. Ворот строго оттенял шею.

— Ну, как тебе работается? — спросила Варвара у входа в свой цех, перед тем как им разойтись.

На этот раз Павел почувствовал скрытый смысл в ее беглом вопросе.

— Я же писал тебе, — проговорил он задумчиво, — мне еще в армии, после войны, за границей, снились станки, как курильщику табак. Дойдет, бывало, очередь итти в комендантский наряд, назначат моих батарейцев на посты в заводской район. Увижу я самый простой токарный. Ну, техника там старовата... Но все равно — сердце прямо заходится.

— Ах, Павел, — сказала Варвара, искоса присматриваясь к нему, — а ко мне в цех прибыли новые круглошлифовальные, отечественные... Видел их? Красавцы! В твоём цеху таких нет.

Павел возмутился:

— Опять ты меня дразнишь?

— Разве дразню? — удивилась Варвара, но он понял, что она рада его возмущению. — Ты пошел бы к нам работать?

— А ты бы взяла меня?

Варвара не ответила. Чего-то она не досказала.

Павел взял ее руку и, удерживая, бережно сжал у локтя. Эта рука, сейчас податливая и доверчивая, умела быть твердой, когда держала циркуль или микрометр.

— Давай уж до конца, товарищ технолог! — сказал Павел. — Бросила первое слово, говори и последнее, по дружбе...

Варвара улыбнулась ему одними глазами.

— Ничего определенного я пока не знаю... Это все мои догадки, не больше. Ну, и, может быть, пожелания. Начальство намекало мне, я намекала начальству. Ты все узнаешь из первых рук. Могу тебе открыть одно: у нас новый начальник цеха. Сергей Сергеевич Деев.

— Наконец-то! — воскликнул Павел, выпуская руку Варвары. — И у вас лед тронулся.

— Кстати, Павел, ты Лазарева знаешь?

— Нет. Кто это?

— Партгруппорг... А он тебя хорошо знает.

Павел пожал плечами и спросил как бы невзначай:

— На каком участке его группа?

Варвара засмеялась хитрости Павла. Уходя, крикнула:

— На решающем!

За ней уже закрылась цеховая дверь, когда Павел спохватился, что так и не позвал Варю в гости, как собирался, увидев ее у проходной.

Целый день не шел у него из ума этот незаконченный разговор. Неловким и досадным казалось ему, что, отвечая Варю на расспросы, сам он не спросил Варю: как ей работается в цеху?

Перед концом смены Павла позвали к телефону.

— Товарищ Алтухов?

— Он самый.

— Сменный мастер?

— Так точно.

— Явитесь сейчас к директору завода.

«Вот оно...» — подумал Павел, медленно кладя трубку на рычаг и чувствуя, как им овладевает волнение. Впервые после войны ему предстояло говорить с директором.

Павел вышел из цеха на заводской двор. И здесь сердце его с болью сжалось. Вспомнился отец. Павел закрыл глаза—и тотчас ясно увидел перед собой его лицо, большие его усы, уютно прикрывающие рот, незабываемо-дорогие глаза.

Всю войну Павел и мать ждали весточки о нем. Извещение пришло уже после Победы. Мать переслала его Павлу за границу. Павел сохранил его и привез домой. Но ни сам он, ни мать до сих пор не могли примириться с мыслью о том, что отца нет в живых.

Телефонный звонок от Зотова с новой силой перенес Павла назад, в самые трудные годы.

Павел смотрел вдоль заводской липовой аллеи, залитой солнцем, а перед глазами его мерцало смутное снежное поле под низким застывшим небом. Поле было плоско, как растянутое полотно, но казалось, что оно прогибается вниз и небо тяжело провисает над ним.

Противник был не далее, чем в броске гранаты. Рядом с Алтуховым на снегу лежал человек, с которым Павел курил из одного кистета — политрук Женя Абрикосов. Они лежали лицом вниз, неподвижно, долго, в полной тишине, согреваясь, может быть, одинаковыми мыслями о будущем. Павел окликнул товарища. Он не отозвался. Павел толкнул его — тот не обратил внимания. Толкнул сильнее — Женя даже не повернул головы. Устал, бедняга. Но разбудить его Алтухову так и не удалось. Он ясно вспомнил; как минуту назад близко свистнула пуля. Эта пуля вошла другу в плечо, проколола и остановила его сердце.

Может быть, так же погиб отец.

В глубокое раздумье шел Павел к директору. Знал ли Зотов, что случилось с отцом? Да как мог он не знать о судьбе Никиты Семеновича Алтухова!

Двенадцать лет назад, когда заводу исполнилось четыре года, одного из его рабочих впервые назвали стахановцем. Этим рабочим был Никита Алтухов.

Никогда не забудет Павел, как отец высмеял мальчишескую его робость перед станком.

— Его не бояться надо, а уважать, — говорил отец. — Не кланяться ему, как идолу... а чтоб он слушался твоего повода, как добрый конь. Конечно, и ты его должен понимать—иначе как он тебя поймет? Читал я в газете: собирали у нас в Средней Азии хлопок одной рукой. От века так повелось, от отцов и дедов. И вдруг нашлась одна девочка-узбечка... имя у нее такое мудреное—Мамлакат Нахтангова. Стала она собирать хлопок двумя руками, и целый переворот произвела — взрослых мужиков обогнала. Дело, кажется, самое простое, а выходит, до нее люди не знали, что у них рук-то две, а не одна. Так и со станком. Думаешь, у него одна рука? Вьет резец стружку, и ладно? Глупость это. Ты сумей присмотреться к станку не рыбьим глазом, пошевели мозгами, поговори со станком по душам—и найдешь у него и вторую руку, и третью, и четвертую...

Отец ставил, вместо одного, два, три, четыре резца.

Вторым учеником Никиты Алтухова стал его давний приятель Михаил Андреевич Амосов. И однажды отец вдохновил Павла и Михаила Андреевича начать работу на двух станках. Потом они стали давать на каждом по две нормы. Сам отец давал по три. Они работали в три

смены, принимая друг от друга стахановский пост. На двух станках втроем они выполняли норму четырнадцати токарей.

Так продолжалось не один год, без единого серьезного срыва. И их прозвали на заводе на военный лад — экипажем Алтуховых.

Михаил Андреевич с гордостью носил это имя, хотя и был Амосовым. В одном из писем, которые они получали с разных концов страны, Михаила Андреевича зачислили в братья отцу. И отец, и его друг приняли это за должное и молча с этим согласились.

Теперь Амосов работал на Урале. Он большой человек — депутат Верховного Совета. Помнил ли он легкую руку отца, его смекалку, трудолюбие и смелый риск, которые приносили им столько удач?

Про Никиту Алтухова поговаривали, что он знает «петушиное слово» — так ему везло в работе. Но он был щедрым человеком, не секретничал никогда и учил всех, кого поспевал учить. Многим он открыл свое «петушиное слово», многих вывел в знатные люди. И сын Павел, и брат Амосов были только двумя из этих многих. Порядочно воды утекло с тех пор...

Помнится, Петр Анисимович устроил большой банкет в честь первых стахановцев после слета в Кремле. Алтуховы — отец и сын — и брат Амосов сидели по правую руку от директора. Пили за отца и за его «экипаж»...

Зотов и Никита Алтухов дружили с детства — росли на одной улице, вместе — молодыми рабочими — стали к станку. В бурные дни Октября они на время потеряли друг друга из виду. Отец воевал с Колчаком, Зотов — с Деникиным и Врангелем. С гражданской отец вернулся на завод, обзавелся семьей; Зотов ушел на партийную работу. В эти годы Никита Семенович несколько отстал от своего дружка: Зотов вступил в партию еще на фронте, отец — позднее, во время Ленинского призыва.

Друзья встретились снова на родной улице — у колыбели нового завода: один — начальником строительства, другой — бригадиром строителей. Осваивали завод вместе. Сорок первый год опять разлучил Алтуховых с Зотовым. Павел вернулся с берегов Эльбы один.

Как-то теперь встретит его Зотов?

Глава вторая

ЗОТОВ

В директорском кабинете Алтухов увидел Деева. Начальника цеха заготовок, в котором работал Павел, не было. Он болел.

Зотов такой же, как до войны. Пиджак распахнут, могучая грудь растягивает шелковую сорочку. Никак не верилось, что в войну он, как рассказывали, сильно сдавал в теле. Румяное, налитое здоровьем лицо. Хмельного, видно, не любил попрежнему...

Зотов усадил Алтухова в кресло. Все трое закурили, Зотов, по обыкновению, — трубку.

— Поздно тебя отпустили из армии, — заметил директор.

— Стало быть, в армии нужен был, — сказал Деев.

— Да я в цеху уж с прошлого года, — напомнил Павел.

— Что ж, привыкаешь к цеховому воздуху? — спросил Зотов.

Павел усмехнулся:

— Обнаружилось, что не успел отвыкнуть, Петр Анисимович.

Зотов плотно оперся грудью о край стола.

— Видел, кто у нас теперь у станков стоит?

— Кадровиков-то растеряли? — упрекнул Алтухов. — У нас половину составляли люди, строившие завод, они же и осваивали его. Где они?

Алтухов ждал—Петр Анисимович похвастает тем, что заводские кадры, сохраненные во время войны, теперь составляют ядро нового завода-близнеца, созданного за Уралом, в степи, во время эвакуации. Но Зотов повернул иначе.

— Ты на фронте сколько лет пробыл?

— Четыре без малого.

— До этого в армии служил?

— Нет.

— А считаешь себя кадровым офицером?

— А как же!

Зотов гулко засмеялся, закашлялся.

— И правильно считаешь, оказывается. А почему? Вот что надо понять. — Он крепко потянул из трубки. — Потому что растем богатырски. У нас ныне, как поглядишь, все кадровики — и в армии, и в тылах. Мы с вами уж сколько лет при социализме живем! Гордись, товарищ Деев!.. Это многое объясняет.

— Горжусь, Петр Анисимович, — сказал Деев.

Директор поднялся из-за стола, со вкусом выпрямился—и Павел снова увидел Зотова тридцатых годов, Зотова на трибуне, которую заменили ему строительные леса, станки. Обычно он был немногословен, берег время. Но иногда зажигался. Павел на всю жизнь запомнил заводской митинг 22 июня 1941 года. Зотов выступил в тот день с огромным подъемом. После такой речи — в атаку!

— Верно—молодежь у нас. Новобранцы,—продолжал Зотов с огоньком, точно с ним спорили. — Женщины металл режут. Но с некоторых пор я смотрю на это дело по-новому. Эту молодежь понять надо. Это, товарищи дорогие, капитал! Сила! С таким народом да с большевистской головой на плечах — землю повернем! У меня рабочий десять классов за плечами имеет. Он чертежи читает, как книжку, свободно. Такой если шагнет, только поспевай за ним. Наш рабочий готовится жить при коммунизме!

Вошел секретарь с бумагой, положил ее на стол и, с интересом посмотрев на Алтухова, вышел.

— Ты вспомни, — говорил Зотов, прижав бумагу к столу кулаком, — что товарищ Сталин сказал о кадрах и руководителях. Нетленные слова. Самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. В этих словах — такая вера в народ, такое ясное видение нашего будущего, а вместе с тем — такое требование к партии, к нам, командирам, что на меня эти слова действуют, как неиссякаемый аккумулятор.

Зотов бегло глянул на бумагу, принесенную секретарем, подписал ее толстым граненым карандашом и нажал кнопку звонка. Бесшумно вошел секретарь, унес бумагу.

Зотов кивнул на Деева.

— Недалеко ходить: взять его предшественника. Неплохо работал в войну. Передовой был начальник цеха. А отгремели фронты, приняли мы пятилетний план, пошли к новым высотам — он и не заметил этого. Так и не понял, что каждый новый день мы работаем по-новому.

Зотов глубоко затянулся из большой своей трубки с длинным мундштуком.

— В нашем производстве что ни день, то страница истории. Ты, брат, Павел Никитич, подоспел к большим делам.

Деев согласно склонил голову.

— Тебе известно: в феврале девять московских директоров отказались от государственной дотации. Среди них и я удостоился великой чести подписать письмо товарищу Сталину. Известно тебе и то, насколько подготовленную почву упала наша инициатива. Всюду, где был хоть маленький очажок промышленности, сразу, как хлеб после тепло-го дождя, пророс наш посев. Массовость, действительная народность — вот чем сильно это движение. О чем, собственно, речь? О рентабельности. Сухая, казалось бы, материя. И не простая, мудреная. Забота директора, главбуха да банковского работника. Но эта материя сейчас понятна рядовому рабочему и волнует его. Рентабельность промышленности сегодня—забота всего рабочего класса, сверху донизу. Потому-то почин девяти и разросся, как лавина, что мы осуществляем, товарищи, генеральную свою задачу: перегнать капитализм в экономическом отношении. А это не что иное, как страшный суд над капитализмом. Так?

— Вроде так...

Зотов помолчал и вдруг сказал в упор:

— А вот твой начальник цеха жалуется на тебя. Жаль, нет его здесь. Говорит, что ты охладел к своей работе. Как это надо понимать?

Алтухов не сразу нашелся. Едва ли начальник цеха мог жаловаться на него. Директор излагал свои собственные наблюдения. Сквозь землю видит хозяин. Но это, пожалуй, не было и упреком.

— Не знаю, — проговорил Алтухов выжидательно. — План моя сме-на перевыполняет.

— А до тебя не перевыполняла?

— Нет.

— Ну, а дальше что?

— Ищу резервы. Учу людей работать экономично.

— Довольно маскироваться, Павел Никитич, — решительно вмешался Деев. — Говори прямо, что скучаешь. Заготовки тебе оскомину набил-ли, ясно. Потолок достигнут, и нечем тебе заняться в заготовительном цеху. Невысокий там потолок. Производственный процесс у соседа моего простейший, что там толковать!

— Ладно, ладно тебе про соседа-то, — пробасил Зотов, — дай ему выздороветь.

— Так это же факт, Петр Анисимович. По совести, жалко человека. Самарцева — начальником техбюро у меня — прямо сигнализировала: пропадает хороший работник...

Самарцева! Вот откуда ветер дует. Конечно, Варя знала, чем он болел. Ее глазами смотрели на него сейчас и Зотов, и Деев. Ну что ж, это глаза честные и зоркие. Зотов и Самарцеву знал не хуже, чем его, Алтухова. Хозяин умел видеть, чем люди дышат, чего стоят.

— Так как же, Алтухов? Говоришь, заскучал? — спросил директор.

— Маленько есть, — ответил Павел, смеясь.

— Твой начальник скуп о тебе отзывался, неохотно. Сразу видно, что крепко за тебя держится. Ему с тобой покойней. Да ведь и тебе с ним меньше хлопот?

Алтухов махнул рукой.

— Я покоя не ищу.

— Добре.

Директор поднялся, сел рядом с Деевым против Алтухова.

— Обстановка, стало быть, такова. В феврале мы вернули дотации. Но не далее как осенью — попомни мое слово — будем рапортовать о сверхплановых накоплениях. Но и это далеко не все. Может быть, уже к началу нового года доберемся до оборотных средств. Иными слова-

ми: рабочий класс наш всем своим многомиллионным активом примется решать вопросы не только производства, но и обращения. Что это значит, поясню одной цифрой: если ты ускоришь ход оборотных средств в промышленности на один день — только на день! — получишь золотую гору: миллиард золотых рублей на наше великое дело.

Зотов наклонился к своим собеседникам и, понижая голос, сказал доверительно:

— Тут в праздники Первого мая мне довелось говорить с товарищем Поповым. Подозвал меня, расспросил накоротке. Кажется, я его понял. Не исключено, товарищи, что мы, москвичи, возьмем на себя и этот бо-ольшой почин — касательно оборотных средств. Так или иначе нужно задолго и всеми силами готовиться. Третий год пятилетки Москва начала в первом эшелоне, Москва ведет. А «соперники» у нас сильные и достойные: Ленинград, Сибирь, Украина, вся страна. Надо удержать первенство.

Зотов выпрямился в кресле.

— Теперь поговорим о нас с вами. Думаю, неловко нам будет — всему заводу, если директор не подпишет в числе первых обращения к Председателю Совета Министров о сверхплановых накоплениях или оборотных средствах. Если скажут ему: «Ну, Зотов, в феврале ты вел разведку боем, а в сентябре или декабре тебя, Зотов, оттянуло... этак поближе к тылам»... А? И так о деевском цехе, — сказал Зотов, поднимаясь. — План он выполнял и до Деева, еще при дяде Васе. — Павел догадался, что дядей Васей звали прежнего начальника цеха. — Но у меня все другие цеха дают сверх плана, давно и много. Деев меня тащит за полы, виснет на ногах...

— Ну, положим, я в цеху всего третий день, — напомнил новый начальник цеха.

— Ты в цеху третий день! — прервал его директор. — И фамилия твоя Деев. Это нам известно. Дяди Васи нет, и ты за его спину не прячься. Сегодня ты принуждаешь меня держаться средней цифры. Ты, а не дядя Вася, не только не даешь ни рубля сверхплановых накоплений, но замораживаешь тысячи и тысячи оборотных средств, которые высвобождают твои соседи.

Деев слушал спокойно и невозмутимо. Он сам так же говорил бы на месте директора.

— У тебя в цеху заготовок, — повернулся Зотов к Павлу, — работают по нормам пятидесятого года. Дают гору продукции... и все идет на склад. Цех...

Зотов помедлил, глядя в упор на начальника цеха, и тот подсказал:

— Цех Деева...

— Цех Деева, — повторил Зотов, — не съедает. Трехмесячный задел — на целый квартал! — лежит на складе мертвым капиталом. Преступление. Выходит дело, отличная работа, мастерство, хозяйский глаз твоего скучного соседа не нужны заводу. Скучный-то цех тянет завод к знамени Совета Министров, к полумиллионной премии для наших рабочих. Все прахом! Ну, дошли у меня руки до интересного цеха. Ты не дядя Вася, с тебя возьму, — обнадежил Зотов Деева. — Рентабельность — всеобщая забота. Все за одного, один за всех. Спрос с каждого. Конец средней цифре. Давай высшие технико-экономические показатели.

Деев искоса глянул на Алтухова — Зотов говорил для него, Деев это уже слышал.

Алтухов понял взгляд Деева. Как настоящий командир, Зотов умел поставить задачу во всю ее глубину и силу.

— Так вот: возглавишь, Павел Никитич, участок мехобработки у Деева. Бросаем тебя, так сказать, на главное направление. Сходу — в бой. Деев мне поставил ультиматум: дай Алтухова — будет успех. Я даю, но... спрошу не только с Деева, с тебя. Скучать не будешь, обещаю!

— Я в заготовительном сменным работаю, — напомнил для начала Алтухов.

— А здесь будешь старшим! Боишься?

— Хоть вы страшаете, товарищ директор, а я подумаю, — ответил Алтухов вежливо и твердо.

Зотов взглядом согласился с ним.

— Размыслить тебе надо будет вот о чем... Участок ни хороший, ни плохой. Программу выполняет. Иногда выдаст процентик-другой сверх плана, иногда столько же недодаст. Настоящих больших побед на участке не помнят. И люди свыклись, сжились с этим. В норму вошло звезд с неба не хватать. Такая скучная традиция. Но резервы там совершенно не учтены. Целина. Хорошо посеешь — много пожнешь.

Алтухов промолчал. Пока что, кроме чести, он не видел для себя ничего утешительного. А целину, прежде чем сеять на ней, вспахать надо.

— Как видишь, идем на крайнюю меру, — подчеркнул Зотов, — меняем командиров, ставим новых людей. Если у тебя глаза на месте, ты увидишь: участок самый обыкновенный, ничего в нем страшного нет. Но если ты увидишь только это, ты — не тот работник, который нам нужен. Твой предшественник сию диалектику не понимает, в успех не верит. В себя не верит.

— А что вы требуете от участка? — спросил Павел.

Зотов помедлил.

— Утроения программы.

— К концу пятилетки?

— К концу текущего года. А к концу пятилетки десять программ! Больше — можно, меньше — ни в каком случае.

— Сейчас даем чуть более тысячи микрометров в месяц, — заметил Деев спокойно. — Не на много оторвались от довоенного уровня.

Зотов нахмурился.

— Сейчас — тысяча, к новому году — четыре, а в тысяча девятьсот пятидесятом — десять. Поэтому разгон бери дальний.

— Ну и конечно, это не заготовка, — снова невозмутимо напомнил о «соседе» Деев. — У меня класс точности высший, на заключительных операциях — предельный. Работа интересней несравненно, но и строже. Микрометром нашим измеряется качество и точность на десятках заводов, в сотнях тысяч операций.

Эти слова затронули заветную струнку в душе Алтухова. Без этой струнки нет ни хорошего рабочего, ни мастера, ни инженера. Микронная точность, модульная чистота работы составляли гордость инструментальщика. За эти ее свойства Алтухов полюбил завод еще в то время, когда месил бетон для цеховых перекрытий. Микрон в сорок раз тоньше человеческого волоса. Не может быть, чтобы в молодом рабочем, «новобранце» не было этой любви, этой гордости, заводского патриотизма.

— А «короли» водятся на участке? — спросил Павел.

«Королями» инструментальщики именовали уникальных мастеров-рабочих, владевших единоличными секретами обработки и сборки тончайшего инструмента: микрометра и штангенциркуля.

— Есть и зеленая молодежь, есть и «короли», — ответил Деев. — Первых больше, последних, понятно, мало. Одиночки.

Сообщение Деева не порадовало Павла. «Королей» называли еще

«индивидуалами». Они были и силой, и слабостью рабочего коллектива. Уже одно то, что рабочий окрестил своего брата «королем», само за себя говорило. Но Деев прав: в цеху, где есть «индивидуалы», технический потолок работы высок.

Алтухов тщательно погасил папиросу, замял, затолкал ее в пепельницу в виде небольшого мраморного водоема с лягушонком на бережку. Он попытался собраться с мыслями, но вопросов было слишком много: Павел задал единственный:

— А сколько, примерно, зарабатывает средний рабочий?

Зотов и Деев бегло переглянулись.

— Средний-то — прилично, — ответил Деев. — Но есть на участке такие, правда, это самые начинающие, которые зарабатывают мало.

— Инструментальщику это обидно, — проговорил Алтухов.

Зотов надвинул на глаза мохнатые пшеничные брови.

— Ты больше заплатишь?

— У меня маленьких заработков не будет, у самых начинающих.

А иначе — зачем огород городить!

— Давай, давай. Добре! — улыбнулся Зотов. Это был разговор по существу, серьезное обещание. — Поможем.

— Итак, Павел Никитич, принимаешь участок? — спросил Деев.

— Спасибо за доверие, — сказал Павел сдержанно. — Но сейчас не скажу вам ни да, ни нет.

— «Нет» я от тебя и не жду, — проговорил Зотов медлительно и неласково.

Павел улыбнулся.

— Беру себе неделю.

— Много! Деев запросил меньше.

Алтухов несговорчиво покачал головой.

— Сегодня среда. В следующую среду дам ответ. До среды меня не спрашивайте. Не отвечу.

Зотов неспешно перевернул на настольном календаре семь листков, на восьмом написал: Алтухов.

На этом, казалось бы, разговор заканчивался. Но Петр Анисимович удержал Павла неожиданным вопросом:

— Скажи, Никитич, на могиле отца был?

— Собираюсь. Мать ездила несколько раз.

Зотов поднялся, грузно подошел к огромному, в полстены, окну, позвал к себе Алтухова и Деева, взглядом указал за окно.

Павел понял его: эти светлые корпуса строил и Никита Алтухов, эти липы и цветники и он растил. Сперва на строительных лесах, а потом в цеху появились его большие портреты. Он был в числе первых людей на заводе, получивших орден Ленина.

Вопрос Зотова по-человечески примирил Павла с ним. В глубине души Павла жила обида: после войны Зотов так и не собрался навестить жену своего бывшего друга — три-четыре звонка по телефону, обещание приехать... Нет, это не была небрежность. Мысль о Никите Алтухове жила в Зотове — сейчас Павел это видел.

— Хороший был большевик, — сказал Зотов.

И когда директор и Деев пожимали Павлу руку, он чувствовал, что они провожают его не только как мастера, который принял ответственное задание, но еще и как сына Никиты Семеновича Алтухова, как человека, который продлит старинную дружбу и продолжит и украсит своим трудом дело отца.

В дверях директор сказал:

— Явится надобность — заходи. Я тебя приму и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Требуй без стеснения. Тебе не пожалеем, всё дадим.

— И людей дадите? — спросил Павел в упор, напоминая разговор о кадрах.

Зотов ответил, взвешивая каждое слово:

— И людей дам... Ежели понадобятся.

Условие «ежели понадобятся» говорило о том, что каждое требование придется убедительно доказать. Но готовность директора дать людей — стало быть, лучших рабочих с других участков — заставила Павла задуматься не на шутку.

«Справлюсь ли?» — спросил он себя, вдруг ощутив пустоту под сердцем. Но теперь поздно было колебаться.

В приемной Павла встретила Варвара. Она не могла скрыть, да и не скрывала своего волнения.

— Ну, к нам?

Павел ответил ей вопросом:

— Помогать будешь?

— Молодец!

Они вышли на заводской двор и пошли под липами среди немолчного мерного дыхания цехов. Не хотелось показывать Варваре своей тяжелой озабоченности. Павел рассказал ей, как хорошо хозяин вспомнил отца. Мать будет довольна. Когда отец ушел на фронт, она встала к его станку, и — такова была сила ее любви к нему — работала солдатка изумительно. Всю жизнь занималась кухней, делала домашнюю работу, а у станка трудилась, как мужчина, как кадровик, поистине как сам отец. Вернувшись из армии, Павел настоял, чтобы она ушла с работы: все-таки не молоденькая...

— Так что ж, поможешь, технолог? — во второй раз спросил Павел.

— Если Екатерина Васильевна позволит, — ответила Варвара.

Глава третья

ТРОФИМЫЧ

Высокие, полукруглые цеховые ворота, шитые из рифленого теса и окантованные толстыми лентами железа, были задвинуты засовом. Небольшая дверь в воротах, тяжелая, как дверца несгораемого шкафа, распахнута настежь. Из нее изливался моторный и станочный гул. Это был голос механического цеха, чистый, незамутненный голос режущего и вертящегося металла.

Алтухов перешагнул железный порог цеховой двери с беспокойным стремлением немедля принимать участок. Им владело любопытство и нетерпение. Он не любил откладывать, отдалять от себя трудности.

И вот перед Алтуховым развернулся сложный и своеобразный строй токарных, фрезерных, револьверных, сверлильных, протяжных, шлифовальных станков. Неуловимо быстро вертелись на валах шкивы, неуследимо медленно ползли по направляющим суппорты. Шла вторая, вечерняя смена.

С неподдельным волнением смотрел Алтухов на участок механической обработки. Он с первого взгляда определил: этот участок разительно отличался от участка в заготовительном цехе. Частности и подробности пока не видны. Но нужно быть слепым, чтобы не заметить, насколько сложнее, богаче, требовательнее этот участок.

Мощный, хорошо оснащенный станочный батальон с обильными приданными и поддерживающими средствами вел многоплановый технич-

ный бой за инструмент высшего класса и сверхювелирной точности; и в этом изоощренном и умном движении, в ритмичном его пульсе, в восторженном железном мужественном облике участка была для Павла невыразимая прелесть — прелесть кипучей жизни, вечная и нетленная красота искусного труда.

— Нравится? — спросила Самарцева, угадывая волнение Павла и заражаясь им.

— Красиво! — ответил Алтухов горячо. — Большая мне честь — командовать вот этим... — он взмахнул раскрытой ладонью.

В эту минуту ему не пришла на ум незавидная характеристика участка, данная Зотовым и Деевым. Даже Варвара, технолог цеха, на минуту увидела цех как бы заново, глазами Павла.

Но первая же встреча на участке вернула Алтухова к разговору с директором. На ловца и зверь бежит. Этим первым оказался сам Меликов, старший мастер, которого Алтухову предстояло сменить. И Павел сразу остыл, пораженный.

Перед ним был человек до предела усталый, задерганный, измученный. Он куда-то бежал, Варя с трудом удержала его за рукав. Спецовка сидела на нем так, будто десяток рук тянули Меликова за полы в разные стороны. Пюхоже, Меликов не узнал Самарцеву; его недовольное осунувшееся лицо кричало: «В чем дело? Чего надо? Не мешай! Отстань!». Постоянное и длительное нервное раздражение прорывалось в каждом его движении, он весь кипел им, и оно мешало ему дышать, точно болезненное сердцебиение.

Не сразу Меликов сообразил, с чем пришел Алтухов. Потом принял его за шутника, потом вдруг всем своим утомленным, измотанным существом страшно, буйно возмутился и побежал к Дееву, бросив Алтухова и технолога у входа в цех. Его фигура с разбросанными, словно изломанными руками, его искренно удивленный и недоверчиво жалобный взгляд ошеломили Павла.

— Разве Деев ему ничего не говорил до сих пор? — спросил Павел Варвару, подавленный и смущенный.

Они остановились у стенки кладовой, ожидая возвращения Меликова.

— Ты знаешь, они ведь родственники, — заметила Варвара. — Деев женат на дочери Меликова... Сергея Сергеевича самого только назначили. И вот тебя ведет за собой...

— Неловко получается. А кто на сборке старшим мастером?

— Дементьев.

— Тоже такой... припадочный? — усмехнулся Алтухов.

Но добрые глаза Варвары посмотрели на него с глубокой серьезностью.

— Я тебе вот что скажу, Павел. Если ты на самом деле ждешь моей помощи — я, конечно, помогу. — И Павел понял, что это настоящий ответ Вари на его вопрос, заданный еще накануне. — Тем помогу, что потребую от тебя... — она подчеркнула мягко и непримиримо, — работы по-новому! Будем думать вместе. А там, где бьется мысль, будет движение, толк будет.

— Правильно.

— Но смотри, если все останется попрежнему, я тебе тем начну помогать, что буду ругать неотступно, неотвязно, как сварливая... — она хотела сказать: «жена», запнулась и сказала: — теща... Ужасно буду ругать... пилить... точить...

— А умеешь так-то?

— Представь, сумею.

— Вижу, что хочешь помочь мне, — сказал Павел.

Она молча опустила глаза, точно хотела скрыть загоревшийся в них ласковый свет.

Что за характер у человека! Она умела и мало приятные вещи подносить так, что даже враждебностью от них не отгородишься. Тихо, ласково сделает полезное тебе, и отойдет в тень, и будет с улыбкой на тебя смотреть.

Вернулся Меликов. Теперь он шел медленно, как бы упираясь, и весь, от стриженной круглой головы до опущенных плетью рук, казался воплощением горчайшей обиды.

— Деев уехал куда-то с директором, — сообщил он глухим голосом. — Как же вы будете — с завтрашнего дня или как? Приказ подписан, нет ли? Ей-богу, не пойму!

Самарцева простилась с ними и ушла.

Алтухов примирительно обнял Меликова за плечи.

— На меня-то не сердись, товарищ Меликов. Как вас по батюшке?

— Трофимов, Иван, — буркнул Меликов и высвободился из объятий Алтухова.

«Ну, я тебя сейчас разговарю, — подумал Павел, — покривлю разок душой», — и сказал:

— Вызвал меня, Трофимыч, директор и сосватал. Но такое у меня впечатление, будто Сергей Сергеевич Деев был против.

— Ну? Против? — и на глазах у Павла Трофимыч чудесным образом преобразился: его торчащие щеткой усы закруглились в неудержимой, нескрываемо довольной улыбке. — Милый человек, и ты на меня не сердчай, — заговорил он даже как будто виновато. — А как может быть иначе! Ведь себя не жалеешь! Ты погляди на меня — как ни верти, пятьдесят седьмой минул. Дома проходу не дают — жена и дочка туда же. Поедом едят: бросай это дело, береги здоровье. Женщина, что с нее взять — волос, он длинен!.. Да как же бросить? Душа-то есть у человека, или ее нет? Я тебе истинную правду говорю: что дома, что здесь — никакого житья нет. Света белого не вижу. Не ем, не сплю, как белка в колесе, волчком верчусь. Только бы... маленько наладить, вытянуть задание!

Алтухов с искренним сочувствием смотрел на него.

— Взять тебя тоже... — Меликов показал на орденские ленты Павла. — Все имеется. Понятно, конечно. И все такое... А и мы, вспомнить войну, тут не гуляли! Эвакуации эти, затемнения, хлебушко пайковый, холод, окна из фанерки... А завод — как был красавец, вот он! Давал что надо, когда надо! Этими вот руками, спиной стариковской, а она, сынок, скрипит... и так бывает...

— За это, отец, спасибо.

— Мы твое спасибо поделим. Я не жадный. Теперь говоришь — против. А как же, милый человек? Он, Сережа... Сергей Сергеевич... молодой, конечно... Однако понимает! Своими глазами видит. Не работаем — болеем работой!

Алтухов закусил губу. Очень хотелось закурить.

А Меликов внезапно сорвался с места, настиг шедшего мимо высокого, сутуловатого человека и стал ему что-то негромко горячо говорить, с силой рубя воздух ладонями. Человек неохотно замедлял шаг, сучающе глядя впереди себя. У стеллажей Меликов все же остановил его.

Алтухов не слышал голоса Ивана Трофимовича, но до него отчетливо донеслась единственная фраза его собеседника, сказанная вяло, как бы сонно, редчайшим по густоте басом и без пауз, одним дыханием:

— Побойтесь вы бога и жены, Иван Трофимович, свалитесь, идите до дому, без вас будет у порядке.

Он так и сказал: «у порядке», лениво и веско, тихонько тронулся с места и пошел своим путем. Меликов отмахнулся от него снисходительно и побежал к Алтухову.

— Это кто? — спросил Павел.

— Сменный мастер мой, Находка Герасим Федорович. Золотые руки. Башковитый мужик. О-образованный парень. Маленько с гонорком, конечно. Даешь ему указания — не любит, крутит носом, отворачивается. Но, по правде, у этого всегда «у порядке»...

— Я слыхал, у вас мастера крепкие.

— Да ведь и сам я не бросовый! У отца с матерью, говорят, запроектирован был еще до свадьбы... Ну — грех, грех жаловаться! Мастера подобрались один к одному — что Находка, что Куликов, что Терехов. Дело знают, стараются. И у Дементьева на участке сменные мастера квалифицированные. С опытом.

— В чем же дело? — воскликнул Алтухов в недоуменье. — Такие у вас орлы!.. Как же ты до такой жизни дошел?

— Милый человек, орлы-орлами, а работать кто будет? Мастер один не воин. Работать-то некому! Того же Находку, меня — на части рвут...

— Кто тебя рвет?

— Как это кто! Ремесленники!.. Не слыхивал об этаких?

Это безобидное прозвище бытовало на заводе — им называли молодых рабочих, окончивших ремесленные школы. Но у Меликова оно прозвучало презрительно. И все в Павле возмутилось против того, с каким выношенным пренебрежением, с каким слепым высокомерием старый мастер выговорил:

— Киномеханики... с сельской передвижки: только лента рвется, одни белые пятна на экране. Разве это рабочий? Насмешка! Одно озорство. Ему голубей гонять, в бабки играть, за девицами по школьным лестницам лётать! Да ты что, с неба свалился, милый человек? Это же беда наша такая!

— У тебя, Иван Трофимыч, внуки не в ремесленном учатся?

— Э, куда загнул! И им цена та же. Одним миром мазаны. — Однако на сей раз он добавил поласковой: — Детишки, что с них взять!

Алтухов спросил неожиданно:

— Вы член партии?

Меликов нашел, что вопрос не идет к разговору, ответил мельком:

— Кандидат.

— А вот руководители наши иного мнения о молодых кадрах, — сказал Алтухов.

— Кто это?

— Чтoб недалеко ходить — Зотов Петр Анисимович.

— Ну, он с высокой горки смотрит. Ему — кадры, а по мне — рабочие. Кадры, может, и хорошие, а рабочие — из рук вон. Мне попались такие герои — только металл порют. В гроб живьем заколачивают! Кадры! Добалуетея с ними Петр Анисимович.

Алтухова, наконец, рассмешило это стариковское брюзжанье

— А что, Трофимыч, как по-вашему, по-умному, откуда видней: сверху этой горки вашей или снизу?

— Ну, ты меня не лови, не лови! Не поймаешь! — и усы Трофимыча опять поднялись щеткой. — Я человек рабочий, отец слесарь и мать прачка, и дети к труду приучены. Институты, конечно, не проходил. Сам в партшколу хожу.

— Ходишь все-таки?

— Тянут, — отозвался Меликов. — Рвут с места.

Алтухову хотелось жестоко, невзирая на годы старика, поспорить с ним. Мимо них в кладовую и обратно к станкам не раз проходили рабочие и работницы. А Меликов нес околесицу, не стеснясь. Его самого, как видно, баловали на заводе. Стало быть, он того стоил. Алтухов даже сочувствовал ему немного. Трофимыч был, несомненно, лучше, чем казался. Но что-то настраивало Павла резко против него. Нет, не болтливость и не бранчивость. Меликов, безусловно, работал по-старинке. А этого нельзя было простить. И это надо было понять, чтобы суметь исправить.

Деев все не ехал. А после разговора с Меликовым и многозначительного обещания Варвары Алтухов не мог откладывать дела ни на минуту. И Павел попросил Меликова пройти с ним по участку. Он ждал, что Трофимыч вновь ошестинится. Но старик посчитал, что Алтухов еще зелен, чтобы соперничать с ним, и внезапно согласился:

— Поползем, что с тобой сделаешь!

Глава четвертая

УЧАСТОК

Поначалу, как и предсказывал Зотов, создавалось неопределенное впечатление, что на участке как будто довольно благополучно, всё на своем месте, техника отличная, люди, как водится, разные: есть сильные, есть и отстающие. Не сразу Павел понял, что это впечатление как бы подсказывал ему Меликов, и без намерения сбить с толку, а от чистого сердца. Трофимыч искал себе оправдание: машина рассчитана на одну скорость, на вторую ее не включить... И в этом была фальшь. Меликов давал сто процентов. Но если предстоит дать триста, то, стало быть, на участке решительно неблагополучно, он уже не рядовой, а отстающий участок.

Ощущение тесноты овладело Павлом.

Между станками он почувствовал себя словно на площади, в пестрой толпе, где каждый, работая локтями, старается устроиться поудобней для себя, не забывая о том, удобно ли это соседу.

Станки, подобно людям разных комплекций и характеров, стояли друг к другу лицевой стороной, боком, спиной, как только позволяло место, отведенное им на площадке. Они толпились. Нелепо было бы видеть их в строю по ранжиру: токарные—по росту или фрезерные — в ряд. Цех — не выставка. И в армии в стрелковом отделении правофланговым стоит ручной пулеметчик, будь он хоть карликового роста. Поле боя—не плац. На переднем крае не расставишь подразделение по ранжиру, а будешь строить по плану боя, согласно тактическому замыслу.

В цеху тактикой была технология — план обработки детали. Где же этот план? Где боевые порядки? Перед Павлом расположились буквой Г три массивных круглошлифовальных станка. На них цифрой V рогами налезали четыре токарных станка. Если перепрыгнуть это Г, наткнешься на ручной реечный пресс и еще на один токарный-резьбонарезной. Почему так? Ведь каждому видно, что деталь путалась и толкалась меж станками, как мороженщица на базаре, которая ищет покупателя. Поэтому и создавалось впечатление тесноты. Это была теснота беспорядка.

И Алтухов сказал Меликову, указывая на станки:

— Как шкафы в мебельном магазине...

Иван Трофимович остановился, искренне удивленный. Он отдал должное Павлу: глаз у него был свежий. Но Меликов понял суждение Павла, как следствие юношеского зуда. Дай ему право — и станки соревнуйся с фундаментами. А ставили их инженеры, по-своему расчетливо, экономно, знатоки дела.

Алтухов тоже подумал о строителях завода и не упрекнул их. Они не предусматривали расстановки станков, скажем, на поток. Но, может быть, теперь не додуманное инженерами следует додумать мастеру? А то оглянуться не успеешь, как за тебя додумает рабочий.

Правда, поток на мехобработке микрометра — это не сборка штампованных часов. Сразу трудно привыкнуть к мысли о потоке, да еще с принудительным ритмом, на такой модульной работе. И затея громоздкая. Может случиться, что труднее будет сдвинуть людей, чем станки...

Но раз мысль пришла — и ее питает жизнь — она неизбежно станет жизнью.

Меликов съязвил:

— Зачем дело стало! Раз-раз—и ватерпас! Взял да переставил, как покрасивее... У меня дочка любительница диваны перебазировать: каждый понедельник по-новому.

Алтухов не дослушал рассказа о наклонностях меликовской дочки. Его занимал второй важный вопрос: как двигались на участке люди. Он присмотрелся к одному, к другому рабочему — и в глазах у него зарябило. Казалось, ни на минуту они не оставались неподвижными. Люди торопились, нажимали, не жалея своих ног, рук и спин. Неисчислимо количество движений... Но в этом обилии движений была энергия суеты.

Вместо того чтобы, не глядя, протянуть руку за нужным инструментом, который сам должен прилипнуть к руке, как к магниту, рабочий шел за ним и даже искал его в шкафчике, разгребая инструменты обеими руками. Вместо того чтобы, не оборачиваясь, положить инструмент на место, рабочий нес его и приглядывался, куда бы положить.

Ты хочешь сесть. Стул стоит к тебе спинкой. Придет ли тебе в голову обойти его кругом? Ты просто повернешь стул к себе сидением. Но у станка не каждый рабочий и не сразу находил это естественное решение.

Не было здесь огромных карусельных станков, со столами метра в два диаметром. Будь они здесь — у Мелникова рабочие ходили бы вслед за столом вплоть до головокружения.

— А не обучил ты, Трофимыч, своих молодых стоять у станка, — отметил Алтухов внешне спокойно. — Стоять как вкопанному!..

Меликов мысленно одобрил это замечание. У парня глаз наметанный. На сей раз он разглядел, где у него тонко...

— Моя бы власть,—пробурчал Меликов,—я бы... привязывал за ногу.

«Привязывать надобно иначе, — подумал Алтухов, — разумом, пониманием».

У многих молодых рабочих он с удовольствием отмечал чеканные, любовно отработанные навыки мастеров.

Посмотришь на таких—и сердце радуется. Каждой вещи — заготовке, инструменту, приспособлению, готовой детали — отведено свое, самое выгодное место. Рабочий берет их и пускает в дело спокойно и безошибочно. Работа идет так, будто сам станок подставляет под руку молодому токарю, фрезеровщику, шлифовальщику нужный маховичок или рукоятку. И кажется, что многое эти умелые руки делают у станка автоматически, так экономны и точны их плавные, верные движения.

Добивается ли этого Меликов от всех? Вряд ли... Павел видел на участке рабочих, которые не уважали секунд и не ценили их, не видели смысла и интереса в том, чтобы рассчитывать каждый свой жест. А какая цена графику, если один работает красиво, рассчитанно, ритмично, а другие как бог на душу положит? Неизбежно будешь авралить. Кустарная работа.

И третье, что бросилось в глаза Павлу: участок был слепой.

Ни одного плаката, который распахнул бы стены цеха в большую жизнь страны. Ни доски соревнования, ни стенной газеты, которые показали бы, чем живы люди на своих трудовых постах. Ни портрета стахановца, ни даже флажка на станке, которые отметили бы передовика, его успех, его умение и дерзание, его преданность Родине!

Может быть, плохо они развешаны, не найдено им видное место? Скорей всего, так. Но Павел не видел их, он видел бельма, пустые пятна на чистых стенах. Только на заднем торце цеха, над окованными воротами висело узкое красное полотнище — приветствие Первому мая.

Алтухов сказал Меликову и об этом. Тот улыбнулся — опять молодость! — и с легкой душой отвел его претензию в адрес парторгза, профорга, комсорга.

— Уныло у тебя людям-то... Серенькая у вас жизнь, — заметил Алтухов.

Меликов не понял его.

— Радио, что ль, заводить? Тут не парикмахерская...

— Не вижу я, есть у тебя соревнование или нет.

— Все охвачены, как один, — поспешил ответить Меликов.

Алтухов не сомневался в этом. Но не чувствовалось на участке широкой общественной гласности — главной силы соревнования.

— Производственные совещания собираете часто?

Меликов махнул рукой.

— Дай волю, каждый день эта говорильня будет шуметь. Еще прошлогогодние предложения не все выполнили. Солить мне их, что ли?

Алтухов рассмеялся.

— Зачем же ты их собираешь?

Меликов развел руками, точно говоря: не нами заведено, у нас как у людей.

Не в ладах был Трофимыч с общественной активностью. Она явно отягощала его стариковские плечи.

— Ну, а каким способом доводите план до рабочего? — поинтересовался Алтухов. — Есть у вас личные планы? Лицевые счета?

Меликов ответил не сразу:

— Есть. Все есть... — и добавил откровенно. — Недолюбиваю я канцелярии этой.

Однако теперь он не решился вышучивать Павла. Он почувствовал прямую связь в его наблюдениях, хоть она и не была ему ясна. И это настораживало старика.

Но и у Павла ясность первого видения постепенно замутнялась. Они медленно переходили от станка к станку. И все холодней становилось на сердце у Павла, он уже не мог обращаться к Меликову на «ты» и называть его Трофимычем.

И с чем никак уж не мог Алтухов примириться, так это с грязным станком, который нашел на участке. За грязным станком стояла молодая работница.

Завод славился образцовой чистотой, белыми халатами. В полусотне метров отсюда сизо-голубыми фунтовыми гроздьями распустилась сирень. Необъятные, подобные деревьям, кусты акаций вот-вот должны

были разгореться солнечно-желтым цветом. А дальше, за улицей лип, за мацатами пирамидальных тополей — две голубые ели, одинаковые, как близнецы, сторожили вход в фруктовый сад. В нем только что празднично отцвели вишни и яблони, скромно зацвели рабочие понесут яблоки детским лозы малины. Осенью из этого сада рабочие понесут яблоки детским. Люди с гордостью посылали в письмах родичам фотографии своего любимца-завода, который поистине расцвел на месте свалки, печально известной в годы разрухи и нэпа, и война не остановила этого цветения!

В цеху было так светло, так просторно дышалось, будто и не было крыши над головой. И над станками допоздна не зажигали ламп.

А у этого станка Павел с возмущением увидел на полу стальной мусор стружки, лохматые обрывки ветоши, сырые скользкие пятна эмульсии. На бабках и суппорте было еще больше стружки и брошенной в спешке ветоши, пролитой смазки. Отверстия для масла, по всему судя, забиты грязью. Значит, равномерной масляной подушки в подшипниках быть не может.

Павел с неприязнью прошел мимо. Краем глаза он видел: на станине лежала не то деталь, не успевшая добраться до своего ящика, не то запасный резец, не то отдыхал от трудов праведных гаечный ключ. И не нашлось у работницы времени вспомнить, что эти предметы одной своей тяжестью влияют на пульс станка, ложатся ему камнем на сердце.

О себе работница тоже не слишком заботилась: по-старинке утирала лицо то рукавом, то ветошью. Видно, до сих пор ей не удосужились внушить, что чистота и аккуратность делают станок плодovитее, а человека умнее, что цветы на заводе не только нарядная одежда — они стали приметой новой культуры труда.

Алтухов последил за тем, как работают тылы участка. Не сходя с места, можно было определить, что они недостаточно питали работу. Люди то и дело срывались с рабочего места: в кладовую, в диспетчерскую, к распреду, к мастеру. За нарядами вытянулась очередь. Один подбирал себе плашку, другой бегал, разыскивая наладчика. А вот этот «орел» просто кружился у станка с озабоченным сердитым видом, ожидая, когда его снабдят, когда ему помогут, когда его поправят.

Исполтишка следил Павел за сменным мастером. Находка ни на минуту не покидал участок. Но что он делал? Он был привязан к станкам. Почти неотрывно налаживал обработку какой-нибудь детали. Сказать ему, что он превратился в наладчика — взъершится, как Меликов. Конечно, он считал, что занят полезным делом толкача, и по сути превратился во всеобщую няньку. Как хороший, высококвалифицированный рабочий, Находка спешил сделать самое трудное и ответственное дело за всех рабочих, у всех станков. Умелый и опытный человек всерьез пытался объять необъятное. Не так ли работал и Иван Трофимович — утречком, в начале смены, со свежими силами и когда не было под боком Алтухова? Права Самарцева: чего-чего, а думать тут было некогда.

Одно утешало Павла: Зотов не обманул, резервы на участке были, только руки к ним приложить. Но встряска требовалась основательная. Надо решительно разбить, уничтожить привычку ходить в рядовых, создать обстановку нетерпимости к пресловутому среднему уровню, который фактически топил достижения передовиков и фальшиво прикрывал отстающих. С этим воевал Зотов, с этим воевать и Алтухову. С этого и начинать работу по-новому.

Постепенно Меликов терял свой колочий вид. Он словно старел, идя за Алтуховым, все сильнее и очевидней. Может быть, впервые он видел

в таком сгустке свои прорехи и промахи, ставшие привычными. Может быть, впервые задумался над ними так глубоко и честно. Что греха таить—примелькалась работа цеха. Затянула, засосала «текучка», повседневные будничные хлопоты. Этак жить—за деревьями и леса не увидишь!

И все чаще и ревнивей начинал следить Меликов за направлением взгляда Алтухова, стараясь угадать ход его мыслей, понять деловую хватку молодого мастера. Меликов настраивал себя против непрошеного инспектора, но невольный острый интерес к нему мало-помалу побеждал отчужденность и даже обиду. Нет, не строгость инспектора проявлял Алтухов, а пристрастную оценку заинтересованного, своего, заводского человека. И все чаще, приведя какой-нибудь довод в свое оправдание, Меликов умолкал на полуслове, ждал последнего слова Павла.

Алтухов видел это, но сочувствие вытеснялось нетерпимостью к пуганику, которого он видел в Иване Трофимовиче. Прекрасный участок. Техника—самая современная, сложная, многообразная. Производить может много по количеству, и сколько сумеешь взять—по качеству. Пойми ее до конца, не успокаивайся на том, что понял вчера,—и она воздаст тебе, как удобренная земля, сторицей. И люди здесь не случайные. На такой работе неумелый, равнодушный человек—редкость. Такому здесь долго не удержаться.

Но участок приторможен. Он напоминает машину, которая вся сотрясается оттого, что ее ведущие колеса сжаты тормозами; она ползет на постыдном среднем ходу, не впрок сжигая топливо, и, как живое существо, просит скорости и дальнего пути.

Старый мастер, наконец, выкинул свой главный козырь:

— Милый человек, у меня девять кадровиков. Чуешь? Девять. И шестьдесят шесть ремесленников... зеленых. В семь раз больше! Смекаешь?

Но Алтухов не позволил себе согласиться с Меликовым. Теперь надо было искать не повод для отступления, а путь вперед, только вперед. Словно сами собой, естественно и привычно напряглись плечи Павла, принимая груз ответственности за новый участок и за его личный состав.

Не поспевая за широким шагом Павла, Меликов сказал на ходу:

— Эх, такого бы мне помощника, как ты, Павел Никитич!..

— А мне—такого, как вы, Иван Трофимович,—ответил Алтухов невесело.

Глава пятая

ЛЕНЯ

Деев позвонил, что не приедет. Варвара уже ушла. Отправился домой и Меликов, совсем разбитый, серый, молчаливый. А Алтухов все не мог уйти.

Время близилось к гудку. Майская ночь занавесила стеклянные стены цеха. Если бы не свет сильных ламп над станками, можно бы увидеть звезды. Цветы в ящиках вдоль стен казались сейчас неживыми, черно-железными, красно-медными. Но стоило коснуться цветка, он мгновенно оживал, покачиваясь от прикосновения, становился гибок и нежно-шершав, и едва ощутимо пахнул. Этот запах обострял в Павле беспокойство, гнетущее его.

У ближайшего токарного станка стоял молодой рабочий.

Паренек рослый, но плечи еще не развернулись, узковаты. Спина еще не окрепла, поясница юношески тонка. Обнимешь такого за пояс одной правой — и он весь твой.

Затылок и виски коротко подстрижены, но чуб не тронут. Длинная русая прядь спускалась на лоб в виде вопросительного знака.

Самым ярким в его одежде были сапоги: старые, керзовые, только головки кожаные, но начищены так, что керзы не отличишь от кожи. И головки, видимо, перешиты, носки обужены.

По этим сапогам Алтухов сразу узнал в парне бывшего солдата.

Парень обтачивал стебель микрометра. Работа была предварительная, грубая, и так и называлась — обдиркой. И надо было видеть, как он смотрел на деталь, которая вертелась на оправке! Так смотрят на кусок черствого хлеба, поданный вместо жареного мяса.

Алтухов подошел поближе и спросил негромко:

— Что, солдат, скучно?..

Вопрос угодил в самую душу, потому что из нее тотчас вырвался ответ:

— Тоска! Смерть! — и парень с томительным ожиданием поднял лицо к потолку, прислушиваясь, нет ли гудка.

Тотчас он спохватился и с беспокойством повернулся к Алтухову. Павел опередил его новым вопросом:

— Где воевал?

И внутренне улыбнулся: первый взгляд солдата обратился не к лицу его, а к орденским планкам на его кителе. Павел видел, что лента ордена Красного Знамени была сразу отмечена этим опытным взглядом.

— На Третьем Белорусском, — ответил солдат, невольно подтягиваясь.

— Разведчик?

Теперь удивленный взгляд обратился, наконец, к лицу собеседника — Алтухов не ошибся и на этот раз.

Что ж удивительного, ежели обдирка ему — смерть! Он помнил романтику, риск и инициативу ночных поисков. Он едал в полку паек по особой норме, носил особое снаряжение. Не случайно носки его сапог перетянуты по ноге. Ему полагался нож поверх обмундирования и лучший автомат в полку. А тут — обдирка... Тоска, конечно!

— К наградам не представляли? — спросил Алтухов, уверенный, что касается любимого или больного места.

— Два раза! Комдив Звездочкой наградил.

— Вручили?

— Не успел комдив. Проверяют в военкомате полгода. Споткнулись об одну букву: я Иванеев, а в справке — Ивонеев. Бумажные души...

— Бумажные! — согласился Павел.

Гудок заглушил их голоса. Разведчик ушел мыться в душевую. Алтухов подождал, пока он вернется.

Горячий душ смыл с лица парня и запятые смазки и унылое настроение. На Алтухова смотрело свежее мальчишеское лицо с выпуклым лбом. Бриться солдат начал недавно и брился еще редко. Усы на fronte едва ли носил: материалу не доставало.

— Давай знакомиться, — протянул руку Алтухов.

— Лёня, — назвалса парень скромно.

— Павел, — ответил ему в тон Алтухов. И его тронуло, как энергично, помогая себе плечом, солдат пожал ему руку.

— Видишь, какое дело, Лёня, — начал Павел. — Надумал я перейти к вам из заготовительного. Ребята говорили, интересная у вас работа. Хочу с тобой посоветоваться.

— Дурак вам говорил! — отрезал Леня и невесело обнадежил: — Меликов дурака любит. Он дурака любит...

«Крепко сказано», — отметил Алтухов.

Солдат попытался нахмуриться, лоб не морщился, но слегка выпяченные мягкие губы сжались твердо и решительно.

— Я не знаю, — продолжал Леня грубовато, но уважительно. — У вас своя голова на плечах. Я вам какой советчик!.. Только для разговора... А для мастера, хотя бы товарища Меликова... мы что? Дунь — и нет нас. Но я бы на его месте так не делал! Может, я сапожник, зеленый, насмешка, ла-адно! Другие — как знают, а я уйду с завода. Попадаю заявление... Носил-носил его в кармане... Пусть что хотят делают, тут работать не стану. Дураков теперь нет!

С двойственным чувством слушал Павел Леню. Приятно было, что молодой рабочий чувствовал себя хозяином своей судьбы. Ему и в голову не приходило, что в его возрасте и положении могла бы скомкать жизнь человеку безработица. Само слово «безработица» исчезло из нашего обихода. Но тем более обидно было сыну Никиты Алтухова, что этот уверенный паренек готов с легким, даже злым сердцем расстаться с заводом, о котором песни бы ему петь.

Но Павел не торопился обвинить Леню.

Заводской гудок словно подвел жирную черту под рабочей сменой. Широкий шум цехов угасал. Все звонче шелестела молодая листва лип, будто ковванная из тонкой жести. Ни Павлу, ни Лене не хотелось отдыхать. У проходной они неспешно, в ногу, обошли цветник и снова вступили в звонкий шелест лип.

— Вас это не касается, — говорил Леня как бы с упреком. — Вас на обдирку не посадят. Конечно, у нас — не заготовки. Я сам к Ивану Трофимовичу шел — знал, что делать. Вон Блажнова из цеха за уши не вытянешь.

— Кто такой Блажнов?

— Сарафан Дмитриевич.

— Сарафан?..

— Ну, Селифан, один шут!

— Почему же — Сарафан?

— Ходит всегда, как баба... жирный... морда — чистая свекла... вот-вот треснет!..

— Да кто ж такой?

— Незаменимый... «Ко-роль!» — выговорил Леня с презрением. — Меликов перед ним на задних лапах ходит да прутиком своим машет. Так руками вокруг него и водит, точно пылинки снимает. Сарафан Дмитрич, Сарафан Дмитрич...

— А что он работает?

— Он, вообще, стебельщик. Еще резьбу делает крепежную и метрическую, — ответил Леня неохотно.

— А ведаешь, друг, что это за работенка? На резьбе микровинта у нас какие допуска? Плюс-минус два микрометра по шагу. Два голько! А если больше — брак. И такую точность дай на длине в тридцать пять миллиметров! Это, как писал Владимир Ильич, а р х и-точность. У таких мастеров поучиться не грех.

Леня снисходительно рассмеялся.

— Да разве «короли» учат? Слыхали вы когда-нибудь, чтобы «короли» хоть одного человека чему хорошему научили? Сидит на своих сундуках, как скупой рыцарь. Родному сыну копейки не даст. Он рад-радехонек, когда нашему брату туго. На этом у него вся «коммерция» построена.

«Точно говорит парень», — во второй раз отметил Алтухов.

— Однако хороших работников уважают. Заслужи такое уважение.

— Да разве это уважение, товарищ... — Леня запнулся, бегло взглянул! Павлу на плечи.

— Капитан, — подсказал Павел.

— Товарищ капитан, — повторил Леня, и с этой минуты они словно легче стали понимать друг друга. — Он заискивает перед ним. Смотреть совестно. А Блажнов Меликова по плечу похлопывает: старайся, мол, вижу твои заслуги передо мной...

Алтухов ясно представил себе эту нелепую картину и невесело рассмеялся.

— А насчет того, чтоб ценить — будьте спокойны! У Блажнова расценки особенные, нашим не чета.

Этого Павел ожидал. Стало быть, и Меликов практиковал скользкую «самодеятельность» в обход заводских норм и трудовых правил, хватался за соломинку — незаконно «подкидывал» «кое-кому» на важных операциях, на узких местах. Некрасиво, Иван Трофимович. Плохо.

— А не привираешь о Блажнове? — спросил Алтухов.

Леня обернулся, изумленный. Сказал веско:

— Бабе я привру, вам — никогда не позволю!

Смешно у него получилось: «бабе», чужое ему слово, меликовское, а может, и блажновское.

— И женщине врать неслед, — посоветовал Алтухов.

— А сами вы...

— Я их боюсь, Леня. Больше помалкиваю.

— Знаем! Толкуйте! — не поверил разведчик.

И в его глазах засветилось такое искреннее восхищение статным капитаном, что Павел невольно смолк.

Но этот разговор не отвлек Леню от главного, чем он мучился. Он опять попробовал нахмуриться:

— Мы для Меликова все на одно лицо: киномеханики. Фамилий наших не помнит. — И Леня окликнул сам себя небрежно-рассеянно: — Эй, слышь, это т... А то просто: Ленька, Манька...

Голос Лени вдруг упал, горло паренька стеснило.

— Вы не подумайте про меня... Я лично не гордый. Для Ивана Трофимыча я, конечно, Ленька и есть. Не это мне обидно!

Алтухов кашлянул позычней, чтобы заглушить своим кашлем предательского петуха, который прорвался в голосе у паренька на последнем коварном слове. Обидно, очень обидно, брат. И не только тебе...

Леня хотел сказать с вызовом, а выговорил с надрывом:

— Видели деталь? Стебель называется! Держится на оправке. Проворачивается он на этой оправке проклятой. Отсюда — брак. Сколько раз говорил Меликову: тут надо технологию менять. Так вместо спасибо — крик, и... на обдирку. Ославил на весь участок. А за что? Я разве виноват? Горлом-то не возьмешь! Меня ребята утешают: «Ваня лает, ветер носит». Ладно, пускай душу отведет. От этого меня не убудет. Я по две нормы давал в железнодорожных мастерских. По пятому разряду. И качество было — не придерешься. За это меня Иван Трофимович и взял к себе. Теперь забыл. Его дело... Но чего в жизни ему не прощу — от работы отваживает. Видеть этого стебля спокойно не могу! Как примется проворачиваться на одном месте... Взял бы, да в кузницу, и молотом — в блин!

— Ну, я не сразу бы сдался, — осторожно сказал Алтухов. — Я бы поискал, как с оправкой совладать.

— А шут с ним! И не подумаю. Буду стоять дурак-дураком: пусть проворачивается! И все будут стоять дубы-дубами.

— Как же так?

— А как слышите! Почему у нас молодежных бригад—одна, другая и обчелся? Опять Меликов мешает: бригадиров, говорит, нет! А почему на других заводах есть? Хозрасчета Ваня боится, вот что! Почему Митя Бычков — из одного со мной взвода солдат — на «ЗИС»е знатный стахановец? Бригадир, нич-чего не боится, одет как бог, зарабатывает побольше Меликова, пишут про него в газетах каждый день. Он знатный, а я зелень, да? Так выходит?

— Дорогой товарищ! Работаете ты все-таки плохо. Это факт. За тебя Меликов не будет работать.

-- За меня никто не будет работать! Я сам за себя поработаю! А раз ты мастер, голова у тебя на плечах, ты заставь меня работать отлично! Я уж не говорю — научи; сами научимся, просить не будем. Ты душу из меня вынь, а чтобы работа была. Ты руководи! Скомандуй мне: встать! Мертвый буду — встану. Вперед! Без ног буду — побегу!

— Верно! — с восхищением сказал Алтухов. — Молодец, солдат!

— Служу Советскому Союзу, товарищ капитан, — медленно и с глубоким смыслом ответил Леня.

Помолчали, оба до дрожи взволнованные.

— Курить есть, товарищ капитан?

— Найдется, Леня.

Закурили. Леня зверски затянулся и, выдыхая вместе с дымом слова, сказал:

— Я знаю, у Меликова никогда не вырастешь и... я вам прямо говорю, ни черта не заработаешь. Пойду к Бычкову в бригаду, он давно звал. Бычкову до Ивана Трофимовича вон сколько, он тоже молодой — а все-таки человека из меня сделает.

На этот раз Алтухов не почувствовал обиды за свой завод, как ни безгранично он любил его и дорожил им. Единственное чувство, которое испытывал Павел, был стыд за Меликова, не признававшего своей великой вины перед этим умным и честным пареньком, молодым рабочим. Это он, Меликов, довел Леню Иванеева до такого нетерпимого состояния, когда тебе не дорога твоя деталь.

Алтухов смотрел на лобастый профиль Лени, на его плохо выстиранную рубаху, на то, как он отчаянно и без вкуса курит, и ясно почувствовал: а ведь Леня — сирота. Он спросил:

-- Родичи у тебя где работают?

— Никого у меня нет, — ответил солдат просто и спокойно.

Алтухов братски сбнял Леню за плечи, и тот растерялся, почувствовал глубокое значение этого объятия.

Они остановились на асфальтовом кольце, у проходной.

Над огромной клумбой цветов возвышался человек, заложив бронзовую руку за борт военной тужурки и глядя на своего капитана и своего солдата. Слабый аромат цветов поднимался к его бронзовому лицу, и казалось, его спокойствие, прославленное на всех языках земли, проникало в души бывших солдат и теперешних рабочих, его сыновей и учеников, и вселяло в них силу.

Они вышли на площадь, к трамвайной остановке. Алтухов попросил:

— Дай-ка, Леня, мне твое заявление.

Тот послушно отдал. Павел прочитал: «Прошу уволить как неспособного к точной, высококвалифицированной работе над мерительным инструментом «микрометр». Так он мотивировал. Серьезная мотивировка!

Тогда Алтухов сказал убежденно:

— Вот что, Леня. Я тебе обещаю: если, скажем, через месяц ты вспомнишь об этом заявлении, то не поверишь, что писал его. Заступай завтра на работу и пока забудь о своем решении. Работай честно, как всегда. И верь: у нас с тобой все будет в порядке. От Мити Бычкова и от «ЗИС»а не отстанем! Это нам не к лицу! Мы с тобой здесь хозяева. Ты — хозяин. Все поправим, наладим, как захотим. — И заключил по-армейски: — Как положено! Ясно?

— Ясно, товарищ капитан, — проговорил Леня, широко открыв полные доверия глаза, медленно наполнявшиеся счастливыми слезами, глаза, которые нельзя обмануть.

— Ступай отдыхай. Будь здоров!

Алтухов крепко, до боли, стиснул Лене руку, потряс его за плечо и быстро пошел прочь.

Глава шестая

ВАРВАРА

В свете фонарей Алтухов шагал домой. Сжав челюсти, стиснув кулаки. Не шел, а ковал асфальт каблуками.

На этой улице Павел родился и вырос. И помнится, она не раз меняла свой внешний вид, росла вместе с Павлом. Бесследно исчезли пустыри. Давно забыта булыжная мостовая, с которой весной дворники ломали скальвали пласты обледеневшего снега, а осенью из-под колес ломовиков летела на заборы грязь.

Еще до войны Павел привык ходить на завод и с завода по мытому асфальту. Пока он был в армии, улица не переставала меняться: появились новые высокие фонари и массивные чугунные ограды вокруг небольших сквериков. Фонари и решетки поставили в прошлом году, к московскому восьмисотлетию.

Вечерами фонарей не замечали, так было светло от окон домов и магазинных витрин. А когда-то ходили вдоль долгих заборов и пустырей наощупь, и беда, если не в сапогах.

Павел замедлил шаг у одного из сквериков. Замысловатая вязь решетки отделяла асфальт от юной майской травы. Скверик казался окном в весну, обрамленным кружевным чугунным наличником. Трава не шевелилась под ветром, слишком была коротка. Нежный зеленый ежик. Но в свете фонарей скверик казался гуще и словно отдалялся и отдалялся от глаз. Прищурься, и увидишь ширь луга под закатным солнцем и свою длинную тень, протянувшуюся до горизонта.

На заводском дворе к маю высадили радужные ковры цветников. Здесь они появятся позднее. В этом году будут сажать деревья. Павел живо представил себе тени тополей на асфальте, в узоре чугунного литья, — такого он еще не видывал на своей улице.

Как никогда ясно ощущал сейчас Павел чувство долга. Оно главенствовало в его душе. И только где-то в тайнике мозга копошилась, вертелась, никак не могла успокоиться мыслишка: надавал обещаний, набрал обязательств, выполнишь ли?

Молодая белая луна взошла невысоко над улицей. Она казалась совсем близкой, и трудно было оторвать от нее взгляд. Тонкое, как игла, облако подползло и прокололо ее, превратив в букву Э, написанную сильной рукой.

Вот когда Павел нуждался в друге! Усадить бы его против себя, предложить папиросу, прикурить от зажженной им спички и потолко-

вать — так потолковать, чтобы друг понял тебя с полуслова, чтобы истратил он на тебя немного слов, а много дружбы. Не снисходительной или утешительной дружбы, а требовательной, бодрящей, умножающей силы.

Мать? Ее одолели горькие думы о смерти отца. Она поймет и заботы сына, но ей самой сейчас нужны помощь и понимание друга.

Евгений Абрикосов? Майор Червинский, командир полка?.. Они далеко.

Павел встряхнулся, поднял голову. В истемна-сером небе клубилась золотая пыль звезд. Во все колеса катила весна. Порывы теплого ветра толкали Павла мягкими ладонями то в грудь, то в спину. Они смыли с улицы дневной каменный жар. Воздух струился, шелестел. Над травой скверов качались незримые столбы свежести.

И тогда Павлу вспомнилась Варя.

Много было связано с этой девушкой в предвоенной жизни Павла. Была дружба, вера друг в друга, общие взгляды на жизнь. В ночь отъезда на фронт Варя вместе с матерью собирала его в дорогу. Запомнились ее внимательные руки, увязывающие вещей мешок. На прощанье обнялись — в первый и единственный раз. Встретились они после войны сухие, сдержанней.

Где она живет? Кажется, в самом центре, в районе Консерватории. Добираться час. Пожалуй, Павел поехал бы к ней... Хороший она человек. Вот что: надо ей позвонить. И Алтухов почувствовал облегчение. Конечно, Варя!

Телефон стоял на столике в передней. Мать окликнула Павла из своей комнаты. Он поздоровался с ней, набирая номер. Никто не отвечал. Вари нет дома.

Раздосадованный, Павел прошел в комнату. Рядом с матерью на диване сидела Варвара.

Она пришла давно. Весь вечер она ждала его. Мать уже все знала с ее слов. Павел понял это с первого взгляда.

— А я тебе звоню! Я тебе сейчас звонил! — вскричал Алтухов. — Я тебя расцелую, ей-богу! — и он бросился к ней, поднял ее с дивана.

Она отвернула лицо, прикинула к Павлу плечом. Было в этом движении нечто такое, что не разменяешь на слова. Павел прижался губами к ее волосам у виска.

— Вот уж осчастливил, — вступилась мать. — Пожалуйте вам... Дождись, когда тебя поцелуют. Герой!

Павел выпустил Варвару, схватил мать, прижал к себе.

— Да пусти! Железные лапищи! — счастливо вскрикнула она. — Прямо грубиян какой-то!

Своими слабыми руками она легко оторвала от себя его «железные лапищи» и, держа его за них, повела к дивану.

— Садись. Чаю тебе дадим.

Павел сел, вытянул ноги, на секунду закрыл глаза. Ноги, плечи, спина томительно, сладко ныли. Вот когда пришла усталость!

Женщины перенесли к дивану круглый стол, уставленный посудой. Павел сделал движение помочь им, но мать удержала его взглядом.

— Сиди уж, сиди, птица длинноногая. Сегодня ты у нас хозяйин. Пей, ешь, — командовала она. — Без чаю спать не пойдешь, не надейся.

Павел любящими глазами следил за матерью. Екатерина Васильевна была в новом костюме, который сын «справил» ей в прошлом году, вернувшись из армии. Костюм молодил ее. Под взглядом сына мать быстро и ловко оправила волосы, перебрав легкими пальцами несколько белых витых шпилек, которыми скалывала свои каштановые косы на затылке.

Едва заметная седина пробивала на висках ее удивительные волосы. Потом крепко, точно умываясь, мать утерла ладонями свои румяные щеки. Ей приятно было нравиться сыну. Любовный его взгляд напоминал ей взгляд отца, в этом была горькая сладость.

Конечно, поджидая Павла с завода, мать говорила с Варей об отце. И словно продолжая их разговор. Павел стал рассказывать Варваре о том, как два десятка лет назад отец учил его грамоте. Учил по единственной в семье книге. Она составляла самую большую ценность Алтуховых. Это было однотомное собрание сочинений Пушкина (жили они тогда в подвале, рядом с котельной).

Когда мать выговаривала отцу за то, что он не жалеет себя на работе, и поучения ее, случалось, затягивались, отец начинал декламировать:

— Я вам пишу, чего же боле... Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать...

И хоть это повторялось неизменно, слова Татьяны в устах усталого и ласкового отца обезоруживали мать, и она сменяла гнев на милость.

Самарцева мельком взглянула на часы, и мать проговорила решительно:

— Варвара Владимировна, я вас ночью одну не отпущу. И я вам уже на диване постелила. Или вот Павку пошлю проводить. Если хотите, чтобы он отдохнул, оставайтесь, переночуйте у нас.

Варя не ответила ни да, ни нет — молчала. Тогда мать напомнила о семейном обычае, заведенном отцом, весело приказав Павлу:

— Ну, грешник, рассказывай, чем занимался сегодня!

По секрету говоря, отец был ревнив. Жену взял красавицу, за такой только гляди. Но ревновал отец тонко и умно. Исподволь приучил он мать каждый вечер отчитываться перед ним за день в большом и малом: куда ходила, кого видела, о чем и с кем говорила. Приучил он и жену требовать от себя такого же отчета.

— Ну, грешник... Ну, грешница... — это слышал Павел за ужином с детства.

С детских лет отчитывался за день и «грешник» Павка. Умница-мать насквозь видела мужа. Но она всем дорожила в нем — и любовью его, и ревностью.

— Что вам сказать? — начал Павел, косясь на чашку с чаем. — Я и позлился сегодня, и перетрусил, признаться, — все было! По этому случаю, мама, нет ли у нас?.. — Павел щелкнул пальцами. — Давай подпоим Варю, чтобы не сбежала.

— У нас же только белое, злодей! Как вы, Варюшенька?

— Екатерина Васильевна, я выпью, — решительно сказала Варвара.

И вот на столе возле чайника возник графинчик с длинным граненым горлышком. Мать поставила три рюмки, но Павел напомнил ей:

— Мама, стаканчик...

Явился и стаканчик. Павел наполнил рюмки матери и Варвары и, удерживаемый взглядом матери, себе налил сто граммов военных плюс пятьдесят мирных, в честь гостей.

— Ну, за тебя! — сказал он Варваре. — За дружбу до гроба. Так?

— За Екатерину Васильевну... — ответила Варя.

Чокнулись. Варя выпила рюмку до дна, в меру поморщилась, закусила маленьким кусочком хлеба с маслом. Мать отпила половину, и по обыкновению закашлялась, замахала руками.

Павел выпил свои сто пятьдесят и чинно поклонился матери:

— Благодарю вас.

— Кушай на здоровье.

Павел закрыл графин пробочкой.

Так пил отец. Так пил дед. Первую — и ни капли больше, ни в каком случае, как бы ни усердствовала компания.

Павел отодвинул от себя пустой стаканчик.

— А теперь расскажи мне, Варя, о дяде Васе.

— О, это знаменитый был авральных дел мастер, — ответила Варвара, улыбаясь знакомому имени. — Злые языки называли дядю Васю «тетей Штурмовщиной». Что мы производили для фронта — ты знаешь. Так вот, был период, работали на Урале, а заготовки возили нам из Средней Азии, за полтысячи километров. И, случалось, дядя Вася по пятнадцати дней спокойно ждал заготовок — транспорт работал нечетко — и хоть бы глазом моргнул. А в другие пятнадцать давал месячную программу... — Улыбка погасла на лице Варвары, она холодно посмотрела на Павла. — Ну, и избаловался человек на преданности наших людей.

— Ох, Павлик, это уж я знаю, — сказала мать, плотно складывая руки на коленях. Так она делала, говоря важное. — Ты этого не допускай. Отец говорил: будь ты хоть самый развеликий человек, а как ни горячись, того не сделаешь за последний день, что сделал бы за неделю со спокойной душой. Всегда она идет, горячка-то, от ленивой головы.

Павел со вниманием слушал. Слушать мать научил его отец.

А цену штурмовщине Павел хорошо знал. В ее лихорадке жить губительно. Веры в себя она не прибавляет, а, наоборот, убивает уважение и к работе, и к руководству. Однако авралы дяди Васи говорили Павлу, что силы на участке есть.

— Многие ведь любили дядю Васю, — проговорила Варвара задумчиво. — Он отдавал всего себя, как Трофимыч. Горел на работе. Но, как ни странно, вокруг этого вечно горящего человека всегда была атмосфера полнейшего самоуспокоения. Считалось, что с дядей Васей «не пропадем», «все наверстаем». Портил он людей, конечно. У него стало правилом: «любой ценой». И как только мы вернулись к производству микрометров, эта его любая цена себя показала. Дали микрометр, а он по себестоимости — на десять рублей дороже отпускной цены. Десять рублей чистого убытка на каждом микрометре! Надо было видеть в те дни Петра Анисимовича... Он, ты знаешь, не крикливо. А уж если крикнет — не забудешь. Но, представь, на первых порах люди даже обижались за дядю Васю, когда его Зотов стал прижимать. Жалко было его все-таки. Хотелось как-то помочь ему... — Варя прикусила губу в минутном затруднении. — Ведь если вспомнить, в самые жестокие годы войны наши люди на боеприпасах, на минах осваивали поток. А дядя Вася, как и Трофимыч, за горячкой малых дел просто не заметил великих дел на своем заводе. Когда мы прощались, я, кажется, сказала ему, что рентабельность становится сейчас позвией нашей индустрии. Он меня, по-моему, не понял.

— Блажнов еще у вас — знаменитая личность, — заметил Павел.

— Еще бы! — воскликнула Варвара. — Старый баловень... Как вздорная баба, считает, что на нем мир держится. Хочу — два стебля дам за смену, хочу — двадцать.

— Так и говорит? — с недоверием спросил Павел.

Варвара усмехнулась.

— Приведу тебе пример — правда, не из нашего цеха. На доводке штангенциркулей сейчас используется станок. Его изобрел рабочий Семенов. Получил за него лауреата Сталинской премии. А наши сборщики-индивидуалы долго не признавали станка. Понимаешь? Чтобы не

уронить свой... авторитет. Сейчас штангенциркули доводят на станке оптом, партиями по двадцать пять штук. Выигрыш явный — в себестоимости, в качестве. И труд гораздо легче. Но «короли» мучились без станка Семенова, а станок хулили в один голос на чем свет стоит.

— Значит, находили себе поддержку?

Варвара ответила уклончиво:

— Их искусство нельзя не ценить.

Лицо Лени возникло перед Павлом. Слезы доверия в правдивых глазах. На фронте, в огне эти глаза были сухи. Леня с честью выполнил свой долг солдата. Теперь он хотел с честью выполнить долг рабочего.

Павел склонил голову на ладонь, потер пальцами лоб. Стебель микрометра, холодно блестя, завертелся на оправке перед его глазами... А каков собою Блажнов? Сарафан... бабье лицо... Варя тоже сравнила его со вздорной бабой.

Павел поднял глаза. Мать и Варвара молча переглянулись, дружно отодвинули стол и со смехом повели Павла в его комнату.

— Честное слово, если бы не вы, — пытался Павел отшутиться, — всю ночь бы не заснул, издумался бы весь. А вы так меня заговорили, что я готов, готов...

— Охмелел. Уж вижу, что напился, — бранила мать. — Варвары Владимировны не постеснялся. Бессовестный! Словечка не дал ей сказать.

Но в дверях его комнаты Варвара сказала это свое словечко:

— Павел, я слышала, ты обещал Петру Анисимовичу ответ в среду. Я хотела тебе сказать: в среду ты должен ответить не только словами, но уже и делом. Понимаешь меня?

— Я так и решил, Варя. Так и решил.

Другого ответа Варя не ждала.

Тогда и Павел высказал ей то, что тревожило его:

— Ты Леню Иванеева знаешь?

— Знаю, конечно.

— И мученья его со стеблем?

— И это знаю.

— Хорошо знаешь?

— Хорошо знаю, — ответила ему в тон Варвара.

— Ну, этого мне достаточно. — Он тоже не ждал иного ответа.

— Главное, Павел, спокойствие, — сказала Варвара. — Воля у тебя есть. Ты еще нас поучишь работать. Вот и все. Покойной ночи.

— Покойной ночи, — повторил Павел, пожимая Варваре руку.

Вот и все. И больше ничего не нужно.

— Если мне кто-нибудь будет снится, так это ты... — сказал он.

Варвара невольно обернулась и вдруг заметила, что Екатерины Васильевны нет рядом с ней. Словно потеряв опору, Варвара прислонилась плечом к косяку двери. Павел не отпускал ее руки. Она сказала совсем глухо:

— Это неправда, Павел. Сняты только те, о которых думают.

В рассеянной полутьме коридора ее глаза казались еще глубже, еще крупней. Они глядели все так же прямо, открыто, из души, полные глубокого света.

И Павел сказал не очень последовательно, но с искренним восхищением:

— Что у тебя за глаза...

Ресницы ее дрогнули робко, почти виновато. А он продолжал:

— Ты мне самый лучший друг, честное слово. После отца и Жени Абрикосова ты мой лучший друг. Самый родной человек, если не считать матери. И мать тебя очень любит.

— Я ее тоже люблю, — проговорила Варвара. — Но, Павел... о друзьях надо думать побольше... — Он взял ее другую руку. — А то едва ли я тебе буду сниться.

Он проговорил, улыбаясь:

— Твое место никто не займет, Варя.

— Это я знаю, — заметила она, придавая его словам иной смысл. — Я ведь неплохой технолог.

Он хотел запротестовать, она прервала его:

— Ты совсем засыпаешь. Ложись. Я хочу, чтобы ты поспал. И даже без утомительных снов...

Они засмеялись. Он медленно разжал свои руки, выпустил ее легкие прохладные ладони (от них осталось неясно-тревожное ощущение), и она ушла.

Ей не хотелось уходить. Она хотела бы продлить этот внезапный разговор. Но она поспешила уйти. Она боялась неловкого слова или, еще хуже, многих приятных, но ни к чему не обязывающих слов, которые расслескали бы, разрушили очарование последней фразы Павла: «Твое место никто не займет, Варя». Ей нужно было остаться наедине с новым, неожиданно раскрывшимся образом Павла. Ей нужно было оставить его самого наедине с этой мыслью о ней.

Да, конечно, ее место никто не займет. Но нужно ли оно ему, дорого ли, как ей? Может быть, другая женщина придет и займет свое место, и оно-то и окажется самым дорогим. Пусть он сам сделает выбор. Только сам.

Екатерина Васильевна встретила ее, улыбаясь непринужденно, но сердце матери защемило. А все-таки дурачок ее Павка... Как Варя была бы счастлива! Она могла бы принести столько радости ему, если бы у него глаза были на месте... И мать ласково привлекла Варвару к себе и бережно поцеловала ее в щеки.

Павел слышал звук этих поцелуев, и чувство благодарности к матери шевельнулось в нем.

Не сразу он закрыл за собой дверь и, стоя у кровати, не сразу стал раздеваться. Нет, Варвара оставила в нем нечто большее, чем он искал.

Помнится, она часто писала ему на фронт. Письма приходили каждую неделю. Бывало, и чаще. А когда полк был в движении, полковой Харитоша приносил иногда сразу целую пачку.

Отвечал Павел неаккуратно, одним письмом на несколько ее писем. И некогда было, и подчас лень отвечать, всякое случалось. Но читал он письма Варвары всегда с интересом, привык к ним, ждал их, и досадовал, когда они запаздывали. Он знал из ее писем, как работал завод, как жили в эвакуации, чем дышали люди в тылу.

Варины письма нередко читали коллективно. Павел давал их агитаторам. Нормировщицу-студентку, а потом технолога, москвичку Варю Самарцеву хорошо знали в полку. С ней вели переписку офицеры, ей писали солдаты. Она отвечала им, и товарищи приносили ее письма Алтухову. Мать писала ему реже и скучнее.

Павел считал, что Варвара пишет ему из уважения к его фронтовым трудам и опасности, в которой он жил, и принимал эти чудесные письма, полные внимания и заботы, как должное, само собой разумеющееся. Правда, после войны, за границей, вдали от родины письма Варвары стали Павлу нужнее, и отвечал он усердней. В чужих краях письмо

из России, привет из Москвы, покрывшейся строительными лесами и зеленью новых скверов, были невыразимо дороги сердцу.

А здесь, на заводе? Отдел кадров направил Алтухова в другой цех, и дружеская связь с Варварой словно оборвалась. Жили в одном городе, работали по соседству, а встречались редко, случайно, по сути дела только шапочно: здравствуй, прощай, как здоровье, ничего, как дела, опять ничего... И большая жизнь, отраженная в многолетней переписке, оказалась незаметно и расточительно отодвинутой на десятый план. Нехорошо. А ведь Варя следила за ним. Деев у Зотова ссылался на ее мнение. И она добилась своего: теперь они — в одном цеху.

Где же ее письма? Многие из них Павел сохранил — были такие, что не бросишь. Надо вытащить их на свет божий из старой полевой сумки, перечитать, показать Варе... Пусть порадуется тому, как ее любили однополчане. Теперь они оба под одной цеховой крышей. Теперь будет иначе.

С этой мыслью, которая словно оправдывала его перед Варварой, Павел уснул.

Глава седьмая

ПАРТКАБИНЕТ

Весь четверг Алтухов был занят сдачей своего старого участка в заготовительном.

К вечеру его потянуло на новый участок. Меликова Павел нашел привычно разъяренным. Иван Трофимович пространно отчитывал молодую работницу, уборщицу участка. Сменный мастер просил ее остаться на сверхурочную—минут на сорок, на час. А девушка собиралась на занятия кружка текущей политики и требовала у старшего мастера отпустить ее, жалуясь на «принципиальность» сменного. Этим словом она называла слепое упрямство человека, не уважившего ее стремления учиться. После занятия она вызывалась остаться хоть на всю вторую смену.

Меликов принял сторону сменного. И объясняя свой отказ, потратил столько слов, что тошно было его слушать. С обывательской придирчивостью он обвинил работницу в обмане: торопится, мол, на свидание, а не на занятия... Девушка не дослушала его и, скрывая слезы, ушла.

— Иван Трофимович, — сказал Алтухов, глядя в землю. — Верни ее. Отпусти. Пусть идет.

Меликов густо побагровел и открыл рот, собираясь закричать на Павла. Алтухов продолжал:

— Послушай меня как члена партии. Учеба у нас — самое святое дело, она всегда окупится.

Меликов все-таки закричал:

— Ну, дорогой товарищ Никита Семенович!.. — он назвал Алтухова именем отца. Уж не хотел ли он уязвить этим Алтухова? — Пока я тут мастер... Не снят покуда! Семь бед—один ответ! Я отвечаю! Я!

— Спорить не будем, — прервал его Павел, не меняясь в лице и не повышая голоса. — Сделайте так, как я вам сказал.

Иван Трофимович вспотел от изумления.

— Это что — приказ?

— Действуйте, товарищ Меликов, — ответил Алтухов спокойно, отменяя запальчивость старика. И в том, как он повернулся и неспешно

пошел, было такое пугающее скрытое значение, такая сила, что старик задумался и с упавшим сердцем пошел за уборщицей.

После встречи с Меликовым осталось мутное чувство. Надо было рассеять его.

Алтухов отправился в заводской клуб, в партийный кабинет.

В молочно-белых стенах читального зала стояла привычная тишина. Зал был неширокий и очень длинный, с рядом высоких окон по наружной стене. Он напоминал зал картинной галереи или террасу.

Распоряжалась здесь Ульяна Устиновна, пламенный энтузиаст с седеющей головой. Рабочие придумали ей ласковое прозвище «У-2», соответственно ее инициалам и за любовное пчелиное жужжание, которым она отвечала на вопросы о книгах.

Получив от «У-2» нужные ему книги (она не преминула одобрительно басовито пожужжать над ними), Павел сел за отдельный столик с лампой и чернильницей, близ окна, из которого открывался вид на завод.

Сегодня Алтухов взял для работы три политических документа. Первым из них было известное постановление о мастере на заводах тяжелого машиностроения. Оно было принято Советом Народных Комиссаров и Центральным Комитетом партии в мае 1940 года. Вторым были резолюции последней, XVIII партийной конференции, которая работала в самый канун войны. И третьим — одно из ближайших по времени выступлений товарища Сталина, его речь на предвыборном собрании избирателей.

Издавна, с комсомольских лет, Павел принял за правило: в ответственные минуты жизни неторопливо, глубоко вдумываясь в то, что накануне говорила партия. Это были минуты глубокого духовного сосредоточения, и Павел очень любил их. Он любил поискать и найти в рядовых, казалось бы частных фактах своей жизни свет больших событий, связь с большими делами всей партии и всей страны, их глубинный творческий смысл. Он любил проверить себя в минуту сосредоточения, спросить с пристрастием: а все ли ты понимаешь сейчас и не отстал ли в этом понимании? Понимать, мыслить так, чтобы видеть горизонты, перспективу,—было для Алтухова высшим наслаждением.

Так бывало не раз. Перед вступлением в партию, в 1938 году, он перечитал заключение из «Краткого курса истории ВКП(б)», пять пунктов, занявших всего десять страниц текста: каждый из них начинался по-сталински чеканно: «История партии учит...» Это заключение дало тогда Павлу богатую пищу для размышлений. Оно вызвало в памяти многое, что он читал у Ленина и у Сталина, многое, что он продумывал с отцом и друзьями.

По пути на фронт, в июле сорок первого, Алтухов в теплушке перечитал отчетный доклад Сталина Восемнадцатому съезду партии из «Вопросов ленинизма», которые он повез с собой в вещмешке. Спутники по теплушке (среди них были кадровые политработники армии) попросили его читать вслух. Большой доклад читали и обсуждали с перерывами в течение всего дня.

Так и сейчас. Павел пришел в парткабинет с серьезным трудным вопросом: как браться за работу на участке.

Семнадцать пунктов постановления о мастере отвечали Алтухову на этот вопрос. Они были по-деловому сухи и внешне однообразны: установать... разгрузить... предоставить... возложить... Но каждое слово в них хотелось подчеркнуть.

Потом Алтухов развернул резолюции партконференции.

Едва Павел начал читать первую из них, как его охватило не раз испытанное чувство признательности: партия предусмотрела все вопросы, которые сейчас встали перед ним, и отвечала на них.

С каждым новым пунктом резолюция все шире и глубже раскрывала суть дела, освещая самые «мелочи» труда Павла.

«Без чистоты и порядка, — читал он, — немислима нормальная работа современного предприятия. Грязь есть неизбежный спутник и источник расхлябанности...» Это сказано в точности об участке мехобработки, думал Павел, вспоминая единственный в цеху, но тем более нетерпимый, грязный станок.

В резолюции говорилось и об оборудовании, и об инструменте, о плане и графике (планирование слабо у Меликова), о производственных мощностях, о комплектности продукции и, наконец, о технологии (стебель микрометра — это в варин огород) и о принципах заработной платы рабочего (вспомнился Блажнов и обещанный Зотову минимальный полутысячный заработок на участке).

Специальный пункт 16-й главы III Алтухов воспринял, как относящийся лично к нему. Три слова в этом пункте партия подчеркнула: поднять роль мастера.

Это была знаменитая резолюция, которая обязывала смело выдвигать способных и инициативных работников, организаторов, знатоков дела и своевременно заменять безвольных болтунов, неспособных на живое дело.

У Павла была особая тетрадь в коленкоровом переплете. Он озаглавил ее, перефразируя Герцена: «Факты и мысли». Он собрался было выписать в нее самое важное для себя, но тут же убедился, что пришлось бы переписать всю резолюцию. Эту брошюру надо иметь у себя дома, под рукой, держать на полке самых нужных книг. Жаль, не знает ее Меликов. Как бы она ему помогла!

С особым вниманием Павел перечитал резолюцию по третьему пункту порядка дня — по оргвопросам.

«Вот они, оргвыводы партии», — подумал Павел с глубоким волнением. Поистине, невзирая на лица. Велико доверие партии. Страшно ее недоверие.

Над предвыборной речью Сталина Павел задумался надолго.

Алтуховы были избирателями Сталинского округа. И Павлу довелось услышать выступление Иосифа Виссарионовича, как кандидата в депутаты. Это было 11 декабря 1937 года в Большом театре. Павел сидел в ложе бенуара вместе с отцом, Михаилом Амосовым и Зотовым.

Подходя к театру в этот вечер, он намеренно замедлял шаги, ловил на себе взгляды, которые казались ему понимающими и по-хорошему завистливыми. Но когда Сталин подошел к трибуне, в душе Павла не осталось уже ни капли любования своей удачей. Одно могучее и неповторимое чувство счастья наполнило его, оно подняло его со стула, осветило восторгом лицо. Он так и забыл сесть, когда Сталин заговорил, и никто в ложе ему об этом не напомнил.

В зале то устанавливалась торжественная тишина, то возникало общее праздничное оживление. И была незабываемая минута: великий Сталин призвал своих слушателей быть такими, каким был Ленин.

9 февраля 1946 года, еще будучи в армии, Павел слышал Сталина по радио.

Из «Правды» за 10 февраля Павел выписал одно место из этой речи. Выписал вместе с ремарками.

«Ваше дело судить, насколько правильно работала и работает партия (а плодисменты) и не могла ли она работать лучше. (Смех, а плодисменты).

Говорят, что победителей не судят (смех, а плодисменты), что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить (смех, а плодисменты), можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей (смех, а плодисменты): меньше будет зазнайства, больше будет скромности. (Смех, а плодисменты). Я считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей над коммунистической партией, как над партией правящей. Результаты же выборов будут означать приговор избирателей. (Смех, а плодисменты). Не много стоила бы коммунистическая партия нашей страны, если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая партия готова принять приговор избирателей. (Бурные а плодисменты)».

Так сказал Сталин от имени партии, а стало быть, и от имени Павла Алтухова.

Перечитывая эту запись, Алтухов припомнил свое глухое сомнение: а справлюсь ли? И смущенно осмотрелся, словно его могли подслушать. Он, Алтухов, обязан был справиться. Ему доверяли, как члену партии Ленина—Сталина.

Алтухов знал наизусть миллионотонные цифры, которые обозначали собой его будущее: 50 миллионов тонн чугуна, 60 — стали, 60 — нефти и 500 миллионов тонн угля в год.

Это была и его личная цель. И он жил этой мечтой, которую у нас в обиходе называют задачей и которую Сталин выразил в таких простых словах: «...при этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей... На это дело уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если не больше. Но это дело можно сделать и мы должны его сделать»...

Работа грандиозная. Пусть через три пятилетки о ней и сказку расскажут, и песню споют. Павел видел мир глазами Четвертой пятилетки. Сталин учил Алтухова смотреть еще дальше.

Мы работаем ради мира и ради счастья трудовых людей на всей планете. Не в этом ли теперь историческая миссия советского человека?

Алтухов бережно перевернул последнюю страницу речи Сталина. Читальный зал пустел. Ульяна Устиновна собирала книги.

Торопясь, Павел взялся за газеты.

В Индонезии война продолжалась, но — не с японцами. Воевали в Греции, но — не с немцами. А послушный монополиям человек в роговых очках требовал у конгресса новые сотни миллионов долларов на организацию новых войн.

Человек в роговых очках уже влез по щиколотки в кровь народов — и в Европе и в Азии.

Только-только угас всесветный пожар, а мир снова горел с разных концов. Гитлеры биты—да черчилли целы.

Но работали в мире и другие силы: на всех материках простые люди подымали свой гневный голос за мир и за дружбу с Советской страной. Собирались под открытым небом, под крышами концертных залов и зимних велодромов. Называли имя Ленина. Называли имя Сталина. Вспоминали Сталинград.

Своим примером, славой, мощью СССР миллионам простых людей открывал дорогу в будущее! Этого не вычеркнуть из умов и сердец. Есть у людей Сталин. И есть на свете коммунисты.

Павел сложил газеты.

За окном из молодой зелени поднимались стекло и бетон заводских строений. Цветники и деревья были в тени и казались отсюда густозелеными. Стекла же над ними ослепительно горели в лучах вечерней зари.

Что-то неизъяснимое, торжественное поднялось в душе Павла. Он взял в руки брошюру с речью Сталина, медленно перелистал ее еще и еще раз, с неослабевающим волнением... Павел коснулся мысли великого человека, и она наполнила его жизнь до краев.

И с горячей благодарностью он записал в тетрадь знаменитые сталинские слова, словно от своего имени:

«Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня новые, дополнительные обязанности и, стало быть, новую, дополнительную ответственность. Что же, у нас, у большевиков, не принято отказываться от ответственности. Я ее принимаю с охотой».

Глава восьмая

БОБКОВ. ЛАПШИНА

В пятницу, ровно в восемь утра, Алтухов был у Деева. По пути он поздоровался с Леней Иванеевым, напомнил об их уговоре:

— Держись, солдат!

И с удовольствием выслушал его ответ:

— Есть, товарищ капитан!

Заводской гудок только что медленно улегся, точно большое живое существо. Все более полно и слитно поднимал свой металлический голос цех. Меликова на участке не было.

Сергей Сергеевич оказался на посту, как всегда — разутюженный, аккуратный и четкий. Бросив на стол кальки и синьки чертежей, он обеими руками потряс руку Алтухову.

— Иван Трофимович информировал меня о твоих впечатлениях. Говорил, что очень тебе... понравилось! Все подряд понравилось! — Ни один мускул не дрогнул на серьезном лице Сергея Сергеевича: это была его излюбленная манера — всерьез говорить противоположное тому, что он думал.

Алтухов молчал. И Деев вдруг улыбнулся. Он редко улыбался. Редко и хмурился. Обычно его лицо было серьезно, бранился ли он или шутил. Но когда тонкие его губы неожиданно раздвигались в улыбке и открывали ряд плотных, красивых зубов (это сразу изменяло его лицо), трудно было удержаться, чтобы не улыбнуться ему в ответ.

— Ну, — спросил Деев, — видел нашу технику? Какой технологический процесс! Какие выпускаем изделия! Вот где сотки да микроны! Есть это у меня или нет? Стоит копыя ломать?

— Есть!.. Стоит! — ответил Павел кратко.

— Иван Трофимович не вышел сегодня, — сказал Деев. — Но ты, кажется, принял участок раньше, чем сдал свой старый?

— А куда же Трофимыч делся?

— Хворает старик. — Павел улыбнулся, но Сергей Сергеевич добавил со вздохом: — Нет, действительно заболел...

Это комкало планы Алтухова.

— В таком случае я попрошу вас, Сергей Сергеевич, и Варвару Владимировну — со мной на участок, — сказал Павел. — И предупреждаю: раньше чем через неделю ни вас, ни ее живыми не отпускаю.

— Это зачем?

— На консилиум. Вы — профессор, Самарцева — врач, я — хирургическая сестра.

Эта просьба совпадала с собственными планами начальника цеха. Но его с утра вызывали в министерство.

— Заседать? — спросил Алтухов сочувственно.

— Выговор получать, — уточнил Деев. — Петр Анисимович вместо себя посылает.

Но главный удар был впереди: Деев брал с собой Самарцеву. Это, кажется, больше всего огорчило и смутило Павла.

— На такое-то дело вас и одного за глаза хватит... — сказал он с досадой.

Деев укоризненно покачал головой.

— Погибели моей хочешь? Только на Самарцеву и уповаю. На ее золотой характер и черные косы...

«Незаменимый Варя человек», — подумал Алтухов, но внезапная неуверенность овладела им. Трудный первый день он начинал без Варяры.

Переступая порог участка, Павел испытал вдруг минутное чувство пустоты вокруг себя. Меликова не было. Сейчас Алтухов отдаст свои первые распоряжения. Медлить, откладывать не имело смысла. Без советов и поддержки Деева и Вари он вступал на участок.

В эту томительную минуту участок представился Павлу совсем незнакомым, а работа огромной и невыполнимой. Несколько десятков незнакомых рабочих смотрели на Алтухова, казалось ему, одинаково недочерчиво, выжидательно.

Павел надеялся увидеть на участке Находку. В первую же встречу ему понравилась в басовитом Герасиме Федоровиче сосредоточенная серьезность, скужающая манера, с какой он слушал Меликова, и двусмысленное утверждение: «без вас будет у порядке».

Но Находки в цеху не оказалось, он заступал в ночную смену. Алтухова встретил мастер Куликов, белесый человек с таким кирпично-красным лицом, что даже обильные веснушки на нем были незаметны.

Павел постарался припомнить, что о нем говорил Меликов. Ничего! Куликов оставался сплошной загадкой. Только вчера Алтухов сам был сменным мастером. Но сегодня впервые в жизни ему предстояло увидеть работу сменного глазами начальника.

Говорить с Куликовым пока было не о чем. Затеять необязывающий разговор не хотелось. С чувством неловкости и досады, словно его в чем-то подвели, Алтухов осведомился, где он может увидеть парторга. Варя называла его фамилию: Лазарев. Но и парторг работал в другой смене. Тогда Павел молча направился к Иванееву.

Велико было удивление Куликова, когда старший мастер, как равному, пожал парнишке руку, и тот принял за должное негромкий, словно смущенный вопрос Алтухова:

— Ну, Леня, с чего советуешь начать?

Ответ Иванеева оказался неожиданно дельным.

— С курильщиков, — посоветовал он, не колеблясь. И глазами указал на молодого рабочего, который зигзагом шел по участку.

— Бобков! — назвал его сменный мастер таким тоном, будто одно это имя говорило само за себя.

Бобков походил на Леню и неокрепшей юношеской фигурой, и чубом над левым глазом. Только у Лени чуб был светлый, а у Бобкова

черный. Маленькая кепочка торчала на затылке Бобкова, как тубетейка. Сквозь спецовку угадывался коротенький в обтяжку пиджак. Сапоги он носил получше лениных — хромовые. Голенища их были сжаты гармошкой и край отвернут узенькой желтой полоской. А поверх голенищ выпущены старательно расправленные гольфом брюки.

Павел не любил этой навязчивой манеры одеваться. Было в ней что-то нерабочее и несовременное.

«Ну, тебя-то я вижу насквозь», — подумал Павел.

Смена только что началась, но Бобков уже успел побывать в курилке. Теперь он шел меж станков, выбирая те из них, у которых работали девушки. Бобков угощал их остротами, столь, видимо, надоевшими, что девушки не отвечали ему даже гримасой, а только утомленно вздыхали и отворачивались от остряка.

Павлу захотелось немедленно окликнуть его, одернуть командным словом. Он сдержался. Только не торопиться, не испортить дела в раздраженье.

У своего станка Бобков на минуту преобразился. Поверхностно промерив в патроне деталь, он поспешно выключил самоход. Надо было видеть, с каким бешенством, будто хотел наказать станок, стал он вращать маховичок задней бабки. Центр отпустил деталь, и она, не поддерживаемая левой рукой рабочего, выскользнула из патрона, гремя, свалилась со станка и покатила по цементному полу, под ноги Алтухову. На полу, где она упала, прочертилась царапина.

Павел наклонился к ней, поднял. Деталь запорота. Ясно. Бобков понадеялся на автоматическую подачу, но перекурил и перегулял какую-нибудь минуту — и резец старательно снял лишний миллиметр. На торце прощупывалась забоина от удара детали об пол.

Куликов густо покраснел. Но Павел взглядом приказал ему не вмешиваться. А Бобков потянулся за деталью с таким видом, точно ему мешали. Очень хотелось ударить тяжелой ладонью по этой наглой руке... И Павел медленно сжал пальцы Бобкова вместе с деталью. Бобков pokrивился от боли, но принял это за шутку. Наверно, он не чувствовал, как больно зарезанной им стали.

Не отдав детали, Павел отпустил руку Бобкова: прикосновение равнодушно-жестких пальцев было ему неприятно.

Главное, не горячиться!

— Закурим, Бобков? Пора! — спокойно сказал он.

Бобков бойко вытащил из кармана большую квадратную коробку и раскрыл ее, угощая. Это были «Московские», толстые, как винтовочные патроны, с длиннейшим мундштуком, упакованные в двух бумажках — папиросной и свинцовой.

— Шикарные папироски, — заметил Павел.

И вдруг поскользнулся на пролитой эмульсии, чуть не упал, — эмульсией Бобков дорожил так же мало, как и металлом.

— Держись за землю! — развязно сказал Бобков.

Алтухов пропустил это мимо ушей.

Указывая на папиросы, спросил:

— Дареные куришь?

Бобков спесиво вытаращил круглые ребячьи глаза.

— Заработали! — крикнул он, захлопывая коробку. — Какие капиталы, такие и курим!

— А разве капиталы зарабатывают? Их наживают, капиталы-то, за счет других.

— Я норму выполняю, — ответил Бобков вызывающе. — Какого шу-та еще надо?

Алтухов невольно улыбнулся. Первая ослепляющая волна гнева про-тив Бобкова улеглась. Он неспеша размышлял. Решение придет.

— Я ж говорю: не по шапке папиросы. Работаешь только норму, а куришь сверхнормированные. Откуда же твои капиталы?

— Ну, вы полегче! — остерег его Бобков со своеобразным достоин-ством. — Ваше дело выговоры давать. Вы свое дело и знайте. — Он похлопал себя по карману, оттопыренному коробкой «Московских». — А что тут и откуда—вас не касается!

— Гнать тебя с завода поганой метлой! — взорвало Куликова.

Алтухов незаметно придержал его рукой.

— Пож-жалуйста! — беспечно развел руками Бобков. — Хоть с зав-трашнего дня. Не заплачем!

Алтухов вспомнил заявление Лени, доверенное ему в памятную ночь на заводском дворе. Нет, не похож Бобков на Иванеева. Этот куда пожиже человек. Древнее словечко «капиталы» звучало в его безусых устах так же смешно и чуждо, как в лениных «бабы». Можно не сом-неваться, тоже блажновское слово. И за наглостью Бобкова, которая сама по себе довольно противна, чувствовался стыд, горючий стыд, какой может испытывать только мальчишка. Его-то он и прикрывал своим наигранным нахальством. Нужно приглядеться. Может быть, способ-ный парень. Недостает характера. Вот и распустился, разменялся на длинные папиросы да гофрированные сапоги, рассыпался в самонадеян-ных словечках. Не обожгло его еще огоньком ответственности. Пожа-луй, и трудностей порядочных не нюхал. Иванееву жилось трудно. Это-му — легко. Вот и весь секрет. Алтухов готов был поклясться, что роди-тели Бобкова живы, здоровы и вполне обеспечены. И, наверно, весьма озабочены и отягощены замашками сына, которого не умеют держать в руках. Очень занятые, вероятно, люди. Недосуг им воспитывать сына.

Также не доходили до Бобкова руки и у Меликова. Не объясняли Бобкову, что не нормой держится жизнь, что смысл жизни в том, что-бы перешагивать нормы, и это дело неисчерпаемо, нескончаемо увлека-тельно. Теперь Алтухову предстояло, как говорил Леня, «сделать чело-века» из этого паренька.

Бобкова придавил неторопливо-изучающий взгляд Алтухова. Парень не выдержал:

— Чего смотрите? — проговорил он с жалобно-вызывающим ви-дом. — Давайте выговор!

Он ждал нотаций. Ему хотелось их. Так детям молчание взрослых страшной самых шумных попреков.

Алтухов удивленно переспросил:

— Выговор? — и, чувствуя, что сейчас Бобков внимательно выслу-шает каждое его слово, сказал: — Мой выговор кое-чего стоит, Бобков. Я свой первый выговор на участке израсходую с толком. Я человек рабочий...

— А я кто — не рабочий?

Этого вопроса и ждал Павел. Паренек задал его тоном пониже, без наигрыша. Его пугало, что он не понимает этого немногословного чело-века, как понимал, по его убеждению, Меликова, Куликова и всех дру-гих в цеху.

Павел намеренно не ответил ему на этот вопрос.

— Комсомолец?

Бобков промывчал отрицательно.

— С кем дружишь?

— У меня дружков, как собак нерезаных! — и Бобков опять похлопал себя по карману с «Московскими». Парень еще артачился. Губы его кривились небрежно, по привычке, и он осмелился повторить вопрос: — Кто ж я, по-вашему?

Но в глазах Бобкова Павел прочел страх перед его прямым ответом. Взвесив на ладони запоротую деталь, Алтухов ответил:

— По-моему, ты трус, Бобков.

И, уходя, Павел успел заметить, как ударили его слова в округленные изумленьем глаза.

Куликов догнал Павла; взволнованный не меньше, чем Бобков.

— Что уж вы как... — зашептал он неодобрительно. — Ну, хоть дураком обзовите. Покричите. Он сейчас такое сочинит... Закаетесь, что связались!

— Кричать, браниться не советую, — ответил Павел. — Говорите с молодым рабочим, как с самим собой.

— Да вы их не знаете!

— Это будет мое первое к вам требование, товарищ Куликов. И на нем я проверю, как мои указания будут выполняться.

— Не согласен я с вами! — заявил сменный с ноткой обиды в голосе.

— Тогда, стало быть, против вашего согласия, но на участке будет так, как я вам указываю.

— Ну, уж вы... — проговорил Куликов не особенно решительно, — жестко берете. Я, знаете, за такое отвечать не могу.

— Я отвечу, — успокоил его Алтухов.

С этой минуты Павел не колебался. Пустота вокруг него ошутимо заполнялась.

Первый шаг был сделан. Ловкий или неловкий — покажет будущее.

Куликов расчетливо промолчал: ему не нравилось, как Павел берет-ся за дело. Не больно это приятно для начала. Да что ж поделаешь!

Молодая работница неслышно подошла, словно подкралась к Куликову сзади и безразличным голосом попросила:

— Василий Антонович... ко мне...

Повернувшись, она вразвалочку отправилась к своему станку. Куликов послушно пошел за ней. Алтухов, скрепя сердце, — за ними.

Меликовские порядки давали себя знать на каждом шагу. Наладчики не справлялись с работой. И вот мастеру приходилось убивать время на работу за них.

Не один станок на участке еще дожидался рабочего хода. Руки сами тянулись — наладить, запустить... Но образ растерзанного на части Ивана Трофимовича встал перед Павлом.

Только не пугаться того, что пока работа стоит и зотовская программа «плачет» на глазах Павла. С первого же дня начать по-своему. Иначе не заметишь, как затянет текучка, и Меликов посмеется, на тебя глядя. Пусть думают: «Гуляет старшой, раскачивается». Как бы ни посмотрели на это кажущееся равнодушие к текущим, кричащим нуждам участка, уступать было губительно. Или вести свою линию, или придется извиняться перед Трофимычем.

Алтухов приветливо протянул работнице руку. Она удивленно подала свою. Рука у нее была вялая.

Павел спросил ее:

— Как ваша фамилия?

Она не сразу собралась ответить. Ответ ее был такой:

— А на что вам?

— Лапшина, — сказал за нее Куликов.

Алтухов посмотрел на свою руку. Ладонь была в эмульсии. Почему Лапшина подала ему руку, не обтерев ее? Павел взял у нее кусок ветоши, тщательно вытер ладонь. Но Лапшина, казалось, не заметила этого.

Куликов с видимой неохотой возился у станка, стараясь поменьше его касаться: станок был грязен. И здесь Павел узнал его — этот станок он отметил еще позавчера.

— Подай кулачок, — попросил мастер.

Лапшина не двинулась с места.

— Какой?

— От патрона. Какой!

— Вон он лежит...

— Подай! — повторил мастер.

Она подала медленным, полусонным движением.

— Вы что, хвораете, нездоровы? — спросил ее Алтухов.

Девушка отвела взгляд в сторону, дениво ответила:

— Вас не касается.

— А вас касается?

Она молчала.

— В соревновании вы участвуете?

— Участвую.

— С кем же соревнуетесь?

— Ни с кем.

— Что ж это за соревнование!

— А если никто не хочет... со мной?

— Вот что! Вызовите.

— Не стану я...

— Почему?

— Не стану, и всё. Взяла на себя обязательство, и ладно. — Она покосилась на Алтухова недовольно. — Что вы с разговорами пристали? Мне работать надо.

— Работать! — закричал Куликов. — Работать! Ну, работай! — и он уступил ей место у станка.

Лапшина медлила: патрон хоть и был подготовлен по детали, но еще лежал на станке.

— Ну, что же ты? — подтолкнул ее Куликов. — Набаловали тебя! Патрона на шпиндель навинтить не можешь! Горе ты наше! Одна надежда, что товарищ Алтухов погонит тебя с участка!

Лапшина молчала, опустив крупные руки. И Куликов снова взялся за патрон.

Алтухов заглянул в ее рабкарту. Лапшина получала за деталь 22 копейки. Немало! Сколько же она зарабатывала?

Лапшина назвала цифру.

— При такой высокой расценке! — поразился Павел. — Вдвое больше гуляючи можно было выработать.

— А мне не надо...

— Что ж вы делаете у станка целую смену?

— Что делаю! Работаю, — рассердилась Лапшина.

Наконец деталь повисла между бабок, резец был установлен, риски на заготовке размечены. Лапшина взялась за рукоятки фартука.

Но Куликов не успел отойти, как снова понадобился у станка. Алтухов видел, как неловкие руки Лапшиной в раздраженье бесчувственно заторопили станок — это было равносильно тому, как ни за что ни про что подхлестнуть коня.

Станок обиделся, двинул сгорячя суппорт на деталь и сломал резец. Толстый граненый прут закаленного металла треснул, как сухая палка. Любовно изготовленный, нужный инструмент одним движением был обращен в лом.

«Какие грубые руки... Какие у нее грубые руки!» — содрогаясь, подумал Алтухов.

— Вот что, девушка...—сказал он, переходя на «ты» и стараясь говорить как можно мягче. — Плохо ты о себе заботишься. А еще хуже — о своих товарищах. А ведь живешь на их счет. Сосед твой — передовик, стахановец. Он тебя и кормит. Себя ты не окупаешь. И что он делает хорошего, полезного, то ты съедаешь. Его успехами питаешься.

— Еще чего выдумаете! — проговорила Лапшина, по-детски пожав плечом.

— Я говорю это пока тебе одной, — продолжал Павел, — да вот Василию Антоновичу. Я с такой работницей не примирюсь. Читала в газетах, как ставится вопрос о рентабельности? Так вот, это речь о тебе непосредственно. Мне тебя на участке держать невыгодно, понимаешь? Нерентабельно.

— Во-первых, участок не ваш, а государственный... — сказала Лапшина и по-детски же подняла указательный палец!

— А во-вторых?... — спросил Алтухов. — Государство-то — кто? Государство — это мы. — Павел не позволил себе улыбнуться. — Оно пришло и сказало: дорогие товарищи, если хотите добра самим себе, соблюдайте мои интересы...

Куликов глянул в недоуменное лицо Лапшиной и расхохотался.

Позднее Куликов сказал Алтухову:

— Вы, конечно, избавитесь от нее. Замучились с Лапшиной да с Бобковым.

— Нет, нет, товарищ Куликов! — категорически ответил Алтухов. — Лапшину я не уволю. И Бобкова тоже. Увольнений никаких не будет. Разве что в самом крайнем случае... вот если докажете мне, что мы с вами ничего не стоим! А этого вы доказывать не станете.

— Да что вы с ней сделаете? Пушкой не прошибешь! Гипнотизер вы, что ли?

Алтухов промолчал. Конечно, с Лапшиной намучаешься. И с Бобковым тоже.

Куликов истолковал молчание Алтухова по-своему: старшой, видимо, робок в этих вопросах. Надо на него нажать. Но старший мастер опередил его.

— Я попрошу вас... — вдруг сказал Алтухов. — К вечеру подготовьте плакатик: «Самый грязный станок на участке». Хотя бы на оберточной бумаге, от руки. Но чтоб ко второй смене он висел у нее на станке.

— Товарищ Алтухов! Срам!.. И так на нас все шишки валятся. Что же нам самим-то себе на голову? Чем участок виноват?

Алтухов покачал головой, не соглашаясь.

— Своего срама прятать не будем. Искоренять его будем. Не бойтесь выносить сор из избы...

— Тогда уж позволяте так: единственный грязный станок на участке...

— Да будет вам кокетничать с самим собой! — усмехнулся Павел.

— У меня рука не поднимется, — пробормотал Куликов. — На участке будут недовольны. И наверху не похвалят. Мне тоже ссориться со всеми неохота. Вы поймите..

— Понял, понял, — сказал Павел. — Стало быть, к концу смены поставите.

— Ну, тогда на себя берите...

— На себя. Только на себя, товарищ Куликов, — проговорил Павел резко.

Чем усердней старался сменный оберечь его и самого себя от хлопот, тем ясней чувствовал в себе Алтухов способность и желание работать. Лапшина... Откуда взялась такая девушка, чем живет, чем дышит? Откуда в молодом существе столько равнодушия? Даже Бобкову далеко не все безразлично. А ей все равно. Даже заработков ей не надо...

А впрочем, это у нее показное. Просто не умеет девушка жить «на людях», в заводском коллективе. Выросла она, по всей видимости, в небольшой, замкнутой в себе и, наверно, обывательски настроенной семье. Жила у отца с матерью как у христа за пазухой и привыкла равнять весь мир по своему маленькому семейному миру. Может быть, так и рассчитывала прожить потихоньку, в тени, — за хорошим любимым мужем, как жила за добрым любимым отцом. А жизнь привела ее в цех. Понятно, девушка растерялась и еще больше замкнулась в себе.

Годы были трудные, требовали от человека не по возрасту много. Может, она даже обиделась, отделила себя от людей, от товарищей. Надо вытолкнуть девушку из ее уголка на простор общественного внимания. Щиток над станком Лапшиной будет упреком не только ей самой, а в первую очередь ее соседям по участку. К тихонькой и отстающей Лапшиной привыкли, надо заставить людей устыдиться этой привычки.

Жаль, нет Лазарева в смене Куликова. Как смотрит на Лапшину, на Бобкова парторг? Знает ли он их, замечает ли их? Внутреннее чувство, основанное на знании заводского народа, на любви к нему, говорило Алтухову, что Лапшина и Бобков — печальные одиночки в рабочем коллективе. Это чувство было безошибочно в нем. Но и за этих одиночек в равном ответе и командир, и политработник. Бой впереди предстоит жаркий — утроение программы. Что думает об этом парторг?

Глава девятая

ЛИЗА

Алтухов чувствовал, что его заприметили.

Трудно сказать, кому больше он был этим обязан — Зотову, Дееву, Варваре, Меликову или Лене, но о нем уже знали в цеху. И новый «старшой» оказался всем интересен.

Не одна пара глаз следила за ним, искала его среди станков. Павел читал в этих глазах не только любопытство, но и ожидание. Это ободряло его.

Негромкий, спокойный голос старшего мастера долетал до слуха рабочих сквозь станочный шум. Весь участок знал о разговоре с Бобковым. И тот и не тот был Бобков после встречи с Алтуховым. Даже Лапшина как будто стала живой.

Леня Иванеев с беспокойством следил за маршрутом Алтухова. Сперва один, потом другие молодые рабочие побывали у Лени. Алтухов догадывался, с чем они шли к Иванееву. Он попросил Куликова назвать их фамилии.

— Орлов, Румянцев, — охотно отозвался сменный.

Наконец Леня подошел к Алтухову и, глядя в землю, попросил:

— Товарищ капитан... Вы к Лизе подойдите.

— А что твоя Лиза? — вмешался Куликов не без ревнивого чувства.

— Ребята велели сказать.

— Ребята, ребята! На слова все вы мастера...

Но этот парень имел непонятное влияние на старшего мастера. Алтухов тотчас же отправился на другой конец участка к станку Лизы...

В Лене Павел увидел делегата от молодых и очень порадовался этому. Куликов относился к ним явно по-меликовски. И было это нетерпимо. Ломать, ломать возрастные предрассудки!

Как ни много, после просьбы Лени, ждал Павел от встречи с Лизой, все же он в изумлении остановился перед ее станком. Это был обыкновенный токарно-винторезный, типа Т-4, каких тысячи у нас на заводах. Он незаметен среди других, как незаметна обжитая скамья. Но мимо этого Т-4 нельзя было пройти равнодушно. Трудно было оторвать взгляд от дюжины рукояток и маховичков на бабках, суппорте, фартуке станка. Они притягивали, гипнотизировали, подобно солнечным бликам на глади пруда. Они казались прозрачными—так сияли и на свету, и в тени.

Ходовой валик и ходовой винт справа и слева от суппорта были покрыты такой чистой и ровной смазкой, что казались сухими. Вращаясь, они струились и лились, точно стеклянные; на валике неподвижно лежала длинная и непрерывная нить света, на винте она округло и плавно вилась нескончаемой спиралью. И если сощурить глаза, можно было по этой игре света с наслаждением видеть, как идеально они обточены и прямы.

Пирамидальные направляющие станины блестели, как ножи. Головки винтов на резцедержателе были так начищены, что отчетливо рисовались все их фигурные грани и риски. Левая нога станка, похожая с фасада на человеческую, казалась одетой в новый сапог, так тщательно она была начищена. На передней бабке Павлу бросилась в глаза игольчатая линия сварки. Словно чистый шрам на хорошо умытом лице.

И даже пол под станком был светел и чуть зеленел. Так зеленеет свежезастывший цемент. Пол был недавно вымыт.

Но больше всего поразила Алтухова сама работница; он узнал в ней девушку, которую Меликов вчера не пускал на учебу.

Так она не уборщица, а токарь!

Высокая девушка с узенькими плечиками и тонкими руками. Округлое юное лицо. Чуть вздернутый нос, губы — сердечком. И светлые, искренние глаза, полные заботы, внимания, интереса. Она казалась невесомой, так легки были ее движения. Дорого было видеть у станка истинное изящество, женское, юное, но без признака слабости. Чувствовалась в девушке серьезная сила. Это была сила нацеленной, разумно приложенной энергии.

Прикоснись к маховичку — неизбежно останется на металле мутное пятно, как бы хорошо ни были вымыты руки. Лиза каждый раз вытирала эти следы суконной тряпичей. Сколько терпеливого внимания, железной дисциплины, труда и любви к станку!

Алтухов хотел было испытать чистоту станка носовым платком, как это делают паровозники, принимая локомотив. И не решился. Его платок был для этого недостаточно чист. Павел знал, что на участке не существует постоянного прикрепления рабочих к станкам. Неужели каждый новый станок Лиза так обихаживала, так украшала своей любовью?

Павел понял: в этой чистоте была не только исключительная старательность, но принципиальность.

Что за прелесть девушка!

Подавая Алтухову руку, она назвалась по имени, как и Леня, и уж только позже добавила, чтобы не показаться фамильярной:

— Смирнова.

Стало быть, на участке были Бобковы и Лапшины, были Лени и Лизы. Не случайно одних называли по фамилиям, других по именам. К этому следовало присмотреться:

— Вам, товарищ Лиза, в госпитальную бы палату, к операционному столу, — сказал Алтухов.

Голос Лизы был чуть хриловат, простудилась на весенних цеховых сквозняках.

— Я училась немного в медтехникуме, мечтала стать врачом, — ответила она, не отрываясь от работы.

— А теперь уж не мечтаете?

— Как не мечтаю! — возразила она с юной нетерпимостью. — Нет, я мечтаю... И буду врачом! Ну, годом позже, но все равно добьюсь!

Алтухов не спросил, почему она бросила медтехникум, почему не помогли ей родные. Он спросил иначе:

— Кто у вас на иждивении?

— Только бабушка.

— Больная? — Лиза молча вздохнула. — Что с ней?

— Гипертония.

— Давно?

— Всю войну, с первых бомбежек.

— Отца, мать засыпало, — шепнул Куликов за спиной Лизы, — осталась с бабкой на руках...

И Павел отметил: сама не сказала!

— Что ж, был с ней удар?

— Два раза...

— Спасли?

— Вытянула.

— Пиявками, — вставил Куликов.

— Где ж вы их доставали во время войны?

— Ну, если очень захочешь... — проговорила Лиза, и серый глаз ее, обращенный к Павлу, досказал остальное. — Еще кровь ей пускала.

— Сама?

— Я ж училась.

— А инструменты?

— Достала.

— А встает она, разговаривает? — поинтересовался Куликов.

— Встает иногда... Понимает меня. Но я ее — с трудом. — Лиза опять вздохнула. — Соседи тоже работают. Она одна лежит.

— А вы не хотите устроить ее в больницу? — спросил Павел.

— Н-не знаю, — ответила Лиза нерешительно. — Если только в хорошую...

Павел не скрыл своего удивления. Возможно ли, чтобы после многих трудных лет, да еще в войну, эта девочка с хрупкими плечами ни сколько не тяготилась лежачей больной, старым человеком, без языка и, наверно, полуслепой? Неужели она не испытывала минут отчаяния, не скрывала слез? Конечно, испытывала, скрывала. И потому-то не хотела отпустить бабушку в больницу.

Куликов, однако, истолковал ее ответ, как нескромность. Он обеспокоился, как бы этот разговор не обязал в чем-нибудь старшего мастера.

— Хорошую? — переспросил он. — А кого же в обыкновенную назначишь?

— Не мешайте, — сказал Алтухов тихо и сдержанно, но так посмотрел, точно оттолкнул взглядом.

Почему же эту чудесную девушку не поднимали на участке? Почему промолчал о ней Куликов, а Меликов посмел послать ее подметать цех?

Алтухов попросил у Лизы рабкарту. И подивился. И здесь он увидел высокие расценки, хотя и меньшие, чем у Лапшиной. Деталь стоила копейки. А государство платило десятки копеек. Нормы на участке завышены. Они рассчитаны на слабого рабочего. Государство переплачивало Лапшиной, чтобы дать ей возможность при ее плохой работе содержать себя. Переплачивало государство и Лизе, хотя ее в ряд с Лапшиной никак нельзя было поставить.

Павел осведомился у Куликова, сколько зарабатывает Лиза.

— Сколько? — переспросил Куликов Лизу.

Она ответила.

— У иных инженеров такой оклад, — заметил сменный Лизе настоятельно.

— Я знаю, — сказала она, словно оправдываясь. Алтухов укоризненно покачал головой.

Работнице, которая так любит свое дело, нужно было получать намного больше и при более скромных расценках! В чем же дело?

Алтухов обошел сверкающий станок Лизы. Мотор стоял обычный на 1,3 киловатт, давал 1 430 оборотов в минуту, но Т-4 тянул медленно, слабо. Павел глянул на шкив. Вот причина! Шкив был явно узок, маловат в диаметре. Покрупнее бы шкив — и станок потянет, может быть, вдвое мощней.

Почему же на станке такой шкив? Случайность?

Это было бы слишком просто. Мастера на участке знающие, в этом можно поверить Ивану Трофимовичу. Этот шкив видели и, тем не менее, оставили его на станке. Почему?

— Ну-ка, Лиза, прибавьте скорости, — попросил Алтухов, но эта безобидная просьба смутила работницу.

— Рабочий ход!.. Рабочий ход не забудь выключить! — крикнул Куликов.

— Да знаю, — с досадой ответила Лиза.

Конечно, это азбучное правило. Почему же вздумалось сменному напоминать о нем Лизе? И что ее смущало?

Лиза медлила. Глаза ее косились то на резец, то на Куликова. Она не решалась ускорить рабочий ход станка, прибавить резцу нагрузку. Она боялась форсировать работу. Что же это — страх неопытного человека перед техникой, перед скоростью, темпом?

Куликов подмигивал Павлу из-за спины Лизы. Сменному было уже все ясно.

— Ну что же, Лиза? Что же вы? — поторопил Павел, желая придать ей бодрости.

— Я боюсь, — призналась Лиза откровенно. — Резец искрошу. Режущая кромка скалывается.

— Почему?

Лиза переглянулась с Куликовым и запнулась, отвечая:

— Не знаю.

Девушка стояла, не решаясь поднять на Алтухова глаза. Нет, Павел не мог обвинить Лизу. Ее «не знаю» звучало иначе, чем у Лапшиной «вас не касается».

Он сам стал к станку, исподволь наблюдая за волнением Лизы.

Павлу не нужен был индикатор, чтобы определить, что этот сияющий Т-4 просто усталый, разболтанный станок. В подшипниках задней бабки была, видимо, слабина. Шпиндель играл в подшипниках. Его биение отдавалось на резце — деталь неуловимы для глаза толкала, стучала резец по самому чувствительному месту, по режущей кромке. Никакая сталь не выдержит этого стучания.

Вот почему на станке стоял уменьшенный шкив. И на таком-то станке держали Лизу! И такой-то станок она любила столь самоотверженно!

Алтухов ни слова не сказал Куликову. Подобные открытия, видимо, и в дальнейшем ожидали его на участке. К ним привыкли, и потому перестали их замечать. С мастерами — разговор в другом месте и в другое время!

Куликов деловито прокашлялся.

— Я себе взял на заметку... Это — временно, конечно... — обнадежил он.

Алтухов не сомневался в этом. Усталый станок не мог здесь оставаться долго. Сама жизнь вытолкнет его из цеха, в котором создается микрометр. Сменный мастер не понимал другого: пусть «временно», но он тянул работницу во вчерашний день, когда приходилось работать подчас не только на усталых, но и на отсталых станках. Сегодня было уже преступленьем заставлять работницу преодолевать немощность хворого Т-4. Такой работнице, как Лиза, это просто подрезало крылья. Перед Лизой должно поставить более сложную и, главное, современную задачу: проверить проектную норму своего станка, поискать в обжитой и облюбованной ею модели такие мощности и скорости резания, каких не предусматривали конструкторы.

Чего добился Куликов? Того, что Лиза примирилась с неполноценным станком — «временно, конечно»... Может быть, своим «не знаю» Лиза пыталась покрыть вину сменного. Она его жалела... Добрая девочка. Не потому ли он так мало ценил ее? На участке привыкли прощать друг другу мелочи. Ведь дела в общем шли благополучно.

И все-таки Лиза сумела принудить усталый станок послушать, вопреки узкому шкиву и крошению резца. В этом было главное. Даже «временно» Лиза не снизила выработку, не ухудшила качества.

Так что же — ждать, пока Лиза подрастет и в один прекрасный день полным голосом упрекнет своих начальников в том, что ей закрывают дверь в будущее? И так бывает... И едва ли этот день далек.

Куликова окликнули, его требовали на наладку. Но он не уходил, ему хотелось услышать решение старшего.

— Так! — проговорил Алтухов и улыбнулся Лизе, искренне довольный тем, что оправдал ее перед собственным судом. — С завтрашнего дня ставлю вас на лучший станок на участке. Выберите себе любой. И не Т-4, а модель поновей. Я сам выберу.

Лиза молчала в смущенье. После того как новый старшой услышал ее первое вынужденное «не знаю», она ждала иного.

Молчал и Куликов, словно пойманный с поличным.

— А этот? — решила спросить Лиза, не веря тому, что слышала.

— Этот мы омолодим. Если захотите, вернетесь к нему. Согласны?

— Да...

— Второе, — продолжал Алтухов. — Сможете ли вы выйти на работу к станку в белом халате?

Лиза задумалась не надолго. Павлу не пришлось объяснять ей смысл и значение этого неожиданного предложения. Не смутил ее и Куликов, многозначительно разводивший руками.

— Смогу, — ответила она тоже весело, в тон Алтухову.

— Но, Лиза, стирать придется чаще, чем в больнице, — предупредил Алтухов.

— Об этом не беспокойтесь, пожалуйста.

— И третье. Будете бригадиром. Дам вам молодежную, комсомольскую.

— Мне? — воскликнула Лиза, поворачиваясь к Куликову, как свидетелю, который уж наверняка знает, что на бригадирство она неспособна.

Но Куликов только прокашлялся. Алтухов не Иван Трофимович, его не пошатнешь здравыми сомнениями. Пусть! Ему отвечать.

— Я понимаю, Лиза, — сказал Алтухов, — трудно придется вам. Мало останется времени для дома... Но бригадиром вам все-таки быть. Настраивайте себя, нацеливайте на это, готовьтесь, начиная с сей минуты. Вашу бригаду представляю себе, как передовую. Вы покажете, как надо работать рентабельно.

Лиза не привыкла отказываться от трудного. И дом — не препятствие. Но она считала себя обязанной предупредить, что такое доверие ей просто не по силам. Много у нее и общественной работы, она была комсоргом.

— Вы комсорг? — обрадовался Алтухов. — Отлично, Лиза! Это вам только поможет, таково мое глубокое убеждение. Стало быть, вы хорошо знаете людей. Сколотите примерную бригаду. Сразу же выбирайте себе подходящих. Придется найти людей и для другой бригады. Надо же вам с кем-нибудь соревноваться! Вы с кем сейчас соревнуетесь?

— С Иванеевым.

— Индивидуально?

— Индивидуально.

— Бригадой интересней.

— Конечно, интересней!

— Так вот, начинайте разговор с людьми.

— Люди есть. Только чему я их научу? Мне самой в пору учиться...

«Учиться придется всем, — подумал Алтухов. — Целым участком братья за учебу. И Лапшину заставить. И Куликова. И себя самого — не миновать. Это дело надо продумать особо. С Лазаревым посоветоваться, с коммунистами».

— Учить людей, Лиза, это значит и самому учиться. И я у вас многое возьму. А вас заставлю взять у меня, у товарища Куликова.

«Заигрывает...» — подумал сменный.

— А люди, говорите, есть? — задал Павел главный свой вопрос и придержал Лизу за локоть, словно прося подумать, не торопиться с ответом.

Девушка не поняла его.

— Конечно! — ответила она. Уверенность ее была приятна.

— Например? Назовите троих.

— Ну, хотя бы Иванеев Леня, Толя Румянцев, Миша Орлов...

— Отлично!

Эти имена он и ждал услышать. Эти трое направили его к Лизе. Верно направили. Вот и актив.

Лени и Лизы посильней Бобковых и Лапшиных. Первые потянут за собой последних. И придет такая счастливая минута на участке — и Бобкова и Лапшину станут называть по именам.

*Глава десятая***ГРОВОВА. СОРОКИН**

По чести говоря, для особой радости пока не было причин, но внутренняя скованность, с которой Павел вступал на участок, боязнь за себя как будто рассеялись. Мысль уже не путалась и не темнелась волнением.

С утра Павел готовился к встрече с Блажновым. Собственно говоря, он и встретился с ним утром — на отдалении. Сразу после разговора с Бобковым Павел услышал за своей спиной крикливый голос Сарафана:

— Ты!.. Маховик держишь, не тарелку! На кухню шла бы — ляды точить... Ох, юбки, юбки!..

Павел едва сдержался, чтобы не схватиться с Блажновым. Но затевать перебранку — значило бы встать с Блажновым на равную ногу. Павел чувствовал, что робел, робел перед Сарафаном. И упускал время.

— Большой, — отозвался о Блажнове Куликов, как бы утешая Алтухова.

Пока слышен был голос этого крикуна, Павел не мог считать себя хозяином на участке.

Сейчас на очереди у Алтухова были старики.

Павел помнил: на участке работала подружка матери Евдокия Егоровна. Тетя Дуня. Не тонкопряха, а тонкоточка... Она была одною из девяти кадровиков — столько, кажется, насчитывал их на участке Меликов.

— Где же тут Громова? — спросил Алтухов вслух.

И тотчас ему ответили справа и слева, в два голоса:

— Тетя Дуня? Вот она... — Двое рабочих у соседних станков предупредительно ждали, не спросит ли Алтухов еще что-нибудь.

Павел поблагодарил обоих. Кажется, пока ему прощали медлительность в отношении Блажнова. А может быть, брань и грубость Блажнова уже не замечают, как не замечают шума станков? Нехорошо, нехорошо...

Алтухов шел к станку Громовой, когда его нагнал Куликов. То и дело сменному приходилось отвлекаться, но он изо всех сил старался поспеть за Алтуховым. Ему было беспокойно, но, признаться, интересно. И попрежнему хотелось поскорей наладить со старшим контакт.

У станка стояла широкогрудая, крепкая женщина. Ее лицо иссекли морщины, но тело было еще молодо, сильно и дышало здоровьем. Волосы свои, подстриженные коротко, она убрала под красный платок. Очки носила в железной оправе.

Вид имела Громова несколько старомодный и солидный. Посмотришь на нее — потомственная работница и общественница, беспокойный, речистый человек. Ее рабочее место было хорошо обжито. Держалась она у станка домовито, хозяйственно. Все в ней было крупно, веско, спокойно. Мужская, привычно-уверенная повадка.

Одну особенную черту уловил в ней Павел. Когда Громова бралась за измерительный инструмент, движения ее неуловимо мельчали, убыстрялись, теряли силу. Человек начинал многократно замахиваться, прежде чем ударить. Евдокия Егоровна не доверяла немолодым своим глазам.

К великому удивлению Павла, Громова сделала вид, что не заметила его приближения. Она усердно поворачивалась к нему спиной, к шкафчику за инструментом подвигалась боком, идя к ящику с заготовками — пятилась. Она не смешалась, как это бывает с молодыми рабочими под взглядом начальников. Но ей явно не хотелось поздороваться с Павлом.

Алтухов понял — почему. Горда тетя Дуня! Если сейчас заговорить с ней, она ответит нелюбезно. Видимо, боялась вопроса: как с выработкой, уважаемая Евдокия Егоровна?

Мать рассказывала Павлу о жалобах тети Дуни. Старая работница набила руку на нескольких деталях, усовершенствовала их технологию и давала полтораста процентов. Но Меликов поставил ее на другие детали. И так случилось — отстала тетя Дуня, через сто процентов не перешагнула. Гордость не позволяла ей просить у Меликова прежней, налаженной ею и выгодной работы. Если Громова и жаловалась, то только матери Алтухова, да и то по секрету.

Алтухов спросил Куликова вполголоса:

— Почему ставите Громову на эти детали?

— А какие же ей дагь? Специальные для нее одной, что ли?

— Разве она требовала специальных для себя?

— Да нет...

Все ясно: этой работой, трудной для глаз, Меликов «удружил» Громовой за ее строптивость. Мать рассказывала, что тетя Дуня не жаловала цеховое начальство — ни дядю Васю, ни Трофимыча, и не однажды критиковала их на производственных совещаниях. Куликов явно был на стороне Ивана Трофимовича. Какая чепуха! На кого же они, в самом деле, опирались на участке? Неужели, как говорил Леня, на Блажнова?

Алтухов так и не заговорил с Егоровной, уважил ее гордость. Отходя, Алтухов обернулся и поймал на себе ее долгий взгляд. Очки она подняла на лоб, ладонью приглаживала взмокший от пота висок. И теперь, на отдалении, тетя Дуня поклонилась Павлу, словно благодаря его за то, что он разобрался сам, на ходу, и не нужно ему ни жалоб, ни нудных разъяснений.

Павел кивнул ей понимающе, одобрительно. Евдокия Егоровна насупилась, склонилась над суппортом. Тоже мужская черта: женщины, когда растроганы, поднимают брови, мужчины — хмурятся.

Алтухов спросил Куликова:

— Найдется у нас работа того же разряда, но покрупней?

На этот раз сменный сделал вид, что не понял Алтухова. Рыльце-то у него было в пушку. И Павел не стал пускаться с ним в объяснения.

— С завтрашнего дня найдите для Громовой работу по глазам, — приказал он. — И будет перекрывать норму.

Куликов понял, что Алтухов ничего не забудет, что он записал на его счет неправоту и найдет случай чувствительно ее припомнить.

Иван Трофимович в этом случае не раз уже накричал бы и на рабочих и на сменного. Сдержанность Алтухова была куда страшней крика.

Новый старшой присматривался не только к рабочим, но и к нему, Куликову, и делал это достойно: он давал ему возможность показать себя, как он сам того желает. Это ли не настоящее уважение к мастеру и к товарищу! Следовало бы и с ним — попрямей, пооткровенней. Его совет говорить с молодыми, как с самим собой, быть может, не так прост. Это значит: говори и со мной, как с самим собой...

Куликов намекнул было, что меж Алтуховым и Иваном Трофимовичем есть разница. Но этого человека нисколько не тешило то, что он лучше Меликова. Он не ругал своего предшественника, как это сделали бы на его месте многие. Лести, услужливости Алтухов не искал.

И без того румяное лицо Куликова налилось кровью.

Алтухов заметил его смущенье.

— Так что ж, Василий Антонович, ведите, куда хотели.

И так хорошо они поняли друг друга, что Куликов повел его туда, куда хотел и сам Алтухов — к станку Николая Сорокина.

— Познакомьтесь! — сказал сменный, подходя к Сорокину.

Рабочий не повернулся к ним. Он только кивнул головой, показывая, что слышит их. Он был занят.

Многое в нем было знакомо Павлу. Станочника Сорокина он не помнил. Но если вместо шелковой рубашки одеть его в ситцевую косоворотку, вместо хорошо сшитого костюма в парусиновую робу, заметить новые полуботинки тяжелыми сапогами и омолодить человека лет на десяток, то не окажется ли он тем самым бетонщиком Колей Сорокиным, с которым Алтухов начинал свою трудовую жизнь?

Но не только свою юность узнавал Алтухов в Сорокине. У этого рабочего было чему поучиться. В работе Сорокина Павел увидел не одно сегодняшнее, но и черты завтрашнего в нашем производстве.

Казалось, этот худощавый рабочий с бледным, невозмутимо-спокойным лицом был медлителен, как Лапшина. Казалось, большую часть времени у станка он ничего не делал.

Но он не делал лишнего. Он не мазал. Если требовалось повернуть маховичок на две трети оборота, он выполнял это одним плавным, как будто ленивым движением, но без проверок и поправок. Предмет, за которым он протягивал руку, неизменно оказывался на месте. Он управлял станком не глядя, но вовсе не на ощупь, не наугад, а словно видя все второй парой глаз — рука его не искала, а уверенно нажимала, поворачивала, находила нужное сразу и наверняка.

В любой станочной операции есть две стадии — черновая и чистовая. Движения Сорокина были все чистовыми, окончательными.

И была в его работе такая ритмичность, что Алтухову словно слышалась беззвучная музыка, в лад которой Сорокин проделывал свои плавные, точные, разумные движения.

Отец похвалил бы такую работу, подумал Павел. Лизе еще далеко до Сорокина. Вот у кого учиться и ей, и Лене, и многим другим!

Этому рабочему не нужен был наладчик. Алтухов увидел на станке Сорокина специальные приспособления, особую оснастку — вероятно, его собственного изобретения. Не всякий наладчик смог бы сразу разобраться в этой оснастке, и во всяком случае Сорокин налаживал ее быстрее любого наладчика.

Сорокин обрабатывал микровинт, одну из главных деталей, на которые опиралась непосильная простому глазу точность микрометра.

Коснись детали шлифованным торцом винта и гладкой, как застывший вар, пяткой скобы, нежно прижми винт трещеткой, закрепи стопорным кольцом и считай на гильзе миллиметры, а на нониусном барабане сотки. Складывай: 7 плюс 0,5 плюс 0,02. И смело доверяйся этим цифрам — размер твоей детали семь и 52 сотых миллиметра! 7 плюс 0,5 с грехом пополам измеришь линейкой. 0,02 глаз не увидит, палец не прощупает. Эти две сотки нащупает тонкий, изящный палец винта и разглядит круглый соколиный глаз барабана с пятьюдесятью ресницами его делений. Две сотки, двадцать микронов — толщина человеческого волоса, расщепленного надвое!

В золотых руках Сорокина грубая бездушная заготовка становилась чудесным пальцем микровинта.

И Алтухов терпеливо ждал, когда рабочий найдет для него время. С Сорокиным у Павла предстоял разговор особый.

Сорокин, наконец, повернулся к ним.

— А мы знакомы, — сказал он, радушно улыбаясь. — Здорово, Паша Алтухов!

— Здравствуй, Коля, — ответил Павел, узнав его по голосу и обращению.

Они обнялись.

— Тебя-то нам и не хватало! И Никиты Семеновича...

— А ты здесь зачем? — перебил Алтухов. — Ты тут что делаешь?

— Вот, видишь...

Алтухов сходу начал задуманный разговор.

— У меня к тебе один вопрос: кого учишь?

Сорокин усмехнулся.

— Себя самого помалу.

— Нет, ты мне скажи, Коля, кто твои ученики? Сколько у тебя их на участке?

— Никого нету.

— Стало быть, себя учишь?

— Вроде...

— Кого ты хочешь обмануть, Николай?

— Обмануть?

— Почему ты работаешь на одном станке? Тебе ж у него делать нечего. Не вижу, что ли?

— Ну, многого ты от меня захотел! — нахмурился Сорокин. — Вот посмотри... приспособление. Век бы мне ждать, пока БРИЗ его одобрит да цех сделает... Пришлось самому доставать металл, самому изготовить! Василий Антонович, подтвердите!

— Неправда, неверно! — запротестовал Куликов. — Кому-кому, Сорокину в металле не отказываем. Для вас я пожалел когда-нибудь хоть один грамм?

— Пойдите, пойте! — улыбнулся Алтухов. — Вы, друзья, и вдвоем мне очков не втрете!

Куликов и Сорокин переглянулись.

— Что ты мне показываешь! — воскликнул Павел. — Не стыдно тебе?.. Это видели на твоём станке еще до войны! И ты у меня, может, видел. Что же нам перекликаться с тобой, как кукушке с петухом? Ты мне, Коля, эту штуку (Павел кивнул на приспособление) покажи у Бобкова на станке. Вот тогда я увижу, что значит на участке такой рабочий, как Николай Сорокин!

— Правильно, конечно, — согласился Куликов.

Сорокин ладонью потер себе подбородок.

— Расценки снижал? — спросил Алтухов.

Сорокин обрадовался этому вопросу.

— Не один раз!

— Дай-ка рабкарту.

Сорокин с готовностью протянул разграфленный лист.

Да. Николай работал по другим расценкам. Его приспособления сыграли свою роль, облегчив работу, снизив затраты, не допуская брака. Сорокин не задолжал государству, берег советскую копейку, берег и самое дорогое — время. Сорокин давал прибыль. И зарабатывал, видимо, достаточно. И все же была здесь несправедливость: рабочий по шестому-седьмому разряду делал деталь высшего класса точности и получал по сниженным расценкам, а молодой рабочий, бракодел Лапшина, за работу по третьему-четвертому разряду получала по расценкам завышенным.

И Алтухов не похвалил товарища и за его стахановские нормы.

— Неужели ж не обидно тебе, Николай?

— Верно, Павел. Молчу... — ответил Сорокин прямо.

— Что Лапшина делает за свою зарплату и что ты за те же деньги! — укоризненно говорил Алтухов. — И ты терпишь! И мы будем это терпеть? За что ей платим? За неумение работать. Мы с тобой платим! И мы виноваты, не она! В одиночку ты эти застывшие нормы не сломишь. И растрату государственного рубля не остановишь. Производительность труда на одном своем станке не столкнешь с мертвой точки! Будь ты хоть сто раз новатором.

— Это понятно! — в один голос сказали Сорокин и Куликов.

— И потом, — продолжал Павел, — неужели мы так и смирились с тем, что Лапшина у нас мало зарабатывает? Позволит нам партия помириться с этим?

— А что с Лапшиной сделаешь?

— Василий Антонович предлагает ее уволить. Как твое мнение?

— Чорт ее знает! — проговорил Куликов, словно брал свои слова обратно.

— Неудобно... — сказал Сорокин.

— А-а, — прищелкнул языком Павел. — Ты член партии, не сомневаюсь?

— Да.

Куликов кашлянул в кулак: он и не соглашался с Алтуховым, и понимал, что его упреки летели через голову Сорокина в его, Куликова, огород.

— Да ты что от меня хочешь, товарищ Алтухов? — спросил Сорокин.

— С тебя спрос один. Будешь учить?

— Заставишь — буду.

— Кого? Тебя заставлять?

— Зачем меня? Учеников!

— Для начала проведешь стахановскую школу у твоего станка. Первое занятие когда? Завтра?

— Не знаю. Подготовиться надо. Нельзя же скандачка.

Алтухов прикусил губу и поглядел на него с таким добродушным пониманием, что Николаю стало не по себе.

— Хорошо, — сказал Павел. — Я сам сегодня соберу людей и проведу у твоего станка занятие.

— Зачем! Я не отказываюсь, — забил отбой Сорокин. — Тебе своего дела хватит...

Тогда Алтухов сказал тихо, но памятно:

— На будущее условимся, Николай: ты меня будешь теревить чаще, чем я тебя. Тогда мы пойдем друг друга и не уроним себя в собственных глазах.

— Ясно, — ответил Сорокин.

— Составь план-конспект. Мне покажи — две головы лучше. И подумай над такими именами: Лапшина, Бобков, Лиза Смирнова, Леня Иванеев, Румянцев, Орлов. Бери шефство не меньше, чем над тремя рабочими из молодежи. И вы будете учить, Василий Антонович, — повернулся Алтухов к сменному.

— Правильно. И мастеров запрягай, — одобрил Сорокин.

— Наладкой заниматься не будете. А будете учить налаживать станки, — сказал Алтухов, чувствуя, что приближается к большому решению.

Куликов снисходительно рассмеялся.

— Пока я буду учить, вся работа встанет, Павел Никитич! Кто же это позволит! Голову снимут!

Павел судорожно стиснул зубы. Этот румяный, любопытствующий человек все еще ходил около него сторонним наблюдателем. Полдня таскался и ничего не понял. А ведь хотел же понять! С каждым шагом, с каждой минутой работы прибавлялось. Бригада Лизы, учеба молодых... Палки в колеса вставляли Бобков и Лапшина. На совести висел Блажнов...

— Задолго до войны, — сказал Павел глухо, сквозь зубы, — не отряхнувшись от строительной пыли, становились мы к станкам, к машинам, к домнам, и учились. И выучились! И худо вам будет, Куликов, если вы этому не научились!

Василий Антонович слушал смущенный. Рабочие от соседних станков повернулись в их сторону, приглядываясь к побледневшему сменному и стараясь уловить, о чем идет речь и что сказал старший мастер.

Алтухов заложил руки за спину и, кивнув Сорокину, пошел дальше.

— Боюсь я его, ей-богу! — пробормотал Куликов. — Ну, что за человек!

Глава одиннадцатая

«КОРОЛЬ»

Павел вступил в партию из комсомола, а в комсомол из пионерской организации. Со школьных лет он жил в коллективе, дышал воздухом общественной солидарности, общественной критики. Советы, оценки, мысли товарищей по школе, цеху, полку всегда были его опорой. Широкое, гласное отношение к нему, к его работе стало для Павла повседневной необходимостью.

Чем глубже Павел входил в жизнь участка и чем живей чувствовал рядом с собой Сорокина, Лизу, Леню, Варвару Самарцеву, а против себя — «короля» Блажнова и равнодушную Лапшину, тем неотложней становилась потребность сегодня же встретиться с главной силой на участке: с его партийной группой.

Одно умеряло нетерпение Павла: к этой встрече надо прийти не с пустыми руками, не с растерянной головой. Павел приучил себя не только спрашивать, но и отвечать.

Требуй сначала с себя самого. Нужна тебе помощь? Сумей сказать, какая. Партия в помощи никогда не откажет. Но покажи, что ты не растратишь ее драгоценную поддержку без толку, неумело, ибо ты сам член партии.

Чем нацеленней были беглые встречи с рабочими, чем решительней и ёмче складывались первые самостоятельные решения, тем большее право Павел приобретал на общественную опору, тем больше пищи мог он дать для критической, а стало быть, творческой мысли. Эту мысль Павел будил в себе и в людях, ее растил с самого начала, с первых шагов в цеху.

В середине дня стало известно, что Деев и Самарцева вернулись из министерства. Они сразу прошли на доклад к Зотову.

Помогла Варя Дееву отвести выговор, или они все-таки привезли его? Павел позвонил в заводууправление. Варвара у Петра Анисимовича. Обращаться к самому Зотову было неловко. Когда освободится Самарцева, секретарь сказать не мог. Павел с сожалением положил трубку. Очень бы нужно хоть двумя словами обменяться сейчас с Варей!

Вернувшись на участок, Павел заметил постороннего человека. Молодой человек, инженер или чертежник, крикливо спорил с Сорокиным. Он принес чертеж дефицитной детали и требовал срочно запустить ее в работу. Сорокин отказывался за нее браться.

Она выбивала его из взятого им темпа, разрушала обдуманый ритм, сводя на нет достижения целого рабочего дня.

Не закончив, внезапно оборвав свою работу, Сорокину пришлось бы переналадить станок, снять специальную оснастку. А ведь он ставил ее до смены, в нерабочее время. Труд и забота летели в трубу. Для новой работы пришлось бы готовить станок, инструмент, материал в разгар смены, в рабочие часы, и, главное, браться за деталь сналёту, по шаблону, не продумав и не придумав, как должно, своего, сорокинского к ней подхода. Глупая, безобразная трата времени, грубая, неумная работа.

При Меликове деваться было некуда, теперь же Сорокин заупрямился. Инженер (или чертежник) оценил это, как нетерпимую косность. Он лично спустился с чертежом в цех — вот как важно и спешно было задание! А рабочему дороже свои узкие, эгоистические интересы!

— Да почему вы ко мне всё ходите? Что я вам дался! — воскликнул Сорокин, видя, что приближается Алтухов.

— Позвольте! Вы работаете по шестому разряду. Не могу я дать кому попало! — отвечал посетитель, не обращая внимания на мастеров.

Какая дикая мысль: ты хороший рабочий, поэтому мы тебе сорвем работу! Алтухов подходил к Сорокину с великим уважением, а этот путаник лез без стеснения и смел еще упрекать передового рабочего в отсталости и узости интересов! Павел вскипел.

— Слушайте, — жестко проговорил он, — не мешайте работать.

— Как это — не мешать? — воскликнул посетитель, важно надувая шею, — чувства юмора ему, видимо, нехватало от рождения. — Я представитель главного инженера!

— Я не спрашиваю, кто вы. Я предлагаю вам уйти с участка.

— Что т-та-кое? — представитель вытянул шею. — Кто вы такой?

— Начальник участка, — подсказал Сорокин, несколько озадаченный тем, как круто действовал Алтухов.

Представитель снова вобрал голову в плечи.

— Я приношу вам свои глубоча-а-айшие извинения, уважаемый товарищ, н-но... — он небрежно протянул Алтухову руку, — поймите в виду...

Алтухов не принял его руки и не дал ему закончить:

— Доложите главному инженеру, что с вами я разговаривать не буду.

— Да вы с ума сошли! — закричал представитель, взмахнув руками.

— Ох, гражданин! — Павел поморщился от его крика. — Кричать-то не надо. Некрасиво!

Инженер пошел прочь.

— Крепко ты... ну, крепко! — проговорил Сорокин.

— Восторгаюсь вами, Павел Никитич! — воскликнул Куликов.

— Вот что, Василий Антонович, — сказал Павел, не слушая похвал. — Обойдите сейчас участок и гоните всех посторонних. Вежливая, но... Не давайте с собой спорить. Вот так, как я...

— Так-то мне не сумеешь.

— Захотите—сумеете. Полезно это?

— Очень. — Куликов отвел старшего мастера немного в сторону и густо краснея, но решительно добавил: — Павел Никитич, хотите верьте, хотите не верьте. Одно вам скажу: я вас прекрасно понял и всегда пойму. Что сегодня было не так — вы в памяти не держите. Это у меня, понимаете ли, по дурной привычке от Ивана Трофимовича осталось. Вот доживаете до пятидесяти—невольню будете на вчерашний день оглядываться. Но только знайте: за старое мне цепляться неинтересно.

И, пожалуйста, не беспокойтесь: я от вас никогда не отстану—не на словах, на деле увидите. Что в моих силах, да и сверх моих малых сил, что нужно будет, то и выложу.

— На добром слове спасибо, Василий Антонович, — ответил Алтухов. — Надеюсь, мы сработаемся. Действуйте. Я помогу.

— Эх, — закричал Куликов и бросился в бой.

А Сорокин тронул Павла за локоть, показывая вслед представителю главного инженера. Пожилой рабочий могучего сложения остановил инженера и взял у него чертеж. Павел узнал в рабочем Блажнова.

Показалось Алтухову или действительно Николай шепнул: «Воздай ему, Паша».

Ну, что ж, дошла, стало быть, очередь до Сарафана. Пора! Надо развенчать «короля».

Павел подошел к Блажнову, взял из его рук чертеж.

— Сле-лау! Берусь добровольно! — заявил Блажнов громогласно: — Пострадаю для государства!.. — Инженер усердно кивал головой. — Чтобы без скандалу... А то неловко получается, право.

Алтухов передал чертеж инженеру, сказал:

— Если вы не доложите, я сам доложу главному инженеру, что удалил вас, как дезорганизатора производства.

— Но ведь товарищ согласен! — вскричал инженер. — Ничего не понимаю!

— Это заметно. Товарищ представитель, повторяю: покиньте цех.

Инженер убежал.

— С-смехота, — неопределенно проговорил Блажнов и широким жестом пригласил Павла к своему станку: — Пра-ашу...

Меж бабок станка был закреплен стебель микрометра. Леня выполнял черновую обдирку, Блажнов—чистовую, модульную обработку. У Лени стебель проворачивался на оправке, у Блажнова брака не было. Блажнов работал по-высшему, седьмому разряду. Заболей он.— заменить его на участке могли только одиночки. В этом и была сила Блажнова.

Павел медлил. Не слишком ли он прямолинеен? Бывают обстоятельства, при которых временно лучше отступить. Нет. Душу воротит! Все в Павле восставало против уступки Блажнову. Надо принимать вызов. Бобковская наглость—от Блажнова. Вот они, живые и действующие пережитки капитализма в сознании. Стыдно мириться с ними большевику.

— Смекаешь? — самоуверенно осведомился Блажнов и неожиданно, хрипло хохотнув, ударил Павла ладонью по спине.

Этот, так сказать, дружелюбный шлепок был так силен и ловко нацелен, что Павел потерял равновесие и едва не свалился с ног.

— Вы что делаете? — возмущенно закричал рабочий, стоявший у соседнего станка.

Эти шлепки знали в цеху, они были «отработаны» у Блажнова, и он не раз смешил ими людей в курилке.

Блажнов изобразил на лице крайнее смущение.

— Что уж ты на ногах не держишься, друг! Этак не долго язык откусить, ей-ей!

— Распустились вы, Блажнов... — твердо сказал Павел. — Предупреждаю: буду поправлять беспощадно... С сего дня и на будущее брань на участке запрещаю. Отчитывать рабочих, выговаривать им, делать какие бы то ни было замечания не разрешаю вам. Всё это прекратить!

Маленькие глаза Блажнова сощурились. Словно увидев Алтухова впервые, он с наигранной радостью закричал:

— Старшой! Здорово! Л-люблю русскую широту! Быка, говоришь, за рога?.. Будем знакомы!

— Будем знакомы, — спокойно продолжал Алтухов. — Но фамильярность вашу придется оставить. Я вам не брат, не сват и не приятель!

— Да ты что, очумел, Алтухов, друг ситный!

— Товарищ Блажнов, — сказал Павел с невозмутимой настойчивостью, — ко мне впредь обращайтесь на «вы». И не Алтухов, а товарищ Алтухов. Не старшой, а товарищ старший мастер.

Блажнов захохотал.

— Ты знаешь, я таких грозных не впервой вижу, — сказал он, побычи наклоняя голову.

— Вы плохо меня поняли, товарищ Блажнов, — ответил Павел с подчеркнутой вежливостью. — Так вот, чтобы вы полностью усвоили мои указания, для начала объявляю вам выговор за грубость. В дальнейшем, в случае повторения, поставлю вопрос перед руководством цеха и завода об увольнении.

Едва ли Блажнова страшило увольнение, еще менее того — выговор, но он опасливо оглянулся, глазки его забегали. Перекричать Алтухова не удалось. За ним стояли «эти ремесленнички», над которыми Блажнов куражился в цеху. Их смех ему был нож острый. Но, кажется, никто не слышал их разговора. И Блажнов «запел Лазаря»:

— Я вам докажу, — проговорил он, несильно постукивая себя кулаком в грудь, — докажу... что я больной... больной человек... Не могу я работать в таких условиях.

— Если вздумаете «доказывать», отдам под суд. Ясно?

Блажнов оторопел от изумленья. Непостижимо. Алтухов не опасался того, чего опасался Меликов.

Лицемерно охая, Блажнов забормотал:

— Вместо такого разговора... Все у нас не как у людей. Зашел бы ко мне, порядком, на часок... Угощу от души. Ждать? Или побрезгуешь?

Алтухов ответил неожиданно:

— Ждите.

Блажнов радостно засуетился — парень-то свой! И средство испытанное!

— А разговорчик сегодняшний... думаю — между нами? Замнем для ясности...

— Зачем же заминать? В нем нет ничего секретного.

— Насчет выговора-то?

— Я своих решений не меняю.

— Ну, так и поди к чорту. И ждать не буду.

— Нет, ждите, — сказал Алтухов.

Шут его поймет! Блажнов хмыкнул лстыиво и невольно вобрал голову в плечи. Памятливый...

— Ах, Блажнов, — сказал Павел невесело. — Позорите вы рабочий класс. Призовем вас к ответу — что скажете?

Блажнов не ответил.

— Все, — заключил Павел. — Продолжайте работу.

Мрачный и тихий, Блажнов повернулся к станку. И опешил. Рядом стоял его первейший враг, строптивец Ленька Иванеев, и с интересом прислушивался. А чуть подальше задержался, как бы проходя покурить, Бобков. Издали посмеивался Сорокин. Поверх очков воззрилась на Блажнова Громова. Весь цех слышал, как Блажнов шумел. Весь цех видел, как он затих.

Блажнов не посмел выругать даже Бобкова. Бормоча ругательства себе под нос, он склонился над станком.

Алтухов подошел к Лене, строго спросил:

— Почему не работаешь?

— Товарищ капитан, простите!.. Век вам не забуду!

— Что таксе?

— Прижали вы Сарафана. Вот спасибо!

— Леня.. «Сарафана» чтоб я больше не слышал! Ясно?

— Товарищ капитан!

— Ясно, я спрашиваю?

— Ясно!

— Исполняйте!

— Есть, товарищ капитан!

Алтухов кивнул ему, и он побежал к своему станку.

Алтухов раскрыл коробку папирос, едва не рассыпал их: пальцы окостенели, точно на морозе, дрожали. Сердце билось так сильно, что заложило уши. Павел слышал, как сквозь вату. Во рту пересохло. Ну... промахи у него были. Пожалуй, с Куликовым переборщил малость. Мужик он не вредный, хозяйственный. Его конек — экономия. Хорошее дело. Молодых, правда, прижимает, а вот Сорокину сумел «создать условия». Василию Антоновичу должно помочь. А промахи... Что ж промахи! Едва ли Павел все их видит сам. Люди подскажут. Ошибок бояться — за дело не браться!

Но так и не удалось покурить. Широко шагая, подошел Деев. Он искал Алтухова. В руках у начальника был знакомый чертеж. Из-за спины его выглядывало надутое и грозное лицо инженера.

— Что у тебя тут происходит? — заговорил Деев. — Немедленно запусти эту деталь в работу. Поручи квалифицированному рабочему.

— Желательно — Сорокину, — вставил инженер.

— Желательно — Сорокину, — повторил Деев. — Разъясни, что задание сверхсрочное.

Алтухов принял из рук Деева чертеж.

— Разрешите к вам, на минутку.

Деев глянул на часы.

— Через четверть часика. — И повернулся к инженеру: — Пожалуй-ста...

Инженер поклонился и, повернувшись к Алтухову, погрозил пальцем: — Сверх! Сверхсрочное, товарищ ор-га-низатор! — и сказал, передразнивая Алтухова: — «Покиньте цех». В-во-я-ка!

Алтухов молчал.

Глава двенадцатая

ДЕЕВ

Алтухов аккуратно свернул чертеж вчетверо и положил его в карман кителя. Точка. Сейчас — забыть голос инженера, и чтоб не дребезжало в ушах глупое слово «в-во-я-ка!» Четверть часа — на размышление.

Павел вышел из цеха, и словно безмолвие охватило его, настолько тише было на заводском дворе. По сторонам цеховых ворот, подобно крыльям, развернулись клумбы. И цветы, казалось, обласкали Павла своей необозримой пестротой. Он медленно зашагал к саду, стараясь держаться в короткой кружевной тени лип. Что и говорить: критиковать Меликова нетрудно. Настоящий труд — впереди.

Чувство, с которым Павел вышел из парткабинета, сейчас припомнилось ему. Очень ясно тогда он ощущал перспективу. Сейчас, по-

жалуй, явственнее было иное — ветер в лицо. Одно дело усвоить решения партии, другое дело осуществить их на практике, в конкретных условиях.

Как же он действовал сегодня? Чему научился? Наивно было бы по-школярски, «от сих до сих», примерять каждый свой шаг к решениям партии и правительства о мастере. Но они были с ним, они жили в нем. И сознание правильности своих поступков, мыслей, решений усиливалось с каждым шагом.

Что же случилось?

Чертеж инженера, казалось, гирей повис на Алтухове. Несколько слов, сказанных Деевым, его первое распоряжение, по виду такое несложное, грозило отбросить Павла далеко назад.

И тут-то пришли на память формулировки партийных решений. Павел как бы сызнова перечитал их. И как только он освободился от чувства обиды, как только заставил себя забыть презрительные интонации инженера: «ор-га-низатор» — незримая могучая сила поддержала, выпрямила, ободрила Алтухова.

Чертеж этот — мелочь, пустяк. Не путаться. Не топтаться. Понять: что главное? Что основное?

Павел обернулся. Там, где начиналась аллея лип, над большим цветником стоял бронзовый человек в военном. И с внезапной ошеломляющей ясностью пришла простая мысль. Сталин давал Павлу ключ, то основное звено, за которое следует вытягивать всю цепь. И сама жизнь, какой он ее видел на участке, да и на старом месте, в заготовительном цеху, и еще раньше, на фронте, и до войны под началом у отца, — подтверждала эту мысль.

Люди. Кадры. Рабочие.

Для Меликова они главная трудность. А они — главная сила.

Зотов, хитрец, предложил Павлу лучших рабочих с других участков, как бы опасаясь, что Алтухов не вытянет задание с молодыми неопытными кадрами.

А ведь именно молодые, начинающие рабочие вынесли на своих плечах груз труда в годы Отечественной войны. И не они ли, безусые, необстрелянные, не нюхавшие пороха, попав на фронт, составили костяк расчетов противотанковых батарей Алтухова? И не их ли учил Павел в самом кипении боев воевать, изготавливаться к бою в сорок пять считанных секунд и поражать цель вторым снарядом? И не они ли, вчерашние новички, растущие не по дням, а по часам, успешно работали в смене Алтухова, в цеху заготовок? Они, молодежь, **наше** будущее, наша надежда!

Так вот она, ошибка Меликова: он не верил в молодых, он тужился работать за всех, не пытаясь раскрыть, развязать таланты людей.

В этом он разошелся с жизнью, с партией. И за это — наказан.

Алтухов быстро пошел в цех.

Деев ждал его с нетерпением. Объяснение с инженером Семеновым не удовлетворило Сергея Сергеевича. На участке Деева остановил Блажнов. Жалобы Блажнова звучали лживо. Но и Семенов, и Блажнов, столь разные люди, были одинаково резко настроены против Алтухова.

Куликов называл Алтухова «наш капитан». Это насторожило Деева.

Ему не приходилось служить в армии. Уважая армейские порядки, он понимал их несколько упрощенно. Военская дисциплина представлялась ему прямолинейной, грубоватой. В глубине души Деев немногочисленно побаивался за офицеров, вернувшихся на завод из армии и отвыкших от заводских порядков.

Одно дело солдат, другое — рабочий. С рабочим надо уметь ладить. В Алтухове уж очень резко, характерно проявлялись армейские, волевые черты. Это неплохо. Но все же не наломал бы дров, не перегнул бы палки.

Была здесь и своеобразная ревность к армейской дисциплине, к армейскому воспитанию. По странному недоразумению, Деев как бы забывал, что во время войны и в тылу люди жили по-военному, и он сам называл себя командиром производства, гордился этим рангом. Заводское воспитание Деев считал делом более сложным и тонким, как будто солдатская жизнь — не та же трудовая, истинно-рабочая, а воинское мастерство — не плод того же упрямого труда и учебы.

Вошел Алтухов. Деев встретил его вопросом:

— Деталь запустил?

Павел вынул из кармана чертеж, развернул, положил на стол.

— Времени у вас, Сергей Сергеевич, не нашлось для меня. Недосуг вам было мной заняться. Что ж, я подожду.

Деев жестом предложил ему сесть, но Алтухов не сажился, пока начальник цеха не сел сам. Деев это отметил.

— Слушаю тебя, Павел Никитич.

— Вы знаете, Сергей Сергеевич, решения партии, правительства о мастере. Я вчера вечером перечитал их от корки до корки. И пришел вам доложить, что собираюсь выполнять их с точностью до микрона. Говорю это с самого начала, чтобы не было между нами трений...

— Я, собственно говоря, тоже собираюсь выполнять решения партии, — ответил Деев, удивленный таким началом.

— Не сомневаюсь.

— Так в чем же дело?

— А вот в чем, Сергей Сергеевич. Жалко мне Ивана Трофимовича. А еще жальче себя и дела. Меликова обокрали кругом. Правда, Иван Трофимович сам себя обкрадывал на каждом шагу. И получается, что остались у него одни обязанности и никаких прав. Даже последнего права нет: выполнять свои обязанности. И старик только и делал, что выполнял обязанности других.

— Согласен с вами.

— А если так, Сергей Сергеевич, то имейте в виду: на участке, коль скоро я его принял, я буду крепко драться за свои права. С этого начну. Не знаю, известны ли Меликову решения партии о мастере. Наверно, он их читал. Тем дело и кончилось. Мастера на участке фактически не было. А надо, чтобы он был. И может так получиться, что мы с вами столкнемся и заспорим. Может возникнуть крупный разговор при людях. А это явление болезненное. И я пришел заранее договориться. На участке я буду ставить свое слово выше всего. И если нужно будет, не посчитаюсь ни с чьим авторитетом, даже с вашим или с авторитетом директора завода.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Деев с чувством досады. Его собеседник раскрывался перед ним с неожиданной и беспокойной стороны. Деев не мог упрекнуть его в запальчивости. Старший мастер говорил резко, но по-деловому достойно и уважительно. Он явно не стремился произвести впечатление, ему важна была суть дела. Хорошо, пусть выскажется.

— Если вы помните, — продолжал Алтухов, — постановление от годового года ставит, казалось бы, азбучные, само собой разумеющиеся условия. Но содержится в них большая польза. Я эту пользу вижу в том, что на участке первое и последнее слово будет за мной, начальником участка. Так, по-моему, там записано.

— Вот как! — заметил Деев необязывающе.

— Именно так, Сергей Сергеевич. Приведу пример. Если вы, как начальник цеха, через мою голову дадите указание, пускай сто раз полезное для участка — оно не будет выполнено. Партбилетом отвечу, но постараюсь поставить на своем. Или, скажем, поступит дефицитная деталь, нужная для сборки в срочном порядке, и потребуются снять мое задание, переналадить станок, то знайте, — Павел накрыл ладонью чертеж, — пока не прочту приказа о снятии меня с работы—ни криком, ни просьбами от меня ничего не добьетесь. Деталь полежит смену, две, сутки — сколько мне понадобится по графику.

— Так, — невозмутимо отметил Деев. — Дальше?

— На участок, к рабочим местам без моего ведома никого не допускаю. Ни инженеров, ни инспекторов, ни исследователей. Рабочее время свято. Никаких толкачей, тягачей... А тем более всяческих гостей... Довольно болельщиков, любителей и всякой кустарщины. Только через меня. А уж у меня шляться не будут.

— Что же вы, часовых поставите?

— Я отважу, — пообещал Павел. — Один раз сунется, а в другой раз и за деньги не согласится. У рабочего один командир и начальник — мастер. У мастера — я. У меня — вы. А уж вы в отношении меня поступайте, как знаете. Требуйте с меня, как умеете. — Павел поморщился: папироса его погасла. — Четыре тысячи микрометров в месяц, как одну копейку. (Это были слова Зотова). Вот что я хотел вам сказать.

— Соображаю потихоньку, — сказал Деев, протягивая Алтухову спички и этим выигрывая время.

— Может быть, вы, Сергей Сергеевич, самолюбивый человек. И вас мои слова заденут, тем более, что говорю без амортизаторов, прямо! Можно бы соломку подстелить, да не стоит. И вот вступаю я, грешник, с первого же дня в напряженные отношения с вами... К этому я не стремлюсь, не хотел бы этого. Это мне было бы обидно. Это означало бы, что я не научился правильно говорить о серьезных вещах.

Деев откинулся на спинку стула. Он был явно не готов к такому разговору.

— Спасибо, Павел Никитич, — вымолвил он, — что позаботились о моем самолюбии. Оно у меня есть, не скрою. Но о нем позже поговорим. А как же быть с моими правами? Или с моим, не меньшим, чем у вас, желанием работать? Вы хотите ответственности. Хорошо. А ведь и я хочу ее во всей ее полноте. И я хочу смотреть партии прямо в глаза. Выходит, я, Деев, на вашем участке уже не хозяин? Так вас понимать?

— Мне кажется, вы меня поняли, Сергей Сергеевич. Заведу порядок — сами не захотите поднять на него руку. Может быть, по-своему расставлю мебель, но вы это уважите.

— Возможно, возможно, товарищ Алтухов, — сказал Деев не особенно ласково и, прищурясь, посмотрел на семеновский чертеж. — Говорю тоже прямо. Видите ли, самоустраняться я не собираюсь. И думаю, против линии партии этим не погрешу. Во всяком случае, буду к этому всеми силами стремиться.

Алтухов помолчал. Точка поставлена на этом вопросе. Неужели черная кошка все-таки пробежала меж ними? Они еще мало друг друга знают. У обоих характерцы. Они столкнулись—и дали искру. Тем лучше! Если спорить, то чем раньше, тем лучше.

— Ну, чем еще удивите? — подчеркнул свою позицию Деев.

— Это главное, — подчеркнул Алтухов свою.

— Отлично. Дальше?

— Дальше... Для начала, Сергей Сергеевич, техника. С нее потребую не меньше, чем с людей. И вот тут у меня большой разговор с главным механиком цеха. Кто у вас механиком?

— Григорович, Яков Гаврилович. Умнейший мужик.

— Вот к нему покорнейшая просьба посмотреть станки заново. И наладить непрерывный, бдительный, прямо-таки неотступный ялано-во-предупредительный ремонт. Чтобы мне об этом не думать.

— Так. Дальше?

— Тылы. Снабжение рабочих мест. Надо кончать с самообслуживанием. Рабочий должен отдавать свои четыреста восемьдесят минут прямому делу. Заготовка, чертеж, инструмент должны находиться под рукой, как только эта рука за ними протянется. Вопрос, правда, упирается в другой, не менее серьезный. Если мы не освободим сменных мастеров от наладки станков, требовать планирования производства будет не с кого! Этот второй вопрос цепляется за третий: надо учить людей. Так, чтобы, например, дежурному ремонтному слесарю делать было нечего. И от наладчиков чтобы отмахивались. Но об этом разговор долгий. Я к нему пока не готов. Надеюсь, мы все же пройдем по участку втроем: с вами и с Варварой Владимировной.

— И не однажды, — подтвердил Деев. — Есть еще что-нибудь?

Алтухов почуствовал, что начальник цеха чего-то ждет от него.

С первой встречи Павел неотступно думал об Иване Трофимовиче. Думал о старике, разумеется, и Сергей Сергеевич. Не помочь ли начальнику цеха в этом деликатном вопросе?

— Еще о товарище Меликове, — сказал Алтухов. — Если ему это понутру и у вас нет других планов, оставьте его на участке.

Деев задумался. Мелькнула мысль: не хочет ли этим Алтухов заработать у него дешевый капитал? Деев тотчас откинул ее.

— А вам это понутру? — спросил он. — Не отяготит он вас? Не возникнут нездоровые отношения?

— Не думаю. Работник он опытный. Место я ему найду.

— Хорошо, — подвел итог Деев. — Ну, а как с людьми? Людей вы, я вижу, не просите?

— Пока нет, — сказал сдержанно Алтухов.

— Людей не нужно? — не мог не переспросить начальник цеха.

— Нет, Сергей Сергеевич.

Деев ничем не выдал своего волнения. К этому он тоже не был готов. Вот когда по-настоящему открылось ему, с чем пришел новый старший мастер и какого размаха ответственности он желал.

Странный, однако, человек! Не то колюч, не то любезен. Что же в нем сильнее — внезапно проявившаяся крайняя уверенность в себе или еще более неожиданная скромность? По первому впечатлению, он пришел брат, а обнаружилось, что куда больше давал. Или, может быть, сам не понимал толком, с чем, собственно, пришел?

Дерзость это? Глубокий замысел или только ребяческие метанья навось?

Разумеется, такое решение мастера освобождало начальника цеха от многих хлопот. Усилить участок, найти кадры, отвоевать их, может быть, еще не удастся. И тогда вина падет, в первую голову, на начальника цеха. Понимает ли Алтухов, что своим решением он не только брал ответственность на себя, но накладывал ее и на начальника цеха? После этого ничем не оправдаешься. На отдел кадров не сошлешься. Мосты сожжены.

Деев с искренним интересом посмотрел на Алтухова. Тот сидел непринужденно, спокойно выжидая. И Деев ясно увидел: Алтухов не только хорошо понимал, с чем явился к начальнику, но и понимал, о чем начальник думает, потому что сам в эту минуту думал именно о том же.

Словно желая освободить Деева от сомнений, Алтухов сказал безобидно:

— Люди есть, участок укомплектован полностью. И не нам с вами делать из Бобкова и Лапшиной безработных. Не наш метод порождать безработицу. Попробуем, наоборот, сделать из них настоящих рабочих!

И здесь Деев, отбрасывая настороженность, улыбнулся Алтухову своей заразительной улыбкой. Алтухов тоже не смог не улыбнуться ему.

— С этого и надо было начинать, Павел Никитич.

— С этого и начинаю, Сергей Сергеевич.

— Но как вы рассчитываете поднять производительность? Ведь четыре тысячи вместо одной! А мы чуть больше одной едва-едва вытягиваем.

— Пока не отвечу вам, Сергей Сергеевич. Вы не экзаменуйте меня. Больше чем на двойку и я сейчас не вытяну.

«Хитрец! — подумал Деев. — Дипломат. Себе цену знает. Поспешил я с ним, сшаблонил»...

Деев глянул на стол. Семеновский чертеж исчез. Этого было достаточно.

Уже прощаясь, Алтухов напомнил Дееву разговор о самолюбии, который тот оставил на «потом». Настырный парень. Не отвяжешься от него! Но раздражаться по этому поводу было бы мелочностью.

И Деев ответил, незаметно для себя переходя на «ты».

— Мы с тобой — в одной партии, Павел Никитич. Это главная пища для нашего с тобой общего самолюбия.

Алтухов ушел. Деев остался с чувством озабоченности. Но вместе с тем он испытывал совсем неожиданное и согревающее сердце ощущение, что давно уже ни с кем он не говорил так по-хорошему.

Тотчас же после Алтухова явился Меликов.

У Деева так и не произошло с ним до сих пор решительного объяснения. Как ни странно, после встречи с Алтуховым Сергей Сергеевич почувствовал себя подготовленным к такому объяснению.

Иван Трофимович сообщил, что дома все в порядке, мать и дочь здоровы. Сергей Сергеевич отвечал ему, как положено доброму зятю. И Меликов, полный расположения к нему, рассказал о заверениях Алтухова, будто начальник цеха был против мысли Зотова назначить нового мастера. Старик подчеркнул при этом недвусмысленно, что иначе и быть не могло, много отношения к себе он не мог ожидать от Деева.

— К сожалению, это не совсем так, Иван Трофимович, — сказал Сергей Сергеевич со вздохом. — Я не был против назначения Павла Никитича. Это моя инициатива. Павел Никитич — моя кандидатура.

Как ни отстранял от себя это открытие Меликов, его-то он и ожидал в глубине души. Мгновенно разгневанный, он вскочил с места.

— Умен!.. Умен, зятек, ничего не скажешь! Понятно! Решил, значит, бабам помочь воевать со мной. На их сторону переметнулся! Ах, ты... начальник! — протянул старик с великим презрением, поднял со стола папку с чертежами, потряс ею и бросил перед самым лицом Деева.

В гневе Иван Трофимович ничего не замечал вокруг себя. Не посчитался он и с тем, что за стеклянной перегородкой, покрашенной белой краской только до высоты человеческого роста, сидели бухгалтеры.

Надо было с этим кончать.

— Я решил, Иван Трофимович, помочь делу, — сказал Деев. — Это необходимо для участка. С работой старшего мастера в сегодняшних условиях вы не справляетесь.

И этого ждал Меликов, но и это было невероятно. Ему казалось, что он еще сумеет устыдить Деева.

— Как же так, Сергей Сергеевич! Как же ты меня срамишь! Ведь мне в этом году переводиться в члены партии. Как я Лазареву в глаза-то посмотрю? Стыд какой.. Я уж заявление написал, рекомендации собрал...

— Иван Трофимович, мой вам совет... Я один из ваших рекомендателей. Но сейчас вы не готовы к вступлению в партию. Пока воздержитесь.

Меликов так и ахнул.

— Да что ты... что ты, батюшка, — зашептал он страстно. — Что ты толкуешь! Как же тебя понимать? Обрати, что ли, возьмешь свою рекомендацию? Да лучше мне сквозь землю провалиться!

Деев с упреком покачал головой, поднялся, подошел к стеклянной стенке. В раздумье он поглядел поверх закрашенной ее части — в цех. Отсюда, с антресолей, был виден участок мехобработки.

Механический гул просачивался сквозь стекло. Он подходил на плеск реки на большом пороге. Различимы были лишь визгливые взхлеб крики разгонявшихся моторов. И еще низкий, словно густевший от напряжения голос станка в момент, когда резец принимал к детали и спарывал с нее первую стружку. В общем потоке ясно стучали удары маленького слесарного молотка.

Жаль, не различишь прозрачного гула станков на холостом ходу. По нему легко можно бы уловить скрытые простои.

Меж станков внизу прошел Алтухов. Отчетливо виден был пробор на его русоволосой голове. Рослый парень. Истый гвардеец. Наверно, он уж забыл о Меликове. Впрочем, очень трогательно, очень чутко он заботился о старике.

По-человечески жаль Трофимыча. И по-родственному жаль. Чем его утешить сейчас? Сам-то Деев, а Алтухов и подавно еще под стол ходили, когда Иван Меликов встал к станку. Бегал за водкой для мастеров, глотал, давясь, подзатыльники — через унижения шел к мастерству. Формально он в партии пока не голосует, а по существу голосовал уже на Пресе, почти полвека тому, когда, окрещенный казацкой нагайкой, кидался выворачивать из мостовой булыжник. И вот теперь, после стольких побед рабочего класса, в которых Меликов был не последним участником, после триумфа сорок пятого года, Иван Трофимович оказывается слабым мастером. Как не понять старика, как не посочувствовать!

И все-таки это было так. И было бы родственным лицемерием не сказать ему этого в лицо, обмануть его, отвлечь лестью, пустыми обещаниями. Да и не обманешь! Нет, надо уважать и его и себя. Правду тесть оценит. И она ему здоровее.

Деев обернулся к Меликову. Старик грузно сидел, опустив косматую голову, бросив ладони на колени, и Сергей Сергеевич начал, перебарывая себя, так, как говорил бы на партсобрании:

— Я вас, Иван Трофимович, рекомендую в партию. Мое отношение к вам прежнее. Как и раньше, уважаю вас. И не только, как родственника. Вот это—хотелось бы—чтобы вы поняли. Если б вы были мне только тестем, может быть было бы проще с вами. Алтухов тоже уважает вас. Вы честный человек, хороший работник. Немного растерялись

после войны. Вроде дяди Васи... Надо вам осмотреться, прийти в себя, мобилизоваться. Я вам и раньше это говорил... Вы не поняли меня. Вы слушали, как тесть молодого зятя—в пол-уха. И дочь свою не поняли. Надя неглупый человек, член партии. Она вас предупреждала. Вы, вообще, разучились слушать молодые голоса. Потеряли вкус к новому, перестали учиться. И сразу неожиданно для себя и для всех нас отстали. Не поймите меня превратно. Постараемся понять друг друга, как должно большевикам.

— Что же мне делать, Сережа? Рассуди сам...

— Послушайтесь и другого моего совета: оставайтесь у Алтухова, несмотря на самолюбие...

— Какое самолюбие! Как же я с участка уйду? Куда я денусь? Я прирос к нему... Тут не самолюбие, а душа моя вся!

— Я так и думал. И присмотритесь к стилю работы Алтухова.

Трофимыч вдруг махнул рукой, вскочил со стула и стремглав бросился к двери. Видно, оставался еще порох в пороховницах.

— Пойду... присматриваться! — зло крикнул он через плечо.

Дееву не было времени удерживать его. Он почти обрадовался его уходу. Главный бой предстоял, видимо, дома — на целую ночь.

Сергей Сергеевич привел в порядок чертежи на столе и вызвал к себе Григоровича. Начальник цеха немедленно принялся за выполнение первой просьбы Алтухова.

После гудка к Алтухову подошла Громова. Павел стоял перед станком Лапшиной, на котором возвышался на неоструганном шесте картонный плакат. Куликов решил написать все же по-своему: «Единственный грязный станок на участке».

Евдокия Егоровна сняла свои железные очки, уложила их в железный футляр и начала разговор с середины:

— Рабочий, знаешь, что любит? Чтобы в работе был порядок. Понятно?

— Понятно, — ответил Алтухов серьезно.

— Красивым разговором нас не возьмешь. Брехуна за версту видим. — Тетя Дуня взмахом руки изобразила длину этой версты. — Теперь что тебе скажу, Павел Никитич. — Она впервые называла его по отчеству. — Дисциплины рабочий не боится. Нас никакой дисциплиной не испугаешь. Мы не под зонтиками работаем. Но чтобы у нас был полный порядок! Чтобы мастер — не на словах... А чтобы вожжи в руках держал, и колеса толком смазаны были, и лошадь во-время напоена. Понял?

— Понял, — отвечал Алтухов, думая про себя: «Евдокия Егоровна и коня запряжет, и оглоблю починит».

Она продолжала:

— Рабочий что уважает? Работать по плану. Пятилетка что такое? План! Мы не то что грозимся: вон мы чего желаем! А прямо в точности говорим: это дело—к такому-то дню сделаем, это—к такому-то году обещаемся. Каждый винтик по кварталам расписан. Что тут дорого? Далеко видать—это одно. А другое—работать легче, сподручнее. Видишь свою работу; думаешь, как ее поумней, побыстрее, да покрасивше исполнить. Я к чему веду про пятилетку? Ее кто разрабатывает? Люди большие. На это дело, я думаю, товарищ Сталин, отец родной, не всякого поставит. Самых первых людей назначает и Вячеславу Михайловичу велит проверять.

Алтухов не смог удержать улыбки, и Евдокия Егоровна спросила ревниво:

— Что? Не так? Нет, брат, так и есть! А почему? Потому, что план этот на двести миллионов живых душ составлен. Видишь! Неправильно говорю?

— Правильно.

Тетя Дуня строго присмотрелась к Павлу — не шутит ли? И, удовлетворенная, заговорила еще решительней:

— А мы, что ж, лыком шиты? Рабочему желательно, чтоб и ему был план. Это первое дело. Самый наилучший порядок! Раз у нас так заведено, вынь да положь! Рабочий свое возьмет! Вот и заводи, Павел Никитич, это дело у нас, на участке, на людей посмотри, своей умной головой подумай — не на двести миллионов, а на сто человек! И не ошибешься, правду говорю.

— Слушаюсь, Евдокия Егоровна, — сказал Павел с подчеркнутым вниманием.

— Нет, ты не смотри, что я дура неученая, старая, а ты послушай, послушай... Я не каждому скажу то, что говорю тебе.

— Я слушаю, тетя Дуня. Рад слушать вас.

Алтухова не задевал ни нравоучительный ее тон, ни то, что она говорила с ним так, будто он сам не был рабочим. Он стал им, когда тетя Дуня была еще домохозяйкой, но ее муж и сыновья были рабочими, и она встала к станку, как и мать Павла, когда «мужики» ушли на фронт. И ему приятно было ее слушать.

Он думал: «Не одному мне, Евдокия Егоровна, вы многим смогли бы так же крепко и умно сказать, и многие слушали бы вас с тем же сердечным волнением».

— Ну, тогда слушай, — закончила Громова с неженским выражением сердитой ласки. — Ничего не бойся! Раз ты такой человек, мы за тебя горой встанем. Как один! Мы все видим. Все понимаем. Нас не обманешь. Я Ваньку Меликова не признаю. И ты, Павел Никитич, не смущайся, что молодой. Не тушуйся. Раз надо, заставляй нас! Поблажки никому не давай. Заведешь у нас порядок — мы тебя всей душой примем! И ты с нами не пропадешь.

Алтухов стоял перед старой работницей почтительно. Это доставляло ему удовольствие. Тетя Дуня говорила не от себя — от многих рабочих, как и Леня. Ее голос был голосом тех, кого называют у нас беспартийными большевиками.

Неразговорчивая Лапшина, крикливый Блажнов — улитки. Евдокия Егоровна, Леня — пчелы из большого и дружного рабочего улья. И несказанно дорого было Павлу почувствовать их неподкупную ласку. День потрачен недаром.

Павлу хотелось достойно ответить Громовой. Слов он не нашел — и в глубоксм волнение низко поклонился ей, молча протянул руку.

Глава тринадцатая

ПАРТГРУППА

Во второй половине дня пролился обильный теплый дождь. По стеклу цеховых стен понеслись, свиваясь, дождевые струи. В открытые окна ворвалась водяная пыль. Цветы под окнами кланялись в пояс под ударами тяжелых брызг. Душистый ветер летел по цеху, и навстречу ему поднимались от станков улыбающиеся лица рабочих.

Дождь утих неожиданно, как и начался, будто разом задвинулась небесная заслонка. Но на стеклах стен, как на листе, долго держались

крупные капли. Широкими горячими столбами ударило солнце. Стена цеха ослепительно засверкала и заискрилась голубыми, оранжевыми, золотыми огнями.

Эти огни веером брызнули в цех и зажгли его от пола до потолка. Они то застывали на мгновение, и тогда цех походил на раскрашенные пчелиные соты, то переливались, мелькая, и тогда цех казался прозрачным водоемом со множеством сильных ключей.

С безотчетно радостным чувством смотрел Павел на вертящуюся сталь. Под солнцем она казалась стеклянной. Незаметно наплыло облако. Капли на стеклах внезапно обесцветились, цех словно погас. Весна, заглянув в окна, унеслась дальше, вслед за дождем.

Варвара так и не показала в цеху. Она уехала прямо от директора с новым срочным заданием, и было немного обидно, что не нашла минуты забежать в цех справиться у Павла, как идут дела.

Павел приписал чувство обиды своей усталости. Варя навестила бы его, если б могла. А уставать было рано. Рабочий день только развернулся. И впереди предстояло важное и крупное дело. С него Павел хотел начать сегодня.

Необходима была встреча с парторгом.

Павел не знал Лазарева в лицо. Заглазно о нем складывалось противоречивое впечатление. Павел не допускал мысли, что парторг его не поймет. Но сразу ли, по-хорошему ли поймет? До среды оставалось только три рабочих дня. А в среду не только Зотов, но и Деев спросит с Алтухова резце, чем спрашивал сегодня. Нетерпение и беспокойство одолевали Павла.

Началась вечерняя смена.

Близ точила, на котором густо визжал заточиваемый резец, Павла окликнули. Средних лет рабочий, коренастый, кряжистый, отняв от вертящегося камня резец, шагнул к Павлу.

— Товарищ Алтухов! Ты, стало быть, уже на посту? — Он крепко стиснул крупной своей шершавой ладонью руку Павла. — Ну, что тебе сказать? Майские итоги только что подвели. Однако и Октябрь не за горами. Надо теперь же подумать об обязательствах к годовщине Октябрьской революции. Ты со своей стороны пораскинь мозгами.

Павел признал в рабочем Лазарева. Приятны были и мощное рукопожатие парторга, и его привычное партийное «ты», и даже энергичная повадка сразу «наваливаться» на человека. Но Павел готовился к разговору по крупнее. И ответил сдержанно:

— Пораскину.

Лазарев почувствовал его настороженность и внутренне воспротивился ей.

— Что ж, пока суд да дело... Давай быка за рога! До перерыва ты едва ли уйдешь. Сегодня же и соберемся, поговорим.

— До перерыва не уйду, — согласился Павел, присматриваясь к Лазареву. Лицо у парторга скуластое, твердое, волевое, и весь он сколочен крепко, надежно, как сибирский сруб.

— Значит, договорились.

— Договорились.

И они неохотно и неловко разошлись: Алтухов — с неточным первым впечатлением, что парторг уж слишком благодушен, а Лазарев — с чувством, что новый мастер суховат, тяжеленек на подъяе.

До перерыва Павел оставался под впечатлением этого неожиданно сложившегося знакомства. Припомнился разговор с Варварой у заводских ворот, на ходу. Она говорила, что Лазарев хорошо знает Павла.

Может быть, они встречались раньше? Как же Павел не задумался над этим до сих пор?

На расстоянии Алтухов продолжал следить за Лазаревым и отметил: Лазарев рабочий незаурядный. Сорокину подстать.

Еще одна интересная встреча отвлекла Алтухова.

Высокий сутуловатый человек подошел к нему и сразу подчинил себе рокошущим, медленно текущим басом:

— Позвольте в таком случае доложиться... зовусь Находкой, Герасимом Федоровичем.

С первой же минуты Алтухов почувствовал, что подружится с этим человеком.

Находка не скрывал недовольства собой, но ни о ком на участке, даже о Блажнове, не отзывался резко или презрительно. В своей смене Находка показывал только недоделки. Он так нажимал на свои упущения, что у Павла возникло желание заговорить о достоинствах его работы. Герасим Федорович немедленно вышутил эти потуги. И Павел понял: Находка искал большего, нежели рядовые похвалы.

Коньком Герасима Федоровича была техника. Он любил ее восторженно и ненасытно. Еще мальчишкой норовил разбирать и собирать механизмы, которые попадались ему под руку — часы, примус, заводную игрушку. И до зрелых лет донес юношеский жар: придумать, наладить, улучшить, изобрести. В этом он нашел свое призвание. Но работа на участке складывалась так, что до любимого дела не дотягивались руки. Талант Находки завяз в топкой почве «текучки». Никому, похоже, не нужна была его рабочая смекалка. Этим и болел Герасим Находка.

Глядя на его сутуловатую спину, встречаясь с его голубыми глазами, Павел думал:

«Умный, красивый человек. Зрелый мастер. А обижен тем же, чем Ляня. Кого ни возьми: и Евдокия Егоровна, и Бобков — по разным причинам, но дают не всё, что могут и хотят дать. И не всё, что должно бы, получают».

Находка был членом партии. Алтухов спросил его:

— А к Лазареву, Герасим Федорович, вы ходили, ставили перед ним вопрос?

Голубые глаза Находки недоуменно глянули на Алтухова из-под взлетевших на лоб бровей.

— Меня, Павло Никитович, — сказал сменный могучим своим басом, — еще мамо-покойница учила, упаси боже, не клянчить у людей, спасибо говорить за то, что дают. Хорошему учила.

— Не плохому. Партия тоже учит нас скромности. Одного боюсь: не случилось ли с вами большого греха. — Мастера остановились близ стола ОТК. — Вы считаете вопрос личным. Не много ли на себя берете? От того, в какие условия вы поставлены на участке, зависит не только ваше настроение, а производительность труда целой смены.

— Это дело другое. Об этом у нас говорили, — сослался на товарищей Находка.

— Напрасно вы прячетесь за чужие спины.

— Да что вы такое говорите, Павло Никитович!

— Герасим Федорович! Вы поступили нескромно. Коммунист не пошел к парторгу с частной своей заботой. Что он этим сделал? Во-первых, сам в ней не разобрался, во-вторых, не дал парторгу сопоставить это частное со многими другими частностями, обобщить их и, может быть, сделать решительные выводы. На поверку-то ваша щепетильность нам в копейку обходится.

Находка покосился на стоящих у стола ОТК.

— Ей-богу, преувеличиваете... Равняете ерша со шукой.

— Дорогой Герасим Федорович, — продолжал Павел с упреком, — а с каких это пор коммунист не вправе обращаться к партии с личной своей, самой личной заботой? В каком это уставе записано?

— Ну, это... вы... мне... Павло Никитович... пришиваете, — выговорил Находка, прерывисто дыша. И сам поразился тому, какое впечатление произвел его упрек на Алтухова.

— Вот уж такого слова не ожидал от вас! — сказал Павел, отшатываясь. — Как у вас язык повернулся!

— Да что я сказал?

— Я старался говорить с вами на партийном языке, а вы мне ответили... на обывательском.

Находка спрятал глаза.

— Обижаете, Павло Никитович...

— Возможно, — ответил Павел сдержанно.

Они снова двинулись меж станков, оба рослые, широким веским шагом. И только через десяток минут неловкого молчания Находка проговорил басовито:

— А по сути, Павло Никитович... друже вы мой... вы-таки правы.

В перерыв Алтухов и Находка вместе пошли к Лазареву, в цеховой красный уголок — он помещался на антресолях, напротив деевского штаба.

Лазарев принимал членские взносы у двух коммунистов, рабочих второй смены. Здесь же оказался Иван Трофимович. У соседнего стола сидел над тетрадкой Сорокин, готовился к стахановской школе.

Оглядев собравшихся, Лазарев весело сказал:

— Что же получается, товарищи? Вся наша партийная группа налицо. Отсутствует только кандидат в члены партии Васильев. Он в третьей смене. Вот, новый товарищ входит к нам в парторганизацию. Познакомьтесь.

— Хлынов... Тимохин... — назвали себя коммунисты из смены Находки, а Павел мысленно прикинул: в первой смене один коммунист — Николай, в третьей — Васильев, кандидат. А во второй все другие, включая самого парторга. Неважно расставлены силы партгруппы!

Была у Павла одна давняя тайная слабость, унаследованная от отца: боязнь публичных выступлений. Отец умел обстоятельно и остро высказаться в беседе, но вконец смущался, путал и комкал речь, выступая перед самым маленьким собранием. Так и Павел — всю жизнь боролся с этой слабостью и все-таки не мог ее одолеть.

— Я человек новый среди вас, товарищи... — начал он сдавленным голосом. — Мне трудно судить. Но, может быть, со стороны видней. Пока что я не почувствовал партгруппы на участке.

— Сам видишь, товарищ Алтухов, — отозвался Лазарев, — парторганизация наша небольшая. Основные кадры — комсомольского возраста.

— Я говорю не о количестве, — поспешил возразить Павел. И весь сосредоточился на усилении не потерять ход мыслей, не упустить из виду связующие мостки, без которых вдруг застреваешь на островке отдельного довода или примера, не зная, как от него оттолкнуться.

Шесть пар заинтересованных глаз остановились на нем. Все сидели, Павел стоял. Его внимательно слушали. И сердце его забило так, что стало трудно дышать.

— Дело, конечно, не в количестве, — продолжал Павел чрезмерно громко. — Воюют не числом, а уменьем. До этого еще в позапрошлом веке один умный человек додумался.

К чему, однако, он это сказал? Павел оперся ладонями о спинку стула, опустил глаза. Сейчас сама собой выскочит знаменитая фраза: «Я, товарищи, не оратор, конечно»...

Кто-то протянул Алтухову папиросы. Спасительный островок! Павел взял папиросу, сел.

Закуривая, он несколько овладел собою.

— Я видел всех вас, товарищи, на рабочих местах, за исключением Васильева... И, как новый человек, могу сказать в глаза: есть среди вас просто замечательные люди. Я назову их.

— Просим, — неожиданно сказал Меликов, а Лазарев вложил ведомость членских взносов в папку.

— Эти товарищи, — проговорил Павел с чувством, точно строчку стихотворения, — Коля Сорокин, мастер Находка Герасим Федорович.

— Лазарева забыл, — заметил Меликов.

— Согласен. Но вот беда: в отдельности каждый хорош, а вместе вы... плохи.

— Вот тебе и раз! — воскликнул Лазарев изумленно.

Павел перевел дух. Николай слушал его с одобрением. Меликов часто косился на Лазарева. А Находка весь был — удивленное внимание. Хлынов и Тимохин пока менее были понятны Алтухову, но и в их взглядах разгорался интерес к тому, что он говорил. Теперь это ободрило Павла.

— Я привык думать, — продолжал Алтухов все спокойнее и тверже, — что партийная организация, будь в ней хоть два человека, — коллективный комиссар на своем участке. Таким комиссаром наша партгруппа, по-моему, еще не стала.

— Бросаешься словами, товарищ Алтухов! — Лазарев с шумом встал.

Эта реплика звучала, как находкинское «пришиваете».

— Товарищ парторг, — проговорил Павел, — ты со мной так не разговаривай. Я этого языка не пойму. Знаешь, холодно от него на душе...

— Да ты сам-то как разговариваешь, друг милый! — вступился Меликов. — Можно подумать, что до тебя тут пустыня была. Голо! Даже партгруппа — не партгруппа. Все недостатки нам подарил. А заслуги, достижения себе в карман, что ли, положишь?

Но этого подозрения не разделил никто.

— Это ты напрасно, — сказал Лазарев хмурясь.

— На свой аршин не следовало бы мерить, Иван Трофимович, — заметил Находка.

— Здесь есть люди постарше меня в партии, — сказал Павел. — И меня поправят. Но я к вам пришел не ради громкого словца. И не мог бы я ходить среди вас с камнем за пазухой.

— Правильно, это правильно, — ответило Павлу несколько голосов, и тогда он выложил на стол заявление Лени Иванеева.

Сорокин прочел его вслух. Лазарев потемнел. Все молчали. Только Меликов, покосившись на Лазарева, усмехнулся.

— Эх, удивил! Я таких писулек с полдюжины принесу...

— Да вот не принес! — внезапно и с раздражением оборвал его Лазарев. — Другие принесли.

— А разве мы не знаем, товарищ парторг, какое у хлопцев настроение? — воскликнул Находка. — Молодежь на участке недовольная... Прямо скажем — обиженная.

— О себе скажи, Герасим Федорович, — напомнил Хлынов.

— Обо мне разговор... — Находка хотел сказать: «ни к чему», но закончил вдруг угрожающе: — еще будет! — и смущенно поглядел в сторону старшего мастера.

Алтухов одобрительно кивнул ему головой.

— А отчего так получается? Вы посмотрите, как расставлены наши общественные силы. Кто у нас профгруппорг, товарищи?

Профгруппорг участка ушел в длительный отпуск по болезни. Временно его заменял молодой рабочий, бойкий парень, но без истинной любви к общественному делу. И он быстро запустил и развалил работу.

Вопрос Алтухова ударил в наболевшее место — заговорили все сразу, но Павел, увлекшись, говорил громче всех:

— Неужели не найдется среди нас настоящего вожака рабочей активности, трудового творчества?

— Найдется. Изберем, — обнадежил Лазарев.

— Теперь, положи руку на сердце, скажите, — продолжал Павел, — все ли знают, как зовут комсорга участка?

— Ну, Лиза — другой человек, — удовлетворенно проговорил Лазарев.

— Удивительная девушка, это верно. Из таких, как она, в войну выходили герои, а сейчас выходят сталинские лауреаты.

— К-куда хватил, — не удержался Меликов. — Лауреаты!

— Ох, Трофимыч, не уважаю я тебя, когда ты вот этак... тянешь свою волюнку. Не знаю, может я слишком чувствителен, но я в каждом комсомольце вижу те же задатки, что и у Лизы. Этому меня учили в партии, и сам я буду учить этому комсомольцев.

— Правильно.

— А позаботились мы о том, чтобы создать комсоргу должный авторитет на участке? Чья это забота? Или мы не нуждаемся в этом?

— Верно... верно... — задумчиво проговорил Лазарев садясь. — И коммунисты у нас неладно расставлены... Так, что ли?

— Тут Герасим Федорович виноват, — рассмеялся Павел. — В его смене почти вся партгруппа собралась. Больно уж мастер симпатичный...

Иван Трофимович вдруг вскочил, открыл рот, поднял ладонь ребром, но раздумал говорить, крикнул, опять повалился на стул и, ударив себя кулаком по голове, оперся о него лбом. Смешные стариковские его повадки только подчеркивали, как он прям и прост во всех своих слабостях. И, кажется, впервые товарищи почувствовали, как ему худо.

— Если говорить о расстановке людей, — сказал Павел, — то вот вам живой упрек: Иван Трофимович Меликов. Кто его снял? Партгруппа? Нет, насколько мне известно. — Павел не придавал значения тому, как товарищи многозначительно переглянулись между собой. — Тогда, может быть, партгруппа вступилась за коммуниста и отстаивала его перед командованием? Тоже нет. Ни то, ни другое. Решили старшие. А мы, как говорится, расписались в получении.

— Ну, в том, что решили старшие, — сказал Лазарев спокойно, — я плохого не вижу.

— Нет, парторг, не согласен! Я так понимаю, что партия начинается с нас с тобой, с первичной ячейки, как раньше она называлась. С нас с тобой начинается власть партии. Но с нас начинается и ее ответственность.

— Да с этим кто же спорит! — проговорил Лазарев, улыбаясь, будто его не упрекали, а хвалили.

— А раз так, я прямо говорю: ежели партийная группа будет рабо-

тать со мной, как с Меликовым... Я не семи пядей во лбу. Один этого воза я не сдвину. И тягаться не стану. Списываю текст с иванеевского заявления и подаю по инстанции... Но думаю: вы же мне этого не позволите.

Лазарев поднялся с места и неспешно, в раздумье, прошелся вдоль стола, крепко сжав свои крупные, сильные руки.

В красный уголок стали заглядывать рабочие, приходившие из столовой после обеда. Увидев за столом одних коммунистов, уходили, осторожно прикрывая дверь.

Лазарев оперся о стол, с улыбкой кивнул на дверь:

— Думают—партсобрание. Да так оно на деле и есть.— Парторг вдруг азартно стукнул ладонью по столу, зычно сказал Алтухову: — Выкладывай! Что тебе сейчас требуется? На сегодня. Неотложно.

И Павел увидел, что Лазарев выразил общее желание — такая глубокая тишина установилась в красном уголке.

— Мне нужно многое, — ответил Павел не без растерянности.

Но с каждой минутой он становился все ближе этим людям. И Павел рассказал о главной своей заботе:

— Не могу понять, отчего так получилось. Странное это дело! Участок, я вам скажу, красавец. Посмотреть на него не рыбьим глазом, и если в жилах у тебя не вода—залюбуешься. Герасим Федорович, ваше мнение?

Находка поспешно опустил брови, точно пряча любовный огонек, который зажегся в голубых его глазах.

— Очень правильно характеризуете, — проговорил он, и голос его дрогнул, как у Лени той ночью, под заводскими липами.

— И ведь это дело рук наших! — продолжал Павел, не скрывая волнения. — И на таком участке всерьез считают, что мы — работники заурядные, самые средненькие. Личный состав наш, видите ли, в основном из молодежи, и, стало быть, второго сорта. И чтоб участок выполнил утроенную программу, то есть свою долю по пятилетнему плану, надо нам других рабочих, получше. Товарищи! Командование дает нам таких людей. Но если бы партгруппа (а этого, я думаю, не случится!) решила их взять, я голосую против. От добра добра не ищут. Тут я жду вашей крепкой поддержки. Надо дать бой и разбить это глупое недоразумение. Чтобы люди стали уважать самих себя и увидели себя героями, новаторами, на которых мир смотрит!

Наступило молчание.

— Считаешь, что у нас с людьми... так уж благополучно? — спросил Сорокин как бы от имени собрания.

— Нет. Есть узкие места. Их — расшивять всем коллективом, бросить сюда все силы. И чтобы не расплыться, называю пока два адреса: первый — Лапшина, второй — Блажнов. Оба в смене мастера Куликова.

Адреса Павла оказались хорошо известны, и когда Лазарев осведомился у собрания: «Вопросы будут?» — их не оказалось. Павел увидел в этом знак понимания и одобрения.

— И еще одна просьба, — продолжал он. — Нужен на участке боевой профорг. С завтрашнего дня. Человек с душой. И со вкусом к общественной работе.

— Правильно.

Лазарев улыбнулся.

— У тебя есть, конечно, кандидат?

— Есть...

— Давай.

— Я бы выдвинул Иванеева Леонида.

Это имя было и неожиданно, и ожидаемо. Согласились с Павлом не сразу, а когда согласились, то твердо.

— Доверяешь ему? — подчеркнул Лазарев.

— Доверяю.

— Значит, нужен тебе такой человек?

— Не только такой, а именно этот.

— А поддержат его рабочие? — спросил Тимохин.

— Думаю, что рабочие уважат мнение партийной группы, — сказал Сорокин.

Других кандидатов названо не было.

Лазарев озабоченно взглянул на стенные часы. Теперь все взгляды обратились к нему. Ждали его ответного слова.

— Ну, Павел Никитич, — сказал парторг задумчиво, — ты нас ругаешь, а мы, как видишь, этому рады. Сейчас гудок, мы наш разговор прервем, но, надеюсь, не дадим ему заглухнуть. Этот партийный, политический разговор мы продолжим, и не только внутри, но и вне нашей партийной группы, как сумеем шире...

Лазарев с шумом отодвинул от себя стул. Павел с одобрением отметил, как свободно и привычно держится парторг перед собранием, как легко и точно складывается на ходу свою речь.

— Если мне память не изменяет, товарищ Сталин так сказал первым, самым первым стахановцам на слете в Кремле. Не стану отрицать, — сказал он, — что вы кое-чему поучились здесь у руководителей правительства. Но и мы, говорит, поучились у вас, у стахановцев, на этом совещании. И вам за учебу — большое спасибо... Вот об этом самое время вспомнить. Это спасибо и нас касается. Правда, нам лично оно дано в долг. Алтухов прав: мы задолжали, и в первую голову задолжала партгруппа участка. Так что ж, у нас самолюбия нет, что ли? Что ж, нам меньше других надо? Нам пока нечем похвастать. Сегодня мы поучимся у других. Но завтра и других поучим.

— Учиться-то недалеко ходить! — прервал Алтухов. — Выйди за ворота и загляни в соседний цех.

— Да к нам на завод со всей отрасли промышленности ездят! — воскликнул Сорокин. — Дорохинцы-то откуда взялись? По нашему Петру Дорохину названы.

— Надо, чтоб появились сорокинцы и хлыновцы, — подхватил Лазарев.

— И смировцы, иванеевцы!

Алтухов, взглянув на часы, поднялся с места.

— По сути-то дела, мы собирались с парторгом потолковать о соцсоревновании...

— С этого и начнем всей партгруппой, — сказал Лазарев.

Но Павлу хотелось развить эту мысль. Заглавная в их сегодняшнем разговоре, она определяла главное и в их партийной и производственной практике.

— Ведь за что товарищ Сталин благодарил первых стахановцев в Кремле? За то, что они открыли новый, высший этап социалистического соревнования. А посмотрите, сколько новых видов соцсоревнования открыл наш народ с тех пор. Соревнование по профессиям, движение многостаночников, комплексные бригады изобретателей и рационализаторов...

— Лицевые счета стахановцев... — подсказал Лазарев.

— Движение скоростников... Соревнование за отличное качество, — напомнили Находка и Сорокин.

— Стахановский инструктаж сюда же идет, — напомнил Хлынов.

А за ним Тимохин:

— Шефство научных институтов над заводами.

— Общественная наша жизнь невиданно богата и будет богатеть с каждым днем. И нам надо тянуться, не отставать. Глядишь, и на нашем маленьком участке родится новый вид соревнования. Дела эти незрели. Главное — не давать людям ржаветь... Раздуть на участке такой огонь общественной жизни, чтоб небу жарко было... — Павел улыбнулся. — Если справимся с этой задачей — почувствуем, что мы политический мозг участка, его партийная душа.

И тут-то парторг среди внезапно наступившей тишины сказал старшему мастеру:

— В одном я тебя, товарищ Алтухов, поправлю...

И по тому, как дружеская его улыбка тотчас вызвала улыбки на лицах всех товарищей (лишь один Трофимыч нахмурился), Павел понял, что поправляет его не только Лазарев, а и все товарищи.

— Кое-какие решения тут принимали и мы. Не знаю, как Петр Анисимович Зотов считает, может, это он тебя, так сказать, открыл... и поставил. А мы считаем, что и нашей инициативы нельзя сбросить со счета. Мнение у нас сложилось такое: участку нужен новый настоящий командир. В этом мы видели зерно решения. И не только потребовали, но и нашли, и отстаивали конкретного кандидата — тебя, Алтухов. К товарищу Дееву было наше первое слово.

Лазарев раскрыл свою папку, полистал ее содержимое.

— Надо сказать, что не одна только партгруппа тут поработала. Ты нам принес заявление Иванеева. Хорошо сделал. Но у нас были сигналы посерьезней. Вот статья Лизы Смирновой. Комсорг критикует стиль работы бывшего начальника цеха. К стыду нашему, дядя Вася добился того, что эту статью не поместили: подрывает, мол, его авторитет. Но Лиза пришла со статьей к нам, и мы с ней согласились. Получали мы сигналы и от известной тебе тети Дуни, и от технолога Самарцевой, и от профорга, который сейчас болеет, и от товарища Сорокина, и от мастера Находки, и еще от многих партийных и беспартийных товарищей. Здесь у меня все собрано. Интересуешься — почитай. Это кирпичики, из которых складывалось наше решение.

Павел поднял на товарищей счастливые глаза. Слова не нужны были. «Спасибо вам за доверие», — сказал его взгляд. Глаза товарищей ответили: «Тебе спасибо за критику... Будем работать рука об руку!».

Гудок оборвал это безмолвное объяснение.

Провожая Павла на участок, Меликов сказал Павлу без обиняков:

— Вот какое дело, Паша... — и сам удивился тому, что назвал его уменьшительным именем. — Не сердчай, это я любя... Возьми ты меня к себе за ради бога хотя бы каким завалящим токаришкой...

— Будете работать мастером, Иван Трофимович.

— Да я бы хотел с тобой, — взволновался старик.

— Со мной, со мной! У меня и в мыслях не было вас отпускать. Людьми не бросаются. Дам вам под начало десять рабочих. Поставлю на трудное место.

— Боюсь я, Паша...

Алтухов улыбнулся.

— Это у вас пройдет.

— Думаешь? — пробормотал старик, растроганный.

А часов в одиннадцать начальнику цеха Дееву позвонил Зотов.

— Участок Алтухов принял? — спросил он, по своему обыкновению, без лишних вступлений.

- Принял, — ответил Деев. — Требуется выполнения решения ЦК и Совнаркома от сорокового года. Хочет полной автономии в цеху.
- Ты мне скажи: людей просит?
- Нет. Людей — нет. Верит в себя, как в пророка.
- Он в людей верит! Так не просит?
- Нет.
- А не болтун, не хвастун?
- Не думаю. Горяч, правда. Но очень искренний парень.
- Товарищ Деев, успех Алтухова на этом участке, с молодыми рабочими — успех принципиальный. Так надо смотреть на это дело. И так держать!
- Ясно. У меня такое же ощущение.
- Стало быть, людей ему не нужно?
- Нет.
- Ну, это я ему запомню! — И Зотов гулко кашлянул в трубку.

Глава четырнадцатая

СУНЕГА

В субботу Зотов вызвал секретаря и, крупно шагая по ковру, приказал:

- Выясните, в чем нуждается Алтухов, Павел Никитич. Работает он...
- Я Алтухова знаю, — сказал секретарь.
- Личные его нужды, семейные... Например, путевку в санаторий для его матери и так далее.
- Понятно.

Зотов остановился на полушаге, словно удержанный неожиданной мыслью.

- Завтра у нас что, день Победы?

Шагнув к столу, Петр Анисимович пододвинул к себе большой блокнот, резко перевернул хрустящий лист, стоя вычеркнул из него строку жирной синей чертой, с громким стуком бросил на стол толстый карандаш.

- Во второй половине дня соедините меня с Алтуховым.

В этот день Павел вошел в цех с новым чувством: так входят в родной дом. Всюду на участке Павел находил приметы своих дел. Бобков не отходил от станка. Лапшина как будто оживилась. С утра Лиза, в белом халате, работала за новым станком. Она так волновалась, что лицо ее казалось белей халата. Павел сам разволновался, точно на экзамене. Он попытался подбодрить Лизу, похвалив складный покрой ее халата. И огорчил ее: халат шила покойная мать Лизы, еще давно, когда готовила девочку в медшколу.

В обеденный перерыв рабочие собрались у цеховой доски извещений, на которой был вывешен выговор Блажнову, подписанный старшим мастером. И всеми была отмечена формулировка: за грубость.

А после обеда к Алтухову явился представитель главного инженера Семенов и, попрежнему без нотки юмора, сообщил, что получил внушение лично от главного инженера — впервые за всю свою беспорочную биографию! Павлу показалось, что Семенов ждет соболезнования. Похоже, что дело не обошлось без Петра Анисимовича. Павел сказал Семенову, что не жаловался на него. Тот не поверил.

Евдокии Егоровне Громовой нашлась работа по глазам. И в первый же рабочий день тетя Дуня выполнила две нормы. К концу смены в цеху на большом листе с ярким орнаментом, отпечатанным в типогра-

фии, появилась молния. Заголовок подсказал Павел: «Боевой привет тете Дуне — тонкоточке»...

Вторая молния приветствовала комсомолку Лизу Смирнову за ее ценный и красивый почин. Ее белоснежный халат был виден со всех точек цеха, радовал глаз, как первый снег. Две цветастые, на славу сделанные молнии и серый уродливый щиток на станке Лапшиной разительно изменили лицо участка. Павел сам не ожидал такого эффекта. Люди чувствовали себя, как на новоселье.

В субботу вышли, наконец, на участок вместе с Алтуховым Деев и Варя Самарцева: «расшивать» узкие места, планировать производство, выполнять наказ Евдокии Громовой.

Остановились у станка Блажнова. Селифан Дмитриевич глядел темнее тучи, но держался чинно. Выговор ему — за грубость — казался сейчас неоправданным.

Павел испытующе посмотрел на Варвару. Помнит ли она сейчас их разговор о стебле микрометра? Но Варя, казалось, не заметила его взгляда.

— Первые твои решения понятны, — сказал Деев Алтухову. — План начинается с дисциплины.

— По-моему, Сергей Сергеевич, дисциплина — это чувство ответственности, — ответил Алтухов. — Чувство непростое. Надо создавать для него питательную среду.

Добрые черные глаза Вари Самарцевой смотрели строго и требовательно.

— Во-первых, закрепляю людей по сменам. Конец «скользунам». Вторых, прикрепляю людей к определенным станкам. Пусть люди полюбят станки, а станки — людей. Техника, когда ее обласкают, чудеса творит. В-третьих, хочу завести прикрепление к операциям. Исчерпывай свою операцию всю до дна!

— То же самое сделай с наладчиками, — посоветовала Варвара. — Дай каждому узкую группу станков — ограничишь и тем сосредоточишь их внимание.

Павел безоговорочно одобрил эту мысль.

— Сколько у тебя «распредов», подготовителей работ? — спросил Деев.

— По два в каждой смене.

— И с ними займись тем же. Один отвечает, допустим, за подачу заготовок, за уборку готовых изделий. Второй — за движение детали между операциями. Чтобы Иван не кивал на Петра, а Петр на Ивана.

Алтухов мысленно прикинул расстановку людей в более знакомых ему сменах Находки и Куликова.

Вечером Алтухов участвовал в первом совещании рабочих комсомольской бригады Лизы Смирновой. Лиза была спокойна, держалась властно, вела совещание строго: она продумала каждое свое указание.

Алтухов приглядывался к Румянцеву и Орлову — их Лиза назвала в числе первых, наравне с Леней Иванеевым. Сильную подобрала Лиза бригаду. Но Павел смотрел дальше: бригада Лизы должна стать кузницей бригадиров.

Среднего роста, легкий, подвижной Толя Румянцев высказывался по каждому вопросу, много смеялся и неутомимо смешил товарищей. Впрочем, не столько смешил, сколько радовал своей бодростью, стремительной быстротой мысли. Миша Орлов, рослый крепыш, был, наоборот, спокоен, сдержан, молчалив. Высказывался он всегда последним, суждения его были вески, продуманны. И товарищи, повидимому, предпочитали дельное слово Миши горячему и веселому слову Толи.

Оба они, безусловно, авторитетны среди комсомольцев: первого, быть может, больше любят, второго больше уважают. Лиза правильно поступала, опираясь на них.

Лиза поставила перед своими сверстниками основную задачу: бригада должна стать хозрасчетной.

Возник новый вопрос: о наименовании бригады. Лиза решила его на ходу и окончательно: они примут имя «Молодой гвардии», но не раньше, чем общее комсомольское собрание признает бригаду достойной этого.

Павел чувствовал: бригада ждет его слова. Он намеренно не вмешивался в ход собрания, чтобы ни в чем не подменить Лизу. Разговор сложился деловой. Но в конце совещания Алтухов напомнил товарищам об их долге воспитателей.

— Я, как коммунист, жду от вас, членов ленинско-сталинского комсомола, не только хозрасчета, но и, если можно так сказать, политрасчета. Какого бы производственного успеха вы ни добились — а вы его добьетесь — не забывайте: рядом с вами работает Бобков, работает Лапшина. Решения вам не навязываю: может быть, возьмете личное шефство над ними или включите их в свою бригаду. Но ведите их за собой, иначе не оправдаете имени «Молодой гвардии».

Лиза спокойно выслушала Алтухова. Заключила она так:

— Павел Никитич, вы меня извините, но сейчас я выступлю против вашего предложения. Сперва надо нам собраться с силами и чего-нибудь добиться. Тогда Лапшина и Бобков сами запросятся в бригаду.

Алтухов не возражал. Лиза выступала, конечно, не против, а за его предложение. Она — хозяйин в бригаде, ей отвечать, ей и решать. Бригада согласилась со своим бригадиром. Очень хорошо! Алтухов не сомневался: став бригадиром, Лиза Смирнова ни на минуту не забывает, что она остается комсоргом.

Часом позднее Алтухов говорил с Лазаревым. Решили готовить открытое партийное собрание с докладом старшего мастера. Алтухов просил назначить собрание на среду.

И тут позвонил Зотов:

— Здравствуй, старший мастер.

— Здравствуйте, товарищ директор.

— Надо бы Екатерину Васильевну повезти на могилу Никиты Семеновича. Как думаешь?

— Я, признаться, в долгу перед ней, Петр Анисимович. Она была не раз, а со мной еще ни разу.

— Понимаю. Где место могилы?

— Километрах в ста двадцати, по Можайской дороге. Сунега.

— Сунега... — повторил Зотов. — Вот что, друже. Ты передай-ка Екатерине Васильевне, что я еду в Сунегу в воскресенье. И прямо в ночь. Для экономии времени. — Зотов кашлянул. — Надо и мне поклониться могиле товарища Алтухова. Сердце велит съездить. Если хотите, если погушь в попутчики — беру вас с собой.

Тронутый предложением Зотова и тем, как оно было выражено, Павел хотел благодарить. Петр Анисимович прервал его:

— Нет, этого не нужно... — и положил трубку.

Директорский «зис» загудел под окнами Алтуховых точно в назначенный час. Зотов сидел рядом с шофером Сеней. В кабине устроились Павел, Екатерина Васильевна и Варвара (ее пригласила мать).

Павла не удивил маршрут, избранный директором. Было известно, что Петр Анисимович в часы досуга любил показывать Москву. Он во-

зил по своим излюбленным маршрутам только близких, сердечно приятных ему людей. Павел впервые удостаивался этой чести.

После шумного Парка культуры, минуя гранитные стены Крымского моста, машина пронеслась вдоль канала, развернулась, промахнула мимо двенадцати рядов ярко освещенных окон Дома правительства и влетела на высокий горб Большого Каменного моста. За рекой справа, еще выше моста, поднимался Кремль.

С моста были видны все пять звезд. На главном холме, фасадом к реке, отчетливо белел Большой дворец. С моста он был виден от крыши до основания, холм под ним круто спускался к стене. Справа от дворца, вдали, неосвещенный, терялся в небе круглый столб Ивана Великого.

Машина спустилась с моста, словно поклонилась высокой шапке библиотеки Ленина и пошла по Кремлевской набережной, вдоль стены.

Возле угловой башни Зотов скомандовал:

— Тихонечко. Смирно.

И машина, объезжая Василия Блаженного и Лобное место, медленно вползла по каменным торцам на гранитный простор Красной площади.

С карнизов бывшего ГУМ'а и Исторического музея лился свет прожекторов. Вырывая площадь из темноты, он словно приподнимал ее над землей. И люди и машины на ней казались взнесенными над городом и над миром.

Свет прожекторов не касался Кремля. Только часы на Спасской и знамя над дворцом освещались словно излучаемым ими самими золотистым теплым сиянием. Высокие пики башен, зубчатая мемориальная стена с урнами и ели над дорогами могилами вдоль нее оставались в тени. Они были зримы и в ночи. Черно-красные зеркальные отблески лежали на мавзолее.

Павел обернулся к матери. В ее глазах стояли слезы. Варвара тихононько пожала ей руку.

Через древний Арбат и Бородинский мост выехали на Можайское шоссе... Вскоре оно сузилось, дома раздвинулись и поредели. Стало темней. Сеня щелкнул кнопкой. В ночь ударили два длинных луча и закачались далеко впереди, выхватывая из темноты то асфальтовую синь шоссе, то свежую листву деревьев, то угол бурого поля.

Сбоку, низко над землей, совсем рядом с машиной упорно бежала молодая луна. Потом шоссе сделало поворот—и луну далеко отшвырнуло назад. Она зацепилась за большую черную крышу, повисла на ней и вскоре пропала из виду. Ночь разом стеснилась по обочинам шоссе. И ветер задышал ровнее. Машина влетела в сосны Барвихи.

— Оглянитесь-ка!.. — сказал Зотов.

Позади, над соснами, стояло тонкое нежно-желтое зарево — во весь горизонт и во все небо. Люди в молчании смотрели на свет бессонного великого города. Его не потушила даже война. Его не погасит никакая сила.

А машина все летела и летела по шоссе, не убавляя хода. И столбы света качались и качались впереди. На поворотах их словно обрубало, и овальное голубоватое пятно света вихрем пронеслось по деревьям. В этом свете красными свечами мелькали сосны, чернели ели, вспыхивала светлая кора редких осин.

Зотов повернул треугольное оконце ребром. Ветер провел по ребру басовым смычком. Прохлада ночи ворвалась в машину и зашевелила волосы на непокрытой голове Петра Анисимовича. Он отдыхал. Он весь отдавался пенью ветра, бесшумному движению, покоряющей быстроте.

— Добре, Сеня, добре... — сказал, наконец, Зотов, потрясая кулаком. И все в машине рассмеялись, соглашаясь с ним.

Машина замедлила ход, плавно съехала с шоссе и звучно зашуршала по гравию поселка.

Сеня выключил фары. Сперва показалось, что стало темней, но через минуту заметили, что уже можно отличить землю от неба и лес от поля. Ветер спал. Справа, совсем неподалеку, поднималось румяное от утреннего холодка солнце...

Через полчаса подъехали к Сунеге.

В небольшой долинке, затененная густым кустарником, ивами и ольхами, текла мелководная речка. От нее вверх на отлогий холм дружно взбирались две улочки новой деревни. Пять лет назад здесь было пепелище. Пять лет назад этой дорогой прошел огонь.

А не век ли назад это было? Вся земля кругом перепахана плугом.

Солнце стояло прямо над холмом, ослепительно далекое. И теперь уже нельзя было на него смотреть.

Мать молча пошла вперед. И все пошли за нею. Теперь главной среди них была она.

Сунега давно уже не спала. По дорогам бежали телеги. С полей доносился гул моторов. *

Мать свернула к реке. И все пошли за ней вдоль берега, вверх по течению, молчаливые и неспешные.

Берег постепенно поднимался, все круче обрываясь в реку. Ивняк оторвался от воды, меж ним и рекой расширялся клин глинистой, красной, словно вспоротой земли.

На вершине холма остановились. Река уходила вверх, ее пойма дальше переходила в овраг. Вода негромко шумела внизу, толкаясь в обрыв. Глухой ее плеск походил на сердцебиение.

Шагах в десяти от обрыва, возвышаясь над всей округой, стояли две сосны. Почти до самых вершин они были голы и гладки, как мачты. На их разлапистых кронах могло бы уместиться по избе. Бесконечные их корни, толстые, как стволы, скрепляли собой всю вершину холма, не давая ему осесть в обрыв.

Меж соснами отгорожена площадка. Изгородь из струганого теса, высотой по пояс. Планки любовно пригнаны с просветами в ладонь. Посреди площадки возвышалась широкая могила. В головах — столбик с фанерной дощечкой. Над столбиком укреплена свежевывкрашенная пятиконечная звездочка. На дощечке выжжена надпись:

«Здесь похоронены командир взвода Н. С. Алтухов и красноармейцы Георгиев Б., Васюков А., Белов Н. и др.

Товарищ, помни! Они дрались за эти поля, за твою деревню, за нашу Москву. Прощайте, братья! Мы отомстим за вас. 19-9/1-42».

Мужчины сняли шапки, женщины вышли вперед.

Мать подняла лицо к соснам, закрыла глаза, глубоко вдохнула. Слезы текли по ее щекам. Сколько таких могил, одиночных и братских, рассеяно по земле: отсюда и до границ, и дальше, в далеких странах, со столбиками и фанерными дощечками и надписями по-русски! Вот где нашло вечный покой доброе сердце Никиты Семеновича.

Зотов подал знак Семену, и тот вытащил из-за спины руку с огромным букетом красных роз. Перешагнув осторожно через изгородь, он разбросал их по могиле.

Долго стояли в молчании.

— Здесь я, — медленно сказал Павел, — тоже впервые в своей жизни вступал в бой. На этом... забываемом никогда... Можайском направлении.

— Понимаю тебя, — сказал Зотов, обращаясь одновременно к Павлу и Екатерине Васильевне. — Мы все в долгу перед Никитой Семеновичем Алтуховым! С этой мыслью я частенько начинаю свой рабочий день.

— И я также, — сказал Павел.

«И я», — сказала Варвара без слов, молча оборачиваясь к Павлу и Зотову.

Медленно они пошли от могилы вниз.

— Так, говоришь, тебя на участке до сих пор капитаном зовут? — сказал Зотов, обнимая Павла за плечи. — Добре, добре! Ну, говори, капитан, что тебе от меня надо, что просишь?

— Только две просьбы. К вам лично.

— Послушаем.

— Первая: определить родственницу Лизы Смирновой, бабушку, в больницу, желательнее лучшую в Москве. Именитую!

— Чем больна?

— Гипертония.

Зотов нахмурился, поглядел на Павла исподлобья, проговорил протяжно:

— До-обре... Вторая?

— Вторая такого рода: не позвоните ли райвоенкому? Навалиться бы на него всем вашим весом, директорским и депутатским! Давно пора Леониду Иванееву оформить орденские документы. Хотя бы по случаю дня Победы... У него там дело уперлось в одну букву: в справке стоит Изонеев, а он — Иванеев. Описка. Орден Красной Звезды.

— Так, — проговорил Зотов. — 3-задача!.. Где он живет?

— В общежитии. Он нашего района. — Алтухов вытащил блокнот. — Записать?

— Да ты с кем разговариваешь, молодой человек! — возмутился Зотов. — Для себя записывай!

— Паша, Паша... — ужаснулась мать.

Зотов, смеясь, успокоил ее:

— Ничего, товарищ Алтухова! Откуда ему знать, какая у меня память? Никита Семенович — тот знал... И ты, Никитич, гляди! Ты меня задел за живое! Ну, как наш с тобой уговор?

Павел напомнил:

— Уговор был — дать ответ в среду. Сегодня воскресенье...

Зотов усмехнулся.

За разговором спустились с холма и потянулись гуськом сквозь тесный кустарник к берегу, к медлительной воде. Петр Анисимович пошел в деревню и увел с собой Павла.

Варя и мать присели на низком берегу, у черной воды, в густой тени ивняка. Варвара вытащила из сумки кусок ватмана и стала чертить на нем остро заточенным карандашом.

«Это что же будет?», — хотела спросить Екатерина Васильевна, и не спросила.

Она не в силах была оторвать от Вари взгляда. Сердце матери чувствовало: есть какая-то связь между тем, что девушка делала, и заботами сына. Варя работала. Это самое дорогое в человеке — умение работать. Так считалось у Алтуховых.

Неожиданно над рекой раздались тревожные гудки машины. Прямо над соснами, наваливаясь на их кроны, повисла огромная чернильная туча. Все небо над оврагом за Сунегой было плотно закрыто ею. Сеня торопился до дождя выбраться к шоссе.

Простились с Сунегой и сели в машину. Когда передние шины коснулись шоссе, гроза догнала их. Неоглядно-длинная красная молния

беззвучно распорол низкий потолок туч от горизонта до горизонта. Стекла, металл, лица людей, их одежда озарились неярким голубоватым огнем. Стекла мгновенно покрылись слоем воды, крыша загудела, как барабан. Машина, казалось, погрузилась на дно затопившего ее глубокого озера. Ударил гром.

— Ой, жарко!.. Ну, жарко!.. — проговорил с наслаждением Зотов, его басовитый голос донесся словно из-под земли.

Дома Екатерина Васильевна сказала сыну:

— Павлик, что я, сынок, надумала. Не хотела при людях говорить... Спасибо тебе, родной, за все!.. — Она поцеловала его в щеку. — Но перед Евдокией Егоровной — стыд мне, перед Дуней-то. Мы с ней ровесницы, всю жизнь вместе, и сейчас, как сестры. А обеды мои, по правде сказать, тебе не нужны, ты и в воскресные дни редко дома сидишь. Я не хвораю, не сглазить бы, не инвалидка. Пусти меня, сынок, из дому. Давно уж я подумывала, и Дуня мне намекала... А как увидела вас всех на могилке — не усидеть мне дома. Душа просится, руки ноют, смотрю и вижу, как у станка стою. — Она не уверена была по скромности своей, что нужна будет в цеху, и заключила вопросом: — Пойду я, сынок, как твое решение?

Павел не успел ей ответить. Пришла Евдокия Егоровна, и по тому, какими заговорщическими взглядами она обменялась с матерью, Павел понял: тетя Дуня пришла не случайно. Павел молча тут же, в дверях, обнял их обеих.

Глава пятнадцатая

ТЕХНОЛОГИЯ

В понедельник утром, перед уходом на завод, Павлу захотелось раскрыть свою тетрадь в коленкоровой обложке.

После Сунегы и мать, и Варя, и Зотов стали словно ближе и родней Павлу.

На обратном пути вчера Варя казалась неразговорчивой. Украдкой она поглядывала на листок ватманской бумаги, который держала в руках и тотчас прятала, едва Павел взглядывал на него.

Павел спросил, что она от него прячет. Варя ответила не сразу и очень серьезно:

— Стихи. Посвящаются тебе.

И положила листок в сумку.

И, кажется, впервые захотелось Павлу сжать руки Варвары с новым, незнакомым прежде чувством. Это чувство возникло внезапно, но не забылось.

Прошлой ночью Павел уснул поздно. Сунегга долго не шла из ума.

Итак, послезавтра — среда. Доклад Зотову, доклад партийной группе. Что же Павел должен?

Во всех подробностях он припомнил разговор с начальником цеха в пятницу. Алтухов не притворялся перед Деевым. Тогда он и вправду мог бы ответить только на двойку. В субботу они работали втроем: он, Деев и Варвара. Этот день принес много нового. Деев все помалкивал. Но у него, конечно, сложились свои решения. Алтухову должно иметь встречные.

Павел вздохнул озабоченно. В субботу он потерпел, может быть, единственную, но самую чувствительную неудачу за все эти дни. Стахановская школа Сорокина не состоялась. Алтухов просмотрел план-кон-

спект Николая — и словно услышал звук осечки. Сорокин работал несравненно интересней и глубже, чем собирался о себе рассказывать.

Очень важные моменты своего истинно новаторского труда — например, как организовывал рабочее место, как планировал работу над отдельной деталью, — Николай считал азбучными, само собой разумеющимися. Он намеревался говорить, главным образом, о своих приспособлениях — их он считал единственно изобретательскими в своей работе. Николай тщательно подсчитал, какую пользу приносило каждое из приспособлений, но он хотел говорить по существу, лишь о конечных результатах работы, не вскрывая методов своего труда, путей, по которым шли его искания, одним словом, не показывая своей творческой лаборатории — самого интересного, самого поучительного.

Его школа должна стать показательной. Нужен был взгляд со стороны. Нужен был взгляд инженера.

Неудача всегда остается неудачей. Павел не тщился найти ей уважительную причину. Но в этой неудаче, кажется, крылся полезный смысл.

Что искали Алтухов, Самарцева, Деев? Секреты рентабельности. А что такое рентабельность? Наука. Так не в том ли ее главный секрет, чтобы упорно и непрестанно учиться? Лазарев прав: вся наша жизнь — взаимная учеба.

Для большей части человечества социализм — будущее, мечта. Для нас он — действительность. Мы пришли в будущее, оно дало нам много, но и потребовало многого от каждого человека. И не только мужества, не только самоотверженности, но и знаний. Человек социализма на голову выше людей капитализма, ибо опередил время. Он богат великим общественным опытом.

Каждый обычный наш день, если к нему присмотреться, — небывалое доселе свершение. Вся жизнь наша — новшество. Вот почему не только от командира, но и от рядовых требуются знания, знания и знания. Вот почему жить — у нас означает учиться. Это и внушал Алтухов сменному Куликову у станка Сорокина. Трофимыч потому не верит в успех, что не умеет учить людей, не умеет учиться.

Стало быть, от Павла Алтухова, как от командира, требовалось одно: смелее взглянуть в лицо своей трудной задаче и готовить штурм рентабельности, как науки.

Зотов Павла поймет. Партгруппа поддержит. Деев и Варя — вот за кем дело. Без инженерного штаба не взять большой крепости, об этом говорит неудача с Сорокиным. В субботу Алтухов работал вместе со штабом. Не потому ли созрело его решение? Варвара поняла интерес Алтухова к стеблю микрометра. Для начала этого было достаточно. Сегодня Павел требует большего.

Еще в первый день Варя сказала: где бьется мысль, там будет движение, толк будет. Так пусть же мысль рабочего сольется с мыслью инженера. И чем быстрее, тем лучше. Смелее, Алтухов. Есть мысль. Заставь же ее разгореться!

Павел закрыл тетрадь. Минуту спустя он энергично шагнул на завод.

В цеху было тихо. Станки, как и люди, отдыхали накануне три смены подряд. Голоса людей и машин звучали под высоким потолком цеха ясно и звонко, точно на утренней заре.

Черно-железные части станков отливали стальным блеском. И чем больше появлялось в цеху людей, тем больше энергии, скрытого напряжения угадывал Павел в станках. В едва заметно провисших приводных ремнях, в придиричиво глядящих друг на друга бабках, в пустых суппортах чувствовалось нетерпение.

У Деева Павел застал Варвару. Они просматривали какие-то чертежи. Карандашный эскиз на куске ватмана показался Павлу знакомым. Увидев Алтухова, Деев тотчас же спрятал чертежи в папку, а папку — в ящик. Варя густо покраснела.

— Знаешь, Павел, — сказала Варвара, как бы продолжая прерванный разговор. — Сергей Сергеевич считает тебя хитрым человеком. Он подозревает, что ты весь субботний день убил на то, чтобы показать, что желаешь работать в дружбе с инженером.

Варя, кажется, наперед знала, с чем Павел к ним сегодня придет.

— Семенова забыл? — спросил Деев.

— Семенов не тот человек. Он, Сергей Сергеевич, недоучка, — проговорил Павел хмуро.

— Суровый ты человек, Павел, — заметила Варвара с откровенным сочувствием.

— Я суровый? — не понял ее Павел. — На днях тетя Дуня завела со мной разговор — вчерашняя домохозяйка. У меня слезы на глаза навернулись. Честное слово, не преувеличиваю.

Павел подошел к стеклянной стенке в цех.

— Я вам показывал многих. Лиза Смирнова, Леня Иванеев, Сорокин, Хлынов, тетя Дуня, — Павел мысленно назвал еще мастера Находку, — не желают работать кустарно. А хотят работать научно. Увидели вы это?

— Увидели.

— Ну, вот и вся моя хитрость!

Сергей Сергеевич улыбнулся Павлу своей неожиданной и покоряющей улыбкой.

— Пока ты нас не отпустишь, мы с участка не уйдем, — сказал начальник цеха, заметно польщенный. — Поверь, инженеру тоже дорого знать, что его мысль, как зерно, падает на возделанную почву и дает свои всходы.

Но Павел еще не был удовлетворен.

— А скажите, Сергей Сергеевич, где вы учились? — спросил он неожиданно.

— Я окончил Станко-инструментальный имени Сталина.

— Кто вам запомнился из ваших учителей?

Деев помедлил размышляя.

— Пожалуй, больше всех профессор Городницкий, Ефим Осипович. Ныне он доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники, а в прошлом — начтехбюро нашего завода. Не знаком с ним?

— Хотел бы познакомиться, — сказал Павел, и глаза его вдруг прищурились. — Сергей Сергеевич! И ты, Варя! Тряхните стариной. Вы — Городницкого Ефима Осиповича, а ты — Кубанского Юрия Степановича... Помнишь, писала мне о нем? Может, вытащите их к нам, в цех? Чем черт не шутит!

Деев и Самарцева переглянулись, немного озадаченные. Варвара рассмеялась. Цепкость Павла была для нее приятным открытием.

— Нет, ты положительно ненасытный человек! — проговорил Сергей Сергеевич со вкусом. — С этим народом, брат, хлопот не оберешься. Их встретить надо, уговорить, проводить.

— Если не пойдут, то и мы к ним не пойдём, — сказал Павел резко. — А придут — не только мы, а и они останутся в выигрыше. Николая Сорокина им покажу. Других еще приведут смотреть. А там, глядя, Ефим Осипович нашего Сорокина к себе сводит, в лабораторию.

— Такое знакомство я бы приветствовала, — сказала Варвара.

— Да в самом деле! Вон Трофим Денисович Лысенко рассылает

новые семена по всему Союзу. Результаты знаете. Пускай Городницкий даст нам свои экспериментальные резцы. Сорокину, Находке да и Хлынову и Лазареву их можно доверить. Опробуем не хуже, чем в лаборатории. И, думаю, поможем друг другу. Дело, на мой взгляд, стоящее.

Спокойное ясное лицо Деева медленно оживилось сдерживаемым волнением. Ссутулясь, вдавливая в пол каждый свой шаг, Сергей Сергеевич прошелся по комнате и, остановясь у стеклянной стенки, положил на нее обе ладони. Не в первый раз Алтухов, этот дельный парень, проникал к нему в душу, с продуманной обстоятельностью подводя к большим решениям.

В субботу, во время обхода участка, начальник цеха с удовлетворением отметил в старшем мастере рабочую практичность. Но не она составляла его главную силу и не волевая струнка, которая давала о себе знать ежеминутно. Алтухов жил шире, он был по-настоящему широким человеком.

Деев вернулся к столу и, сев против Павла, проговорил:

— Вот что, Алтухов: ты, я вижу, мыслишь стратегически. По праву старшего хотел бы ознакомиться с твоей стратегией.

Алтухов поклонился.

— Если разрешите, Сергей Сергеевич... Тут на днях со мной вела крупный разговор партийная группа участка. Партгруппа потребовала от меня доклада. И я хочу поставить два насущных вопроса.

Деев откинулся на стуле.

— Первый — такой: мы гордимся своими уникальными мастерами — станочниками шестого, седьмого разрядов. И есть, чем гордиться. Но большинство у нас — молодежь, и работает по третьему. Сорок человек из семидесяти пяти.

— Наш по третьему — на другом заводе будет работать по четвертому, а то и по пятому, — ревниво заметила Варвара.

— Знаю. Меня это не удовлетворяет принципиально. — Павел положил на стол сжатый кулак. — Не успокоюсь, товарищи, пока наши ремесленники не получат у меня четвертый и пятый разряды, самое меньшее. Все сорок человек, за вычетом одиночек. Да нет, вру. Безо всяких вычетов. Лазеек себе не оставляю.

— Сам всех и обучишь? — спросил Деев.

— Я уверен — коммунисты меня поддержат — с этим делом мы справимся собственными силами. Пусть трудно, зато сами отвечаем, сами и получим по заслугам. Надо мобилизовать все виды индивидуального и коллективного обучения: от начального техминимума до школ отличного качества.

— На год трудов, примерно! — проговорил начальник цеха.

Алтухов затряс головой, не соглашаясь.

— Эта норма ленивая, Сергей Сергеевич. А что ленивому год — радиовому неделя. Я подсчитал: мне еще человек десять надо многостаночников и человек двадцать обучить второй профессии. Деваться нам некуда, Сергей Сергеевич, к концу года — утроение программы. Думаю, партгруппа будет просить вас лично возглавить это большое дело.

Варвара выжидательно посмотрела на Деева. Сергей Сергеевич улыбался. Деваться было действительно некуда.

Алтухов развивал сью мысль о кадрах. Третьего дня она только созрела. Теперь он пойдет дальше. Его вера в людей была верой деятельной, творческой. Вот и весь ее, доступный каждому, секрет. Естественно, Алтухов не разойдется с партгруппой. Он глядел вперед. Стратегия простая и убедительная.

— Что ж, будем думать, — сказал Деев решительно.

Алтухов вспомнил об «осечке» с Николаем. Он и здесь следовал своему правилу: не откладывать.

— Сергей Сергеевич! Важен почин. Намечаю три школы высокой производительности труда в трех сменах: Сорокина, Хлынова и Васильева. Требуется глаз инженера.

— Беру одного, — сказал Деев, — по твоему выбору.

— И мне дай, — сказала Варвара.

— Спасибо. Ну, и второй вопрос, — как вам его доложить-то получится?.. Имейте в виду, у меня за плечами, кроме учителей Наркомпроса да отцовской учебы у станка, только школа мастеров социалистического труда. Ну, еще и офицерская школа..

— Давай, давай, давай, — проговорил Деев нетерпеливо.

— Варвара Владимировна, сколько у микрометра деталей? Четырнадцать?

— Четырнадцать, как будто.

— Считается, что модель микрометра у нас классическая?

— Предположим, что так.

— Нет! — воскликнул Алтухов с жаром. — Давайте предположим, что не так. Давайте предположим, что технология обработки нашего красавца-микрометра и сама его конструкция — не икона!

Начальник цеха и технолог молчали.

— И не только предположим, но убедим всех на участке — от подсобного рабочего до мастера, — что каждый, обязательно каждый может и должен улучшить хоть что-нибудь в четырнадцати замечательных деталях нашего микрометра. И в технологии, и в конструкции! И не только убедим, но подхватим самое простейшее, самое мелкое рабочее предложение, хотя бы на нем мы выигрывали не рубль, а копейку. Вспомним старые, соберем новые, вернем заявки из разных инстанций, БРИЗ'ов, консультаций — все до одной, и сами, своими силами проведем их в жизнь: немедленно, на ходу, пока не остыла мысль... Добьемся того, чтобы эта мысль не гасла, а горела непрерывно, каждый день, каждую минуту.

Алтухова не перебивали. Деев только заметил как бы вскользь:

— Одно не пойму: говоришь о Варваре Владимировне, а как будто забыл про нее... Она у нас технолог та-лантливый.

Павел поднял голову. Варвара была бледна. Глаза ее стали еще глубже и ярче. В них не было обиды, но что-то показалось Павлу неясным в них, скрытым от него. Он сказал ей с дружеской прямотой:

— Беды не будет, если инициатива снизу, да еще массовая, тебя подогреет, Варя. На ней сама поднимешься, и людей потянешь за собой, и дело. Для тебя на моем участке всегда готовы резервный станок, люди, время.. Ищи, пробуй.

— Что же ты предлагаешь конкретно? — спросила Варвара. Может быть, это почудилось Павлу? Прорвалась в ее голосе нотка упрека.

— Поверьте слову: я боюсь и боюсь напороть, — ответил Павел, словно оправдываясь. И выложил свой главный козырь: — Но буду добиваться коренного пересмотра всей технологии, от первой до последней операции, потому что утроение программы — это самое и означает!

Деев и Самарцева снова переглянулись, как бы сговариваясь взглядами. Чувство досады сжало сердце Павла: Варвара точно отдалилась от него; в эти минуты она была не с ним, а с Деевым. Дружеское понимание между ними трюми непостижимо расстраивалось.

Это было нестерпимо. Павел вскочил с места, говоря со страстным убеждением:

— Вы Блажнова помните?.. Я не доверяю ему чести стоять на решающем направлении. И не примирюсь с такой технологией, которая принуждает меня ладить с таким рабочим! Я со страхом божьим, со стыдом жду вечерней смены — Блажнов грозил мне, что не выйдет на работу... Но трижды не примирюсь я, товарищи, и с такой технологией, которая держит меня в рамках меликовской программы.

— А я? — спросила вдруг Варвара тихо, почти робко. — Как думаешь, я примирюсь?

Это был голос друга.

Деев, не спеша, открыл ящик стола, вытащил из него знакомую папку и взглядом спросил разрешения у Варвары. Она взглядом согласилась.

Тогда Деев раскрыл папку и по порядку, один за другим разложил перед Алтуховым несколько чертежей. Отдельно лег небольшой эскиз карандашом на ватманской бумаге.

— Вот тебе первый взнос инженеров, Павел Никитич, — сказал Деев добродушно. — Оговариваюсь: моя роль тут — почетного наблюдателя. Это работа умницы нашей Вари, дорогой Павел.

Алтухов взял в руки эскиз на ватмане. Теперь он узнал его. Этот ватман он видел в руках у Вари в Сунеге. Тогда он видел его мельком. Теперь он прочитал его. Стебель микрометра. Так вот каковы варинны стихи!

На других листах были чистовые чертежи. Три операционных эскиза. Законченный план новой технологии первой из четырнадцати деталей классической модели микрометра.

Алтухов с головой ушел в чертежи. Что такое стебель микрометра? Трубка с толстыми стенками. Внешняя и внутренняя поверхности у трубки — фигурные, ступенчатые. Как делался стебель? Сперва в заготовке обрабатывалось сквозное отверстие. Затем трубку сажали на стержень — оправку — и обтачивали ее наружную поверхность. И вот тут-то она начинала скользить, проворачиваться, не давая резцу снять с себя стружку и портя, обдирая об оправку внутреннюю свою, уже обработанную поверхность. Шел брак. И Леня Иванеев клял в отчаянии капризную деталь.

Варвара придумала простой выход. Такие решения всегда кажутся простыми, когда они найдены. Отныне внутренняя поверхность стебля будет обрабатываться не в первую, а в последнюю очередь. И брака не будет.

Но Варвара пошла дальше. До сих пор стебель делался от начала до конца на одном станке, одним рабочим высшей квалификации — незаменимым Селифаном Дмитриевичем Блажновым. Варвара нашла еще одно простое решение. Когда не можешь осилить большой груз, стараешься справиться с ним по частям. Варвара разобрала на части работу Блажнова. Одну сложную многостороннюю операцию она разделила на три простых. Эти операции могли выполняться одна вслед за другой — на трех станках. Каждая из этих операций была вполне по силам такому рабочему, как Иванеев. Уникального стебельщика больше не требовалось. И теперь Трофимыч не поставил бы Лению на обдирку.

Блажнов получал за стебель по седьмому разряду. Леня и его товарищи будут получать по третьему, четвертому. Но секрет заключался в том, что они сделают за то же время больше стеблей, чем теперь делает Блажнов, и получают по третьему, четвертому разрядам не меньше, чем он по седьмому. Выигрывает Леня. Выигрывает участок. И в качестве, и в количестве.

Не технология — песня!

Делая вид, что все еще разбирает чертежи, Павел соображал: когда он заговорил с Варей о стебле? В день первой встречи с Зотовым. В Сунеге она думала о стебле. В папке Павел видел стопку кáлек. Это были рабочие копии чертежей. Варвара успела подготовить и их. Может быть, она сидела над ними вчерашнюю ночь. Так она работала. И так Варя Самарцева понимала дружбу. Милый, дорогой человек!

Павел поднялся из-за стола, бережно сложил чертежи и, держа их в обеих руках, точно принимая подарок, сказал Варваре:

— Сергей Сергеевич — свидетель... Твоя взяла!

Деев отобрал из папки комплект кáлек. Алтухов и Самарцева угадали его намерение.

— Пошли? — предложил начальник цеха.

— Пошли, — ответили старший мастер и технолог.

Они отправились на участок.

Алтухов лично готовил станки: четырехшпиндельный автомат для первой операции, токарный многорезцовый — для второй, и револьверный — для третьей. Самарцева готовила инструменты и приспособления. До обеда, однако, обернуться не успели. Деева отвлек Дементьев, начальник участка сборки.

А после обеда в цеху появился Леня Иванеев. Держался он необыкновенно. На нем была новая летняя гимнастерка, которую впервые он надевал, вероятно, при прощании с полком. Край подворотничка выступал над краем ворота ровно на полмиллиметра, ни на микрон больше, и яркой белой полоской отделял загорелую мальчишечью шею от серозеленого несмятого кольца ворота. На плечах были намеренно оставлены ляпочки для погон. Рука не поднялась их спороть. Плечи Лени готовы были каждую минуту принять на себя бархатно-красные погоны солдата. Гимнастерка его — без карманов, рядового состава, но ее подпоясывал широкий офицерский ремень с ярко начищенной пряжкой.

Войдя в цех, Леня вытащил из левого кармана стареньких бриджей суконку и обмахнул свои безупречные сапоги. Затем из правого достал платок и вытер лицо. Видно, он сильно спешил в цех. Ему было жарко. Однако он и не подумал расстегнуть ворот, как делал это подчас в армии. Сегодня у Лени был парадный день.

То с озабоченным, то с равнодушным видом Леня обошел поочередно все участки и службы цеха. Побывал в красном уголке. Не миновал и курилки. Где можно было, он затевал короткие разговоры, где нельзя — задерживался молча.

Алтухов и Варвара стояли у лестницы на цеховые антресоли, дожидаясь Деева, когда к ним подошел Леня. И Павел понял, зачем он явился в цех задолго до своей смены. На гимнастерке Лени, у сердца, был прикреплен новенький орден Красной Звезды. Многократно обтертая платком, сияла густо-алая орденская эмаль и торжественно глядел вороненый металл щита с фигурой вооруженного красноармейца.

— Здравствуйте, товарищ капитан!

— Здравствуй, Леня. Рад тебя видеть.

— Здравствуйте, Варвара Владимировна.

— Здравствуйте, товарищ Иванеев.

— Поздравляю тебя, Леня, с боевым орденом. Надеюсь, он у тебя будет не единственный.

— Благодарю, товарищ капитан.

— Поздравляю вас, товарищ Иванеев!

— Спасибо, Варвара Владимировна.

Лене явно хотелось поговорить о своей Звездочке. И Павел сказал, помогая ему:

— У меня такого нет.

Леня, глубоко польщенный, опустил глаза, но заметил по справедливости:

— У вас Красное Знамя. Его выше ордена Суворова носят, после ордена Ленина... — и принялся рассказывать, наверное не в первый и не в последний раз: — Понимаете, прихожу утром в военкомат менять военный билет... временный на постоянный. И такая меня досада взяла: не то я орденосец, не то нет. Получаю военный билет, поворачиваюсь — и прямо к комиссару. Докладываюсь адъютанту, а у него уж целая очередь... Не знаю, по каким вопросам. И вдруг выходит адъютант и меня — безо всякой очереди: «Пожалуйста, говорит, полковник вас просит войти». Ну, думаю, ясно. Там уж разобрались и поняли, что так нельзя. Надо, думаю, и лично нажать. Вхожу, как полагается. — Леня выпрямился, приложил руку к головному убору. — Товарищ полковник! Старший сержант запаса Иванеев!.. Гляжу, а у комиссара Зотов сидит, Петр Анисимович. Тоже военный билет меняет. И при всех орденах, как нарочно. Орден Ленина, Трудового Красного Знамени, медали — вся грудь занята. Меня еще больше заело. Я, конечно, поздоровался с директором. Немножко неудобно, но — была не была! И как-как завел с полковником крупный разговор... прямо при Зотове, при адъютанте... при всех...

Леня осекся, будто в этом месте Алтухов мог не поверить ему. Но даже тень улыбки не коснулась лица Павла.

— Десять минут говорил! И ни разу меня не перебили, только все: «правильно», «правильно», «правильно»... Ну, такой разговор вышел... Десять минут говорил, — повторил Леня для пущей убедительности. — А он все: «правильно», «правильно». Понимаете?

Павел с самым серьезным видом сказал, что понимает.

— Отлично себе представляю, как дело было. — И незаметно сжал Варе локоть. Она перестала улыбаться и тоже сказала, что понимает.

Леня вздохнул всей грудью:

— Через час все было в порядке!

Подошел Деев. Павел чинно представил ему Леню, сказал:

— Ну, кавалер ордена Красной Звезды, пойдём-ка теперь с нами.

У станка их ждал сменный. Позднее подошел механик цеха Григорьевич. А потом Павел увидел возле себя Лизу с товарищами по бригаде. Они загода явились в цех готовить работу бригады, задержались на минутку посмотреть и уже не могли отойти.

Вначале возник короткий спор между старшим мастером и технологом — кому начинать. Спор разрешил начальник цеха. Сергей Сергеевич сам встал к станку.

Руководствуясь первым из вариных чертежей, инженер Деев обточил и рассверлил стемпель предварительно, оставив для последующих операций запас металла толщиной в 50—60 соток.

Затем всей компанией перешли ко второму станку.

— Теперь забудем об оправке, — сказал Деев изумленному Лене.

В передней бабке стоял специальный рифленый центр, в задней — удлиненный, вращающийся. Их также придумала Варвара. Они надежно сжали стемпель с двух концов, не давая ему проворачиваться и вместе с тем не портя его внутренней поверхности, потому что она была обработана пока предварительно — запас металла в 50—60 соток полностью страховал от брака. И Деев четырьмя резцами окончательно обточил стемпель снаружи.

Пошли к третьему станку. Деликатный цанговый патрон обхватил стемпель со всех сторон и, не оставляя следа на стальной поверхности,

уверенно держал его, пока Деев четырьмя типами сверл последовательно и окончательно обрабатывал отверстие в нем.

Вынув готовый стемпель из патрона, Сергей Сергеевич протянул его Иванееву.

— Можно бы лучше, конечно,

— Можно бы быстрее, — поправила Самарцева.

Сергей Сергеевич дружески, длительно потряс ей руку.

— Благодарю и утверждаю.

А потом заметил старшему мастеру:

— Будешь дружить с технологом — далеко пойдешь...

— Я тоже так думаю, — ответил мастер.

Тогда Леня отвел Алтухова в сторону и, глядя на него горящими глазами, попросил:

— Товарищ капитан, разрешите...

— Пожалуйста, Леня, конечно.

— Нет. Сейчас! — прошептал Леня, и столько было мольбы, тревоги, надежды в его сдавленном волнением голосе, что Павел рассмеялся. Трудно было представить Леню Иванеева в «крупном разговоре» с полковником.

Алтухов обратился к сменному:

— Сегодня мне никак нельзя отказать Иванееву. — И указал на его орден. — Поставьте орла на вторую операцию. Заделу хватит для него?

— Ну, на первую операцию таких назначу, что от нашего орденосца не отстанут.

Леня встал к станку тотчас же и не отошел от него до начала своей смены.

В цеху многие знали, чем был обижен Иванеев. И теперь с интересом следили за его работой. Работа у Лени спорилась. Брака не было, и по цеху из уст в уста покатился одобрителный говорок:

— Павел Никитич сказал: не технология — песня!

Алтухов не преувеличивал: вечерней смены он ждал с недобрим, мутным чувством. Едва дождался четырех часов и вместе с гудком был у станка Блажнова.

Селифан Дмитриевич появился там раньше Алтухова... Селифан Дмитриевич уже работал! Павел обрадовался ему так явно, что не смог этого скрыть.

— Что же не здороваетесь, Павел Никитич? — спросил Блажнов с хмурой улыбкой. — По возрасту вам первому шапку ломать.

Павел отметил, что Блажнов обращался к нему на «вы».

— Извините, товарищ Блажнов. Как себя чувствуете?

— Ничего, ничего, — ответил Блажнов все так же хмуро.

Тогда Павел протянул ему три варинных кальки.

— У меня будет просьба к вам, Селифан Дмитриевич. Просмотрите эти чертежи. Тут изображена новая технология стембля. Продумайте и скажите свое мнение. Стоит ли ее вводить? Или нет расчета? Может, добавьте, поправите со своей стороны. Буду вам благодарен. Но одно условие. Мне нужно ваше истинное мнение, по чистой правде... Напрямик! Или так, или откажитесь и верните мне чертежи.

— Новая технология? — проговорил Блажнов, искоса глядя на кальки. И острые зоркие глазки его ожили.

Павел мысленно улыбнулся. Теперь краном не вытянешь чертежей из рук Блажнова! Еще до гудка Блажнов слышал о новой технологии, хотел даже подойти к станку Иванеева. Тем не менее старый стемпельщик не ответил Павлу ни согласием, ни отказом.

Все воскресенье Селифан Блажнов пытался настроить себя против Павла. Но так и не смог обозлиться. Он чувствовал себя не обиженным, а просто дурачком. Отлично заметил Блажнов, с каким волнением шел к нему Алтухов. Сразу понял он и то, с чем Алтухов к нему пришел. Оборотистый мужик! Даром времечко не потерял. А лежачего не тронул. Мало того, руку протянул, бесовская его душа! Не придумаешь хитрей!

И сам не упомянул Блажнов, как у него сорвалось:

— А ваше как будет здоровье?..

— Мое здоровье от вашего зависит, — ответил Алтухов без обиняков.

Поздно вечером Павел и Варвара вместе собрались домой. У лестницы на антресоли их встретила Лапшина.

Халат ее был чисто выстиран. Теперь она была похожа на девочку с надутым обиженным лицом.

— Товарищ Алтухов, — окликнула она и тут же проговорила одним духом: — Здравствуйте, снимите с меня эту рекламу, а то я ее сама сломаю. Здравствуйте, Варвара Владимировна...

Ответив на ее приветствие, Павел сказал без улыбки:

— Я тоже думаю, что ты сама ломаешь эту рекламу. Ни мне, ни кому другому это не по силам. Ты знаешь, как ее ломать?

— И знать нечего...

— Так ломай.

— Ну, и сломаю, — ответила Лапшина, немного подумав, но не колеблясь.

И с невиданной подвижностью повернулась и пошла к своему станку, уже издали добавив чуть помягче:

— До свиданья.

Направляясь к выходу, старший мастер и технолог словно по молчаливому уговору задержались у станка Иванеева.

Леня не замечал их. Он ничего не видел, кроме стебля, послушно вертящегося меж верных и надежных центров и покорно отдающего четырем резцам лишний металл.

Гудки смен прокатились над Лениной головой. Он не остановил станка. Работал он в выходной гимнастике с орденом на груди: праздник его продолжался.

Лобастая мальчишеская голова упрямо склонилась над деталью. Глаза хотели смотреть придиричиво, но то и дело юношеское восхищение расширяло их. Казалось, они видели перед собой рубеж смены, когда мастер Куликов ахнет, подсчитав небывалое, тройное, пятерное—рекордное количество стеблей, которые он обточил. И все — отличного качества.

Долго Алтухов и Самарцева не могли оторвать от него глаз. Леня Иванеев работал с упоением, самозабвенно. Леня Иванеев был счастлив!

На заводском дворе было тише обычного. Дул теплый ветер. Липы проводили Павла и Варвару нежным шелестом листы.

Тесная площадь за проходной ясно отражала в себе огни фонарей.

Павел и Варвара быстро пошли по чистому асфальту рабочей улицы, незаметно ускоряя шаг, точно обгоняя друг друга. Можно было подумывать со стороны, что они спорили.

— Что в тебе я заметила — любишь ты людей, Павел!

— На том стою, Варя.

Варвара одобрительно кивнула головой.

— Ты знаешь, Леня Иванеев сегодня растрогал меня чуть не до слез.

Павел улыбнулся.

— Приятно видеть счастливого человека, верно? А ты заметила, какая сегодня была тетя Дуня? Или Смирнова Лиза?

— Заметила. А тебе не жалко Лапшину?

— Жалко? Что это такое—жалко? Я хочу и ее видеть счастливой, то есть сильной, умелой, активной, гордой своей работой и своим местом в нашем коллективе. Таким же я хочу видеть, к слову говоря, и Блажнова. Леня счастлив—и я счастлив. Лапшиной трудно—и мне трудно.

— Понимаю.

— И поэтому я тебя не благодарю за Леню, — продолжал Павел. — Мы будем с тобой недостойны самих себя, если Леня, Лиза, тетя Дуня, Сорокин, Лапшина, Блажнов и все, кто работает, живет с нами, не будут счастливы своим трудом, своей жизнью. Поэтому я тебя не благодарю и не хвалю, — повторил Павел, — хотя стихи твои, Варя, действительно замечательные, а просто верю в тебя и люблю...

Павел вспомнил, как сегодня утром, перед уходом на завод, он раскрыл свою тетрадь и вписал одно только слово «Варвара». И поставил дату.

Почти бесшумно подкатив сзади, круто остановилась у тротуара большая машина. Беззвучно распахнулась дверца и преградила Павлу и Варваре путь.

Варвара вздрогнула от неожиданности, прижалась плечом к Павлу. Из кабины «зиса» высунулись богатырские плечи Зотова.

— Ну, как? Не спрашивать тебя? Скажешь, сегодня еще понедельник? — загремел на всю улицу весело-сердитый голос Петра Анисимовича.

Павел взял Варвару под руку, поддерживая и опираясь о нее, и продуманно, веско ответил:

— Нет, Петр Анисимович, на моем календаре сегодня уже среда!

Теперь Зотов крикнул от неожиданности. Однако сразу нашелся:

— Стало быть, идешь с перевыполнением плана?

— Как будто...

— Значит, дашь тройную программу?

— Да.

— С этим народом, с этими кадрами?

— А то с кем же?

— Ну да, я ж тебя, дьявола, давно знал... — рассмеялся Зотов и командовал: — Завтра с утра ко мне!

— Есть!

Дверца с треском захлопнулась, и машина с места взяла скорость.



В КОЛХОЗЕ

В. ЖУРАВЛЕВ

★

Я беру лист бумаги —
план владений колхоза
на него наношу.
Засыпаю землю овраги,
осушаю болота,
целину тракторами пашу.

Весь колхоз оплетаю
садов паутиной.
Скотину
выпускаю на зелень лугов.
Ставлю в центре села —
сельсовет.
Путь реки преграждаю плотиной.
Запускаю турбину,
и на ферму колхоза
веду от реки
электрический свет.

Возле каждого дома
сажаю смородину,
сливы и вишни;
сам для парка культуры
рябину и клен привожу;
строю школу и клуб;
и парашютную вышку
рядом с полем футбольным
во всей красоте возвожу.

Разбиваю цветник —
сею мальвы, левкои,
резеду-недотрогу
и, вокруг тополей,
золотую траву — зверобой...
До районного центра
покрываю асфальтом дорогу
и пускаю троллейбус по ней
голубой.

Вот и все, что хотел бы я видеть
в окрестностях летом.

Впрочем, многое есть — уже есть! —
из того, что я здесь
ввел в проект.
Только нет еще,
нет межрайонной дороги,
широкой и гладкой, как лента,
и бесшумного нет,
голубого троллейбуса нет...

Что ж, дорогу проложим,
покроем асфальтом, и даже
по обочинам грядки раскинем
и будем арбузы сажать...
А троллейбус попросим в Москве.
Нам Москва не откажет,
потому что такому колхозу,
как наш,
просто грех отказать...



ОТКРЫТАЯ КНИГА

Роман*

В. КАВЕРИН

★

37

Полет

Эта история началась в тот день и час, когда в далекой поморской деревне, в ста километрах от железной дороги, пятилетний мальчик проснулся ночью и почувствовал, что не может вздохнуть. Четыре дня он молча пролежал в постели с бледно-восковым лицом, с посиневшими ушами и носом, с отекавшей шеей, вздувшейся, как у гремячей змеи. На пятый день он умер.

Что произошло между этой смертью и запиской Николая Васильевича, которую я нашла на своем столе? Не знаю. «Прошу зайти» — было написано острым, крупным почерком, и Петя Рубакин, ничего не объясняя, тотчас сказал, что профессор просил зайти.

...Он сердито горбился над географической картой, и у него было недомысливающее лицо, с надутыми губами, когда я вошла в кабинет.

— Садитесь. У меня к вам дело. Вы слыхали когда-нибудь о таком селе — Анзерский посад?

Мне смутно вспомнилось, что Анзерский посад где-то на севере, на одной железной дороге с Лопахином, но очень далеко. Я так и сказала.

— Вот, мой друг. Это более 100 километров от железной дороги. На карте есть — вот, взгляните. А в энциклопедии нет. Так вот, в этом Посаде эпидемия дифтерии. Смертность — сорок процентов.

— От дифтерии?

Страницы учебника мысленно прошли перед моими глазами, с рисунком, на котором был изображен задыхающийся ребенок, с примечанием, в котором была указана смертность до и после открытия сыворотки. Сорок процентов — это было «до».

— Сегодня ночью я получил молнию от наркома. Нужно немедленно доставить в этот Посад сыворотку. Почему ее не оказалось на месте? Почему нельзя доставить из Архангельска? Не знаю. И еще одно почему.

Он сердито почесал поросшую детским пухом голову и с унылым видом, но внимательно посмотрел на меня.

— Почему я хочу, чтоб это сделали вы?

Откровенно говоря, мне самой захотелось задать ему этот вопрос.

Только что я начала летнюю практику в Свердловской больнице, а на кафедре снова стало получаться что-то «непонятное, но интересное», как сам же Николай Васильевич сказал третьего дня. Мой милый адре-

* Продолжение. См. «Новый мир» № 9 с. г.

сат, которого я просила забыть обо мне до весны, в первый же солнечный день прислал телеграмму: «Таня, весна!». А теперь кончился июнь, и мы условились в ближайший выходной день поехать на море, в Сестрорецк, а вечером — в театр. Портниха шила мне английский костюм и велела достать белого шелка на блузку, и я волновалась, потому что это был первый в моей жизни костюм. За Нину я тоже волновалась: ей только что объяснился в любви Васька Сметанин, и она почему-то уверилась, что именно он «обладает гением любви» согласно моей теории. Но кроме всех этих веселых и в общем необязательных дел, было одно важное: Леша Дмитриев, который в прошлом году был избран секретарем нашей комсомольской организации, просил меня зайти к нему, и я догадывалась, что на этот раз он уже не в шутку, а совершенно серьезно будет говорить со мной о том, что у меня слишком много времени уходит на академическую работу. Лена Быстрова, которая была в курсе дела, в ответ на мой вопрос, о чем пойдет речь, ответила загадочно: «И об этом»...

Словом, тысячи интересных и неинтересных, важных и пустых забот пронеслись в моей голове и превратились в фразу: «Безумно не хочется ехать в Анзерский посад». Я подумала и сказала это, но в другой редакции, более мягкой.

— Ага, не хочется? — с сердитым удовлетворением возразил Николай Васильевич, как будто он и не ждал от меня другого ответа. — Стало быть, что же? Вы всю жизнь намерены просидеть в этом бесплотном мире?

Бесплотный мир — это была лаборатория.

— А с какою целью он существует на свете, это вы себе уяснить не желаете? Нет-с, сударыня! Микробиолог, которому в наше время предоставляется случай своими глазами увидеть дифтерийную эпидемию и который отказывается от редчайшей возможности, не микробиолог!

— Простите меня, Николай Васильевич! Вы правы, правы! Когда нужно ехать?

— Лететь!

— Все равно, лететь? Сейчас?

— Завтра утром. И завтра же нужно быть в Анзерском посаде.

Прямо от Николая Васильевича я отправилась искать Лешу Дмитриева — искать, потому что было еще утро, а жизнь в профкоме и ячейке начиналась обычно с четырех часов дня. Но Леша был уже на месте — энергично прикусив губу, делал выписки из какой-то книги. Я вошла и удивилась, как он переменялся за последнее время — постарел, если это выражение можно было отнести к юноше двадцати трех лет, с петушиным хохолком на затылке. Мы знали, что он работает очень много, активно выступает на комсомольских собраниях района, еще на днях напечатал большую статью против оппозиции в нашей газете, и, взглянув в его усталые глаза, я почувствовала себя виноватой еще прежде чем спросила, зачем он меня вызывает.

— Есть разговор, Таня, — сказал он серьезно. — Только не сейчас. Зайди завтра, часа в четыре.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что завтра я буду уже далеко.

— Где же?

— В Анзерском посаде.

Я объяснила ему дело, которое поручил мне Николай Васильевич, и он выслушал не перебивая.

- Ну, что же, счастливо, — сказал он. — Когда вернешься?
 — Смотря по обстоятельствам. Думаю, что через две-три недели.
 — Тогда и поговорим!

Я ничего не понимаю в авиации, и очень возможно, что самолет, который был предоставлен в мое распоряжение, был результатом гениальной конструкторской мысли. Но, очевидно, это было давно, потому что при первом взгляде на него мне вспомнилась «Нива» времен войны 1914 года и фото воздушного боя между нашим и неприятельским «аппаратами». Это был именно аппарат — недаром с этим словом у меня всегда связывалось представление о чем-то трещащем и составленном из дощечек и палок. Но отчасти он был похож и на этажерку, которую нельзя, разумеется, назвать аппаратом. Короче говоря, я должна была лететь на «аврухе», как назвал машину дежурный по аэродрому, то есть на старом английском самолете «Авро».

Мужчина атлетического сложения — даже страшно было подумать, что сейчас он вскарабкается на этажерку, и тем не менее она полетит — подошел ко мне и назвал себя вежливо, но мрачновато:

— Табалаев.

Николай Васильевич велел мне для солидности называть себя доктором, и я сказала, немного покраснев: «Доктор Власенкова», но сейчас же раскаялась, потому что летчик внимательно посмотрел на меня, подумал и недоверчиво крикнул.

— Допустим, — сказал он. — Итак, чем могу быть полезен, доктор?

Я объяснила, что необходимо доставить в Поморье два ящика с ампулами: «Как видите, совсем небольшие».

Летчик сказал: «Так-с, доктор», потом достал трубку, закурил и устоялся на ящики — повидимому, они изумили его.

— Надо устроить, Ваня, — сказал дежурный.

— Авруха же, — с досадой возразил летчик.

Тем не менее, он ворча унес ящики и, минуто спустя, вернулся с какой-то шкурой, в которую мгновенно завернул меня, как ребенка. Потом он объяснил, что в самолете две кабины — я буду сидеть во второй. Перед моими глазами будет доска приборов, а перед коленями все время будет ходить туда и назад, направо и налево рычаг, который называется «ручка». Но чтобы я, боже сохрани, не вздумала хвататься за эту «ручку»!

Я спросила, нельзя ли, чтобы рычаг не ходил, и он, подумав, ответил, что можно.

— Но при одном условии, доктор, — серьезно объяснил он, — если самолет не летит.

Потом дежурный сказал: «Счастливо, доктор!» — и помог мне вскарабкаться в кабину, очень тесную и состоящую из зеленых матерчатых стен, натянутых на деревянные палки. Передо мной на фюзеляже был полопавшийся туманно-желтый козырек, через который было видно такое же полопавшееся туманно-желтое небо, а под ногами — отверстие для той самой «ручки», за которую мне запрещалось хвататься. Отверстие меня утешило — сквозь него был виден овальный зеленый кусок земли, которую я покидала...

— Прекрасно, доктор, — заглянув в кабину, сказал летчик. Он и потом, в дороге, не называл меня иначе как доктором, и хотя я уже не краснела, привыкла — видно было, что эта незатейливая шутка от души забавляет его.

По огромному пустому полю, на котором свет белой ночи уже смс-

шался с розовыми красками утра, мы, подпрыгивая, как на телеге, покатали вперед.

Я закричала:

— Товарищ, куда вы спрятали ящики?

Страшный, оглушительный рев раздался в ответ так близко, точно кто-то рванулся ко мне нарочно, чтобы стонать, выть, греметь в самые уши. Самолет качнулся назад, потом еще глубже назад, и овальный зеленый кусок земли подо мной побежал, потом стал уходить вниз и делаться больше и больше.

— Первое и самое главное, — сказал, прощаясь со мной, Володя Лукашевич, — не думать о полете.

Сжавшись под шкуркой, от которой почему-то пахло касторкой, ежеминутно обороняясь от «ручки», откидываясь то вперед, то назад, было довольно трудно не думать о полете. Но прошел час, другой, и, как ни странно, я поймала себя на мысли о том, что удивительно, какой у Нины в музыке превосходный вкус, а мне под коричневый костюм купила лилового шелка на блузку. Потом Николай Васильевич представился мне расхаживающим по своему кабинету, заложив за спину короткие, толстые ручки. «Не так скоро, — говорит он, когда, выслушав, что нужно лететь, я торопливо прощаюсь — торопливо потому, что, как всегда, мне хочется, чтобы то, что все равно неизбежно, началось поскорее. — И вот что: посмотрите, только ли там дифтерия? Что-то больно высокая смертность, чорт побери! Нет ли там еще и ангины? Некогда я задумывался над стрептококками, усиливающими дифтерию. Ну-с, а теперь подумайте вы».

Ладно, подумаем! Я бы уснула, если бы не ветер, со свистом врывающийся в кабину со всех сторон и гулявший под шкуркой, которую летчик недостаточно туго завязал на ногах.

— Ну, как дела? — заорала я, стараясь перекричать этот свист, завывавший мне громче и отвратительнее равномерного шума мотора.

— Плохо!

Я подумала, что ослышалась.

— Что вы сказали?

— Плохо! — закричал летчик. — Движок сдает. Нужно садиться..

— Как, садиться? Мы сегодня должны быть в Анзерском посаде!

Он ничего не ответил, и я стала кричать, что он не имеет права садиться, потому что везет врача, которого ждут больные. Нельзя сказать, что это было легко — обороняясь от холода, ветра и шума, сидя то на одной, то на другой замерзшей ноге, объяснять летчику значение противодифтерийной сыворотки, как профилактического и лечебного средства. Но я объяснила, и, должно быть, недурно, потому что с остановившимся дыханием вдруг почувствовала, что самолет, который уже шел на посадку, стал выравниваться и даже набрал высоту. В общем, это была моя первая лекция в жизни, по возможности популярная, поскольку нельзя было надеяться, что мой единственный слушатель подготовлен к глубокому пониманию вопроса, — лекция, которая обратно пропорционально шла вниз, когда самолет поднимался, и снова вверх, когда летчик начинал вести его на посадку.

Кажется, это продолжалось довольно долго, километров двести мы прошли на мзее «горючем», как потом назвал эту лекцию летчик. Это продолжалось до тех пор, пока в моторе не случилось что-то еще и стало нужно уже не просто садиться, а спасаться.

— Вы слышите меня, доктор?

— Слышу.

— Иду на посадку, доктор.

Я закричала — не помню что, кажется, что нужно отдать его под суд за трусость, но самолет начал равномерно уходить вниз, и вместе с ним стало отвратительно падать сердце, так что, к сожалению, пришлось замолчать.

Зато когда мы сели, и шум, холод, свист — все прекратилось сразу, я так накинулась на летчика, что даже сама удивилась: неужели это я так хрипло, сердито кричу и в таком бешенстве размахиваю руками? Он молча выслушал меня и сказал, что все это так, но тем не менее дальше лететь невозможно. Он долго, мрачно объяснял почему, и по его лицу, по рукам, слегка задрожавшим, когда он сдвинул шлем на затылок и стал набивать свою трубку, я поняла — да, невозможно.

Вдалеке были видны здания какого-то городка, и я хотела сразу же нести туда ящики, но он не дал. Он посадил меня, открыл мясные консервы и разрезал на большие куски измятую черствую халу.

— Нужно есть, доктор, — пробурчал он и сунул в консервы чайную ложку. — Иначе всё равно никому не поможете. Только сами сыграете в ящик.

Станный, дикий пейзаж с какими-то деревьями-кривулями раскинулся перед нами, холодно окрашиваясь лучами бледного солнца... Но картины природы в этот день очень мало интересовали меня.

Все время пока мы шли, я говорила, что от В. — очевидно, этот городок был В. — до Анзерского посада больше ста километров и что достать машину будет трудно или даже почти невозможно. Летчик логично сказал, что в таком случае придется добираться пешком, верхом или на телеге. Но я опять набросилась на него, и он покорно умолк, побряхтывая — ящики все-таки были тяжелые — и посасывая потухшую трубку.

На окраине В. мы постучались в первый попавшийся дом, и хозяйка, красивая, молодая, с длинной косой и голубыми глазами, напоила нас молоком, а потом сказала, что в городе только две машины — одна горсоветская, на которой только по большим праздникам ездят, да и то помылась, а другая — милицейская, которую мне все равно не дадут.

— А если и дадут, не проедете, миленькие, не проедете.

— Почему?

— Анзерка разлилась. Может, ходит карбас, миленькие, а может, не ходит.

Летчик беспокоился насчет своей «аврухи», но я оставила его стеречь мои ящики и отправилась в Горсовет.

...Черная собака, выбежав из подворотни, бросилась мне в ноги, я невольно вскрикнула, отшатнулась... Потом снова пошла, но почувствовала вдруг такую усталость, так захотелось лечь прямо на хлюпающие под ногами доски панели, что пришлось сделать усилие, чтобы начать думать о чем-нибудь совершенно другом. И я стала думать — как это смешно, что до сих пор я чувствовала себя превосходно, а теперь собака испугала меня — и сразу стало казаться, что ничего не случится, если я немного полежу на панели. Но эта смешная мысль почему-то не расшеимила меня.

Не помню, идя ли в Горсовет или еще прежде, в самолете, — я вспомнила балладу Тихонова, которую некогда на школьном вечере декламировал Гурий. В ней рассказывалось о том, как некий гонец должен был возможно скорее доставить в Кремль синий пакет. Гонец бежит, потом скачет верхом, потом везет пакет на поезде, на самолете. Но конь начинает хромать, поезд взорван, самолет падает и так далее. Наконец, письмо доставлено в Кремль, но —

Оно опоздало на полчаса,
Поздно. Я все уже знаю сам.

«Сердце заводится на часы»,—говорилось в балладе. С той минуты, как я убедилась, что мы не можем лететь,—и мое сердце стало стучать, как часы — тик-так, секунда, другая. С чувством вины, сама не знаю за что, с отчаянием, спрятанным в глубину души, прислушивалась я к этим часам, биение которых становилось все более отчетливо-резким: невозможно было заставить себя не слышать этого стука, и я слышала его все время, пока спокойным голосом разговаривала с председателем Горсовета.

Председатель был высокий, еще не старый, с приятным лицом. Ему уже сообщили, что мы спустились недалеко от В., и он послал к самолету охрану. Авто у него есть, очень хорошее, но сейчас в ремонте. Впрочем, это не беда—крытый грузовичок ГПУ довезет меня до Анзерки.

— Но дорога, вы знаете? — сказал он. — Только первые двадцать-тридцать километров хороша. А дальше — гать, сухая только по кряжам. Ну, что в Ленинграде?

И он стал спрашивать меня обо всем сразу: что идет в театрах, в кино? С какого аэродрома я поднималась — с Корпусного? Стало быть, видела «Электросилу» — когда-то он работал на этом заводе. Питаются ли уже ленинградские станции энергией Волховстроя? Что я думаю о сводном промышленном плане 27-го года, в котором предполагается повышение продукции на 20 процентов? Что я думаю о наступлении Народно-революционной армии в Китае?

Потом мы пошли к начальнику ГПУ, и не я, а сердце, превратившееся в часы, с первого слова стало доказывать этому спокойному человеку с лысым лбом и широкими скулами, что нельзя терять ни минуты.

— Дорогой мой,—побагровев и почему-то в мужском роде сказал мне начальник ГПУ,—что же, вы полагаете, я не понимаю, что дело идет о жизни и смерти? Но нет машины, вы понимаете — нет! Или точнее — есть, но оперативная. Сегодня агент должен отвезти заключенного на очную ставку. В одной машине с заключенным отправить вас не могу, не имею права. К утру машина вернется. Одна ночь. В конце концов, только одна!

У меня задрожали губы — не потому, что мне захотелось плакать, а от обиды, что этот человек не хотел понять, что для дифтерийного больного не только ночь, а каждый час имеет большое значение.

— Да поймите же вы, чорт возьми, — сказала я с бешенством...

Потом я вспомнила, что дважды бралась за спинку стула, очевидно рассчитывая этим простейшим способом убедить начальника ГПУ. Не знаю, как это случилось, но он вдруг вытер лоб и сказал:

— Ладно. Поедете.

— Когда?

— Сейчас. Но я попрошу вас написать мне письмо с изложением всех обстоятельств дела. Дайте вашу руку.

Он крепко пожал мою руку.

— Сейчас распоржусь.

...Прошло несколько часов, и измученная, но полная желанием немедленно пустить в ход испытанное чудо науки, я подъезжала к берегу Анзерки. Старая часовня показалась вдали, потом какие-то полуразвалившиеся домишки, должно быть сарай, а там — широкая лента реки. У избушки паромщика шофер остановил машину и помог мне выгрузить ящики.

— Эй, дядя, — крикнул он и постучал в дверь. — Выходи, кто живой!

Седая бабка в тулупе вышла на крыльцо и сказала, что сегодня переправы не будет.

38

Переправа

Паром снесло половодьем вместе с пристанью, как объяснила бабка, и народ пошел напрямки, к порогу Крутицкому, потому что народ боится, что паром снесло в Крутицкий порог. Но если и не снесло, все равно назад его придется тащить конной тягой, и раньше чем дня через два в Посад переправы не будет.

— Ну, что же, переедем на лодке, — сказал шофер.

— Лодка-то естб. А не потонете?

— Не потонем, бабушка. Нам некогда. Срочное дело.

— Ой, потонете!

Она сказала это так просто и с такой глубокой уверенностью, что мы с шофером невольно посмотрели сперва на быструю, беспокойную мутносерую реку, потом друг на друга... Но два дня! Два дня!

— Где лодка? — спросила я свирепо...

...Как будто я была не я, а кто-то другой, зорко наблюдавший за мною, — с такой живописной отчетливостью рисуется передо мной эта картина: на берегу, от которого мы только что отчалили, стояла и, покачивая головой, долго смотрела нам вслед бабка в тулупе. На реке были мы, а по ту сторону, похожий на старую деревянную крепость, виднелся Анзерский посад. Поднимаясь на горку, теснясь вокруг деревянной же церкви, стояли дома, такие спокойные, прочные, что трудно было представить, что почти в каждом из них лежат, борясь с тяжелой болезнью, дети...

Сперва все шло превосходно: я правила, а шофер, оказавшийся, к сожалению, узкоплечим и щуплым, как мальчик, сидел на веслах, которые были немного тяжелы для него. Уключины были не железные, а деревянные, и только одна, а другая сломана, так что пришлось привязать весло к борту ремнем от моего рюкзака. «Но все это пустяки, — подумалось мне. — А главное — то, что через полчаса я буду в Анзерском посаде». Мне стало весело, когда я увидела, как быстро мы приближаемся к нему, и впервые пропало острое чувство, что нужно спешить и спешить. Правда, бабка сказала: «Ой, потонете», и мне хотелось поскорей быть на том берегу, когда я вспоминала об этом. Но это было совсем другое чувство, ничуть не похожее на то нетерпеливое волнение, которое мучило меня всю дорогу.

Все было хорошо, хотя по берегу, от которого мы отошли, можно было заметить, что лодка движется не только вперед, но и в сторону, так что Посад вдруг оказался по левую руку от нас. Разумеется, это ничего не значило, течение было все-таки сильное и нас непременно должно было отнести. Но через несколько минут я стала немного беспокоиться, потому что мне почудилось, что мы почти перестали двигаться вперед, хотя шофер с таким же нахмуренным, сердитым, энергичным лицом заносил тяжелые весла...

Река потеряла свой прежний беспокойный оттенок, легкий тающий свет шел от воды, в которой отражались облака, еще сохранившие по краям последние краски захода, когда этот факт, то есть что лодку сносит вниз по Анзерке, стал, к сожалению, совершенно очевидным для нас. Возможно, что шофер давно заметил опасность, но молчал, не

хотел тревожить меня. Теперь он понял, что я догадалась, и должно быть, в первый раз испугался, потому что прежде приноровился ровно грести, а теперь стал зарывать тяжелые весла. Ему стало страшно, точно опасность увеличилась с той минуты, как я узнала о ней.

— Не могу, устал, — пробормотал он.

Я сделала вид, что не слышу. Мы были на середине реки, но Посад ушел так далеко налево, что лучше было не смотреть на него.

— Может быть, теперь вы немного, — снова пробормотал шофер.

Я бросила руль и стала помогать ему, изо всех сил налегая на весла. Потом мы поменялись местами — это было трудно, потому что лодка круто поворачивала по течению, едва мы переставали грести. Но я помню, что мы поменялись, потому что вдруг стало нужно не налегать на весла, а тянуть, и я начала тянуть — сперва неровно, рывками, а потом плавно, когда догадалась взяться не за ручки весел, а ниже. Я тоже испугалась, но тут же так рассердилась на собственный страх, что даже заскрипела зубами от злости. Это было бешенство, но не слепое, когда не помнишь себя, а светлое, от которого ощущение странной лихости разлилось по телу. Потом исчезло и чувство лихости и осталось только тяжелое качанье вперед и назад, и тяжелый однообразный плеск воды, и томящее желание бросить весла и лечь, которое нужно было преодолевать ежеминутно.

— Далеко? — не спросила я, а простонала сквозь зубы. Но было уже недалеко. Лодка медленно вошла в песок, качнулась, и я упала головой вперед. Это было последнее движение вперед, а последнее назад я сделала машинально, на дне лодки, у ног шофера, который наклонился и о чем-то беззвучно, но настойчиво спросил у меня...

Не знаю, сколько времени мы пролежали на берегу, на мокром песке. Это была слабость, в которой было даже что-то мстительное, точно тело мстило за то, что я заставила его перейти границу возможного, за которой начиналось то, на что прежде оно никогда не было способно. Я лежала вниз лицом, очень тихо, и думала о самых разнообразных вещах, не имевших ни малейшего отношения к тому, что произошло или могло произойти, если бы нас снесло в Крутицкий порог. Кухня у Львовых, освещенная слабым огнем свечи, появилась из темноты перед моими закрытыми глазами, и я увидела Митю, который вошел и не понял, кто я, а потом сказал с ласковым изумлением: «Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Э, нет! Это не в моих интересах». Это было, когда он вернулся с фронта и носился по Лупахину в шлеме и кавалерийской шинели. Как он крепко сжал мои руки в своих, как был нежен со мной после маминой смерти! Неужели старый доктор был прав? Как он сказал? «Блеск ума и слепота эгоизма. Воля, чувствительность, холод, и над всем этим огромная жажда жизни». Да, да! Он сказал — не полнота, а жажда.

Потом я стала думать, что если бы мы не выгребли, Митя так ничего и не узнал бы обо мне. Быть может, в эту минуту, когда я лежу, как мертвая, с неловко подвернутыми руками, на мокром песке, он в светлой, нарядной комнате ждет гостей, открывая вино.

Почему я думала о нем? Не знаю. Как будто близость смерти прогнала все, чем я жила до сих пор, и на смену из глубины души явилось то, что еще вчера, казалось, ничуть не занимало меня. Как будто тайная, полузабытая мысль воспользовалась тем, что я — слабая, беспомощная, лежу без сил на мокром песке, на берегу незнакомой реки, и, подкравшись, стала властно распоряжаться моей душой... Шорох послышался за моей спиной, я обернулась. Это шофер поднялся на колени, постоял и снова улегся, свернувшись калачиком, как на

постели. Нужно итти! Сонными, чуть живыми руками я развязала рюкзак, стала есть, и даже слезы выступили на глазах — таким удивительно вкусным показался мне самый обыкновенный бутерброд с колбасой! Шофер сказал, что нужно выпить водки; я выпила и снова легла, но не надолго, потому что все-таки нужно было итти.

— Ты останешься, а я пойду.

Шофер кивнул, не вставая.

— Ящики береги. Скоро пришло за ними, слышишь?

Он опять кивнул.

Первый дом, к которому я подошла, был, очевидно, нежилой, потому что как я ни стучалась, как ни окликала хозяев, никто не отзывался на мой охрипший голос. В соседнем доме окна были завешены, но мне показалось, что занавеска дрогнула, когда я поднялась на крыльцо.

— Откройте! Я врач из Ленинграда. Откройте же!

Ни шороха, ни звука!

— Да что вы тут, вымерли, что ли? — крикнула я и топнула ногой по крыльцу.

Тишина. Если бы в Посаде была эпидемия не дифтерии, а чумы — и тогда на этой кривой, бегущей в гору улице не могло быть более мертво и пустынно. Я села на крыльцо, и впервые за время моего путешествия мне по-настоящему захотелось плакать. Почему-то я решила, что шофер уснул, как только я ушла, а ящики украли. И никому не нужны эти заботы и муки, и я сама, одинокая и беспомощная, зачем-то приехавшая в эту глухую деревню, никому не нужна! Все на свете к чертям, и врачом я тоже не буду! Врачи лечат, а не возят за тридевять земель ящики с сывороткой. «Нет ли там еще и ангины? Когда-то я задумывался над этим вопросом. Ну-с, а теперь подумайте вы», — вспомнилось мне. Вот и подумала!

Со злостью, которая меня самую удивила, я вскочила и бросилась к широкому, приземистому дому напротив, почему-то показавшемуся мне особенно ненавистным.

— Откройте же, чорт возьми! — закричала я и стала бить в дверь ногами.

Наконец-то! Голоса. Шаги.

— Кто там?

— Врач из Ленинграда.

Должно быть, я еще не верила, что откроют, потому что это «откройте же» повторила раз десять. Открыли. Какая-то девушка, тоненькая, с косой, впустила меня в сени.

— Врач из Ленинграда? — с удивлением повторила она. — Пожалуйста, войдите.

...Духота тесной, перегороженной комнаты. Запах иода. Икона в углу, беленая печь. Высокая худая старуха в белом платке, перекрестившаяся, когда я вошла. Мужчина в халате, склонившийся над кроватью. Закинутое, белое как бумага лицо ребенка, мелькнувшее, когда этот мужчина, не оборачиваясь ко мне, поднял руку, как делают, когда мешают шум и хотят, чтобы вокруг стало тихо...

Этот жест и то, что мужчина в халате — без сомнения врач — даже не обернулся, когда я вошла, в особенности возмутили меня.

— Измучилась, пока переправлялась через эту сумасшедшую реку. Никто не встретил! Брожу, стучусь во все дома! Ну что вы молчите? Я вам сыворотку привезла.

Мужчина в халате обернулся. Он сделал шаг, другой — и стетоскоп — у него в руках был стетоскоп — упал и покотился со стуком. Он стоял против света, да я и не вглядывалась в его лицо, только смутно удиви-

лась, что это усталое, широкое, но с тонкими чертами лицо, этот высокий лоб и над ним прямой, белокурый ежик волос — было мне когда-то знакомо.

— Чорт знает что! Неужели не знали, что я должна приехать?

— Да, Таня, — голосом Андрея сказал мужчина в халате.

Должно быть, я ослышалась.

— Так что же, не могли встретить?

— Мы ждали тебя вчера.

Тебя! Я замолчала, потом взяла его за руку и потащила к окну.

— Боже мой, Андрей? Андрей! Да ты ли это?

39

Ночной обход

Через час ящики с ампулами были доставлены в Посад, и мы стали ходить из одного дома в другой. Мы ходили втроем: Андрей, я и Машенька — так звали тоненькую девушку с косами, оказавшуюся фельдшерницей. И дома, которые пощадила эпидемия, были самыми трудными, потому что сыворотку нужно было впрыскивать всем детям — и больным и здоровым. Мы ходили, и я почти не могла представить, что все это происходило в тот самый вечер, который начался, когда мы с шофером сядились в лодку и в легком свете захода еще розовели отраженные водой облака.

Потом наступила ночь, а мы все еще ходили и впрыскивали. Многое казалось мне странным, и если бы у меня было больше времени, я, без сомнения, задумалась бы над некоторыми загадками — в особенности над одной, относившейся к Машеньке и смутно поразившей меня. Потом наступила поздняя ночь, а мы все еще ходили, и что-то бредовое, воспаленное было в этом обходе, в откинутых на подушки отекавших лицах детей, в этой невозможности отложить то, что нужно было сделать сейчас, в этих твердых, уверенных руках Андрея, освещенных слабым огнем лучин, ночников, лампад. В конце концов мне стало казаться, что мы ходим из дома в дом не для того, чтобы бороться с дифтерией, а только для того, чтобы снова увидеть эти широкие, твердые руки, разбивающие ампулу, подносящие к свету шприц. Но они делали и многое другое. Они гладили и успокаивали детей, глядевших на наши приготовления застывшими от ужаса глазами. Они бережно меняли повязку на рассеченном горле, в которое была вставлена трубочка — через нее дышал полузадушенный крупом ребенок. Они боролись с женщиной, у которой двое детей погибли от дифтерии и которая не пускала нас к третьему, испуганно клянясь, что он совершенно здоров. Они исчезали в резиновых перчатках и появлялись снова — и мы снова шли из одного дома в другой, из одного безмолвного мира, в котором не было ничего, кроме свистящего шума дыхания, в другой. И мне казалось, что всюду, где появлялся Андрей, слабый свет надежды загорался в воспаленных, растерянных, заглянувших в неизвестность глазах.

... Этот свет не появился в глазах белокурого мальчика лет семи, лежавшего безучастно, с посиневшим, сонным лицом, на котором уже устанавливалось тусклое спокойствие смерти. Должно быть, она стремилась войти в этот дом — богатый, просторный — вместе с нами, но почему-то замедлила шаги, остановилась у порога... Я взяла за кисть беспомощно повисшую тонкую ручку и нащупала слабый, ускользающий пульс.

Свечи горели на столе, стоявшем у изголовья умирающего ребенка, и старик в очках, склонившийся над толстой книгой, не обернулся, не

встал, не произнес ни слова, когда мы вошли. Потом он стал молиться громко, и я поняла, что перед лицом той, которая стояла у порога, он не считал нужным обращать внимания на каких-то ничтожных людей, стремившихся изменить беспощадный закон, которому обречено на земле все живое.

— Владыко господи вседержителю, — громко молился старик, — душу раба твоего Алексея от всяких уз разреши и от всякия клятвы освободи, остави прегрешения ему, ведомые и неведомые, в деле и слове, исповеданные и забвенные.

Но доктор с усталым тонким лицом, очевидно, не соглашался отпустить к «вседержителю» душу бедного раба его Алексея — кстати сказать, напомнившего мне самого доктора в те далекие времена, когда он стремился узнать, есть ли у тараканов сердце. С минуту он стоял неподвижно, внимательно глядя на бедное, распростертое маленькое тело, а потом решительно сказал:

— Нужно приготовить, Машенька.

И Машенька открыла свой чемоданчик и достала горелку, спирт, инструменты...

Нужно было завернуть мальчика в простыню, сесть на табурет и крепко зажать коленями его ножки. Сперва это сделала я, но Андрей почему-то велел, чтобы села Машенька, а я держала голову ребенка, — и мы поменялись местами. Это была интубация, то есть введение в гортань металлической трубки — и у Андрея, как это ни странно, был такой вид, как будто он делал это тысячу раз.

— Тая, голову прямо и неподвижно, — сказал он. — Нет, немного вперед. Машенька, держите крепче.

И быстрым движением руки он вставил трубку в бедное, забитое пленками горло.

— Вот и все, — сказал он.

Но, увы! Это было далеко не все. Мальчик захрипел, открыл глаза — туманные, вздрагивающие... С силой, которую нельзя было вообразить в этом худеньком легком теле, он рванулся, судорожно втянул воздух — и трубочка выскочила из горла и вместе с брызгами кашля полетела прямо в лицо Андрея.

— Ах!

Машенька вскрикнула, хотела подняться... Я почувствовала, как она задрожала:

— Спиртом, скорее!

— Не вставайте, — повелительно сказал Андрей.

Он наскоро вытер лицо спиртом, и все началось сначала.

— Земнии бо от земли создахомся и в землю тую же поидем, яко же повелел еси создавый мя, — читал старик. — Яко земля еси и в землю отыдеши.

— Так, готово, — сказал Андрей.

И тотчас же послышался шум дыханья, свистящий, с металлическим оттенком — верный признак, что трубочка попала в гортань...

Это было странно — видеть, как жизнь, казалось уже покинувшая это худенькое, покорное тело, вернулась, окрасила мертвенно-бледные щеки, и точно за руку привела глубокий успокоительный сон...

Светало, когда, шатаясь, мы вышли из этого дома. Усталость совершенно прошла — по крайней мере у меня, — так что я не понимала, почему меня все-таки тянет прилечь и приходится время от времени следить за ногами. Я шла и смотрела на Андрея — и боже мой! Как мне ясно вдруг стало, что он мог стать только таким — с этими нето-

ропливо задумчивыми движениями рук, свертывающих папиросу, с этими открытыми, ясными, прямыми глазами...

— Таня, неужели это все-таки ты? — спросил он. — Все некогда было посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно ты. Смешно, правда?

Я хотела сказать, что, конечно, смешно, но у меня закружилась голова, и я подумала, что станет лучше, если пересилить себя и итти. Но лучше не стало. Андрей подхватил меня на руки, и последнее, что я помню, это что он нес меня на руках, а я говорила, чтобы он отпустил меня, потому что все хорошо, и удивлялась, что говорю громко, почти кричу, а он не слышит, не слышит...

40

Машенька

Я проспала почти сутки и, открыв глаза, не поняла, где я и что со мной. Потолок был такой низкий, что его можно было достать рукой, вниз от меня шли широкие ступени, и я лежала на самой верхней из них. Зато на нижней ступени, и на окне, и на самодельных полочках, висевших здесь и там вдоль бревенчатых стен, стояли чашки Петри, штативы с пробирками, колбочки — и тонкие, ослепительные полоски солнца, перекрещиваясь, играли на стекле. Это была лаборатория. Но на самом деле это была просто деревенская банька — недаром два пышных березовых веника висели в углу под потолком.

Машенька сидела на табурете у окна, в полоборота ко мне, и несколько минут я смотрела на нее, не давая знать, что проснулась. У нее было приятное лицо, очень молодое. Косы, аккуратно заплетенные, как у девочки, волосок к волоску, тоже молодили ее. Она была тонкая, прямая, и едва взглянув на эти нежные щеки, на маленькие уши, видневшиеся под косами, переходившими в гладкую прическу с пробором, можно было сказать, что у Машеньки мягкие движения, тихий, никуда не торопящийся голос.

— Доброе утро.

— Ах, вы проснулись? — Она встала и подошла ко мне. — Шофер заходил, просил вам кланяться. Он уехал. Как ваше здоровье?

— Хорошо, спасибо.

— Как же вышло, что мы с Андреем Дмитриевичем не встретили вас на том берегу? Нам сообщили, что сыворотка выслана самолетом, а прошел день — нет и нет! Мы думали: где же может спуститься самолет? И решили, что на Черной Поляне, здесь есть такое место, километрах в пяти.

Я рассказала о том, как самолет долетел только до В., как мы чуть не утонули в Анзерке. Машенька слушала, широко открыв глаза, и видно было, что она не только глубоко сочувствует мне, но от всей души желает, чтобы со мной ничего подобного больше никогда не случилось.

— Как жалко, что Андрея Дмитриевича нет, — сказала она. — Не слышит вас. А ведь второй раз вы не захотите рассказывать, правда?

Я засмеялась. Она с удивлением взглянула на меня, покраснела и тоже стала смеяться.

Теперь была моя очередь спрашивать, и я начала с эпидемии: давно ли она началась, как случилось, что в Посаде не оказалось сыворотки, и так далее.

— Ах, нет, оказалась, — возразила Машенька. — Из Архангельска вскоре прислали, но Андрей Дмитрич сказал, что не годится, потому что ее, повидимому, в очень холодном помещении держали. Она промерзла и потеряла активность. А дифтерия началась сразу во многих домах и в такой тяжелой, знаете, форме. Если бы локализованная, ну, как обычно бывает. А то ведь почти сплошь токсическая и все с крупом, все с крупом!

Машенька рассказывала обстоятельно, с учеными словами, звучащими немного странно в этой простодушной речи. Но именно их-то она и выговаривала особенно неторопливо.

— А круп — вы вчера видели, какая картина? На третий день начинают задыхаться. Что делать? Вы подумайте только, как это страшно. Смотришь на ребенка с отчаянием и думаешь: чем же помочь? Андрей Дмитриевич все говорил, что мы попали сразу в девятнадцатый век. Хорошо, что он такой образованный, знает, как лечили дифтерию в девятнадцатом веке. Вы не поверите, ведь он трубочкой пленку высасывал.

— Как, трубочкой?

— А вот так: вставит трубочку в горло ребенка и высасывает. И еще смеется. Говорит: «это вам, Машенька, наглядный экскурс в историю медицины».

— Но ведь это же очень опасно.

— Ну как же! Очень. Вы читали Чехова «Попрыгунья»? Там рассказывается, как один прекрасный врач высасывал пленки и умер. Теперь, разумеется, так никто не лечит. Но с другой стороны, ведь силы же нехватает смотреть, как задыхаются дети! Мы им горло разными дезинфицирующими смазывали — да ведь это разве поможет? Андрей Дмитрич в шести случаях трахеотомию сделал, а сам же мне говорил, что прежде только один раз и то студентом, на трупе! И потом, вы знаете, какая здесь обстановка? Про все болезни говорят: «кровь мучит» — и сейчас же кровопусканье. В Судже знахарка живет, я ее видела. Так она первой весенней водой лечит. И заговорами: «На море, на окияне, на острове Буяне, лежит камень Алатырь, на том камне сидят три старца, идут к ним навстречу двенадцать сестер лихорадок, трясся, да знобья, хрипуша да огня...», — и Машенька досказала заговор до конца. — Вас зовут Татьяна Петровна?

— Просто Таня. А я вас — Машенька, хорошо?

— Да меня еще никто и не называл иначе!

— Вы постоянно живете в Посаде?

— Да. Я могла поехать в Сальск. Я родом из Сальска. Но не захотела. Я сама выбрала такую глушь, — добавила она и снова немного покраснела. — Но нисколько не жалею, нисколько.

— Почему?

— Ну как же — почему? А Андрей Дмитрич? Ведь я только здесь поняла, зачем и вообще-то училась! Мне казалось, чтобы зарабатывать побольше да жить получше. И все! А когда я приехала... Но вы не подумайте, что он со мной говорил об этом, хотя я сразу поняла, что это — человек идейный. Он просто жил здесь, вот в этой баньке, и работал. А когда я приехала, его ни в один дом даже на пороге не пустили.

— Как, не пускали?

— А вот так! Привыкли к знахарке и говорят: «Она нас лучше всякого доктора лечит». Конечно, она их подговаривала, тем более, что здесь все-таки кулаков много и им, понятно, не очень-то нравилось, что Андрей Дмитрич — партийный.

Машенька говорила то «идейный», то «партийный», очевидно понимая под этими словами одно и то же.

— Но, знаете, случай помог, уже когда я приехала. Тут соль варят в таких специальных варницах. И вот однажды приводят такого солевара — ослеп! Андрей Дмитрич посмотрел, подумал — да и капнул ему на конъюнктиву несколько капель кокаина. Солевар поморгал — и бух ему в ноги. Прозрел!

Машенька рассмеялась — тихо, но от всей души.

— А у него от дыма просто слизистая очень распухла. Бот после этого случая Андрея Дмитрича стали ценить.

— А теперь?

— А теперь одни его ненавидят, а другие — ну просто готовы за него в огонь и в воду.

— За что же ненавидят?

— А за то, что он такой волевой. Он ведь очень волевой и всегда своего добьется, если захочет.

Я слушала с интересом.

— А чего же приходится добиваться?

— Ну как же! Всего! Тут ведь кулаков много, и нам в медицинской практике приходится с ними бороться. Да и не только в медицинской! Конечно, если бы Андрей Дмитрич был беспартийный — это другое дело. А то ведь они каждое санитарное мероприятие расценивают с классовой точки зрения. И потом они же очень боятся Андрея Дмитрича, потому что, вы знаете, он какой! Он ведь шутить не любит!

Мне вспомнилось, как во время нашего ночного обхода одна женщина, едва он вошел, бросилась закрывать деревянные створки иконы и потом так начадила ладаном, что стало невозможно дышать. А суровый старик в очках, читавший отходную над умирающим мальчиком и сделавший вид, что нас нет в его доме? Я спросила Машеньку, кто этот старик, и услышала с изумлением: «Митрофан Бережной, председатель здешнего сельсовета». Все это были зафадки. Но только простое может бросить свет на сложное, как любил когда-то говорить Андрей.

Мы с Машенькой болтали все утро, потом нагрели воду, и я умылась с наслаждением, в котором было даже что-то дикарское. Машенька помогала мне и смеялась.

41

Большой разговор

Говорят, что борьба с эпидемиями напоминает войну: те же разведки, прорывы, отступления, атаки. То враг притворяется побежденным, то захватывает новую территорию, которая считалась прочно закрепленной за нами. Но ничего похожего на войну не было в той тщательной, однообразной работе, которой мы занимались днем и ночью — ночью, потому что нужно было не только лечить, но ухаживать за больными. Эта работа заключалась в том, что мы старательно лечили самые разнообразные формы дифтерии — очень тяжелые, тяжелые, средние и, наконец, скрытые, которые можно было определить лишь лабораторным путем и с которыми мы тогда не знали что делать. Так, весь причт посадской церкви — и дьячок, и священник, и сторож — были бациллоносителями, то есть людьми, никогда не болевшими, но невольно и незаметно для себя распространявшими дифтерию.

И лишь в одном отношении наш труд напоминал войну — мы не могли предсказать потери: так погиб, несмотря на огромные дозы сы-

воротки, белокурый мальчик, напомнивший мне Андрея. Только на три дня удалось задержать у порога ту, которая стремилась войти в этот дом одновременно с нами. Погиб третий ребенок у женщины, потерявшей двух, и она часами стояла у нашей баньки, простоволосая, страшная, качая завернутое в тряпки полено.

Баю-бай да усни,
Да большой вырастай —
На оленя гонец,
На тетеру стрелец, —

пела она—и нельзя было выйти, чтобы не встретить ее тусклого взгляда:

Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй.
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.

Машенька не боялась ее, а я боялась, и каждый раз, выходя из баньки, должна была сделать усилие, чтобы не побежать со всех ног.

Есть что-то беспокойное, неуверенное в отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности и встречающихся снова, когда миновали в разлуке не дни и месяцы, а годы. Была ли эта разлука полным забвением, или все же не переставало нежно звенеть в душе воспоминание о том, что казалось забытым? Кто знает? Расстаются в юности, когда удивительно близки впечатления и размышления. Встречаются не очень или очень охладевшими и, сравнивая две судьбы, две жизни, поражаются, сочувствуют, негодуют...

Нужно было что-то переломить в душе, чтобы между Андреем и мною возникли прежние отношения, не прежние — другие, но которые были невозможны без прежних. Прошло больше пяти лет, и то, что было между нами в Лопахине, теперь представлялось мне чем-то легким, тонким, похожим на первую, сквозящую зелень вязов, когда ночью мы шли на Пустынку после школьного бала. Но мне было трудно не потому, что мы стали другими, а потому, что Андрей без всякой причины перестал писать мне в Ленинград, и я долго старалась уверить себя, что нужно забыть о нем навсегда.

Это был один большой разговор, который начался однажды вечером, незадолго до моего отъезда, и продолжался всю ночь, и потом десять раз обрывался и вспыхивал, как пламя, которое раздувал налетавший откуда-то вихрь. Мы говорили до тех пор, пока не было сказано все, но все сказал Андрей, а я оставила на завтра самое последнее слово. Кто знает, быть может, многое в жизни произошло бы иначе, если бы я не оставила на завтра своего последнего слова! Да, это было ошибкой, которая повлекла за собой другую ошибку, а из другой выросла третья — и так до тех пор, пока все три не слились в одну, очень большую, о которой я теперь еще вспоминаю с раскаяньем и сожалением. Но была ли я виновата? Все-таки нужно очень хорошо знать себя, чтобы не подменять одного чувства другим, тем более, что в юности часто кажется, что эти два непохожих чувства — похожи...

Солнце заходило, бледножелтый шар без лучей уже коснулся зубчатой линии края, когда, посмотрев большую девочку лопмана, жившего в крайнем доме Посада, мы вышли и, одновременно вздохнув, пошли не налево — домой, а направо — вдоль пологого берега Анзерки.

Мы шли, и я думала, что в здешнем закате нет теплоты, как у нас — я мысленно чуть не сказала — в России, как будто здесь, в Анзерском

посаде, была не Россия: вокруг нас не лежал теплый, желтый отсвет уходящего дня, а лишь холодно сверкала каменистая тропинка, которая вела к солевым варницам, раскинутым среди извилистых оврагов.

Это был первый вечер, когда мы почувствовали, что можно говорить не только о дифтерии. Но все-таки мы заговорили о ней — об удивительном несовпадении между опытом, который Андрей поставил накануне моего приезда, и мыслью, которую подсказал мне Николай Васильевич. У Андрея была интересная мысль: в «Журнале экспериментальной биологии и медицины» он прочел статью о том, как одна кишечная палочка угнетающе действовала на другие кишечные микробы, и решил перенести этот опыт на возбудителей ангины и дифтерии.

Потом мы долго шли и молчали, но это было уже не прежнее молчание от усталости, а что-то другое. И Андрей, как всегда первый, назвал то, о чем мы молчали.

— Послушай, Таня, — начал он. — Я знаю, ты хочешь спросить меня, почему я перестал писать тебе в Ленинград? Да? Это правда? — Это было сказано совершенно как в детстве, когда мы угадывали мысли друг друга.

— Правда.

Он быстро посмотрел на меня и опустил глаза. Тень легла на его лицо, и он сжал губы с каким-то горестным недоумением.

— Видишь ли, — сказал он с трудом. — Все это, разумеется, давно потеряло значение. И я не хотел бы... теперь, когда мы встретились снова...

Я сказала:

— Нет, именно теперь.

Это значило — «если хочешь, чтобы мы снова стали друзьями». Он понял.

— Хорошо. Пусть так. Но помни, что я говорю только потому, что ты считаешь это условием... — Он сдвинул шапку на затылок, и у него стал расстроенный, но решительный вид.

— Скажи, это правда, что когда Глашенька с мамой уехали из Лопухина, она поручила тебе... Это правда, что ты взяла на себя заботы о дяде?

Я остановилась от неожиданности. Но он взял меня под руку, и мы быстро пошли по неудобной, покато́й тропинке к оврагам — туда, где виднелся черный навес на столбах и в глубине, под навесом вспыхивало дымное пламя. Это были варницы.

— Конечно, ты была девочкой, и они не должны были оставлять его на твое попечение. Но ведь ты предложила сама? Это правда? Я понимаю, ты предложила не из-за денег...

Андрей прикусил губу и с ужасом взглянул на меня. Я потом поняла, что он не хотел упоминать о деньгах и проговорился нечаянно.

— Не из-за денег, а потому что любила его. Тогда почему в последнем письме из Лопухина ты даже не упомянула, каким образом он попал в этот дом? Ты молчишь? Тебе странно то, что я говорю?

— Да, очень.

Он хотел сказать, что я нанялась за деньги ухаживать за старым доктором, а потом, когда Глашенька уехала, отправила его в Инвалидный дом.

— Это потому, что прошло много лет и ты не знаешь, чем он стал для меня. Это было непростительно, что мы не записывали его лекции, и не только потому, что в них было много нового, а потому, что ведь он же искал среди нас того, кому он мог бы передать свой труд, свои мысли! Тебе никогда не приходило это в голову, Таня?

Теперь варницы были недалеко, и через распахнутые настѣжь ворота, на фоне дымно-красного, вырывающегося откуда-то пламени, можно было рассмотреть темные фигуры неподвижных людей.

— Он не верил, что весь этот труд брошен даром и жизнь прожита бесполезно, напрасно! Ты молчишь? — вдруг с отчаяньем спросил Андрей и остановился. — Говори же! Почему ты молчишь?

Мне было трудно молчать, особенно после того, как, остановившись, он заглянул мне прямо в глаза. Но говорить было еще труднее, потому что прежде чем говорить, нужно было справиться с мгновенно поднявшимся в душе вихрем горечи, разочарования, обиды.

— И ведь он много сделал для тебя, я часто думал об этом, — снова заговорил он, — я помню, как девочкой ты сидела на скамеечке у его ног и он спрашивал у тебя таблицу умножения. Когда умерла твоя мать, он хотел сам идти к тебе — и пошел бы, если бы на него не прикрикнула мама. И вот, когда он остался один... Разумеется, это вздор, что он умер из-за кого бы то ни было, — сказал он поспешно. — Но ты понимаешь... мне было очень трудно тогда, и я решил больше тебе не писать. Но теперь, — добавил он быстро, и у него просветлело лицо, — я вижу, что это было ошибкой.

Я спросила холодно.

— Почему же?

— Не знаю. Говори же, — повторил он с ужасом. — Я все сказал, а ты молчишь и молчишь...

Мы подошли к варницам. Под развалившимся навесом женщины качали воду из колодца, и вдоль деревянного желоба она бежала в варницу через дворик. Черный, мохнатый мужик с палкой в руке стоял подле котла, в котором варилась соль, и все вокруг было озарено мрачным отблеском пламени, вырывававшегося из-за котла и чудовищно изменившего мир. Без мысли, без чувства я стояла и смотрела на пламя...

Большой разговор

(Продолжение)

Это было только начало нашего разговора, оборвавшегося потому, что я была так ошеломлена, что в первую минуту не нашлась даже, что ответить Андрею. Зачем Глашенька так подло оклеветала меня? Она сочинила целую историю, будто я долго умоляла ее оставить Павла Петровича на мое попечение, уверяя, что буду беречь его как зеницу ока. Будто я со слезами рассказывала, как плохо мне живется с отцом, и Павел Петрович по моей просьбе упросил Глашеньку разрешить мне переехать к нему.

Но это «зачем» было лишь одним из многих вопросов, представившихся моему воображению, когда, выйдя из варницы, мы пошли обратно, и Андрей все говорил — никогда в жизни он не говорил так много, а я отвечала только «да» или «нет». Поверила ли этой нелепой выдумке Агния Петровна? Оказывается, поверила и даже сказала, что никогда не думала, что я такая «змея». Это меня поразило! Все-таки Агния Петровна знала и любила маму, и я привыкла уважать ее, хотя и чувствовала, что в глубине души она слабый человек и легко поддается чужому влиянию. А Митя? Поверил ли Митя?

— Кажется, да, — с трудом ответил Андрей, и я поняла, что за этим «кажется» скрывается многое, потому что через несколько минут он добавил, что никогда не говорил об этой истории с Митей.

— Но он хотел повидаться с тобой в Ленинграде, — спохватившись, сказал он. — Вы разъехались? Да нет, это было давно. Разве Митя не встретился с тобой в Ленинграде?

Все, что я слышала от Андрея, казалось мне каким-то странно сдвинутым — фотографы называют это «не в фокусе». Вероятно, поэтому я не придавала никакого значения тому, что Митя будто бы хотел встретиться со мной в Ленинграде. Но когда мы снова заговорили о Мите — загадочная история с Маяковским, искавшим меня по всему Ленинграду, осветилась с неожиданной стороны, и я поняла, что это был не Маяковский, а Митя.

Но это произошло потом, а сейчас мне нужно было ответить на сплетни, в которых Андрей и сам не мог разобраться, потому что успел забыть подробности глашенкинского приезда в Лопахино. Зато я их не забыла!

Не помню, когда еще в жизни я с подобной энергией обрушивалась на кого-нибудь, как в ту ночь — была уже ночь — на Андрея. Если бы я не почувствовала, как бесконечно важно для него, чтобы все это оказалось неправдой, я бы, кажется, убила его. Но его нельзя было убить, потому что у него был такой вид, как будто ему душно, нечем дышать, и он с наслаждением подставляет голову под ливень моих оправданий. Или, вернее, обвинений, потому что я обвиняла.

Я рассказала все — никогда не думала, что у меня такая хорошая память! Я рассказала, как Глашенька потребовала, чтобы Агния Петровна немедленно переехала в Москву, разумеется, чтобы развязать себе руки. Как, жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей всякую рухлядь и потом долго торговалась со старьевщиком, который даже плюнул, уходя, и сказал, что такую выжигу он встречает впервые. Как старый доктор молодец от надежды, освещавшей его лицо, когда он читал мне письмо, начинавшееся словами «Дорогой Владимир Ильич». Как он был потрясен отзывом какого-то Крымова или Крылова («Должно быть, Крамова», — поправил Андрей). Я рассказала даже сон Павла Петровича: как он увидел маленькое, изящное здание, в котором все совершалось согласно его желанию, — сон, который был так непохож на его печальную жизнь.

В этом месте пришлось немного всплакнуть, но слезы, на которые я рассердилась, лишь придали мне еще больше энергии, и о своем последнем разговоре с Павлом Петровичем — последнем, когда он был в сознании — я рассказала так подробно, что даже сама удивилась: «Два противоположных закона, повидимому, борются в мире, — сказал старый доктор, — закон смерти и закон мира и жизни. И я счастлив, потому что вижу, какое место заняла в этой битве Россия». Но то, что он сказал о Мите, я почему-то не передала Андрею.

Заложив руки за спину, он ходил по баньке — мы давно уже были в баньке — и слушал меня, широко открыв глаза, в которых с каждой минутой разгоралось раскаянье — нет, не раскаянье, а какое-то совсем другое, пылкое чувство.

Наконец я рассказала все: и как Павла Петровича отправили в Инвалидный дом без меня, нарочно, чтобы я не могла помешать. Как ему стало «некогда жить», и как перед смертью он манил кого-то слабой рукой, но не было с ним той, кого он манил, а была только я, одинокая девочка, не знавшая, чем облегчить его последние минуты...

... Я замолчала. У меня щеки горели, и было такое чувство, что температура не меньше тридцати девяти. Мы ничего не ели с обеда, я хотела сварить кофе, но Андрей почему-то не дал, и мы молча, груст-

но съели страшно соленую селедку, после которой так захотелось пить, что я все-таки сварила кофе.

Андрей заговорил — и наступила моя очередь слушать его, слушать и волноваться, потому что то, что он рассказал, глубоко взволновало и заинтересовало меня.

Мне думалось, что это очень трудно — найти объяснение тому, что произошло четыре года назад в семействе Львовых, но оказалось, что совсем не трудно! Нужно было только одно — знать Глашеньку, а Андрей знал ее теперь куда лучше, чем я. Это был конец прежней семьи во главе с Агнией Петровной и начало новой, в которой главную роль Глафира Сергеевна, разумеется, отводила себе. Тогда, в Лопухине, она лишь приступила к своей задаче, может быть немного решительнее, чем требовали обстоятельства, — приступила и, совершив ошибку, немедленно свалила вину на меня. Конечно, Андрей рассказывал об этом немного иначе, но я... С какой-то вдохновенной проницательностью я угадывала каждый его намек с полуслова. Он нарисовал портрет изменившейся, постаревшей — «не узнать» — Агнии Петровны, и за этим «не узнать» я увидела Глашеньку, уверенную, вежливо улыбающуюся, в то время как глаза оставались неподвижно мрачными на красивом, бледном лице: «Что касается ваших, мамочка, дел...». Теперь она вела дом — и вела, по словам Андрея, в высшей степени толково и властно. Митя слушался ее, только в одном вопросе она встретила решительное сопротивление и уступила после долгой борьбы. Глашенька настаивала, чтобы он работал в частной лечебнице, которую открыл на Тверской какой-то крупный доктор-делец. И Митя поступил, но сразу же отказался, объяснив, что будет заниматься наукой. Он обработал свои материалы по сыпному тифу, собранные во время войны, и выступил с докладом, очень хорошим, так что ему предложили работать сразу в двух институтах. Он долго выбирал, а потом поступил сразу в оба. И теперь Глашенька даже довольна, что он решил заниматься наукой, потому что он быстро выдвинулся и в прошлом году защитил диссертацию.

— И ты знаешь, что о нем говорили? — с детским удивлением сказал Андрей, как будто его самому никогда не пришло бы в голову то, что говорили о Мите. — Что со времени Мечникова никто еще не нарисовал с такой смелостью картину будущего развития медицинской науки.

В общем, оказалось, что Митя — талант, но Андрей думал, что из него, тем не менее, едва ли получится толк, потому что Митя разбрасывается и в конечном счете не знает, что ему делать со своим талантом. В последнее время он, например, на конференциях, собраниях и съездах стал выступать против самых солидных ученых. Зачем? Андрей полагал, что своих научных противников правильнее бить по одиночке, чем скопом, тем более, что митин образ действий кое-кто постарается объяснить стремлением выдвинуться — и толкно.

Я слушала — и у меня было странное чувство, что Митя и Андрей поменялись местами, то есть, что Митя теперь стал младшим братом, а Андрей — старшим. Никогда прежде он не сказал бы, что Мите больше всего «мешает то обстоятельство, что он прекрасный оратор» или что «у него слишком много времени уходит на шум».

— Но, постой, — вспомнил Андрей. — Ведь он же непременно хотел найти тебя в Ленинграде!

Давным-давно мне хотелось спросить, зачем Митя искал меня в Ленинграде, и я все время забывала об этом, потому что каждую минуту узнавала массу новых интересных вещей. Теперь я, наконец, спросила:

— Зачем?

— Понимаешь, у него есть одна мысль, очень интересная, хотя мне, например, она кажется парадоксальной, — сказал Андрей. — Он думает, что можно перекинуть мост между идеей вражды микробов и естественными силами самозащиты, которые выработал организм в течение тысячелетий. И вот... я рассказал ему о дядиных лекциях, и Митя был поражен, потому что то, что говорил дядя, как ты знаешь, в общем похоже на эту мысль!

— Не очень.

— Может быть, и не очень,—подумав, сказал Андрей. — Но когда Митя нарисовал мне схему, я сразу вспомнил одну лекцию, в которой дядя упрекал медицину, что она не пользуется враждой микробов для лечения болезней. Словом, Митя искал тебя, чтобы узнать, сохранились ли у тебя дядины бумаги, в особенности, его «труд», который он хотел прочитать возможно скорее. Между прочим, он был в отчаянии, уверяю тебя, — поспешно добавил Андрей, — что относился к старику так небрежно. Но теперь, я думаю, в этом тоже была виновата...

Он замолчал. На окне стояла консервная банка с пробирками. Он машинально взял одну из них и посмотрел на свет. Потом положил обратно, но остался у окна. Это продолжалось долго, он стоял и смотрел в окно, за которым из белого сумрака северной ночи уже вставал рассеянный утренний свет, а я сидела на табурете у стола и молча рисовала рожки... «...Сознание, что не можешь освободиться от вызванных тобою духов,—грустно вспомнилось мне. — Болезненное чувство, что пройдет год или два—и твоя идея начнет жить самостоятельно и пойдет такими путями, которых ты не предвидел».

Андрей обернулся. У него было веселое лицо с сияющими глазами, удивительно светлыми, как всегда, когда он волновался.

— Ах, не все ли равно? — сказал он. — В конце концов, что нам до Глашеньки? Мне стыдно, что я мог поверить ей, но ты понимаешь... Тогда мне казалось, что можно логически доказать, что жизнь прекрасна. Я был уверен, что непременно нужно понять смысл каждого дня, именно дня, а не месяца или года. Все в мире представлялось мне необыкновенно стройным, и ты была хозяйка этого великолепного стройного мира. Вот почему то, что я узнал от Глашеньки, так страшно оскорбило меня. Ну, полно! Ты простила меня? Что я должен сделать, чтобы ты простила меня?

Это было похоже на наше прощанье в Лопакхине, когда мы гуляли по набережной, и вдруг прежний Андрей куда-то исчез, а на его месте появился новый, побледневший, летящий, с вдохновенным, сияющим взглядом... Мне захотелось поцеловать его, но я только встала и протянула руки.

Мы вышли. Розовое утро вставало над горизонтом, и все вокруг — деревенская улица, поднимающаяся в гору, церковь и церковная ограда, и женщины, развешивающие на ограде белье,—все было окрашено в розовый цвет всех оттенков — от нежного, чуть тронувшего неподвижные, воздушные облака, до темного, начинавшегося у наших ног и уходящего к далекой, зубчатой линии кряжей. Я взглянула на Андрея: полузакрыв глаза, подняв голову, улыбаясь с детски-торжественным, добрым выражением, он смотрел туда, где, медленно стирая все розовое, на земле и на небе, поднимался утренний, чистый, как будто умывшийся шар восходящего солнца.

Большой разговор

(Окончание)

Где-то я уже сказала, что выслушала Андрея с таким чувством, как будто все, что он говорил, было «не в фокусе». Должно быть и вообще наши отношения с той минуты, как мы встретились в Анзерском посаде, были «не в фокусе», хотя мы, занятые с утра до вечера, лишь смутно замечали это. Теперь все встало на место, и, между прочим, я впервые оценила, как, в сущности, превосходно поставил Андрей дело медицинского обслуживания в Анзерском посаде. Стационара еще не было, но дом для него почти построен, и вполне современная, хотя и небольшая больница должна была открыться в ближайшее время. Это было трудно, и я с удивлением узнала, как энергично, больше того — беспощадно расправлялся Андрей с теми, кто мешал ему в этом деле, которому он с полным основанием придавал большое политическое значение.

...Новых больных давно не было, старые поправлялись. Теперь мы с Андреем довольно часто гуляли, и он, можно сказать, показывал мне Анзерский посад. Почти все дома были, оказывается, украшены резьбой, кофьками, теремками, а на некоторых были ставни, расписанные необычайно искусно. Вообще, Андрей успел познакомиться с северным народным искусством и так интересно рассказывал о нем, что можно было заслушаться, тем более, что я в этих вещах всегда разбиралась слабо. Он собирал коллекцию — прялки, покрытые орнаментом из звездочек и крестиков, переходящих в фигурки сказочных птиц, костяные ящички с крышками, вырезанными, как тончайшее кружево, и так далее. Теперь ему вдруг вздумалось подарить всю эту коллекцию мне, но я взяла только вышитое полотенце, понравившееся мне своим простым, изящным рисунком.

В другой раз он стал читать вслух какое-то «Гибельное описание» о том, как двадцать два рыбака отправились «на карбасе в Архангельско» — помню, что именно «ско», — и как вдруг «подул ветер-Запад и пала погода».

К сожалению, должна сознаться, что я заснула на первой странице, так и не узнав, что случилось с рыбаками, которые никак не могли «вычарапаться» из воды.

Словом, Анзерский посад был настоящим «музеем прошлого», но за его фасадом, украшенным искусным орнаментом, был, как сказал Андрей, куда более сложный орнамент запутанных отношений, недоброжелательства, злобы, обид. Полгода назад здесь организовалась «артель по совместному рыбному лову» — и какие только несчастья не обрушились на эту артель, в которую вошли двенадцать бедных семейств! То бесследно исчезали лучшие переметы, то сельсовет настаивал, чтобы артель отдала один карбас для почты. Увеличить улов в два, в три раза можно было только одним способом — достать моторный карбас, и Андрей с большим трудом выхлопотал в Архангельске этот «трактор рыбных хозяйств». Но в разгар путины мотор оказался сломанным, хотя артельщики берегли его как зеницу ока. Это была война, последовательная, беспощадная, и выиграть ее было трудно, тем более, что председателем сельсовета был известный на Севере строитель судов Митрофан Бережной, у которого было по меньшей мере вдвое больше рыболовцевой снасти, чем у всей артели, и который давным-давно в моторном карбасе отправлял на путину своих сыновей.

— Разумеется, я здесь не одинок, — сказал Андрей, — и если бы ты приехала не летом, когда мужчины на промыслах, а зимой, я бы познакомил тебя с людьми, замечательными по своей цельности, энергии и, главное, по политическому чутью, которому мне, например, иногда не мешает у них поучиться.

Этот разговор происходил у «острога» — так называлось полуразрушенное здание на Анзерке, странную пятиугольную форму которого еще можно было угадать по остаткам могучих, в два обхвата бревен. За «острогом» начинались леса, сливавшиеся вдаль — это сказал мне Андрей — с лесами морского побережья.

— Тогда ты поняла бы, — продолжал он, — с какой остротой все, что происходит в стране, отражается здесь, даром что нет, кажется, более глухого угла, чем этот Посад за сто километров от железной дороги. На первый взгляд кажется, что вот уже тысяча лет, как ничего не происходит в этих крытых дворах, за воротами, над которыми — я тебе показывал? — еще сохранились кресты и иконы. А на деле — ты знаешь какое впечатление, например, произвело здесь известие о том, что в ленинградский партийный клуб были брошены бомбы? Как будто эти бомбы попали в баньку, где я принимал больных. Но есть и другая точка зрения — ты понимаешь, о чем я говорю. Когда появилось известие о подлом убийстве Войкова, ты бы видела, с каким оживленным, помолодевшим лицом показал мне этот номер газеты сам Митрофан Бережной. Разумеется, он «сочувствовал», но я-то знал этому сочувствию цену! Ты, может быть, думаешь, что он не в курсе международных событий? Он на счетах откладывает: налет на Аркос — барыш, победа Народно-революционной армии в Китае — убыток.

Ничего неожиданного не было в том, что говорил Андрей — почему же я слушала его с таким чувством, как будто до сих пор беззаботно шла по открытой, освещенной солнцем дороге и вдруг наткнулась на пропасть, в которую было страшно взглянуть, «страшно, но нужно», как сказал Андрей, когда я не очень-то связно изложила ему эту мысль.

— Не знаю, откуда у тебя взялось это ощущение беззаботности, — продолжал он. — Ты скользишь, Таня, — вот откуда! Это странно, потому что когда ты была еще совсем девочкой, меня иногда поражала твоя способность угадывать оборотную сторону явления. Мы действуем — вдумайся в это слово, — и нам не к лицу развлекаться иллюзиями, что жизнь не требует от нас ничего, кроме знания медицинского дела. Мы должны многое предвидеть, если не хотим, чтобы победили те, кто в Польше убивает нашего посла, а в Анзерском посаде сидит, как Бережной, в своей чистой избе и читает книги времен Алексея Михайловича. Враги многообразны, Таня, и, может быть, самые страшные из них те, которые притворяются нашими друзьями.

Комсомольское собрание в институте вспомнилось мне, когда Андрей сказал о врагах, притворяющихся друзьями, горячие споры об оппозиции, и на кафедре — полный человек с широким лицом, с растрепанной, седеющей шевелюрой, который фальшивым, пронзительным, почти женским голосом убеждал нас, что «молодежь — барометр революции» и что стало быть за нами всегда останется «решающее слово». «И если этого не понимают в Москве, — вдруг злобно крикнул он, — то в Ленинграде прекрасно понимают».

Я рассказала об этом собрании Андрею, и он выслушал меня с каким-то незнакомым жестким выражением. «Потому что, вы знаете, он какой! — вспомнилась мне Машенька. — Он ведь шутить не любит».

— Предатели, которых прекрасно разгадали и в Москве и в Ленин-

граде, — сурово сказал он. — Вот видишь! Ты рассказываешь мне о работе на кафедре, о подругах, о вашей коммуне, а об этом до сих пор не упомянула ни словом. Между тем стоит только вообразить это собрание — и сразу станут видны те пропасти, о которых ты говорила, или, вернее, не пропасти, а волчьи ямы с капканами, куда стремятся затащить нас эти «друзья». И тогда, как ни странно, найдется немало общего между жизнью глухой северной деревни и огромного института. Что же, у вас нет своих Бережных? Много ли среди профессуры таких, как твой З.? Когда я кончал институт, мне с поразительной ясностью был виден процесс кристаллизации — с одной стороны мы, комсомольцы, небольшая группа, весь коллектив не больше ста человек, с другой — старое студенчество, а между нами — масса колеблющихся, день за днем переходивших к нам. Я не сомневаюсь, что тот же процесс происходит у вас — хотя, очевидно, на другой ступени развития. Для меня то обстоятельство, что я комсомолец, тогда было осью, вокруг которой вращалась жизнь и становилась видна изнанка явления. А для тебя?

...Мы говорили долго, часа три, пока монотонный шум воды не вошел в наш разговор — мы дошли до Крутицкого порога. Бешено крутясь, вода свивалась в огромное, белое бревно, и это бревно с грохотом обрушивалось вниз, разбиваясь о камни, а на смену ему, закипая и пенясь, уже свивалось другое...

...О чем мы только не говорили с Андреем! Не год и не месяц — нет, каждый день, прошедший с тех пор, как в пролетке с откинутым верхом Андрей отправился в «будущее», был рассказан, точно мы в самом деле задались целью объяснить друг другу смысл каждого дня. И мне все казалось, что еще продолжается, то обрываясь, то возникая, наш давешний ночной разговор. Случалось, что он становился полунемым, но одного слова было достаточно, чтобы различить его далекое биение, чуть слышное, разумеется, только для нас. Иногда становился деловым, например, когда мы обсуждали опыты, о которых я сейчас расскажу.

Иногда при этом разговоре присутствовала Машенька, и смутная догадка, что она не даром прислушивается к нему — прислушивается с трепетом ждет окончания, — приходила мне в голову, когда я смотрела на это покорное, нежное лицо, на бледнорозовые, горящие слабым румянцем щеки. И я вспоминала, как Машенька расстроилась — чуть не упала в обморок, — когда Андрей делал интубацию и трубочка, вместе с брызгами кашля, полетела ему прямо в лицо. Потом он попросил Машеньку посветить — он осматривал мальчику горло, — и свечи озарили такое взволнованное лицо, с такими заботливо-мигающими, полными тревоги глазами! Впрочем, в нашем дружеском разговоре не было ничего, что Машенька не могла бы услышать!..

Больше ни слова не было сказано о Глафире Сергеевне — точно мы условились обходить те места, где она могла встретиться нам, хотя бы в воображении. Андрей сказал лишь, что он написал Мите о нашей встрече, предупредив, что через несколько дней я вернусь в Ленинград.

— В конце июля Митя будет в Ленинграде на съезде, — объяснил он. — И ты сама расскажешь ему эту историю. Я написал ему только: «ты услышишь то, что тебя поразит». Но вот что... я хотел предупредить тебя... мне кажется, что у них с Глашенькой сложные отношения. Может быть, он не будет особенно поражен...

Я спросила с удивлением:

— Вот как?

— Да. Впрочем, не знаю. Он очень занят работой, о которой я тебе говорил. Ты понимаешь, я немного боюсь, что он выслушает тебя и потом спросит: «Но где же сейчас находятся бумаги Павла Петровича? Они сохранились? Не кажется ли вам, что давно пора вернуть эти бумаги родным?».

Я сказала холодно:

— Ну что ж! На этот вопрос нетрудно ответить.

— Без сомненья. Ты ответишь, и вы поссоритесь. А мне... Понимаешь, я очень не хочу, чтобы вы ссорились. Для меня это важно в двух... нет, в трех отношениях.

— Ого! В каких же?

Андрей быстро взглянул на меня. Я удивилась — без всякой причины у него стало взволнованное лицо. Брови поднялись, глаза широко открылись — и точно что-то глубоко запрятанное вдруг радостно взглянуло на меня из этих посветлевших, по-детски сияющих глаз.

— Об этом мы поговорим в другой раз... В другой раз, — сказал он.

...Но вот что было самое главное — если не считать той горестной ошибки, которая произошла через несколько дней. Самое главное было то, что работа, которую поручил мне Николай Васильевич, не вышла. Нельзя сказать, что опыты не удались, но результаты получились странные; причем странные не только с микробиологической, но и просто с логической точки зрения.

Не знаю, с чем сравнить чувство, которое я впервые испытала, всматриваясь в туманную картину, сложившуюся из этих полуудачных опытов, споров с Андреем, сомнений и, наконец, упорных попыток довести работу до конца, казалось, вопреки здравому смыслу. Точно раннее утро в горах — все неопределенно, подернуто мглой, полно меняющихся, сомнительных очертаний. Ощупью, не веря себе, осторожно касаясь ногой тропинки, идешь вперед, а там наверху синее озеро, с гранеными кристаллами льда — дивный мир, поражающий строгостью линий. Впрочем, это красивое сравнение пришло мне в голову лишь через несколько лет, когда я уже взрослым человеком шла пешком из Теберды по направлению к Клухорскому перевалу.

Я сказала, что опыты были полуудачными, но если иметь в виду мысль Николая Васильевича, они просто провалились, тем более что некоторые стрептококки (микробы ангины) вовсе не оказывали усиливающего действия на микроб дифтерии. Право, можно было подумать, что эти два микроба находятся в плохих отношениях и только и думают о том, как бы причинить неприятность друг другу. Впрочем, из многих стрептококков это неизменно случалось только с одним. Зато этот один не только не усиливал, а понижал и даже в некоторых случаях останавливал рост дифтерийного микроба. Разумеется, в наши дни подобный факт не вызвал бы ни малейшего удивления...

Возможно, что если бы это происходило не в баньке, а на кафедре, если бы пробирки стояли в штативах, а не в консервных банках, если бы под термостатом, который Андрей сделал сам незадолго до моего приезда, не стояла обыкновенная керосиновая лампа, а сушильный шкаф не помещался на обыкновенной плите, если бы могли поставить опыты на животных — у нас было бы больше уверенности в том, что, вопреки здравому смыслу, с помощью ангины можно лечить дифтерию. Так или иначе, но это был факт, существовавший, правда, пока еще только в пробирках, но имеющий некоторые основания утвердиться на более обширном поле действия — в человеческом организме.

Интересно, что больше всего мы боялись сделать поспешные выводы. Между тем, как ни страшно, в этом случае нужно было, разумеет-

ся с риском ошибки, сделать именно поспешные выводы. Я не решилась на них просто потому, что робкая мысль беспомощно остановилась перед новым, еще не известным явлением. А Андрей, который был в тысячу раз образованней, чем я, не сделал выводов, потому что, с его точки зрения, перед нами был факт, который следовало тщательно описать и отложить в сторону до того времени, когда в науке будут открыты новые подобные факты. Так мы и сделали, решив, если это удастся, напечатать маленькую статью в каком-нибудь научном журнале.

В конце июня до Анзерского посада донеслось страшное известие о крымском землетрясении, в газетах каждый день стали появляться корреспонденции, фото, рассказы очевидцев. Андрей тревожился о судьбе своего товарища, работавшего в Ялтинской больнице, и успокоился, лишь получив от него телеграмму. Трудно было предположить, что и в Ленинграде может произойти землетрясение, и еще труднее, что мое присутствие может его предотвратить, но я, сама не знаю почему, стала торопиться домой...

Вот так-то обстояли дела, когда однажды вечером в баньку, где, надев на ночь халатик, я переписывала статью, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо от кого-нибудь из Ленинграда. Нет, на конверте было только написано: «Тане». Я разорвала конверт.

«Дорогая Таня, я решился именно написать тебе, потому что говорить об этом, то есть о том, что заполняет всю мою душу, почти невозможно. Если бы не всю — тогда, найдя хоть маленькое, свободное от мысли о тебе местечко, я утвердился бы на нем и заговорил с тобой так, как тысячу раз говорил в воображении. Но писать я могу. Думала ли ты, что нам, то есть нашему поколению, предстоит трудная жизнь? Вот сейчас ночь, душно, в самодельной, свисающей с потолка на рогатине люльке плачет ребенок, и хозяйка, не вставая с постели, ногой качает его — должно быть, так же было при Иване Грозном. Все так же, как было сто или тысячу лет назад — и эта духота, и лампадка перед иконой, и корова, которая тяжело ворочается и жует за стеной. Но это — кажущаяся неподвижность, потому что через дорогу, в крепком, просторном доме сидит над своими книгами Митрофан Бережной, который для других бережет эту подлую косность, а для себя, прикрываясь житиями святых, благополучно покупает второй моторный карбас. Удастся ли нам разобраться во всей сложности этих отношений? Хватит ли сил по-своему переставить эту слепо сопротивляющуюся жизнь? Быть может, тебе покажется странным, что в этом письме, которое должно открыть перед тобой все, о чем думается с такой страстной надеждой, я пишу о самых скучных, обыкновенных вещах. Но предствь себе грудю осколков битого стекла и камней — что может быть обыкчовенней? — из которых складывается прекрасная мозаичная картина. Это очень трудно, но, в конце концов, зависит только от нас.

Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить — вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя, то есть еще в Лопяхине — хотя, мне кажется, что любил. Я спрашивал себя: а если бы мы не знали друг друга с детских лет и здесь в Анзерском посаде встретились впервые? Что изменилось бы? Только одно! Я не терзался бы так долго, проверяя себя, боясь принять за любовь старую дружбу. Нет, это любовь, и любовь искренняя, которую я чувствую всей душой, бесконечно преданной тебе, дорогая Таня! Случалось, что я с испугом и изумлением останавливался перед этим чувством — мне казалось,

что ты никогда не полюбишь меня. Но были и минуты неожиданного счастья, когда я был почти уверен, что не нужно никакого письма, что еще одно слово—и ты сама скажешь, что веришь в мою любовь и разделяешь ее. Но время шло, и, наконец, мне стало страшно, что ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу этого последнего слова. Теперь жду его от тебя.

Всегда твой А.»

44

Сомнения

Я прочитала это письмо, и как будто за последней страницей снова шла первая — не останавливаясь ни на секунду, прочитала снова. Сразу множество чувств и среди них изумление, растерянность, неловкость, перемешанная с сожалением, налетели и, как вихрь, закружились в душе. Изумление — потому что Андрей написал это письмо. Но в каждой фразе был виден самый настоящий Андрей. Кто же еще написал бы, что он не уверен, был ли влюблен в меня, когда мы расставались в Лопакхине, в то время как безусловно был, и мы оба это прекрасно знали?

И я задумалась над другим чувством, которое с каждой минутой разрасталось все больше и больше. Мы были друзьями, и это была не мимолетная, а верная, старая дружба, когда, ничего не скрывая, можно рассказывать о самых затаенных мечтах. Почему же мне так трудно пойти к Андрею и сказать, что я смотрю на него, как на друга? В таких случаях всегда говорят: «Мы будем друзьями», но я скажу только: «Нет» — и Андрей, добрый, милый, стремящийся все на свете объяснить себе и другим, Андрей, глазами которого я с детства привыкла смотреть на самое главное в жизни, Андрей, о котором каждая девушка сказала бы, что это счастье, что такой человек любит меня, — сразу окажется где-то далеко, и я расстанусь с ним навсегда.

Я вскочила и стала ходить из угла в угол, крепко сжимая письмо Андрея в руке.

— Так может быть, ты любишь его?

И снова я стала перебирать свои чувства: и как мне было скучно после его отъезда и как обидно, что он перестал мне писать. А здесь, в Анзерском посаде? Мы расставались на два-три часа, и меня уже тянуло посмотреть, что он делает и не нужно ли ему помочь — и в эту минуту он как раз приходил ко мне с этой же мыслью!

Разумеется, если бы я любила кого-нибудь прежде — можно было бы сравнить свои чувства тогда и теперь. Но я еще никого не любила. Я только придумывала разные теории, вроде той, например, которую часто развивала Нине, что любить может только тот, кто обладает гением любви, потому что любовь — это такой же талант, как искусство или наука. Но что толку в подобной теории, если неизвестно — обладаю ли я этим талантом и превратился ли он в чувство любви по отношению к Андрею? Нельзя сказать, что я не могу больше жить без него, хотя, без сомнения, буду смертельно скучать, когда мы расстанемся, да еще на неопределенное время. Но ведь этого все-таки мало, чтобы идти — вот хоть сейчас, хотя было уже половина двенадцатого — и сказать ему: «Да».

И мне представилось, что я вхожу в избу, где ночевал со времени моего приезда Андрей — прежде он жил и работал в баньке, — и тоже останавливаюсь в дверях, но останавливаюсь с протянутыми руками. О, с какой нежностью он сжимает их, целует и прикладывает к го-

рящим щекам. И мы начинаем говорить — быстро, бессвязно, неизвестно о чем, но о том, что прежде касалось только его или меня, а теперь касается нас обоих. Мы говорим о том, как станем работать в этой маленькой баньке и как со временем она станет настоящей лабораторией с центрифугой и двумя микроскопами — разве великие открытия не приходят из глухих деревень? У меня нет никого, кроме отца, который бесконечно далек от меня, а теперь у меня будет брат, муж... Муж — какое странное слово! Мы запишемся здесь, в Посаде, а потом поедем в Москву — должна же я объяснить Мите и Агнии Петровне, что произошло после глашенькиного отъезда, иначе они всегда будут ненавидеть меня.

Дед Воронин, исполнявший четыре должности одновременно — истопника, препаратора, сторожа и кого-то еще, — уже стучал в сенях сапогами, утро вставало над Анзерским посадом, а я еще возилась со своими глупыми мыслями, которые то вспыхивали, то гасли в темноте, как мрачные, освещенные пламенем варницы тени...

Так ничего и не придумав, но твердо зная, что сейчас Андрей увидит меня и поймет, что я пришла, чтобы сказать ему: «Нет», я подошла к избе, в которой он ночевал, и негромко постучала в окошко. Никто не ответил, только в сердце, в ответ на этот осторожный стук, отозвалось такое же осторожное: «Нет». «Спит?» — подумалось мне. Но Андрей всегда вставал очень рано. Я постучала еще раз, потом поднялась на крыльцо, заглянула в сени. Машенька, бледная, расстроенная, стояла в сенях.

— Что случилось?

— Андрей Дмитрич заболел.

— Что с ним?

— Не знаю. Температура очень высокая. Сорок.

45

Страшная минута

Это было ничуть не похоже на дифтерию, которая случается у взрослых очень редко и протекает так легко, что врачи часто даже путают ее с катаральной ангиной. У Андрея не было кашля, горло почти не болело, он свободно глотал, и вообще не было ничего, кроме головной боли, сменявшейся время от времени пугавшим нас с Машенькой возбуждением. Но температура каждый вечер поднималась до сорока, а к утру резко падала, и это было плохо, потому что у Андрея, несмотря на его сильное, плотное сложение, оказалось маленькое — значительно меньше нормального — сердце. Он с трудом переносил жар, и я думала, что по этой причине. Впрочем, в течение первых трех дней не произошло ничего особенного, кроме страшного спора, почти скандала, когда мы с Машенькой напали на Андрея, чтобы он позволил впрыснуть ему сыворотку, а он не дал. Три года назад, на практике под Батумом, он впервые захворал малярией, повторявшейся с тех пор каждое лето. «Это малярия», — упрямо повторял он, а когда мы начинали доказывать, что он легко мог заразиться, хотя бы от того мальчика, которому делал интубацию в день моего приезда, — смеялся и советовал нам заняться «теорией вероятности» — «есть такая наука». В конце концов, я все-таки впрыснула ему сыворотку, но лишь на четвертый день, когда он потерял сознание.

Не раз мне приходилось слышать бред: мама, например, несла околесницу при самом незначительном повышении температуры. Но такого странного бреда, точнее, казавшегося мне странным до тех пор, пока я не поняла его смысла, я не слышала еще никогда. То Андрею

казалось, что он на вокзале, поезд опаздывает, а нужно спешить. То он ждал экзамена — сейчас вызовут, а он не готов, не успел прочесть последнюю страницу. То казалось ему, что сейчас войдут и скажут, что умер брат. У Андрея был еще брат, кроме Мити, умерший мальчиком двенадцати лет. Но все это было совсем не то, что он действительно ждал, когда возвращалось сознание.

— Опять наболтал? — приходя в себя, устало спрашивал он, и у меня сердце разрывалось, когда я встречалась с этими большими, по-детски круглыми глазами на похудевшем лице. «Ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу последнего слова» — вот что я читала в его тревожном, неуверенном взгляде. Но что я могла ответить, если именно теперь, в эти ночи, сидя у его постели, в душевной избе, при слабом свете лампы, я поняла, что хотя он бесконечно дорог мне, но все-таки это не любовь, не любовь! И не при чем здесь Митя, даже если он когда-то нравился мне! Митя, с которым я не сказала и десяти слов за всю свою жизнь!

И мне чудилось, как по зимней, освещенной луною дороге я еду в санях с ним — не знаю, с кем. С тем, кого я люблю. Тихо вокруг, лес притаился под снегом. Мы едем — куда? Не все ли равно! Лишь бы долго еще звенел колокольчик да снежный дымок вылетал из-под ног лошадей. Лишь бы долго еще мелькали по сторонам дороги деревья, мохнатые, полусонные, под голубым светом луны. Лишь бы долго-долго еще он был рядом со мною... Заиндевшая полость сползает с колен, он поправляет ее, кутает мои ноги: «Что, радость, счастье мое? Озябла? Что молчишь? Скажи что-нибудь. Ты любишь меня?». А я только смеюсь и говорю ему: «Нет» — а сама так люблю, что сильнее, кажется, любить невозможно.

— Вы устали, Таня? Я посижу у Андрея Дмитрича, а вы подите к себе.

И все исчезало. В темной избе я сидела у постели больного, смутно белели на стуле вата, бинты. Машенька — бледная, тонкая, бесшумная — осторожно будила меня.

...Не знаю, когда она спала, — мне казалось, что совсем не спала. В Посаде было много работы, приходилось следить за выздоравливающими, вести прием и так далее. Машенька помогала мне, но это была лишь сонная тень той энергичной, внимательной, нежной, мягко-настойчивой Машеньки, какой она была у Андрея. Уходя от него, она переставала существовать. Она двигалась, разговаривала, ела, пила, но это были движения и слова автомата.

...Накануне приезжал врач из В-ска, долго осматривал Андрея и сказал, что у него действительно малярия, соединившаяся с катаральной ангиной. Я не возразила, только пожалала плечами, и в ответ он накричал на нас с Машенькой за то, что мы до сих пор не отправили Андрея в больницу, точно В-ск был под боком и не нужно было везти тяжелого больного больше ста километров по неудобной дороге.

— Нужно телеграфировать родным, — были единственные разумные слова, которые я услышала от этого усатого, злого человека. И я уже совсем собралась телеграфировать Мите, когда Андрею вдруг стало гораздо лучше.

— Экой уса, — добродушно сказал он о в-ском докторе. — Вы его накормили?

И стал шутить над нашими опытами, по которым получалось, что при помощи ангины можно лечить дифтерию.

— Но чур, подопытного животного из меня не делать, — смеясь, сказал он. — Для этого мы слишком давно знакомы.

Он выпил чаю, съел сухарь и яйцо и потребовал, чтобы я рассказала о наших больных. Температура упала к вечеру, впервые до нормы. Словом, это был совсем хороший день, и я подумала, что поступила очень умно, отложив телеграмму до завтра.

В девятом часу Андрей задремал, и Машенька стала гнать меня, потому что прошлую ночь я так расстроилась из-за в-ского доктора, что не спала ни минуты. Помнится, вернувшись в баньку, я подумала: чего больше хочется — есть или спать? И решила, что спать.

Должно быть, я очень устала за эти тревожные дни, потому что прежде никогда не засыпала так скоро — точно падала в мягкую, темную пропасть. Так было и в этот вечер. Но кто-то стал кричать надо мной, едва я уснула — вот что огорчило меня! Кто-то ворвался в баньку, бросился ко мне и сказал взволнованным голосом: «Проснитесь! Он умирает!».

Я открыла глаза. Машенька стояла подле меня, босая, в платке, накинутом на голые плечи.

— Умирает! Ах, умирает!

— Что случилось?

— Умирает, — повторяла она. — Ах, плохо совсем! Идите, идите!

Не знаю, что случилось со мной в эту минуту. Почему-то я так сильно толкнула Машеньку, что она чуть не упала, потом побежала на улицу и, вернувшись с порога, стала искать в чемодане новую иглу для шприца. Потом вспомнила, что отнесла ее Андрею еще третьего дня, и бросилась к двери. Халатик, в котором я спала, зацепился за торчавший в скважине ключ, я рванула халатик...

...Андрей лежал без подушки, откинув голову, вытянувшись, с полузакрытыми глазами. Уже наступило утро — мне лишь почудилось, что я почти не спала, — и как страшно выступало его побелевшее лицо в этом резком утреннем свете! В избе был беспорядок, одеяла лежали на полу, очевидно хозяйка сбросилась застелить и не успела... Теперь она стояла в стороне. Ребенок заплакал. Она торопливо взяла его из кровати.

— Андрей, что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза! Да очнись же! Ты слышишь меня?

Как будто в моей воле было остановить то страшное, что приближалось к нему и уже таилось в этих брошенных на пол одеялах, в том, что хозяйка, сурово потупившись, качала ребенка, — так я гладила и целовала Андрея.

— Дорогой мой, радость моя. — Мне было все равно что говорить, лишь бы это были самые ласковые слова на свете. — Вздохни поглубже! Ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже. Машенька, глупая, напугала меня.

Нужно было немедленно впрыснуть камфару, и я закричала на Машеньку, которая вошла и, схватившись за голову, опустилась на стул, чтобы она приготовила шприц. Но у нее так дрожали руки, что я вырвала шприц и стала готовить сама, очень медленно, потому что у меня тоже дрожали руки. Но все же, хотя и неловко, я впрыснула ему камфару.

— Отходит, — перекрестившись, прошептала хозяйка.

Не помня себя, я накинулась на нее и на Машеньку и выгнала их, а сама распахнула окно и встала на колени у постели Андрея. Что еще сказать ему? Что сделать, чтобы он очнулся, открыл глаза, чтоб не белела так страшно мертвая, точно очерченная мелом челюсть?

— Ты слышишь меня? Мне было трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любила. Я не спала до утра, ко-

гда прочитала его, все думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя! Я ничего не стану скрывать от тебя, а ты от меня — и все будет прекрасно!

Андрей вздохнул. Веки дрогнули, поднялись. Он услышал меня. Мне показалось, что он улыбается, — и я залилась слезами. Они за- капали прямо на лицо Андрея, я испугалась, вытерла, но против моей воли они продолжали капать все время пока я перекладывала его, ставила градусник, слушала сердце, которое с каждым ударом стуча- ло все громче, точно вернувшись откуда-то издалека.

46

Наедине с собой

Весь следующий день я провела, не отходя от Андрея; у него была такая слабость, что приходилось кормить его с ложечки, он не мог поднять руку. Болтливость вдруг овладела им, он говорил, говорил чуть слышным голосом и тут же засыпал на полуслове. Я дала ему воды, холодной, чистой, прямо из колодца, он выпил несколько ложечек и сказал со счастливой улыбкой: «Как вкусно!». Решительно все приво- дило его в умиленное состояние — на маленькую дочку хозяйки он смотрел влажными от радости глазами. Это было выздоровление. Со- гласно учебнику «Инфекционных болезней» Розенберга, над которым я сидела еще совсем недавно, после опасного кризиса часто наступает «сверхчувствительное состояние духа».

Ни эти дни, ни потом, когда Андрей стал садиться в постели, у ме- ня не было ясного представления о том, что же, собственно говоря, произошло между нами? Ничего не произошло! Просто я растерялась, увидев его лицо с проступившей челюстью — была богу, рассмотрелась на эти челюсти в анатомическом театре! — и наговорила со страху мно- жество ласковых слов. Но что-то произошло — почему бы иначе те- перь, едва я входила к нему, мы оба начинали чувствовать какую-то перемену, заставлявшую нас как бы немного стесняться друг друга? Точно между нами была протянута невидимая струна и время от вре- мени Андрей невольно касался ее — так он разговаривал со мной о самых обыкновенных вещах, а сам с внимательным, счастливым лицом прислушивался к замирающему звону.

Но странно! Можно было подумать, что мой ответ на письмо Андрея и надо мною с каждым днем приобретал все большую власть. Вольно или невольно, но я обещала Андрею, что стану его женой, — и это обе- щание приходило ко мне — именно приходило, как человек, — каждую ночь, едва я оставалась одна. И два «я» — одно разумное, хладно- кровное, а другое порывистое, взволнованное — начинали вести меж- ду собой разговор.

— Ты знаешь Андрея много лет, — говорило первое, разумное «я». — Благороднее, добрее, умнее его ты еще никого не встречала. Нечего ду- мать, что если бы ты любила его — все было бы совершенно иначе.

— Но ведь придет день, — я робко возражала себе, — когда мне придется сказать Андрею, что это лишь полуправда?

— Проходят годы — и полуправда становится правдой. Вы будете идти вперед, поддерживая друг друга, учиться и работать.

— А Львовы? — вдруг подумалось мне. — Кто знает, быть может Митя станет ненавидеть меня?

И почему-то мне вспомнилось, как я провожала Митю к Гла- шеньке, когда он приехал в Лопахино после гражданской войны, и как,

узнав его, она крикнула низким, зазвеневшим голосом: «Митя!», и как потом я бежала по спящим пустынным улицам, клянясь, что никогда, никого не буду любить. Мне вспомнилась глупая история, когда я вдруг ни с того ни с сего провалила Глашеньку на Педсовете и долго мучилась, потому что оказалось, что я без всякой причины ненавижу ее. Без всякой причины? «Когда, переправившись через Анзерку, я без сил лежала на мокром песке и близость гибели протгнала все, чем я жила до сих пор, — думалось мне, — почему с такой горечью я стала думать о Мите».

— Значит, что же? — говорило первое «я». — Митя виноват в том, что ты не можешь ответить Андрею?

И с лихорадочным чувством я начинала дожидаться рассвета, чтобы бежать к Андрею и рассказать ему правду... Правду? Но правда ли это?

И вдруг этот разговор начинал представляться мне каким-то пустым миражем. Что за пустяки придумала я? Что за беда, если некогда — в ранней юности — мне нравился Митя? Да мало ли кто еще нравился мне? А этот молодой врач из Военно-медицинской академии, с которым мы ходили на гастроли МХАТ'а? Нет, нет! Все будет прекрасно! И наконец — разве решилась бы я отнять от Андрея свое слово, которое, мне казалось, незримо участвовало даже в том, что день ото дня ему становилось лучше?..

Только одно немного огорчало меня: с тех пор, как я решила, что все к лучшему, — будущее стало представляться мне каким-то туманным, хотя, напротив, должно было стать таким же ясным и чистым, каков был сам Андрей с его ясностью и чистотою. Я не могла избавиться от неприятного чувства, что жизнь вдруг свернула с намеченного пути и побрела в ту сторону, где все было расплывчато и казалось неопределенно-непрочным...

Пора было возвращаться в Ленинград, я бы давно уехала, если бы не болезнь Андрея. В середине августа должен был состояться в Ленинграде всесоюзный съезд бактериологов и санитарных врачей, и мне хотелось побывать на нем, тем более, что Николай Васильевич должен был выступить с докладом...

На письмо Андрея Митя ответил, что будет очень рад услышать от меня то, что его поразит. «Впрочем, однажды, — писал он, — я уже слышал — правда, не от нее, а о ней — то, что меня поразило». Он собирался на съезд и спрашивал — буду ли я в середине августа в Ленинграде?

Но были и другие, не менее важные поводы, заставлявшие меня то ропиться. Николай Васильевич должен был договориться в деканате, чтобы моя командировка от Отдела вакцин считалась практикой между четвертым и пятым курсами. С обычной беспечностью, он не сделал этого, и теперь, как мне писала Оля Тропинина, мой перевод на пятый курс встретил неожиданные затруднения. Меньше всего мне хотелось ехать на практику, тем более, что давно пора было навестить отца, который писал, что Авдотья Никоновна тяжело больна и все надеется, что ее вылечит Таня. Впрочем, теперь необходимо было съездить в Лопахино и по другой причине: я должна была привезти и отдать Мите чемодан с бумагами старого доктора, хранившийся у Марьи Петровны.

...Машина из В-ска должна была прийти рано утром, и, уложившись, я накануне обошла всех своих пациентов — больных, выздоравливающих и здоровых. Андрей сидел на постели в белой рубашке с открытым воротом, из которого торчала трогательная, похудевшая шея. Ежик его,

всегда аккуратно подстриженный, торчал во все стороны и смешно падал на лоб.

— Знаешь, что пришло мне в голову, — сказал он, — я приеду на съезд!

— Каким образом?

— Очень просто. Я должен был ехать в отпуск зимой, а теперь попрошу Молчанова (это была фамилия заведующего Губздравом) отпустить меня в августе. Ведь я все-таки болел тяжело.

— Согласятся?

— Да... Он знает меня. Таня, — помолчав, продолжал Андрей, — мы с тобой еще не говорили... Как все будет. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Я ответила спокойно.

— Да, понимаю.

— Но вот что я хотел сказать тебе. Меня мучает одна загадка, которую я, может быть, уже разгадал. Ведь ты... — он волновался. — Ведь ты ответила на мое письмо, правда?

— Ну, конечно.

— Понимаешь, мне пришло в голову, что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи... Скажи, — и он взглянул мне прямо в лицо, — ты подумала, что я умираю?

Это было почти невозможно — солгать перед этими широко открытыми чистыми глазами. Но сказать правду было еще невозможней.

Я ответила:

— Но ведь ты тоже до сих пор никогда не писал мне подобных писем?

Андрей опустил голову.

— Мне страшно не за себя, — печально сказал он, — потому что если ты хоть немного любишь меня — все равно это счастье. Но ты могла обмануться и одно чувство невольно принять за другое. Это смешно, что я так говорю, да? Но ты понимаешь... ведь я знаю, что в ту минуту ты от всей души пожалела меня.

Машенька зашла, извинилась, убежала, и мы заговорили о чем-то другом. Не знаю, заметил ли Андрей, что у нее заплаканные глаза. Должно быть, заметил, потому что задумался, не выпуская из рук мои руки.

— Нет, — ответил он, хотя я ничего не сказала. Но в уме я спросила — мог бы он полюбить Машеньку? И он понял, как в детстве, когда мы угадывали мысли друг друга.

Давно пора было спать, а я все сидела, потому что вдруг Андрей рассказал, что еще на пятом курсе он напечатал работу, после которой ему предложили остаться при институте.

— Знаешь, о чем я думаю? — сказал он, когда я, наконец, стала прощаться. — Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, неуверенна, говоришь и не слышишь себя... Я ошибаюсь?

— Конечно.

— Но в Ленинграде, обещаю, что ты станешь думать об этой минуте, когда тебе показалось... что я умираю.

Что я могла ответить **ему**? В избе никого не было, мы обнялись, и я крепко поцеловала **Андрея**. Никого мне не нужно было, кроме него, такого милого, доброго, красивого — я все время забывала, что он очень красивый. Конечно, я люблю его — как же еще называть ту теплоту в моем сердце, которая принадлежала только Андрею и которую я начинала чувствовать, едва вспоминала о нем?

*Часть четвертая***ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ**

47

Возвращение

Не знаю почему, вернувшись в Ленинград, я никому не сказала, что выхожу замуж. Может быть потому, что это выглядело немного смешно — поехала на эпидемию и через месяц вернулась невестой. Кстати, в те далекие годы было отчего-то не принято пользоваться этим словом. Но была и другая причина: еще в поезде все происшедшее между мной и Андреем в Анзерском посаде отодвинулось от меня едва ли не с большей быстротой, чем уносил меня поезд. Это было странно и беспокоило меня, но что я могла поделать со своей глупой душой? «Вот это — сейчас, — думала я, перебирая свои дела, которых накопилось множество за то время, что я не была в Ленинграде, — а это — потом». Сейчас мне нужно явиться с отчетом на кафедру и с оправданиями к декану. На открытом собрании комсомольской организации института мне предстояло в самое ближайшее время выступить с докладом о поездке в Анзерский посад; меня немного трясло, когда я принималась за тезисы, тем более что, судя по расспросам, весь наш курс, в полном составе, намеревался прийти на это собрание. Среди этих дел и забот мне смутно мерещилась встреча с Митей, если он приедет на съезд, — и нельзя сказать, что с добрым чувством думала я об этой встрече!

...Теперь, вспоминая институтские годы, я отчетливо вижу, какое значение имела для меня поездка в Анзерский посад. Это была не только встреча с Андреем, как бы подготовленная всей нашей юностью, — было бы несправедливо, если бы после школьных лет мы никогда не встретились больше. Это была встреча с самой жизнью, разумеется, включавшей в себя и Андрея. Если бы я решилась произвольно разделить свои тогдашние интересы на три группы: личные дела, наука (или, точнее, зарождавшаяся любовь к науке) и политический кругозор — можно сказать, что все три двинулись куда-то вперед после моей поездки и стали другими, чем прежде. Мне смутно помнится, что, вернувшись в Ленинград, я не сразу принялась за свои запущенные дела, а сперва как бы приостановилась, огляделась... Это были минуты, когда я задумалась именно над тем, что можно назвать политическим кругозором.

Да, Андрей был прав — этот кругозор остался детским, — и ничего не изменилось от того, что я усердно работала в предметной комиссии и не отказывалась от общественных нагрузок. Больше того, я сделала шаг назад — если вспомнить, что в Лопяхине я, например, серьезно занималась работой по привлечению учащихся в комсомол и была представительницей нашей школы в уездном отделе народного образования. Что же произошло? Ничего, кроме того, что в школе я думала — быть может, по-детски — над вопросами своего мировоззрения, а в институте перестала думать. В школе я заботилась, чтобы это мировоззрение развивалось, много читала и делала все, что в моих силах, чтобы практическая жизнь была как бы воплощением моих политических взглядов. А в институте я отнеслась к этой, очень важной, можно сказать, определяющей стороне жизни, как к чему-то готовому или даже приготовленному для меня и не требующему ни трудов, ни размышлений.

Не знаю, что заставило меня задуматься над этим сопоставлением — памятный ли разговор с Андреем у «острога» или вся картина его жизни в Анзерском посаде? Так или иначе, я вдруг поняла всю машинальность своей комсомольской работы. И не только поняла, но сквозь эту машинальность различила подлинный смысл того факта, что я, Таня Власенкова, студентка четвертого курса Ленинградского медицинского института — являюсь членом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

В полной мере эта простая мысль сказалась значительно позже, когда после окончания института я работала участковым врачом в одном из южных зерносовхозов. Но именно она — и только она — владела мною, когда я готовилась к докладу о поездке в Анзерский посад.

Это было открытое собрание комсомольской организации, но пришел почти весь курс — только что съехались после каникул, — и я очень беспокоилась, может быть потому, что инстинктивно чувствовала, что непременно должна коснуться тех жизненных вопросов, которые не могли не волновать студентов, кончающих медицинский институт. Накануне я заходила в комитет к Леше Дмитриеву, но он — не знаю почему — снова отложил разговор, который должен был состояться еще до моей поездки. Это тоже волновало меня. Дмитриев вел собрание, и я поймала себя на том, что во время доклада несколько раз с волнением обернулась к нему...

У меня был план, и я говорила по пунктам, кажется связано — а между тем товарищи потом сказали, что получилось какое-то несоответствие между «научной» и «бытовой» сторонами доклада. Я сама почувствовала это, когда вдруг поняла, что моих товарищей, студентов пятого курса, в тысячу раз больше интересуют обстоятельства жизни и работы молодого врача на такой далекой окраине, как Анзерский посад, чем меры борьбы с дифтерией, о которых можно было прочесть в любом учебнике инфекционных болезней.

Это стало окончательно ясно, когда, отвечая на какой-то вопрос, я стала говорить об Андрее. Готовясь к докладу, я решила совсем не говорить о нем — или в крайнем случае назвать его «местный врач». Но оказалось, что это невозможно, и пришлось даже кратко рассказать биографию Андрея. Я сделала это с невольным чувством, что все сейчас догадаются, почему я покраснела, смутилась, — и заговорила о «местном враче» в каком-то неестественно свободном тоне. Но ничего не случилось — я продолжала и вскоре совершенно овладела собой. Я рассказала о том, что Андрею приходится заниматься далеко не одной медициной, но, например, и делами рыболовецкой артели. Я рассказала о Митрофане Бережном, сидящем над книгами времен Алексея Михайловича, глубоко убежденном в полной незыблемости своего страшного мира. Я рассказала о том, как энергично хлопотал Андрей о стационаре, и — странное дело! — только теперь, когда я публично заговорила об Андрее, впервые во всей полноте представилась мне его действительно великолепная работа.

Я рассказывала долго, подробно, ничего не преувеличивая, тем более, что и без всяких преувеличений у меня получилась не столько история постановки медицинского дела в Анзерском посаде, сколько история борьбы за укрепление советской власти в деревне — борьбы, потребовавшей огромной энергии, решительности, воли и еще одного качества, которое я привела, как глубоко характерное для Андрея: стремления к тому, чтобы его дело — пусть маленькое — никто в Советском Союзе не мог сделать лучше, чем он.

Это была лучшая часть моего выступления, я сама чувствовала, что говорю с вдохновением. Но никому из моих товарищей, разумеется, не могло прийти в голову, что в этом вдохновении, в этом восторге, с которым я говорила об Андрее, невольно участвовала какая-то доля моей вины перед ним. «Обещай, что ты станешь думать об этой минуте, когда тебе показалось, что я умираю»...

Но вот я перешла к итогам, и давешняя мысль о машинальности моей комсомольской работы, мысль, которую мне хотелось скрыть, потому что я была уверена, что она покажется наивной моим товарищам по ячейке и курсу, стала сама собой пробиваться сквозь все, о чем я говорила. Дважды я останавливалась, подойдя к ней очень близко, и в конце концов все-таки наткнулась на нее с разбегу. Но именно в то мгновение, когда я почувствовала, что эта борьба с собственной мыслью окончилась моим поражением, — движение внимания пробежало по аудитории, и я поняла, что моя «личная» мысль для многих товарищей имеет такое же, если не большее значение, как для меня.

...Может быть, не следовало упоминать о Лопяхине, но я разошлась и рассказала все: и как девочкой я мечтала «совершить великое во имя и для счастья народа», и как моя поездка помогла сквозь туман машинальности увидеть тот простой факт, что мы, комсомольцы, являемся надеждой нового, революционного мира.

Волнение сдавило мне горло, и я замолчала на словах: «И это в то время, когда...» Мне хотелось в общих чертах обрисовать положение страны. Но, очевидно, все прекрасно поняли, что я хотела сказать, потому что раздались аплодисменты. Они возобновились с новой силой, когда я некстати произнесла заранее подготовленную заключительную фразу:

— Таковы краткие итоги моей поездки на дифтерийную эпидемию в Анзерский посад.

...Вечером я зашла в ячейку, и Леша Дмитриев сказал, что всем очень понравилось мое выступление. Я спросила:

— А наш разговор?

И он ответил улыбувшись:

— Разговора не будет...

...Молодой китаец, спускавшийся с лестницы на кафедре микробиологии, — это был приемный сын Николая Васильевича, — добродушно улыбаясь, сказал, что отец занят, у него московские гости. Я пошла в деканат, вернулась — гости еще не ушли. Я получила стипендию, забежала в профком, узнала новости, и среди них одну неприятную — что у Лены Быстровой очень болен отец, — гости сидели и, судя по голосам, доносившимся из-за двери, не собирались скоро уйти. Что делать? В маленькой комнате перед кабинетом Николая Васильевича стояли его коллекции, и я в сотый раз стала рассматривать каких-то странных кукол с опахалами и костяных обезьян. Вдруг дверь распахнулась, и З, оживленный, с растрепанной бородкой, в новом костюме, в белой рубашке, открывшейся на полной груди, вошел и, обернувшись, крикнул с порога:

— И будет прав, потому что это — типичнейший нэпман от науки. А, путешественница, — сказал он, увидев меня. — Ну, как дела? Давно вернулась?

Он называл меня то на вы, то на ты.

— Вчера, Николай Васильевич. Я вам писала.

— Получил и ничего не понял. Вот извольте, — сказал он, взяв меня за руку и ведя в кабинет. — Сия девица утверждает, что ею от-

крыт стрептококк, который подавляет палочку Леффлера. Каково, а? Вода на вашу мельницу, Дмитрий Дмитрич!

В кабинете было накурено, дым медленно уходил в открытое окно, и везде стояли цветы — Николай Васильевич и сам покупал и ему постоянно дарили цветы. Круглый стол, на котором обычно лежали в беспорядке журналы и книги, был накрыт, и за этим столом, уставленным закусками и вином, сидел, улыбаясь, Митя. Направо и налево от него были какие-то кутившие, смеявшиеся и уставившиеся на меня с любопытством люди. Но почему-то с полной отчетливостью я увидела только Митю...

— Рекомендую, — говорил между тем Николай Васильевич, — способная девушка, возжелавшая, несмотря на мои уговоры, вкусить от горького плода науки. Только что вернулась с дифтерийной эпидемии в Анзерском посаде. Ее зовут Таня, — объяснил он, точно я была маленькая и стеснялась назвать себя. — Мы слушаем вас. Что вы думали сделать и что сделали. Ну-с?

Я смутилась и стояла, не поднимая глаз, но когда Николай Васильевич произнес мое имя, быстро взглянула на Митю. Он поставил бокал на стол и поспешно встал, когда мы вошли. (Между прочим, другие гости не встали). Теперь он смотрел на меня, вежливо улыбаясь. Не узнал! «Ага, не узнал, — с каким-то торжеством подумалось мне. — Я стала другая!» Но это продолжалось не больше минуты. Я заговорила, и, как бы не веря глазам, он стал всматриваться... Потом отвел взгляд, и на лице появился холодный оттенок.

— Почти ничего не сделала, Николай Васильевич. Отвезла сыворотку и помогла местному врачу впрыснуть ее больным и здоровым. Вот и всё.

— Молодец! — с удовольствием сказал Николай Васильевич. — Ай, девица! Хороша, а?

— Что касается того, о чем я думала, — продолжала я, — то вы советовали мне...

И повторив слово в слово то, что советовал мне Николай Васильевич, я рассказала, каким образом его предположение привело меня к обратному результату. Сперва голос немного дрожал, и делалось то холодно, то жарко, но потом я совершенно успокоилась и кончила с таким чувством, что лучше рассказать было почти невозможно. Впрочем, однажды меня уже обмануло подобное чувство!

Меня слушали внимательно, особенно Митя. Зато Николай Васильевич совершенно не слушал — только посматривал на гостей и с довольным видом похлопывал себя по колену.

— Ну что, какова? — спросил он, когда я замолчала. — Вот тебе и дивчина! Выходит, стало быть, что палочка Леффлера...

И в две минуты он доказал, что мне не удастся подтвердить результаты, если опыт будет поставлен более точно. Не глядя на меня, Митя стал возражать Николаю Васильевичу, и загорелся спор, да такой, как будто оба только и ждали удобного случая, чтобы с ожесточением наброситься друг на друга!

Сначала я кое-как следила за спором, потом запуталась и только ждала с ужасом, что вот сейчас Николай Васильевич или Митя обратятся ко мне — и окажется, что я просто невежда. Обо мне спорщики забыли так надолго, что, стояв немного посреди комнаты, я тихонько отошла и присела на ручку кресла. Они спорили, я смотрела на Митю — и впервые мне пришлось в голову, что я почти не знаю его. В самом деле, если бы до сих пор мне никогда не случалось встречаться с ним — что я сказала бы об этом человеке? У него было энергичное лицо с немно-

го выдающимся подбородком, суховатый рот, небольшие глаза. Он мало изменился после Лопихина, хотя пополнел и стал казаться еще выше. Попрежнему он держался по-военному прямо — теперь, когда на нем было штатское, эта манера стала еще заметней. В нем было что-то жесткое, отталкивающее и одновременно пленительное, притягивающее: эти черты ясно отражались на его лице, так что оно вполне оправдывало известную поговорку, что лицо — зеркало души. Но самым главным в Мите была все-таки энергия, которая в ту минуту, когда я следила за ним, выражалась, по-моему, во-первых, в том, чтобы победить З. в споре, а во-вторых, чтобы не поссориться с ним. Несколько раз он был готов вспылить и удерживался с большим трудом. В конце концов, Митя был все-таки загадкой для меня, особенно если вспомнить, что сказал о нем Павел Петрович. А уж тому, что Андрей приходился ему родным братом, было почти невозможно поверить!..

В общем, только одно я поняла в этом затянувшемся споре: Митя намеревался выступить на съезде против какого-то профессора Крамова, а Николай Васильевич заклинал Митю не выступать, потому что «это не человек, а елейный удав», который хоть через десять лет, но подберется и непременно задушит.

Крамов... Я не сразу вспомнила, что этой фамилией был подписан уничтожающий отзыв, который Павел Петрович получил за несколько дней до смерти. Мне долго казалось, что — Крылов или Крымов, но Андрей, который хорошо знал круг микробиологов, сказал, что, без сомнения — Крамов...

Наконец Николай Васильевич вспомнил обо мне.

— Тая, садитесь к столу, — ласково сказал он. — Наливки рюмочку! Наша, чеботарская, земляки прислали!

Я поблагодарила и отказалась.

— Да вы не чинитесь! Вы думаете, профессора, то да се. А мы не профессора, мы тоже студенты, только старые. Учимся, спорим, шумим — а где лучик света блеснет, туда и бросаемся, ей же ей! Як барани!

Все засмеялись, и я тоже, но все-таки не села к столу, тем более что московские гости собрались уходить. Николай Васильевич крепко пожал мне руку и велел завтра принести отчет и работу на кафедру...

«Митя притворился, что не узнал меня! Даже об Андрее не спросил, хорош! Положим, он не знает, что Андрей болел. Все равно, мог бы заинтересоваться братом! Ладно же! Вот что я сделаю: бумаги Павла Петровича отправлю из Лопихина в Москву ценной посылкой, а личные письма оставлю себе! Павел Петрович велел сжечь эти письма, так что я не обязана отдавать их кому бы то ни было, и тем более Мите! Мите, который думает, что я нанялась ухаживать за старым доктором, а потом отправила его в Инвалидный дом! Мите, который уверен, что я за деньги продала свою самую дорогую привязанность в жизни!» Удивляясь тому, что хотя я рассердилась на Митю, но в глубине души довольна, что он не понравился мне, я нашла казначея нашей коммуны, отдала ему стипендию и побежала домой.

...Должно быть, мы вышли из института одновременно, только я из ворот, а Митя из главного здания, потому что он вдруг оказался в двух шагах позади меня.

— Одну минуту!

Я подождала, и мы пошли рядом к площади Льва Толстого.

— Мне было неудобно говорить с вами у Николая Васильевича, — сказал он вежливо, но, как мне показалось, с оттенком презрения. — Вам

передавали? Весной я заходил к вам в общежитие, потом был у вашей подружки.

— Да, передавали.

Я так и кипела.

— Признаться, вас трудно узнать. В Лопахине вы были маленькой девочкой, а теперь... Необыкновенно переменялись и похорошели.

Нужно было ответить с иронией: «Благодарю вас». Но ирония не получилась бы, потому что я была очень сердита.

— Вы, кажется, намеревались о чем-то говорить со мной? Полагаю, моя наружность не относится к теме этого разговора?

Он искоса взглянул на меня — и мгновенно стал похож на того хмурого Митю с недовольно поднятыми бровями, которого я иногда видела во сне.

— Да, я хотел говорить с вами. Вы находились при Павле Петровиче в последние дни его жизни. Скажите, когда он скончался, у кого остались его рукописи? У вас?

— Да.

— А вы не думаете, — и Митя слово в слово сказал ту самую фразу, которой так боялся Андрей, — что давно пора вернуть их родным?

Я ответила:

— Вы правы. И я сделала бы это, если бы не боялась, что родные Павла Петровича отнесутся к его рукописям с таким же возмутительным пренебрежением, как и к нему самому.

У меня нечаянно получилось так складно. Впрочем, от злости у меня всегда — и теперь — появляется дар говорить совершенно свободно. Митя изумился.

— Что такое?

— Сейчас объясню, — ответила я хладнокровно. — Но прежде позвольте узнать, почему вы не спрашиваете о здоровье вашего брата? Или вас не интересует, что неделю назад он был присмерти и что, уезжая, я оставила его еще в постели?

Это была минута, когда я убедилась в том, что Митя очень любит Андрея. Он побледнел, остановился и вдруг так сильно схватил меня за руки, что я чуть не закричала от боли.

— Как, присмерти?

— Теперь ему лучше, гораздо лучше!

— Что с ним было? Дифтерия?

— Если дифтерия, то какая-то не типичная, — ответила я, чувствуя, что мне приходится отвечать за болезнь Андрея, и сердясь на себя за это глупое чувство. — Он сам предполагал малярию.

— Но как он сейчас?

— Поправляется! Встанет через неделю.

— Почему же он не написал мне о своей болезни? Я получил от него письмо перед самым отъездом.

— Это какое письмо? — спросила я сердито. — В котором он писал: Ты услышишь то, что тебя поразит?»

Мы давно прошли мимо моего общежития и с площади повернули на улицу Красных Зорь — так Кировский проспект называли в двадцатых годах.

Последние слова я подчеркнула, и Митя, помолчав, взглянул на меня сверху вниз, в буквальном и переносном смысле.

— Слушаю вас.

Мы как-то не ко времени поговорили о болезни Андрея, и теперь было трудно найти прежний сердитый, уверенный тон, помогавший мне

держаться свободно. Но это «слушаю вас» было сказано таким равнодушным голосом, что я опять закипела.

— Начнем с того, что мне бы хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовала Глафира Сергеевна.

— Вот как?

Митя вздрогнул — или мне показалось? Впрочем, сразу же взял себя в руки.

— Ну что же, это нетрудно устроить... — сказал он. — Глафира Сергеевна со мной в Ленинграде и даже (он взглянул на часы) сейчас ждет меня в «Европейской». Отложим наш разговор на десять минут, и вы можете при ней изложить то, чем намерены меня поразить.

48

Глафира Сергеевна

До мечети мы шли пешком, и Митя, пожалуй, мог бы спросить у меня не только о том, давно ли по улице Красных Зорь стал ходить автобус. По крайней мере, я на его месте отнеслась бы с интересом к девушке, которую он не видел больше четырех лет и которая, по его словам, так необыкновенно изменилась и похорошела. Которая только что вернулась из Архангельской области, где работала полтора месяца с его родным братом, у которой хранились рукописи старого доктора и которая могла рассказать о них (и о нем) больше всех на свете. Но что все это значило, думалось мне, по сравнению с владевшим Митей чувством презрения. Еще бы! Он видел перед собой лицемерку, упростившую, чтобы старый, слабый, больной человек был оставлен на ее попечение, а потом, после его смерти, воспользовавшуюся его комнатой и вещами. Хорошо же!..

У Глафиры Сергеевны сидел гость — пожилой человек, с круглой лысой головой, которую он держал немножко набок, с бледными, висячими щеками и пухлыми, улыбающимися губами. Когда Митя, пропускающая меня вперед, открыл дверь, этот человек встал, а Глафира Сергеевна, сидевшая на диване в нарядном японском халате, спокойно повернула голову. Без сомнения, она узнала меня с первого взгляда.

— Здравствуйте, Валентин Сергеевич, — сказал Митя. — Вот, Глашенька, узнаешь? Старая знакомая... Татьяна...

— Петровна.

— Садитесь, Татьяна Петровна! Мы помешали?

Гость улыбнулся.

— Напротив. Дмитрий Дмитрич, рассудите нас. Глафира Сергеевна утверждает, что в ленинградских театрах можно умереть от скуки. А я вчера был в Большом драматическом на «Заговоре императрицы» — прекрасный спектакль, уверяю вас. Вместо доказательства, Глафира Сергеевна, позвольте завтра прислать билеты?

— Я не говорила, что можно умереть, — возразила Глашенька, — но в сравнении с Москвой здесь как-то надуту играют.

По-моему, так нельзя было сказать: «надуту играют».

— Нет, вы положительно неисправимы! Москва и Москва! А белые ночи? А Нева? Эрмитаж?

И он продекламировал:

В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами,
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова.

— Помните?

— Разумеется, — сказала Глафира Сергеевна так торопливо, что я невольно подумала: «Ничего ты не помнишь».

И снова они стали сравнивать московские и ленинградские театры. Гость похвалил Акдраму — бывший Александринский, а Глафира Сергеевна сообщила, что она была на спектакле «В царстве скуки» и зрители утверждали, что игра актеров вполне оправдала название. Время от времени она почему-то брала в руки лежавшую перед ней книгу — очевидно, эта книга имела отношение к Александринскому театру.

Я волновалась, но, может быть, именно поэтому заметила многое, на что при других обстоятельствах не обратила бы никакого внимания. Во-первых, я заметила, что Глафира Сергеевна изменилась: прежде была тонкая, гибкая, а теперь пополнела, и на шее, под самым подбородком — я все рассмотрела! — появилась большая морщина. Несмотря на свой гордый вид, она держалась напряженно, точно в глубине души не была уверена, что имеет право сидеть в этом прекрасном номере гостиницы и разговаривать с такими умными, образованными людьми. Во-вторых, я заметила, что Мите не нравится этот слащавый гость и еще меньше нравится, как ведет себя с ним Глафира Сергеевна. В самом деле: она уронила платочек, гость подхватил, подал... В ответ Глафира Сергеевна протянула руку — и он элегантно поцеловал руку. В «Любезности за любезность», которую запомнила мне эта сцена, я что-то не запомнила, чтобы в благодарность за поднятый платочек дамы подавали руку!

В-третьих, я заметила или, вернее сказать, поняла, что невольно попала в круг каких-то сложных, запутанных отношений. Это чувствовалось и в том, что гость говорил слишком неторопливо-подробно, и в том, что Митя почти откровенно ждал, когда он уйдет, и в том, что Глафира Сергеевна делала вид, что не замечает митинога недовольства, хотя оно было буквально написано на его сердитом лице. Вообще, все делали вид, но особенно Глафира Сергеевна, которой нужно было еще показать, что она с глубоким равнодушием относится к тому, что некая Татьяна Петровна сидит в углу, терпеливо ожидая окончания разговора. «Зачем явилась ко мне эта мерзкая девчонка в выцветшей жакетке, в заштопанных чулках? О чем собирается говорить со мной? Неужели об этом?» Я была готова почти прочитать ее мысли.

Между прочим, чулки были заштопаны выше колен, но я все время чувствовала эти местечки, точно были заштопаны не чулки, а ноги.

Гость все говорил — вежливо, длинно и льстиво, так преувеличенно льстиво, что я даже подумала, что он смеется над Митей. Повидимому, это был один из ученых, приехавших на съезд микробиологов, но, как и Львовы, за две недели до съезда. Эти две недели — так я поняла из прощальных, незначительных фраз — решено было посвятить осмотру Ленинграда, в котором Глафира Сергеевна еще никогда не была.

— Зачем он приходил? — сердито спросил Митя, когда за гостем, наконец, захлопнулась дверь. — Ведь ты знаешь, что я не выношу этого святошу. Вот уж, действительно, «елейный удав»! Кстати, З. только что сказал, что он собирается выступить против меня на съезде.

Глафира Сергеевна пожала плечами.

— А ты можешь представить, что я узнала об этом прежде тебя? И пригласила его именно для того, чтобы...

— Что такое?

Я бы, кажется, спряталась под кровать, если бы Митя вдруг двинулся на меня с таким сердитым лицом

— Я тысячу раз просил тебя не вмешиваться в мои дела, — закричал он. У него губы не слушались. — Неужели ты не понимаешь, что это ставит меня в ложное положение...

— Ты, кажется, забыл, что мы не одни, — значительно произнесла Глафира Сергеевна.

— Простите! — Митя резко повернулся ко мне.

— Может быть, мне уйти, Дмитрий Дмитрич?

— Нет, нет! Говорите, пожалуйста. Глаша, Татьяна Петровна только что вернулась из Анзерского посада. Андрей тяжело болел, но сейчас ему лучше. Они вместе работали на дифтерии. Мы вас слушаем, Татьяна Петровна.

— Видите ли, в чем дело, — начала я, рассчитывая (как это постоянно случилось со мной на экзаменах), что мне удастся успокоиться через пять-десять минут, — мы встретились с Андреем случайно, и лишь благодаря этой случайности я узнала, что меня обвиняют в том, что я нянясь за деньги ухаживать за Павлом Петровичем, а потом, когда Глафира Сергеевна уехала, отправила его в Инвалидный дом.

— Никто вас не обвиняет, — поспешно возразила Глафира Сергеевна. — Да и вообще, что за вздор! Когда это было?

— Не так давно, чтобы я запомнила, что это сделали вы!

Я так и сказала: «запомнила». Митя с изумлением повернулся к жене. Она ничего не ответила, только поджала губы и взглянула на меня исподлобья.

— Это сделали вы, — повторила я с тем чувством странной лихости, которое впервые охватило меня, когда нас с шофером сносило в Крутицкий порог, — а потом свалили на меня, хотя прекрасно знали, что я была против этого преступления. Если бы вы были тогда в Лопакхине, Митя, — сказала я, забыв, что все время называла его Дмитрием Дмитриевичем, — вы бы согласились, что это было настоящим преступлением. Вот теперь вы интересуетесь его трудами и даже думаете, что они могут понадобиться вам для какой-то работы. Где же вы были, когда он должен был оставить свою комнату и переселиться в общежитие, где ему ничего не оставалось, как умереть в одиночестве, без друзей и родных? И ведь он ничего не требовал! Если у вас тогда не было денег — даже я могла взять его на свое иждивение. Да разве хоть одну минуту он думал о себе? Он писал о вирусологической станции Владимиру Ильичу...

Я остановилась, потому что нужно было успокоиться, но Митя переспросил с удивлением: «Владимиру Ильичу?» — и я снова помчалась во весь опор, не разбирая дороги.

— Да, да! И это письмо было бы закончено и отправлено, если бы вы взяли на себя труд познакомиться — да какое там! — хоть заглянуть в те рукописи, которые я, по вашему мнению, не имела права оставить себе. А если бы оно было отправлено, нам не пришлось бы сейчас разговаривать о судьбе безвестного старого доктора, умершего в Инвалидном доме! Все равно, дело совершенно не в этом! Или, может быть, именно в этом, но я пришла, чтобы сказать о другом. Глафира Сергеевна оклеветала меня в ваших глазах, и Андрея, и Агнии Петровны, которая, я слышала, теперь считает меня неблагодарной змеей. Я требую, чтобы Глафира Сергеевна немедленно, в вашем присутствии, отказалась от этой клеветы и признала, что она свалила свою вину на меня.

Еще далеко не наступила та минута, когда я должна была понять, что правду трудно доказывать именно потому, что она не требует доказательств. Каждое слово, из которого состояла эта пылкая речь, каза-

лось мне настолько неопровержимым, что я была уже почти готова простить Глашеньку... «Сейчас расплачется», — с торжеством подумалось мне. Но Глашенька не расплакалась.

— Вы кончили? — спросила она. — Так вот, Димитрий, должна тебе сказать, что я не намерена разговаривать с этой... — Она не нашла слова. — Только скажу, что удивляюсь, зачем ты привел ко мне эту... — Она опять не нашла и потом все время называла меня просто «эта». — Нарочно, чтобы меня оскорбить? Так я тебе скажу, что она не только уморила бедного старика, но теперь мне ясно, с какой целью она его уморила. Отец выгнал ее на улицу, она из милости жила у соседки и надеялась захватить комнату Павла Петровича со всеми его вещами. Прежде я думала, что дело именно в этом. Так нет же! Здесь был еще один подлый расчет. Скажите, товарищ, как вас там зовут, — сказала она с отвращением, — где письма артистки Кречетовой, которые оставил вам Павел Петрович?

Митя спросил тревожно: «Какая Кречетова?» — и я почувствовала с ужасом, что он и Глафира Сергеевна — это все-таки одно, а я — совершенно другое. За этой мыслью так же быстро промелькнула другая: «Она стащила у меня эти письма».

— Где? — переспросила я хладнокровно. — В Лопакхине, в чемодане, хранящемся у моей знакомой Марьи Петровны.

— Вот как! В чемодане у Марьи Петровны? — И Глафира Сергеевна взяла со стола книгу, о которой я прежде подумала, что она имеет отношение к Александринскому театру — Вот они! — Она швырнула мне книгу. — Изданы! Теперь вы посмеете утверждать, что не продали их?

Я стояла далеко от нее, и книга упала на пол. Митя сделал шаг, но я опередила его... «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному», — не веря глазам, прочла я на белом переплете. Какие-то слова, не помню, но которые могли быть обращены только к Павлу Петровичу, мелькнули на открывшейся странице...

— Ничего не понимаю, — пробормотал Митя.

— Знаешь, Кречетова, известная. Да я тебе потом расскажу! Но какова же низость — узнать, без сомнения, случайно, что среди бумаг старика имеются личные письма! Разнюхать, что они имеют какую-то ценность! Найти издателя и продать ему эти письма, которые старик прятал от всего света! И эту... — Глафира Сергеевна с трудом удержалась от грубого слова, — ты приводишь ко мне?

Впервые в жизни навстречу мне двинулась такая откровенная, смелая, хладнокровная, поражающая свою меткостью ложь — немудрено, что я растерялась. Теперь я знаю, что нужно было повернуться и уйти — да не забыть книгу, которую потом пришлось искать по всему Ленинграду, потому что она была раскуплена в первые дни. Но в ту минуту с острой, почти болезненной ясностью я увидела полное лицо Раевского с моргающими глазами и услышала его голос, говорящий: «Мне нужны эти письма. Идет? Задаток сегодня!» И как будто я взяла задаток и обещала украсть эти письма — так я залепетала что-то, беспомощно перелистывая книгу и обращаясь не к Глафире Сергеевне, а к Мите. Что-то жесткое прошло у него по лицу, промелькнуло в глазах, и это движение как ножом резнуло меня по сердцу.

— Вы верите ей? — закричала я.

Он отвернулся, и я выбежала из номера, не помня себя, с единственной мыслью — не заплакать перед этой страшной женщиной, перед этой подлой, глядевшей на меня тяжелыми поблескивающими глазами.

Письма к неизвестному

Я сказала, что впервые в моей жизни навстречу мне смело двинулась ложь. В течение первых трех дней после моего возвращения произошло так много событий, точно кто-то долго собирал их в огромную корзину, а теперь опрокинул ее на меня без предупреждения — это тоже случилось со мною впервые. Среди этих событий были важные и не особенно важные, и чтобы отличить одни от других, нужно было остановиться, оглядеться, подумать. Куда там! Только один предмет я видела перед собой — книгу под названием «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному», и тень этой книги ложилась на сверкающие витрины ювелиров, на лихачей, стоявших у ресторана Палкина, на книжные магазины, в которых я спрашивала и не находила этой книги. Наконец мне удалось купить ее в антиквариате на Литейном проспекте...

Пожалуй, это было не совсем обыкновенное зрелище — девушка, которая, не обращая ни малейшего внимания на оклики извозчиков, на свистки милиционеров, шла по улицам Ленинграда с раскрытой книгой в руках. Дважды она чуть не попала под лошадь. Она сталкивалась с прохожими. На углу Семеновской с ней поздоровался товарищ по курсу — она его не узнала...

Письма, которые старый доктор просил ее сжечь после своей смерти, теперь читали чужие, равнодушные, незнакомые люди, и каждый, у кого было три рубля пятьдесят копеек, мог зайти в магазин и купить эти письма. Письма, которые она не решалась прочитать в рукописи, были напечатаны в количестве пяти тысяч экземпляров, с предисловием какого-то пошляка, намекавшего на «загадку жизни знаменитой актрисы»...

Она читает эти письма, и ей кажется, что весь город, широко открыв глаза, вместе с ней перелистывает страницу за страницей. Но страница следует за страницей, и жадный интерес к чужой судьбе сменяется сочувствием и невольным удивлением. Вот красивая женщина с темными глазами идет по аллее, подбирая волочащийся шлейф, а там, в беседке на берегу моря, ее уже ждет, волнуясь, высокий человек в свободном летнем костюме и широкой панаме. Загорелое лицо с прекрасными на выкате глазами полно муки и радости ожидания. Вот он видит ее, бросается к ней... Это первая встреча в Балаклаве, о которой Кречетова с нежностью вспоминала в нескольких письмах. Вот они встречаются в Геническе, в Азове — все в маленьких южных городах, где никто не находит странным эти радостные и печальные встречи. Еще непонятно — что заставляет их так бережно хранить свою тайну? Почему все чаще в ее письмах попадает слово «невозможно»? Почему в одном из них она приводит чье-то стихотворение, посвященное этому слову?

Есть слова. Их дыханье — что цвет;
Так же нежно и бело-тревно;
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, н е в о з м о ж н о...

С раскрытой книгой в руках девушка пересекает город, и ей кажется, что от страницы к странице все тише становится на шумных улицах Ленинграда. Через Летний сад она проходит на набережную — чуть слышно перебирают листьями старые липы, умолкают и перестают смеяться люди на пристани, от которой отходит на Острова пытящий, переполненный пароходик. И притихший город вместе с ней читает грустную историю двух людей — несчастных и хороших, которые навсегда полюбили друг друга.

Отрывки из писем О. П. Кречетовой

1. ...«Как ни тяжелы, почти непереносимы наши горькие встречи, но когда ты уезжаешь, я чувствую такую пустоту, что понять не могу, как еще в силах двигаться, разговаривать, играть... Ты знаешь, что я играю не только на сцене».

2. ...«Нужно долго думать, нужно иметь почти гениальный ум, чтобы вообразить всю бессмысленность положения, при котором два человека, которые друг без друга не могут вообразить ни единого мига счастья, должны тосковать, терзаться и лгать, лгать на каждом шагу. Когда я вынуждена притворяться, что равнодушно слышу твое имя, в то время как только что ушла от тебя с пылающими щеками — мне начинает казаться, что когда-нибудь меня убьет этот мучительный стыд. Да, нам нельзя видеться. Нужно расстаться! Но стоит лишь вообразить ту пустоту, тот ужас, который открывается за этими словами, и я страстно, злобно гоню эту мысль. Нет, верно суждены нам с тобой, бедный мой, дорогой, эта мука, это небывалое счастье!»

3. ...«В Париже Шарко нашел у меня истощение сил и велел ехать в Сицилию. Ты представляешь, как хотелось мне ехать, тогда как я знала, что ты будешь ждать меня в Плесе. Лихорадочно следила я за русскими газетами и по первому известию о вскрытии Волги выехала, убедив врачей, что в Плесе воздух будет здоровее для меня, чем в чужой Сицилии»...

4. ...«Что я пережила за эти две недели — вообразить нельзя и описать не берусь! Нет, уезжай! Когда ты в Москве и я знаю, что не могу тебя видеть, — понемногу я привыкаю к этой мысли и боль в сердце не так мучит меня. Но когда ты в Петербурге — не видеть тебя, не быть рядом с тобой становится невыносимой пыткой. Эти торопливые встречи, когда я поминутно смотрю на часы, это сознание, что мы должны прятаться, как воры, убивает меня».

5. ...«Вчера была в Казанском соборе и не могла не заплакать. Хотя я стояла в толпе, в темном углу, закутанная вуалью, кому-то понадобилось сообщить в газетах о моих слезах и пытаться разгадать мое горе. Боже мой! Неужели актер никогда и ни в чем не может принадлежать себе? Неужели публика имеет право даже на его слезы?»

6. ...«Знаешь ли, с каким чувством я последнее время ухожу от тебя? Что наша любовь — это что-то живое, и нам велят задушить, уничтожить это живое. Боже мой! Задушить то, чем живет, волнуется, переполнено сердце, отказаться от счастья, без которого я не знаю, стоит ли жить? А как бы хотелось, мой милый, родной, чтобы хоть не надолго все стало по-нашему, как мы часто мечтаем с тобой. Мы уехали бы, не зная куда, в деревню или на юг. Я бы заботилась о тебе, мне так хочется позаботиться о тебе. И каждый вечер был бы такой, как тот в Балаклаве, когда мы возвращались домой и темные фигуры рыбаков с удочками неподвижно виднелись на море. Помнишь ли ты Гейне — «Книгу ле Гран»? Перечти ее и угадай место, которое я отчеркнула, думая о тебе».

7. ...«Дорогой мой, если бы ты знал, как я соскучилась без тебя, как страдаю. Теперь уже не мечтаю я больше навсегда соединиться с тобой. Года идут, голова моя седеет, и, видно, не дожидаться нам этого счастья. Но хоть видеть тебя не скрываясь, хоть знать, что ты здоров и попрежнему любишь меня. Сегодня я снова говорила с ним. Ты знаешь, о ком я пишу. Он повторил, что не даст развода, даже если я возьму всю вину на себя...»

8. ...«Когда я получаю твое письмо, я, как девочка, прежде всего ищу слова любви, а все остальное кажется мне бесконечно менее важным. Тысячу раз я перечитываю твою подпись, и когда ты не подписываешься «всегда твой» и ставишь только инициалы, мне начинает казаться, что ты меньше любишь меня. Однако меня расстроило известие о «готовой разразиться над тобою буре». Ты глухо пишешь об этом. Почему? Чтобы не огорчить меня? Но разве ты не знаешь, мой друг, что я никогда не расстанусь с тобой. Тяжело мне писать это «не расстанусь» в то время как мы видимся лишь во время твоих редких приездов в Петербург. Но все равно — наша любовь давно уже стала как бы вне нашей власти, и не только вне, а над нами».

9. ...«Что говорят в Москве о провале «Чайки»? Гостинодворцы, которые убеждены, что мы играем только для них, свистели, шикали, смеялись, оскорбляли актеров и в конце концов добились провала замечательной пьесы. Бедный Чехов! Никогда не забуду, как растерянный, осунувшийся, с напряженной улыбкой он слушал наши уверения, утешения. Не дождавшись конца спектакля, накинув пальто и забыв шапку, он бежал из театра — так и уехал с непокрытой головой. Говорят, заболел на другой день — еще бы!»

10. ...«Пишу тебе, надеюсь, что мое письмо еще застанет тебя в Петербурге. Синельников только что сказал мне, что по Москве ходят слухи о том, что министр приказал освободить тебя от преподавания в университете. Я знаю, как важно тебе, в особенности после столкновения с Диановым хотя бы числиться преподавателем университета. Когда же кончится, наконец, этот кошмар, который уже отнял у меня почти всех друзей? Вчера узнала, что Кравцов отправлен под надзор полиции в Арзамас. Кажется, никогда я не была трусихой. Но я дрожу при одной мысли, что это безумие может коснуться тебя».

11. ...«Этого давно ждали, говорят вокруг. И я соглашаюсь: мне все еще нужно делать вид, что между нами никогда не было ничего, кроме простого знакомства. Я не плачу, я ничем не умею выразить горе. Но мне кажется, что я ослепла или сплю летаргическим сном: слышу, чувствую и не в силах крикнуть. Мой бедный, родной, мой навсегда, бесконечно любимый! Ты знаешь, что я решила? Приехать к тебе, чтобы умереть».

Многое было непонятно для меня в этих письмах, например, «он повторил, что не даст развода, даже если я возьму вину на себя». Огорчения, о которых никогда не упоминал Павел Петрович, приходившие «оттуда», из того давно умершего мира, где жила дама с темными глазами, — теперь я поняла их так живо, как будто старые фото, висевшие над филармонией в перламутровых рамках, сошли со стен и рассказали мне свою жизнь! Это была грустная жизнь, и, читая некоторые письма, трудно было удержаться от слез. Я не привела их в этой книге, потому что они увели бы меня слишком далеко...

Кречетова много писала о театре, о ролях, которые она исполняла, почти на каждой странице мелькали имена Горького, Савиной, Комиссаржевской. Это были письма актрисы. Но странно! Не Кречетова, а «неизвестный», которому были адресованы письма, как живой вставал со страниц этой книги.

«На могильной плите следовало бы писать не то, кем был человек, — сказал мне однажды этот «неизвестный», — а то, кем он должен был быть». Вот кем он должен был быть — знаменитым, гордым, уверенным в себе, очастливленным необычайной любовью. А он в течение долгих лет был забыт и заброшен в маленьком уездном городишке, и однажды,

когда он сидел на крыльце, какая-то приезжая положила ему на колени десять копеек...

Разумеется, нечего было и сомневаться в том, кто издал эти письма! На титульном листе было указано название издательства «Время» и адрес: «Набережная реки Фонтанки, 24». Но как Раевский добрался до них, если перед отъездом в Анзерский посад я писала Марье Петровне и получила ответ, что чемодан старого доктора цел и невредим и по-прежнему стоит на своем месте под ее кроватью?

Растерянная, ошеломленная, выбежала я из «Европейской», с единственной мыслью: «Митя поверил Глафире, мне не удалось доказать, что она оклеветала меня!» Письма Кречетовой увели меня в другой мир, и притихшая, почти испуганная глубиной открывшегося передо мною горя, я как будто засмотрелась на бедные, ожившие тени. Теперь, вспомнив о Раевском, я мгновенно вернулась из прошедшего в настоящее время. Без сомнения, он стащил эти письма! Но как? И если он добрался до чемодана, сохранился ли «труд» старого доктора, письмо Владимиру Ильичу и другие бумаги?

Измученная, но готовая немедленно пустить в ход все силы ума и сердца, чтобы разгадать эту тайну, я влетела в общежитие и лицом к лицу столкнулась с нашим швейцаром.

— А, наконец-то! — сказал мне этот усатый, длинноносый старик-франт, который знал все наши дела и неизменно выручал нас в трудных случаях жизни. — Давно пора!

— Что случилось?

— Папаша приехали.

— Какой папаша?

— Папаша, отец! Ваш папаша.

50

Дурные вести

Он сидел на моей постели, очень довольный, с красным носиком, в коричневом измятом, но приличном костюме. Вместо галстука был завязан черный бантик, усы закручены, пушистые волосики, которых осталось уже немного, лихо зачесаны на лоб. Когда я вошла, он с хвастливо-самоуверенным видом рассказывал о чем-то моим соседкам по комнате. Они слушали и улыбались. Увидев меня, отец встал, но, качнувшись, снова сел на кровать.

— А вот и дочь, — сказал он, — здравствуй, дочь! Как снег на голову, а? Проездом на Амур, станция «Михайло Чесноков», по делу редкого экземпляра быка симментальской породы.

Девушки заметили, что я покраснела, и вышли под каким-то предлогом. Мы с отцом остались одни. Он посмотрел на меня, моргая, и радостно засмеялся.

— Сподобился такую дочку иметь, — сказал он с восторгом. — Господи помилуй! Чудная, великолепная дочка! Подруги рассказывали, горжусь!

Я подседа к нему, но он отодвинулся, деликатно прикрыв рот ладонью.

— Извиняюсь, — сказал он и икнул. — С горя, Таня, поверь, с тоски-одиночества. Авдотья скончалась.

— Как, скончалась?

— Алле-марше! Семнадцатого дня июля сего года.

И он стал длинно рассказывать, что в последнее время служил в парикмахерской швейцаром, снимал пальто и выдавал номерки и что это прекрасная должность, без которой культура погибла бы, поскольку ни один уважающий себя мастер не станет брить или стричь клиента в пальто. И вот однажды он вернулся домой, стал звать Авдотью, а она сидит за столом и молчит. Он потянул ее за руку, а она — бряк на пол — и всё!

— Адская вещь, — сказал он и всхлипнул. — А какая кухарка была! Семнадцать лет у маркиза де Траверзе служила! Очень резко бросила пить, вот беда! Это нельзя — пить такое пространство времени и вдруг моментально бросить. Организм не выдержал. Так-то вот я и сел на якорь, брат, — сказал отец и самодовольно хлопнул себя по коленям, — теперь на Амур! Петька Строгов зовет — нужно ехать! У него бык выращен симментальской породы. За девять тысяч верст от родной пролетарской матери-России выращен бык ради принципа, а не для какой-то наживы.

Я слушала и молчала. Никогда не забывала я о том, какой у меня отец, но за те годы, что мы не виделись, черты его сгладились в моих воспоминаниях... Теперь мне было больно видеть, что он стал еще более смешным и жалким, чем прежде. Он показал мне заявление от имени какого-то «Товарищества ответственного труда» о том, что «поскольку осенью сего года в Москве открывается сельскохозяйственная выставка» он просит дорпрофсоюз Амурской железной дороги «доставить экспонат в священный город возрождающейся пролетарской промышленности». Петька Строгов, объяснил он, служит артельщиком и лично доставить быка не может. А он, Петр Власенков, может. Но суть дела не в быке, а в том, что недалеко от станции «Михайло Чесноков» зарыт клад, оставшийся после знаменитого спиртоноса Миши. Этот клад он найдет и разделит пополам со мною.

Он был очень пьян, и прежде всего нужно было увести его из общезия и устроить — но где? У Нины? Я даже не знала еще, в Ленинграде ли Нина. В гостиницу, если достану номер. Говорить с ним сейчас о старом докторе, о письмах Кречетовой было, разумеется, совершенно бесполезно, и я только спросила помолчав — как Марья Петровна? Здорова?

— Как же, — пробормотал отец.

Что-то неуверенное прозвучало в этом коротком ответе. До сих пор он прямо смотрел на меня своими светлыми глазками, которые, как две бусины, торчали на маленьком, усатом лице, а теперь глазки забегали, и в них показалось странное выражение. Страх?

— Вот что, папа, — сказала я вдруг, — мне необходимо поговорить с тобой по очень важному делу. Хорошо, что ты явился, иначе на той неделе мне пришлось бы ехать к тебе. Ты помнишь Павла Петровича? Ну, старого доктора! Я часто ходила к нему.

— Как же, — снова сказал отец. Он не смотрел на меня.

— Слушай внимательно. Когда доктор умер, мне выдали из Инвалидного дома его чемодан. В чемодане не было вещей, только бумаги.

Я старалась говорить медленно, чтобы он понял. Кажется, он понимал.

— Ты был при этом... Уезжая, я отдала чемодан Марье Петровне. Помнишь?

— Как же, — снова пробормотал отец.

— В чемодане были научные труды Павла Петровича и среди них— письма одной актрисы. Он очень берег их. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было прочел их, потому что это были личные письма.

Отец молчал. Глазки, бегавшие по сторонам, беспомощно застыли, пальцы, которые он то и дело подносил к губам, дрожали, как всегда, когда он чувствовал себя виноватым. Я продолжала спокойно.

— Теперь эти письма изданы. Вот! — Отец с ужасом взглянул на книгу. — Как это могло случиться — не знаю. Очевидно, кто-то вытащил их из чемодана и списал, а копии продал. А может быть и не копии, а самые письма, хотя об этом даже страшно подумать. У меня большие неприятности из-за этой истории, папа.

Он пробормотал:

— Почему?

— Потому что Львовы думают, что это сделала я. Ты ведь знаешь, — сказала я с силой, — кем был для меня Павел Петрович! И вот теперь...

— Что же такого, что же такого? — прошептал отец. — Ведь они не пропали.

— Для меня было бы гораздо лучше, если бы они пропали! Ты даже не представляешь себе, как важно для меня доказать, что никогда мне и в голову не приходило продавать кому бы то ни было эти письма! Мне трудно сейчас объяснить тебе... Но ты должен знать, что вся моя жизнь...

Должно быть я была очень измучена, потому что голос вдруг зазвенел и я с трудом удержалась от слез.

Отец встал. Не знаю, что творилось в его голове, но почему-то он осторожно вынул из кармана брюк свой старенький бумажник и развернул одну квитанцию, другую. Потом сложил квитанции, выронил бумажник и рухнул передо мной на колени.

— Иуда! — закричал он и ударил себя кулачком в грудь. — Я виноват, я! Отец — подлец! Бейте в колокола! Родную дочь предал.

Я посадила его на кровать, подала воды. У меня руки дрожали...

Все было ясно еще до того, как я выслушала этот перепутанный, длинный рассказ. Раевский — отец с ненавистью называл его «некто» — приехал в Лопахино в марте этого года и прежде всего отправился к Марье Петровне. Без сомнения, она с негодованием отказала ему — иначе он в тот же день не явился бы к отцу «с угощением». Трудно ли было ему уговорить отца — не знаю. Отец уверял, что Раевский уламывал его две недели.

— Это ужас что такое было, — повесив голову, объяснил он. — Оттого, что в подобных историях я — кто? Кремень.

Но так как ему необходимо было «экироваться», чтобы ехать на Амур, и билет стоил очень дорого — триста шестьдесят рублей сорок копеек, и Авдотья была больна, хоронить не на что, и Раевский действовал на него «апатически» — отец в конце концов согласился и, подобрав ключ к комнате Марьи Петровны, вынул из чемодана бумаги.

— Все бумаги? — спросила я почти хладнокровно.

Отец ответил: «Все» — и не помня себя, я бросилась к нему и с бешенством схватила за плечи. Не помню, что я кричала ему... В дверь постучали, и, как во сне, я увидела Лену Быстрову, стоящую на пороге.

— Таня! Танечка! Да что с тобой! Таня!

«Будьте логичны — и вы будете непобедимы»

Если бы не Лена, я бы просто пропала в этот несчастный день. За номер — мы отвезли отца в «Московскую» гостиницу — нужно было заплатить вперед, а я только что отдала стипендию казначею нашей коммуны. Лена достала деньги. Она увела меня к себе, накормила и заставила лечь — я едва держалась на ногах, хотя и порывалась идти в институт и заняться делами, которые та же Лена убедила меня отложить на завтра. Она просто не выпустила меня из своей маленькой, светлой квартиры и ушла, объяснив, что едет к отцу в Сестрорецк и вернется завтра. Василий Алексеевич очень сердился, когда Лена уговаривала его лечь в больницу, и Мария Никандровна почти насильно увезла его в Сестрорецк, в какой-то хороший санаторий.

«Будьте логичны — и вы будете непобедимы». Откуда взялась и без конца повторялась в уме эта фраза? Впрочем, логика убежала, едва передо мной появлялся пьяный человечек с красным носиком и по-детски завязанным бантом — мой отец, каков бы он ни был! Он один мог подтвердить мою правоту, но так мучительно не хотелось вести его к Мите!

И зачем только я оставила чемодан у Марьи Петровны! Давным-давно пора было взять его в Ленинград. Когда Андрей перестал мне писать, нужно было отправить ему бумаги Павла Петровича и приложить короткое сухое письмо.

Что же делать теперь? Андрей поверит, и ничего не изменится в том, что произошло между нами? А Митя?

«Будьте логичны — и вы будете непобедимы», — бессмысленно думала я, лежа на диване и рассматривая верстачок Василия Алексеевича, на котором так и остались лежать недоструганные планочки от какой-то модели.

И незаметно среди беспокойно-неопределенных мыслей появилась и робко стукнула в сердце одна определенная, которой тотчас же подчинились все остальные: Раевский издал письма отдельной книгой — это было выгодно для него. А рукописи? Могло ли прийти в голову этому эмпману-дельцу, что перед ним ученый труд, которому была отдана целая жизнь? Что если он просто бросил в печку эти перепутанные, неразборчивые листы бумаги, написанные дрожащей рукой старика? Уже не робко, а смело, со всего размаха стучала в мое сердце эта страшная мысль. Так вот в чем я виновата: в течение четырех лет я не сделала ничего, чтобы кто-нибудь, кроме меня, познакомился с этим трудом! Еще в прошлом году я могла, например, показать его З.!

Нет, напрасно Лена уговорила меня остаться, все равно не спалось! В квартире было жарко, душно, пахло сохнувшим деревом, лаком, чем-то еще, и ходить можно было только из комнаты Лены в столовую и обратно. Всегда у Быстровых было шумно, весело, Мария Никандровна ругала кого-нибудь за несправедливость и вдруг появлялась из кухни с пирогом, испеченным по новому рецепту. Василий Алексеевич по вечерам возился у верстачка, мы занимались, и все дышало уютом, спокойствием, счастьем. А теперь? У меня сжалось сердце и стало так грустно, что я с трудом удержалась, чтобы не заплакать.

Для разнообразия я стала ходить из кухни в столовую через переднюю — на четыре шага больше.

На стене в передней висел телефон — самый обыкновенный, так что очень трудно объяснить, почему я остановилась подле него с забившимся сердцем. Как будто он был живым, со своими черными кнопками, хитрым, извилистым шнуром и блестящими равнодушными звонками —

так я смотрела на него, бормоча: «Будьте логичны — и вы будете непобедимы». Кажется, это было не очень логично, но я все-таки сняла трубку и сказала:

— «Европейская».

Потом:

— Номер пятый, пожалуйста.

Потом:

— Дмитрий Дмитрич?

— Да.

— Говорит Таня Власенкова, — сказала я, чувствуя, что готова убить себя за свой дрожащий, неуверенный голос. — Дмитрий Дмитрич, вы можете думать обо мне что угодно... Но теперь... Вот что: сегодня приехал из Лопухина мой отец. И он рассказал мне... В общем, вы хотите знать правду?

— Да, — после недолгого молчания ответил митин голос.

— Тогда мы должны встретиться.

Он ответил не сразу. Еще мгновение — и я бы бросила трубку.

— Хорошо.

— Вы говорите так, как будто в этом заинтересована я. — Мне уже ничего не стоило говорить спокойно и связно. — Между тем, поверьте, наша встреча несравненно важнее для вас.

— Да нет, пожалуйста. Буду очень рад. Где и когда?

— Где угодно, — я спохватилась. — Впрочем, я живу в общежитии.

Отец остановился в гостинице, но прежде чем познакомить его с вами...

— Может быть, в Летнем саду?

— Очень хорошо. Только не сегодня.

— Завтра днем я, к сожалению, буду занят.

— Хорошо, вечером. В девять часов, у памятника Крылову.

У меня было еще одно дело в этот день, и я была рада, что могу им заняться, потому что оно неизменно заставляло меня забывать о всех других делах и заботах.

Все комсомольцы нашего института работали по ликбезу, и мне в прошлом году досталась одна служительница нашего анатомического театра, а в этом году я сама взялась помогать Елене Петровне Овцыной, знакомой семьи Быстровых, работавшей вместе с Василием Алексеевичем в модельном цеху «Электросилы». Я ее не учила грамоте (так что наши занятия нельзя было назвать «ликбезом»), а готовила в школу для взрослых.

Это была женщина невысокого роста, плотная, со здоровым румянцем на круглом, смуглом лице. Не знаю, кто кого учил, когда мы занимались, — знаю только, что с трудом заставляла себя уходить от Елены Петровны после этого взаимного урока.

— Хороша книга, да начетчик плох, — со вздохом говорила она каждый раз, открывая учебник, но занималась старательно, заставляя меня подробно объяснять каждое непонятное слово.

У нее была жизнь, полная необыкновенных событий, и несмотря на то, что ей уже минуло сорок лет, мне неизменно казалось (в особенности, когда она рассказывала о себе), что самое главное еще ждет ее впереди. Кстати сказать, меня не обмануло это ощущение — недавно, уже после войны, я встретила в «Огоньке» портрет Елены Петровны, ставшей директором крупного завода.

Мы занимались подолгу — часа по два, потом я просила ее что-нибудь рассказать, и она отвечала обыкновенно:

— У людей вруны — слушаешься, у нас вруны — соскучишься.—

И начинала неторопливо рассказывать одну из своих необыкновенных историй.

Я пришла к ней расстроенная, усталая, и, должно быть, она сразу же поняла, что на этот раз и в моей жизни произошла история, которую без преувеличения можно было назвать необыкновенной.

— Ничего, голубчик мой, обойдется, — внимательно посмотрев на меня, сказала она.

И прежде всего заставила выпить чаю со сладкой булкой.

Я просидела у нее до позднего вечера, успокоилась, отдохнула, и когда, наконец, собралась уходить, мне стало казаться, что действительно все уладится — Митя поверит мне и труд Павла Петровича найдется.

На прощанье Елена Петровна рассказала мне, как в семнадцатом году, когда она работала кондукторшей, на трамвайном кольце у Нарвских ворот устроили «лобное место».

— Ремонтную вышку поставили для воров, — спокойно объяснила она, — как вора поймают — сейчас же его на эту вышку. Помню, одного парня привели — сталь унес с Путиловского завода. Эту сталь ему привязали к плечам и говорят: «Гражданин, полезай наверх и кричи: «Я — вор, я украл сталь!» Ну, что же делать, полез! Потом торговцев приводили — иной так и влезал с червивой соломинкой на шею. Этим долго не отпускали: «Кричи, такой-сякой: «Я спекулянт, отравлял народ!» Повернись еще три раза! Снова кричи!» Это такое общественное порицание было.

Я слушала, и удивительное спокойствие этой женщины невольно передавалось мне — спокойствие, которым были полны этот неторопливый голос, эти живые глаза, поблескивающие то иронией, то лукавством...

Мальчишки-газетчики на разные голоса распевали: «Вечерняя Красная газета», солнце садилось, не по-осеннему жаркий день остывал над Невой, когда я отправилась на свидание с Митей. «Кулачный бой у Народного дома», — кричали газетчики. — «На скамье подсудимых — атаман по прозвищу Турман».

Я купила «Вечерку». Передовая была посвящена пятилетнему плану, и я удивилась, что в этой статье, рассказывавшей о громадной работе, которая должна была перестроить всю нашу жизнь, не было ни слова о молодых специалистах, в частности медиках, которые тоже имели, кажется, некоторое отношение к пятилетнему плану. Потом я просмотрела статью об интервенции английских империалистов в Китае и с раскаяньем вспомнила, что еще весной, когда Народная армия взяла Шанхай, совет коммуны просил меня организовать доклад по вопросам революции в Китае.

В третьей статье подводились очередные итоги кампании по борьбе с бюрократизмом, четвертая была посвящена подлому убийству Сакко и Ванцетти, пятая — международному положению, и я подумала, что, может быть, лучше взять на себя кружок текущей политики, а не марксизма-ленинизма, как настаивал Леша. Порыв ветра вырвал из моих рук газету, едва я поднялась на Троицкий мост. Кувыряясь, она понеслась над Невой, и другие известия — например, что инженер П. предложил надстраивать этажи, а инженер К. высказал фантастическую мысль о говорящем кино, — мне довелось узнать лишь через несколько дней.

Митя ждал меня. На скамейках вокруг памятника Крылову были заняты все места, и он прохаживался поодаль. «Все-таки красивый», —

невольно подумалось мне. Он был прекрасно, даже франтовато одет: в светлом костюме, с нарядной кепкой в одной руке, с палкой в другой. Забыла сказать, что я тоже в этот день взяла у портнихи свой новый костюм, и он получился очень удачно — длинный жакет в талию и короткая юбка.

— Вчера мне следовало подумать, что вам будет трудно встать на объективную точку зрения в нашем споре с Глафирой Сергеевной, — эту фразу, но только одну я приготовила с ночи. — Но я не сразу нашла объяснение тому, что письма оказались изданными. Это поразило меня.

— Да, я видел, что вы растерялись.

Искоса я посмотрела на Митю. Это было сказано в совершенно другом тоне, чем вчера, — сердечно и просто.

— И не думала! Просто решила уйти — вот и все! Жаль только, что не успела доказать, что вы виноваты не меньше, чем Глафира Сергеевна. Впрочем, я пришла сюда не упрекать вас, — сказала я торопливо, но не потому торопливо, что Митя нахмурился, а чтобы поскорее подойти к цели нашего разговора. — Вот что: вчера ваша жена обвинила меня... Вам известно, в чем она меня обвинила.

Я запуталась, и пришлось, переведя дыхание, начать сначала...

В конце концов, я рассказала все: и как некий делец (я нарочно не назвала Раевского) несколько лет тому назад приехал в Лопахино и предложил Павлу Петровичу продать ему письма. И как на другой день он явился ко мне, но я прогнала его, и он уехал из Лопахина с пустыми руками.

— Павел Петрович просил меня сжечь эти письма. Я не решилась и глубоко сожалею об этом. Потому что, если бы я решилась, не произошло бы другого несчастья, о котором мне даже страшно сказать.

Теперь нужно было переходить к отцу — ужас, как не хотелось! Мне мешало еще, что мы были в Летнем саду, где в этот вечер гуляющих было особенно много. Толстые люди в новых шляпах — наверно, нэпманы — молча ходили по главной аллее, их разодетые жены переговаривались крикливыми голсами. На пыльной площадке перед Чайным домиком стояли мраморные столики, и официанты, мелькая белыми передниками, разносили мороженое и воду. Вечер был душный, и все время хотелось уйти от движущейся, шумной толпы.

— Вот... это я могла рассказать вам вчера. Вчера же, уйдя от вас, я узнала, что приехал отец. Мой отец знал, что чемодан был оставлен на хранение соседке. Вы хотите спросить, почему соседке? Потому что отец... Он пьет и был женат на... женщине, которую я не любила.

Чем быстрее мне хотелось рассказать об отце, тем почему-то медленнее получалось.

— Кроме того, он... вообще легкомысленный человек, перебивший в жизни очень много профессий... Сейчас он едет на Амур, очевидно будет служить там на железной дороге. Я... не вмешиваюсь в его дела, оттого что это давно уже... ничего не меняет. Так вот: отец рассказал мне, что этот издатель вернулся в Лопахино в марте этого года и уговорил его стащить письма Кречетовой из чемодана... Конечно, за деньги... За водку. Отец стащил, — сказала я твердым голосом. — И не только письма. Вот об этом-то мне и страшно сказать... В общем, пропали все бумаги Павла Петровича, и его труд, и письмо Ленину — всё, всё! То есть, может быть, и не пропали. Но я не знаю, где они находятся, и боюсь, что они... не сохранились, потому что этот делец... Он мог просто бросить их в огонь. Ведь он, разумеется, ничего не понимает в науке.

Я замолчала. Опустив голову, Митя шел рядом со мной. Он слушал

внимательно, но почему мне казало́сь, что он думает о чем-то своем? О чем-то огорчавшем его или, может быть, раздражавшем?

— А как фамилия этого человека? — спросил он. — На переплете указано, кажется, издательство «Время»?

Я сказала:

— Раевский.

Митя остановился.

— Какой Раевский?

— Тот самый.

— Что?

— Да, да! И, кстати сказать, в Лопяхине оң подробнейшим образом расспрашивал о вас и Глафире Сергеевне.

Я знала, что Митя очень вспыльчив, еще вчера он на моих глазах налетел на жену с побелевшим от гнева лицом. Но сейчас... Можно было подумать, что, назвав Раевского, я попала в «locus mporis resistentia», как любят говорить врачи, то есть в место наименьшего сопротивления. Могла ли быть, что за минуту перед тем он думал о Раевском? Не знаю. На его мрачном нахмуренном лице было написано именно это.

— Очень хорошо, — сквозь зубы сказал он. — Так Раевский издал эти письма?

— Да, он.

— И вы думаете, что другие бумаги Павла Петровича тоже находятся у него?

— Да, думаю.

— Он в Ленинграде?

— Не знаю. В книге указан адрес издательства: Набережная Фонтанки, 24.

Митя посмотрел на часы.

— Жаль, поздно, — злобно проворчал он.

— Вы хотите итти к нему?

— Да. Вместе с вами.

— Вот прекрасно, — сказала я, чувствуя, что в душе закипает какое-то чудное чувство, от которого хочется смеяться и плакать. — Нужно все же спросить: согласна ли я?

— Вы согласны?

— Да. Но прежде пойдете к отцу, Дмитрий Дмитрич. Я хочу, чтобы вы лично услышали от него, как это случилось.

Разговор с Раевским

Не слушая уговоров Мити, повторявшего, что он «верит мне, верит!», я настояла на своем и привела его к отцу, который сидел в своем номере у окна и курил, наслаждаясь видом на площадь Восстания. Очевидно, два рубля, которые я оставила ему на обед, были истрачены на что-то другое, потому что когда мы вошли, он, не вставая, величественно кивнул и заговорил с Митей в каком-то непринужденно-аристократическом духе. Рассказывая о том, что Раевский уговаривал его вытащить письма, он сказал: «Тут дворянин на дворянина наскочил», хотя, насколько мне было известно, фамилия Власенковых никогда не числилась в списках дворян Российской империи. «Увидев на нем крахмалá, — сказал он, — я приказал жене подать и мне крахмалá». О Марье Петровне он отозвался презрительно: «Простота нравов» и, шутливо изобразив, как она ужаснется, обнаружив пустой чемодан, засмеядся и

сказал: «Воображаю картину!» Кое-что, он напутал и передал совсем не так, как я рассказала Мите. Словом, он не только не называл себя Иудой, не просил «бить в колокола» и т. д., но держал себя так, как будто был героем какой-то рискованной истории, из которой вышел с честью, как и полагается благородному человеку.

Ну что я могла с ним поделаться?

Но Митя... С первого взгляда он понял всё — и слушал отца вежливо, внимательно, не позволяя себе ни малейшей иронии. Я краснела и бледнела, особенно когда отец начинал сочинять. Митя взглядами старался успокоить меня. Отец вдруг заявил, что до революции он работал главным режиссером Александринского театра, я нетерпеливо оборвала его... Митя осторожно, умело перевел разговор.

Но вот кончился бесконечный рассказ — и с ним мои муки! Митя поблагодарил, сказал, что непременно займется этой историей, спросил что-то об Амурской железной дороге и простился с отцом. Я вышла проводить его. Он был очень спокоен. Мы спустились в вестибюль. Он купил какой-то журнал. Я уже собралась пожелать ему доброй ночи, когда он вдруг скомкал журнал, побледнел и резко повернулся ко мне. Это было так неожиданно, что я невольно подумала, что он прочел в журнале какую-то неприятную новость.

— Мы пойдем к Раевскому сегодня, — сказал он. — Сейчас!

— Поздно же! Издательство закрыто.

— Нет, сейчас. Можно узнать домашний адрес по телефону.

Это было ошибкой, простительной для меня, но не для Мити, который был старше, опытнее и умнее, чем я. Тогда я не знала, что его жизнь на три четверти состоит из подобных ошибок.

Так или иначе, не выходя из «Московской» гостиницы, мы узнали домашний адрес Раевского и самое большое через десять минут звонили и стучали в двери его квартиры. Звонила я, а стучал — нетерпеливо — Митя.

— Кто там?

Митя еще стучал, не слышал.

— Дмитрий Дмитрич, открывают.

— Кто там? — повторил донесшийся откуда-то издали женский испуганный голос.

— Это квартира Раевского?

Долгое молчание.

— А вам кого?

— Да Раевского же! Откройте, пожалуйста.

Снова молчание.

— А вы кто такие?

— Доктор Львов, — ответил Митя вежливо, но мрачно. — С ассистентом.

Раздался грохот крюков, скрежет цепей и мелодичный, как в старинных сундуках, звон замка — мне невольно вспомнились ходившие по Ленинграду слухи, что очень богатые нэпманы, в особенности ювелиры, из боязни налетов устроили в своих квартирах сигнализацию, навесили стальные двери. Не знаю, стальная ли, но во всяком случае очень тяжелая дверь медленно распахнулась перед нами. Мы вошли. Полная старуха в очках, моргая, как Раевский, встретила нас в передней.

— Доктор Львов? — повторила она недоверчиво. — К Роберту Владимировичу?

— Да, да.

Старуха ушла. Со стуком поставив между ног свою палку, Митя сел и принялся сердито рассматривать переднюю. Передняя была обыкновенная.

Старуха вернулась.

— Роберт Владимирович просил передать, что он не вызывал врача.
— Что?

Митя шагнул к ней. Старуха попятилась. Он снова шагнул, она завизжала, и в глубине коридора, отодвинув портьеру, за которой мелькнула большая, ярко освещенная комната, появился Раевский. Я поразились — он так постарел, что его стало трудно узнать. Щеки повисли, под глазами появились мешки. В сравнении с Митей он казался теперь стариком, а между тем был старше его только на год.

Расставив ноги, согнувшись, закинув голову, похожий в своем зеленом халате на жабу, он стоял в дверях и рассматривал нас тревожно-моргающими глазами. Меня он, кажется, совсем не узнал, а Митю узнал, разумеется, с первого взгляда.

— Так вот что это за доктор Львов, — с гримасой искреннего отвращения сказал он. — Ну-с, прошу.

...Не знаю, что это было — кабинет или гостиная или то и другое вместе. Но ни в одном комиссионном магазине я не видела так много дорогих вещей — резных по дереву картин в тяжелых рамах, ковров, мраморных статуй. Огромная хрустальная люстра висела над круглым столом. Другой стол, поменьше, был покрыт великолепной вышитой скатертью с изображением морского сражения. Повсюду — в старинных красного дерева горках, на окнах, даже на полу под роялью стояла посуда — сервизы. Трюмо было украшено перламутровыми цветами.

— Ну-с, чем могу служить? — спросил Раевский.

Митя придвинул кресло и сел.

— На днях, — грозно сказал он, — мне попала в руки книга «Письма Кречетовой к неизвестному». Ты издавал?

Это «ты» было сказано с таким ударением, что люстра нежно зазвела в ответ.

— Если можешь, не кричи, пожалуйста.

— Я спрашиваю, ты издавал? — оглушительно повторил Митя.

— Ну да, да. В чем дело?

— В том, что эти письма принадлежали моему дяде Павлу Петровичу Лебедеву и после его смерти перешли в собственность нашей семьи. Издавать их ты не имел никакого права.

Раевский пожал плечами.

— По этому вопросу обратись, пожалуйста, к юрисконсульту издательства, Фонтанка, 24, от двух до трех, Ефрем Иванович Майзельс.

Митя помолчал.

— Послушай, Раевский, — начал он довольно спокойным голосом, только на щеке играла какая-то опасная жилка. — Поговорим на чистоту. Мне отлично известно, что ты украл эти письма. Не сам, не сам, — прикрикнул он, видя, что Раевский энергично затряс головой, — с помощью отца этой девушки, который сейчас находится в Ленинграде.

— Бумаги приобретены за определенную сумму. В издательстве имеется расписка, составленная по соответственной форме.

Митя шумно задышал.

— Раевский, — терпеливо начал он снова. — Мы не виделись с тобой много лет. Ты, вероятно, полагаешь, что я забыл наши старые счета. Но у меня хорошая память. И если до сих пор я не вытряхнул из тебя душу...

Мне стало смешно — очевидно, Мите казалось, что он очень вежливо

объясняет Раевскому, почему тот должен согласиться на его требования.

Требований было четыре:

1. Немедленно вернуть оригиналы писем.
2. Немедленно вернуть научные работы Павла Петровича.
3. Сообщить в газетах, что книга напечатана без согласия прямых наследников доктора.
4. В печати же принести извинения.

Закинув голову, презрительно моргая, Раевский слушал Митю. Когда мы пришли, у него был испуганный вид, он отступил и даже схватился рукой за портьеру. Теперь что-то незаметно было, что он собирается отступить!

Это была минута, когда два гимназиста вспомнились мне, стоявшие друг против друга с револьверами в руках на снежном поле, под холодным светом луны. Теперь они встретились снова — такими разными, что трудно было вообразить, что они родились в одно время, жили в одном городе и носили некогда одинаковую форму с буквами Л. Г. — Лопухинская гимназия — на мельхиоровой бляхе.

Но, кажется, бывшие гимназисты меньше всего интересовались подобным значением своей встречи. Они думали о другом. Митя был взбешен, еще когда мы шли к Раевскому, и я была почти уверена, что в глубине этого бешенства лежит досада, что пропал труд Павла Петровича — труд, который, повидимому, был очень нужен Мите. Это было не в его духе — мириться с пропажей того, что было нужно ему, да еще и очень. Но теперь — ничуть не бывало!

Раевский, который накануне свадьбы увез из Лопухина Глашеньку, чтобы потом через два года бросить ее, Раевский, который глубоко, смертельно оскорбил его первую любовь, — вот кого видел перед собой Митя! И Раевский — я почувствовала — прекрасно понял, о чем думает Митя. Он улыбнулся — с таким подлым торжеством, так злорадно, так откровенно, что мне стало неловко, точно я подслушала чужой разговор.

Митя замолчал. Жилка все билась, и губы раза два подозрительно вздрогнули. Но он еще сдерживался. Он сказал что-то насчет того, что мой отец в любую минуту готов «дать показание».

— Предполагается суд? — спросил Раевский. — Ну что ж! Мы вчиним встречный иск. На этой книге издательство потерпело убыток.

— Послушай, — сквозь зубы почти простонал Митя.

Раевский встал и запахнул халат. Лицо его как-то двинулось, лоб разгладился...

— Ну-с, прошу поторопиться, — грубо сказал он. — Не следует думать, что у меня нет других дел, кроме того, государственной важности, с которыми вы изволили явиться ко мне. В следующий раз прошу звонить. Я по телефону постараюсь разъяснить, как в подобных случаях действуют опытные шантажисты. Эх вы, шантажисты-активисты, — сказал он злобно и засмеялся. — Комсомолия, культсмычка! Красные спецы!

Митя встал, заложив руки за спину, прошелся по комнате — между прочим, размеренными шагами. У него было задумчивое лицо, с полуопущенными веками. Осторожно огибая мебель, он подошел и ударил Раевского палкой.

Потом он рассказывал, что боялся этого с первой минуты. Он старался не думать о палке, не смотреть в ее сторону и т. д. Даже взмахнув ею, он еще надеялся, что, может быть, удастся все-таки не ударить. Напрасная надежда! К счастью, палка скользнула, и удар пришелся по шее.

Что началось! Я крикнула: «Митя!», бросилась к нему, схватила за руки.

Потом я увидела, что Раевский почему-то ползет на четвереньках, вздрагивая и хватаясь за ножки кресел, а Митя, закусив губу, крутит палкой над головой, прицеливаясь в трюмо, украшенное перламутровыми цветами. Это трюмо он сперва проткнул, а потом серией метких ударов, как пишут о фехтовальщиках, выбил из рамы. Давешняя старуха с криком ворвалась в комнату, за ней худенькая черная женщина в кимоно, которая молча прыгнула на Митю, как кошка, так что он должен был осторожно скрутить ей руки и посадить на диван.

— Таня, пошли, — коротко сказал он.

И мы пошли, не очень торопясь, хотя женщина в кимоно, пронзительно визжа, бросала в нас тарелками, старуха вызывала по телефону милицию и вообще следовало поторопиться.

— Дмитрий Дмитрич, вы забыли кепку.

— Черт с ней!

Сердитые, красные, мы спустились на Надеждинскую, взглянули друг на друга и так и покатались со смеху.

— Почему он по-по-полз? — насилу выговорил Митя.

Плача от смеха, мы долго сидели на тумбах — до тех пор, пока мимо нас не прошел к подъезду озабоченный дворник с бляхой и еще какой-то угрюмый, небритый мужчина в очках — оправдом?

Митя показал на них глазами, подмигнул, и мы удрали, как наша-лившие дети.

53

Митя говорит о себе

Накануне Митя звонил, мы долго разговаривали, и он спросил, когда уезжает отец. Но он спросил между прочим, так что меньше всего я могла ожидать, что увижу его на вокзале. Это было приятно, что он пришел — такой вежливый, веселый. На всякий случай он захватил с собой заявление на имя прокурора Республики — «если нас с Танечкой, — серьезно объяснил он, — посадят в кутузку за буйство». В заявлении рассказывалось, при каких обстоятельствах пропали бумаги старого доктора, причем отец был выставлен пострадавшей, обманутой стороной. Впрочем, отец не успел оценить митино благородства, потому что, надев очки и самодовольно оглянувшись вокруг, подмахнул заявление, не читая. Он был очень милый в этот день, чистенький, причесанный, немного грустный и почти трезвый: когда он был трезв, на него всегда находило «легкое облачко грусти», как писали когда-то. Прощаясь, он намекнул, что, возможно, ему не удастся ограничиться деятельностью сопроводителя быка на сельскохозяйственную выставку, потому что его ждут на Амуре дела, от которых «многие ахнут». Кто были эти многие — осталось неясным.

— Я ведь лично жандармов разоружал, — значительно сказал он. — Амур меня знает.

Он поцеловался со мной трижды, крест-накрест, шепнул, что ровно половину клада я могу считать как бы лежащей в моем кармане, помахал нам платком — и уехал. Митя проводил взглядом плавно изогнувшийся на повороте поезд и сказал задумчиво:

— А ведь любопытнейший человек, Танечка, ваш папа...

Выше я написала, что в первые дни после моего возвращения произошло так много событий, точно кто-то нарочно собирал их для меня в огромную бельевую корзину. Теперь стало ясно, что опрокинул на

мою голову эту корзину—Митя. Не знаю, считать ли это событием, но, простившись со мной на вокзале и пожалев, что до открытия съезда у него не будет ни одной свободной минуты, он на другой же день явился ко мне, немного смущенный, и сказал, что у него странная просьба — показать ему Ленинград.

— Я было одного приятеля попросил, ленинградца. Он согласился, а потом оказалось, что основательно знаком только с двумя достопримечательностями: с игорным клубом на Владимирском и с кафе «Тринадцать» на Садовой.

Мне было стыдно сознаться, что и я основательно знакома только с двумя достопримечательностями Ленинграда, правда, другими—с Первым медицинским институтом и с Ботаническим садом, в котором мы с Олей Тропининой, готовясь к экзаменам, каждую весну сидели с утра до ночи. Но Ботанический—это все-таки была настоящая достопримечательность, и, для приличия немного помедлив, я сказала серьезно:

— Ну что ж! Для начала — кстати, это близко — осмотрим Ботанический сад.

Разумеется, это был только предлог, а на деле — подумалось мне — он пришел, чтобы сообщить мне какую-то важную новость. Что-нибудь насчет Глашеньки — ведь он убедился теперь, что она оклеветала меня! И мне представилось, как он кричит на Глашеньку, придвинув к ней вздрагивающее от гнева лицо, а она плачет злыми слезами: «Я уйду от тебя!» И Митя отвечает: «Прекрасно!»

Все время, пока мы шли в Ботанический, я ждала, что он расскажет мне что-то в этом роде, и даже придумала вежливо-равнодушный ответ, из которого сразу стало бы ясно, что меня очень мало занимают их отношения.

Но вот мы пришли и обогнули сад по узким, уютным тенистым аллеям и осмотрели оранжерею, где, как всегда, было жарко и парно и казалось странным, что дикие, вольные растения могут жить в этой влажной духоте, напоминающей баню, — а Митя все еще не упомянул о Глашеньке ни словом.

Мы говорили об институте профилактики, который должен был в этом году под руководством Николая Васильевича открыться в Ленинграде. О самом Николае Васильевиче — Митя удивительно верно определил его, сказав, что это ученый, у которого ясность мысли прямо пропорциональна беспорядочности в работе. О смелом проекте профессора Александрова, предложившего шлюзование днепровских порогов. О студенческой практике, которая, согласно новому приказу Наркомздрава, теперь должна была проводиться не только летом, но круглый год; мы сошлись, что из подобной практики ничего не выйдет. Потом Митя заговорил о безработице — в те годы было много безработных врачей — и объяснил ее двумя причинами: во-первых, администрация принимает на работу не членов Всемедикосантруда, а во-вторых, многие кончающие врачи отказываются ехать в деревню.

— Три года молодой врач работает экстерном или бесплатным стажером, — с возмущением сказал он, — а в деревне безграмотные старухи лечат заговорами и весенней водой. (Я рассказала ему о знахарке.) Нет, к черту! Я не верю, что из этих белоручек выйдут врачи. Вот и вы! С третьего курса засесть в лабораторию — это ли не ошибка? Да вы теперь всю жизнь будете доказывать, что пептон нужно добывать не из свиных, а из телячьих желудков.

Это было немного обидно, потому что пептоном занимался как раз Петя Рубакин, и я, действительно, помогала ему. Но я сказала только:

— И не подумаю.

— Посмотрим!

И Митя пустился доказывать, разумеется в шутку, что женщинам вообще не свойственно заниматься наукой.

— Вы знаете, что писал по этому поводу Спенсер? — сказал он и сделал ученое лицо. — «Время от времени появляются особы женского пола, которые по своим способностям возвышаются над средним уровнем мужчин. Но, отказываясь приковать себя к области чистой абстракции, подобные женщины в конечном счете направляют свою проницательность на анализ жизни друзей и ближайших соседей».

Мы так долго стояли перед кактусами, не обращая на них никакого внимания, что сторожиха, должно быть обидясь за кактусы, подошла и неодобрительно посмотрела на нас...

Расставаясь, Митя спросил, не хочу ли я пойти на премьеру «Азеф» в Большой драматический театр. Я поблагодарила и отказалась. Было бы слишком сложно объяснять ему — почему, и я сказала только, что «по вечерам почти всегда занята». Он взглянул на меня вопросительно, помолчал и заговорил о другом.

В общем до съезда мы гуляли еще два раза, даже не гуляли, а действительно осматривали Ленинград. Мы побывали в Петропавловской крепости, в Эрмитаже. В Михайловском саду мы «открыли» необыкновенное дерево с рожами, от которого Митя долго не мог отойти — так ему понравились эти выходящие одна из другой разбойничьи рожи. Другое, не менее значительное открытие мы сделали, обнаружив, что Летний дворец Петра Великого и есть тот самый скромный двухэтажный домик, подле которого мы сидели, когда встретились в Летнем саду.

Длиннуший, ветхий, изъеденный молью мундир висел в этом домике под стеклом витрины, и я сказала, что странно подумать, что на свете жил человек, носивший этот мундир и даже насадивший табачные пятна на полы. Но Митя возразил, что несколько не странно, потому что Петр был только на голову выше его.

— Бедняга, — сказал он серьезно. — Вы маленькая, Таня, и не подозреваете, как это утомительно...

— Что?

— Да вот... Быть такого высокого роста. Мальчишки дразнят: «Дядя, поймай воробушка». И вообще... С утра ещё ничего, а к вечеру надоедает.

Я засмеялась. Он ласково взглянул на меня и, как ребенку, сделал большие глаза.

Разговор, который я так нетерпеливо ждала, начался с этого мундира — не совсем тот разговор, но тоже очень интересный и важный, оттого что Митя впервые заговорил о себе. Правда, он немного хвастался и одновременно жалел себя, невольно придавая всем своим поступкам оттенок самопожертвования и какого-то сдержанного благородства. Но все-таки этот разговор заставил меня взглянуть на него другими глазами.

Очень просто он рассказал, как началась его юность — с той минуты, когда он узнал о смерти отца. Это было в гимназии, на уроке латыни, инспектор вошел и сказал — и на всю жизнь запомнилось Мите молчание класса, когда, собрав книги, он шел между партами к двери и товарищи с жалостью и любопытством смотрели на него — на него, у которого умер отец. Он еще не знал, что отец был убит. В непривычно пустой раздевалке швейцар торопливо подал ему шинель — торопливо, потому что умер отец. Шел грибной дождь, крупный и редкий.

и среди стремительных капель точно стояла, сверкая на солнышке, бриллиантовая пыль. И эта пыль, и свежесть дождя, и то, что скоро лето, экзамены, а у него в последней четверти по геометрии двойка—значит все это осталось на свете, несмотря на то, что умер отец? И страшно вскрикнув, схватившись за голову, Митя бросился домой. А там уже толпились, взволнованно переговариваясь, какие-то люди, все двери были раскрыты, и толстый подтянутый пристав, стоя в дрожках, кричал: «Господа студенты, прошу разойтись».

И Митя остался один — в те годы, когда особенно нуждался в направляющей, дружеской воле. Мать не только не имела на него никакого влияния, но ничего не делала без его помощи и совета..

Старый доктор после ссылки, разбитый болезнью, поселился в Лопяхине — в городе, где он родился и вырос, и после гибели мужа Агния Петровна отвезла детей к нему, а сама поехала в Петербург и вернулась служащей музыкальной фирмы Циммермана. Так началась «лопахинская жизнь», которая была, в сущности, как сказал Митя, «историей медленного падения интеллигентной семьи». И Агния Петровна почему-то долго старалась скрыть это паденье и обнищанье от Мити.

Паденье и обнищанье! «А девочке из Посада, — подумала я, — казалось, что нет в мире более богатого, счастливого, странно-чудесного дома!»

...Мы прошли спальные комнаты, детскую, кабинет Петра и остановились перед огромными деревянными часами, занимавшими целую стену. Митя сказал, что по этим часам можно было бы узнать не только век, месяц, день и т. д., но даже завтрашнюю погоду, если бы они не стояли.

Почему мне вдруг захотелось спросить: правда ли, что он пошел добровольцем на фронт, — об этом еще в Лопяхине мне как-то сказал Андрей. Но я постеснялась и спросила — тоже не очень-то кстати, — как и когда Митя стал заниматься наукой. Ведь в Лопяхине он был просто лечащим врачом. Он осматривал и лечил маму, и всем в доме прописывал лекарства, и когда привезли голодающих, тоже работал, как врач.

— Это потому, что я люблю лечить, — возразил Митя. — А на самом деле... В каком году я приезжал в Лопяхино? В двадцать втором? У меня уже была одна печатная работа. Правда, маленькая. Я описал один любопытный случай.

И он рассказал, как в 20-м году, во время польской кампании, он встретился с задачей, которую не могли решить самые опытные врачи, несмотря на строжайшие приказы Реввоенсовета: бои шли на правой стороне реки, и раненые, переправившись на левую, неизменно заболевали сыпным тифом. Едва высадившись на берег, они подвергались самой тщательной санитарной обработке — и все-таки заболевали. Почему?

Митя составил сводную таблицу инкубационного (скрытого) периода болезни и точно установил, что по времени заражение неизменно связывалось с самой переправой. Оставалось внимательно осмотреть баржу, на которой переправлялись раненые. Она-то и оказалась рассадником заразы.

Так война натолкнула его на науку.

Сперва у него была маленькая лаборатория — микроскоп, сушильный шкаф и два десятка пробирок, потом ему удалось организовать что-то вроде бактериологической станции при штабе армии.

А потом...

— А потом, — смеясь сказал он, — мне пришло в голову, что рак распространяют мухи, и я придумал сложнейшую теорию, согласно которой мухи проглатывают споры раковой клетки и таким образом передают их от человека к человеку. Видите, как просто!

Мы обошли петровский домик и были теперь в первом этаже, в кухне, выложенной прелестными голландскими изразцами, сохранившейся со всеми своими таганчиками, подставками для лучины, щипцами для углей и медной, непривычно большой, позеленевшей посудой. Митя рассматривал изразцы и восхищался. Сходство с Андреем мелькнуло, когда с озабоченным серьезным лицом он стал считать, часто ли и в какой последовательности на изразцах повторяется море, и... «надо сейчас же сказать ему, что я выхожу замуж за Андрея», — с остановившимся сердцем подумала я. Но Митя вдруг взглянул на часы, заторопился, и я ничего не сказала.

54

«Для Единственной Читательницы»

Я вернулась домой после этой прогулки, и наш усатый франтоватый швейцар подал мне письмо от Андрея. Он писал, что поправился, начал работать и надеется непременно приехать на съезд. Молчанов — завгубздравотделом — разрешил ему двухнедельный отпуск после болезни. «Милый мой, дорогой друг, как мне хочется поскорее увидеть тебя», — прочитала я, и сердце стало биться просительно-робко.

К письму был приложен «журнал» под странным названием «Для Единственной Читательницы». Согласно подзаголовку, журнал издавался доктором А. Д. Львовым и состоял из «художественной прозы, местной хроники, попыток самокритики и отчета о поведении». В каждом из отделов Единственная Читательница занимала видное место — можно было подумать, что всё происходящее в Анзерском посаде имеет к ней прямое (или косвенное) отношение. Отдел художественной прозы был, например, посвящен ее мужественной переправе «среди диких скал, угрюмо нависших над разлившимися водами Анзерки». В отделе местной хроники сообщалось, что музей имени Единственной Читательницы пополнился интереснейшим экспонатом — раскрашенным голубком из лучинки, а в статье под названием «Убедился» подробно разбиралось самое название журнала. В чем же «убедился» издатель — доктор А. Д. Львов? В том, что он не может жить без Единственной Читательницы — почему бы иначе днем и ночью, работая и бездельничая, сидя в баньке или бродя по тропинкам, ведущим к солевым варницам, он так мучительно тосковал по ней?

Словом, это был чудный журнал — и я рассердилась на себя за то, что, сама не зная почему, ничуть не обрадовалась, а даже наоборот: в душе снова зашевелилось чувство неопределенности, мучившее меня в Анзерском посаде...

У меня было много дела в эти дни. Василий Алексеевич совсем расхворался, мы с Леной возили к нему врачей, которые ставили противоположные диагнозы, а один хирург, прощаясь, сказал совсем страшную вещь, которую мы от Марии Никандровны скрыли. На кафедре тоже было много работы, Николай Васильевич велел повторить опыт с моим стрептококком, так что на личные, тем более сердечные дела не оставалось ни одной свободной минуты. Но смутное недовольство собой все же время от времени начинало постукивать в сердце. Днем, когда я была занята, оно постукивало осторожно, а по ночам — все сильнее,

смелее, пока, наконец, я не должна была сделать усилие в душе, чтобы не повторился анзерский разговор с собою, которого я не желала и даже боялась. И он не повторился, но зато однажды я увидела сон, будто кто-то в белом халате вынул из моей груди сердце, а вместо него поставил железную гирьку, которая и была этим недовольством собой, этим страхом, что я не смогу говорить то, что думаю, и жить так же ясно, легко и спокойно, как прежде.

...Точно кто-то околдовал меня после этого неприятного сна. Усталая, равнодушная, сидела я на предметной комиссии теоретических кафедр, обсуждавшей интересную новость в нашей общественной жизни — студенческое научное общество — СНО. Без конца переправляя каждую фразу, написала я статью о СНО в редакцию нашей газеты, и статья получилась по-газетному скучной. Опыт со стрептококком не вышел — может быть из-за моего нетерпения, а может быть потому, что Николай Васильевич разрешил мне поставить опыт с единственной целью — доказать, что я ошибаюсь. Он не догадывался, что куда больше его веры в священную точность науки мне была нужна в эти дни его вера в мою способность заниматься наукой.

Но вот что огорчило меня больше всего: Митя попросил меня разобратся в записях лекций Павла Петровича, я принялась с жаром — и изумилась: это был какой-то беспомощный лепет. Мало сказать, что я, очевидно, ничего не понимала в том, что говорил Павел Петрович, — мне не удалось последовательно записать даже то, в чем легко разобрался бы школьник первой ступени! И везде, куда ни взглянешь, был нарисован на полях профиль негра, похожий одновременно на Пушкина и на Гурия Попова.

Нет, нет! Только об одном можно было судить, перелистав мои записи: что я бесконечно изменилась с тех пор, как, слушая Павла Петровича, представляла природу в виде дамы, дремлющей на скамейке в саду. Но подобный вывод, разумеется, не помог мне найти теорию Павла Петровича в этих самодельных тетрадках, сшитых из ломкой желтой бумаги, на которой в 20-м году писались протоколы Лопехинского Уполитпросвета.

И все же, может быть, мне удалось бы восстановить в памяти — не теорию, а хоть связь между лекциями старого доктора, если бы, едва я принялась за них, мысль не убежала далеко-далеко! Туда, в родной городок, в котором я так давно не была и по которому все-таки очень скучала. Туда, где так чудно мечталось о самом прекрасном, самом несбыточном в жизни и где я могла бы рассказать старому доктору и (по-другому) маме о том, что произошло в Анзерском посаде. Да, всё стало другим в Лопехине, и я сама была теперь совершенно другая.

Узкоколейку кончили, и паровозы свистят теперь недалеко от Пустыньки, у самой Тесьмы. Еще недавно я читала в газетах о нашем кожезаводе, который впервые в мире стал применять какую-то новую, искусственную кислоту для дубления кожи. В середине августа я получила письмо от Марьи Петровны, сообщавшей мне, что она собралась учиться в музыкальном училище, которое открылось на месте бывшего «депо проката». На старости лет у нее появился талант. Только на Павской горе всё осталось совершенно таким же, как прежде. Городок шумит, волнуется, а здесь — тишина. Неслышными шагами мерит она дорожки от одной до другой могилы. Равнодушно смотрит на полинявшую дощечку: «Доктор Павел Петрович Лебедев» — и дата рождения и смерти. Равнодушно проходит мимо развалившейся деревянной решетки вокруг

холмика, под которым лежит «Наталья Тихоновна Власенкова» — и дата рождения и смерти...

После моего доклада о моей поездке в Анзерский посад бюро ячейки поручило мне организовать кружок по изучению марксизма-ленинизма, и я насилу убедила Лешу Дмитриева дать мне хоть две-три недели для подготовки к такому серьезному делу. Нужно было ознакомиться с новейшей политической литературой, появившейся в последние годы, а я никогда не умела быстро читать. Кроме того, после медицинских книг мне казалось, что нужно повернуть какой-то рычаг в мозгу, чтобы заставить себя войти в мир философских понятий.

Но было еще одно дело, очень срочное, которое заинтересовало меня. Комсомольцы завода имени Молотова все лето готовились к военному походу, и теперь, когда подготовка была почти закончена, оказалось, что у них плохо поставлена санитарная служба. Они обратились в ячейку нашего института, и бюро поручило мне руководство всем медицинским обслуживанием похода — ни больше, ни меньше.

Это было трудно — не только потому, что я впервые столкнулась с большой организационной задачей, но еще и потому, что руководители похода были очень довольны, что во главе санотряда стоит медичка пятого курса, и свято верили в мой медицинский гений. Нужно было командовать, и оказалось, к моему изумлению, что я умею командовать, поскольку мне почти не приходилось повторять приказаний.

Двадцать семь комсомолок в белых косынках, с красными повязками на руках поступили в мое распоряжение. За несколько дней, оставшихся до похода, я должна была не только проверить, знают ли они, например, что такое «первичная обработка раны», но разъяснить основные принципы военно-санитарного дела, о котором я сама еще так недавно почти ничего не знала. Но я справилась, может быть потому, что с самого начала удалось сбить легкомысленное настроение некоторых моих учениц, смотрешших на поход, как на какую-то необязательную игру, которую, если надоест, можно и бросить.

Противник был серьезный — подшефный пулеметный батальон, стоявший в Петергофе, и перед отправкой директор завода имени Молотова сказал речь, из которой я узнала, что не только по своему масштабу, но и по тактической задаче в Ленинграде еще не было подобного комсомольского похода. В самом деле, все до одного участники были вооружены учебными винтовками, в отряде было несколько пулеметов, отряду придали кавалерийский эскадрон.

Поход продолжался недолго, но это были запомнившиеся мне дни, полные азарта (охватившего, разумеется, и санитарную часть), загадок, которые нужно было решать, не теряя ни одной минуты, страшной грязи, потому что дождь не переставал, и настоящей работы, потому что ранений и несчастных случаев, против ожидания, было довольно много. В казенной части винтовок, которыми вооружились молотовцы, были отверстия — нарочно, чтобы из этих винтовок нельзя было стрелять боевыми патронами. Командиры предупреждали, что во время стрельбы закрывать эти отверстия руками нельзя. Но в пылу наступления кто станет думать о таких мелочах? И в результате у многих были ожоги рук и лица. Я уже не говорю о «потертостях», которые мы перевязывали, конечно, но за которые, согласно приказа командования, я безжалостно отправляла на «гауптвахту».

Была в этом походе одна особенная минута — особенная, потому что впервые в душе мелькнуло странное, поразившее меня своей новизной ощущение войны. Ночью, возвращаясь из штаба, я шла позади наших «позиций», по аллее, соединявшей Старый и Новый Петергоф.

Только что были найдены листовки «противника», в которых он убеждал молотовцев «бросить эту игру в солдатики», обещая в свою очередь «вернуться в исходное положение», и политруки разъясняли бойцам значение этого не очень тонкого маневра. Я дашла почти до конца аллеи — уже открылась знакомая, окруженная печальными темными кустами беседка, когда где-то очень близко почудился шорох, послышалось движение... Я остановилась не дыша... Это бойцы «противника» ползли по канаве вдоль старинных труб, по которым в знаменитые петергофские фонтаны подается вода. Я бросилась в сторону, и — «Война!» — невольно подумалось мне. С изумившим меня чувством тревоги — изумившим потому, что я знала, что «противники» тоже свои — я стояла и слушала, как, подтягиваясь на руках, они ползли и ползли в темноте, в тишине...

Я вернулась бодрая, поздоровевшая, забыв и думать о дурном настроении, а через несколько дней получила от комсомольцев завода имени Молотова благодарность «за отличную организацию санитарной службы».

Митя не заходил и не звонил эти дни. Но накануне съезда он вдруг явился на кафедру — и, к моей досаде, как раз в то время, когда я помогала Пете Рубакину, возившемуся со своим пептоном из телячьих желудков. Впрочем, Митя ни о чем не спросил.

— Николай Васильевич пригласил меня посмотреть кафедру, — сказал он, — а сам не пришел. Ну как вам это понравится! Он не звонил?
— Нет.

Митя вздохнул. У него был расстроенный вид.

— Может быть, у вас найдется немного свободного времени?

У меня оказалось сколько угодно свободного времени, и я охотно обошла с Митей кафедру, не особенно, впрочем, понимая, что именно Николай Васильевич собирался ему показать. Потом мы спустились на улицу, и я не заметила, как дошли до Лопухинки и стали ходить по садику, что между улицей Красных Зорь и берегом Невки.

Почему мне почудилось, что именно сегодня, в этот прохладный, ясный вечер, так непохожий на тот, когда мы встретились в Летнем саду, между нами возникнут какие-то новые, дружеские отношения? Не знаю. Митя все засматривался — то на рыбаков, в которых легко было узнать пожарных и которые в мокрых до пояса брезентовых штанах тащили сеть вдоль берега Невки, то на лодочку-восьмерку, быстро скользившую по воде под дружными ударами весел. Мне давно казалось, что когда Митя расстроен — он становится сердечней и проще. Это и была такая минута.

Сперва мы говорили о съезде — правда ли, что митин доклад был назначен на первое заседание, а потом перенесен на последнее по решению организационной комиссии?

— Да.

— Почему?

— А чорт их знает! — грустно ответил Митя. — Должно быть, старики докопались, что я собираюсь выступать против них.

Было как-то невежливо спрашивать, что это за старики, и, помолчав, я заговорила о лекциях Павла Петровича. Митя оживился.

— Да, да. Ну, как, удалось?

— Нет.

— Почему?

— Потому что... я ошибалась, когда говорила, что по этим записям можно восстановить... Мне тогда и в голову не приходило, что я стану врачом. У меня были совсем другие интересы.

Митя молчал, и прекрасно можно было не объяснять, что это за интересы. Но я все-таки сказала покраснев:

— Мне хотелось стать киноактрисой.

— Вот как!

И Митя с любопытством взглянул на меня.

— Но как ни бессвязны эти записи, — продолжала я торопливо, — все-таки по ним можно судить, в каком направлении шла мысль... В общем, Павел Петрович утверждал, что лечение инфекционных болезней должно быть основано на антагонизме микробов. Потом... Это я записала дословно... Вирусы являются особой формой существования белка, изучение которой подводит нас к границе мертвого и живого.

— И только?

— Да. Возможно, что это — сотая доля того, что он говорил.

Митя задумался.

— Первая мысль — не нова, — сказал он, — а вторая — необыкновенна, особенно для тех лет, для Лопихина, для старого врача, работавшего без лаборатории и очевидно потерявшего всякую связь с наукой. Между прочим, мне смутно помнится, что когда еще был жив отец, у нас часто говорили об этой истории, заставившей Павла Петровича уйти из университета. Он не сразу был выслан, а после того как выступил на съезде врачей и естествоиспытателей с открытой революционной речью. Отец был адвокатом по политическим делам и защищал его, но проиграл процесс, потому что в последнем слове Павел Петрович сказал что-то оскорбительное по адресу Николая Второго...

Холодный человек

...Разумеется, это не было исповедью — стал бы он исповедоваться перед девушкой, которую и знал-то, собственно говоря, очень мало! Скорее это была как бы «картина души», которую он вдруг, с какой-то грустной откровенностью нарисовал передо мною. Никогда мне не приходило в голову, например, что он сам смотрит на себя, как на холодного человека, и тяготится этой чертой, которая в юности часто переходила в душевную слепоту, — он дважды повторил это слово.

«И не только в юности», — подумалось мне.

— И не только в юности, — сейчас же печально сказал он.

Мне захотелось сказать, что, кроме этой слепоты, он страдает еще слепотой в любви. Но я, разумеется, промолчала.

— Вот мы говорили о дяде, — продолжал Митя. — Ведь это же странно, что вы знаете его в сто раз больше, чем я! Когда я прочел письма Кречетовой, мне показалось, что это какая-то фантастическая история, в которой никому не нужный, скучный старик оказывается добрым волшебником — могущественным, несчастным и добрым. Разумеется, сразу же я стал утешать себя, даже придумал теорию, согласно которой родственные связи мешают душевной близости, и так далее. Вздор! Я просто не заметил его. Он был для меня больным стариком, о котором нужно заботиться — и только!

Мы давно уже ушли из садика, но повернули почему-то не к Островам, а в город, хотя Митя сказал, что ему хочется посмотреть Острова. Было уже поздно, темно. Извозчик окликнул нас у площади Льва Толстого, Митя ответил: «Не надо», но извозчик, уговаривая, еще довольно долго тащился за нами. У Кронверкского началась мокрая мостовая, должно быть здесь недавно прошел дождь, из парка запахло

свежестью, и свет только что зажегшихся фонарей заблестел на мокром памятнике «Стерегущему», на листве. Мы вышли к Неве, и Митя сказал с восхищением:

— Что за город!.. Иногда мне начинает казаться, что я лучше, чем думаю о себе, — продолжал он. — А иногда убеждаюсь, что нет — даже хуже. И вы знаете, что самое трудное — чорт побери! — не находить всё, что делаешь, превосходным! Это — первое. А второе... Впрочем, вы маленькая и второго еще не поймете.

— Нет, скажите.

— Не прятаться от своих ошибок.

— В науке?

Опустив голову, Митя долго шел не отвечая. Потом сказал с трудом:

— Да, в науке... Вот и все! Холодный человек высказался! А теперь — у меня предложение, Таня. Пойдемте обедать!

Мне давно хотелось есть, и так сильно, что даже кружилась голова и минутами трудно было внимательно слушать Митю. Но после лаборатории я не заходила домой и была в простом сатиновом темносинем платье и с изорванным старым портфелем, в котором лежал мой халат. Поэтому я спросила нерешительно:

— Куда?

— Не все ли равно?.. — ответил Митя, и мы на трамвае доехали до Казанского собора и зашли в «Донон».

...Я не люблю ресторанов, и есть основание полагать, что это чувство впервые возникло в тот вечер, когда Митя повел меня обедать в «Донон». Это был не тот «Донон», который упоминается в произведениях Чехова и Куприна, а новый, открывшийся во время нэпа.

Великолепный мужчина в длинном мундире, почему-то напомнивший мне командующего из кинопьесы Гурия, того самого, который под звуки фанфар выезжал из Триумфальной арки на сцену, распахнул перед нами сверкающую, стеклянную дверь. Другой, тоже великолепный, с осторожным презрением взял из моих рук портфель и спрятал его куда-то, сказав: «Номера не нужно». Третий, в черном фраке, встретил нас на лестнице, покрытой ковром, и проводил до других дверей, которые, едва мы приблизились, распахнулись сами собой. Оказалось, что это сделали мальчики, на которых тоже были мундирчики с двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных удивительно часто.

Должно быть, Митя заметил, что я оробела — почему бы иначе он предложил мне руку. Я приняла, и мы превосходно прошли между столиками, за которыми сидели разряженные мужчины и женщины, встретившие нас, как мне показалось, пренебрежительно-равнодушно. Но мне было уже безразлично, как они встретили нас, тем более, что меня вел под руку Митя. Я села, оправила платье и тоже посмотрела вокруг себя пренебрежительно-равнодушно. В ресторане было несколько залов, и я немного пожалела, что мы не заняли столик в соседнем — там были зеркальные стены. Лысый официант с застывшим морщинистым лицом подал нам карту. Я заказала — и это тоже сошло превосходно, между прочим, отчасти потому, что Митя, кажется, и сам не знал, кто из нас должен был заказать обед, или не придавал этому никакого значения.

Но дальше начались неудачи. Прежде всего мне совершенно расхотелось есть, так что когда официант подал закуску, я с трудом заставила себя проглотить немного салата. Суп пошел легче, но протянув руку за солью, я опрокинула одну из многих рюмок, стоявших подле моего прибора, и проклятая рюмка на тонкой высокой ножке разбилась. Митя засмеялся и сказал: «К счастью». Я тоже засмеялась, но покрас-

нела, и свободная, уверенная манера, с которой я только что разговаривала, равнодушно поглядывая вокруг, мгновенно исчезла и на смену ей явилось оцепенение. Я оцепенела. В это время официант принес утку.

Утку с яблоками я заказала оттого, что у других блюд, указанных в толстой кожаной карте, были какие-то сложные загадочные названия. Это вышло удачно, тем более что утка оказалась замечательно вкусной. Но съев свою порцию, я почему-то внимательно посмотрела на официанта. Это был безотчетный взгляд, во всяком случае не относившийся к нашему обеду. Но поняв его по-своему, официант немедленно поднес мне блюдо с оставшейся уткой. Нужно было взять ещё кусок или отказаться — я не сделала ни того, ни другого. Склонившись над столом, я водила ножом по пустой тарелке, в то время как официант все стоял и стоял подле меня с ничего не выражавшим лицом. Наконец, так и не дождавшись от меня ни слова, официант отошел. На эстраде в глубине зала появился оркестр, заигравший известный в те годы романс «Прочь, тоска, уймись, кручинушка». Больше я не смотрела на официанта.

В общем, я была так потрясена собственным поведением, что не сразу заметила странную перемену, происшедшую за нашим столом. Только что Митя оживленно рассказывал о съезде, на который, оказывается, приехало тысяча пятьсот человек. Только что, к моему изумлению, он подсмеивался над этим съездом, который должен был, мне казалось, произвести переворот в медицинской науке...

И вдруг он замолчал, побледнел. Я обернулась...

Право, это было похоже на сон — и то приснившийся не теперь, а давным-давно, в Лопакхине, еще когда была жива мама. Раевский под руку с Глашенькой выходили из соседнего зала.

Я с ужасом взглянула на Митю. Брови его нервно поднялись, губы сжались! Но он не отозвал Раевского — слава богу, палка была оставлена внизу, у швейцара, — не окликнул Глашеньку. Сама не знаю почему, но я вдруг поняла, что он был в каких-то новых, холодных отношениях с нею, и тем не менее глубоко поразился, увидев ее с Раевским.

Между тем Глашенька шла улыбаясь, и Раевский, у которого было сытое, довольное лицо, вел ее с хвастливо-самоуверенным видом. А она... Как я ни презирала ее, но должна была сознаться, что в этот вечер она была необычайно красива! Гладко причесанные на прямой пробор волосы открывали прекрасный лоб, прямой и чистый. Широко расставленные темные глаза блестели на полном, слегка порозовевшем лице. Она была в черном бархатном платье, по-модному длинном, почти до земли, и на открытой шее виднелось агатовое ожерелье — нарочно, чтобы подчеркнуть белизну этой прямой красивой шеи.

Митя мрачно проводил их глазами — они прошли довольно близко, но, кажется, не заметили нас, — и наступило молчание. Я что-то спросила, он промолчал. Наконец он поднял голову, и я увидела то почти физическое усилие, с которым он вернулся ко мне и к нашему разговору.

— О чем, бишь, мы говорили? — немного искусственным голосом спросил он. — Ах, да! О съезде. Так вот как это начнется: нарком опоздает, и Николай Васильевич, приняв государственный вид — иногда это у него выходит, — объявит, что ему особенно приятно видеть этот съезд в Ленинграде. О том, что еще приятнее для него было бы увидеть его в Чеботарке, он, разумеется, не скажет ни слова. Потом... О, потом Николай Васильевич скажет что-нибудь в этом роде...

И взявшись с комически-гордым видом за воображаемую бородку, Митя сказал голосом Николая Васильевича:

— Итак, мы можем сказать, что в нашей микробиологической хате зажегся научный огонек, и этот огонек будет тем светочем, на который со всего Советского Союза товарищи по науке сбегутся, як барани.

Наш обед кончился, и, вероятно, мне полагалось первой встать или каким-нибудь другим образом намекнуть, что пора итти, но я растерялась от волнения и почему-то все ждала, что Митя скажет: «Ну, Таня, пойдем».

Ничуть не бывало! Он заказал вино и налил мне и себе.

— За наше Лопахино!.. А странно все-таки, что когда-то, Танечка, я вас чуть не убил, — весело сказал он. — Бог мой! Как мне запомнилась каждая мелочь! Вы были в потертой плюшевой жакетке, «бывшей» зеленой, платок крест-накрест завязан на груди, и один валенок упал в снег, когда я взял вас на руки. Вы знаете, что я решил стать врачом у вашей постели?

— Да ну?

— Я хотел быть судьей, а когда убили отца — адвокатом. Но когда я увидел, как вы умирали, решил, что стану врачом. Больше того, милый друг! Дал слово, что если вы умрете, я покончу с собой! Но вы, как сказал Генрих Гейне, «прошли мимо и оставили меня в живых». Что же еще оставалось мне делать, доктор, — серьезным голосом спросил Митя, — если не посвятить себя медицине? Я был потрясен загадкой вашего выздоровления, и вот...

Он допил вино и встал.

— Ну что ж, пойдемте, Таня, — сказал он, совершенно как я ожидала.

56

•На съезде

...У подъезда Филармонии была толкотня, и, насилу пробравшись в вестибюль, я сразу поняла, что нечего и думать попасть на съезд без билета. Машка Коломейцева помогла мне. Мы встретились в вестибюле, она спросила, почему у меня такой постный вид, подхватила под руку и сказала усатой, злой контролерше:

— Нам не нужно билетов. Мы подаем.

Контролерша сердито кивнула, мы прошли, а когда, давась от смеха, я спросила — что подаем? — Машка беззаботно махнула рукой и сказала:

— Ах, не все ли равно.

Съезд открылся ровно через десять минут после того, как мы заняли чьи-то чужие кресла, на которых лежали бумажки с загадочными буквами ЧОБ — член организационного бюро, как догадалась Машка. Совершенно такой же, как всегда, Николай Васильевич появился за столом президиума — немного сгорбленный, седой, лысый, милый, в потертом пиджаке и модном галстуке, который, тоже как всегда, был завязан криво. Он объявил, что нарком где-то задержался — таким образом, митино предсказание подтвердилось — и что поэтому, «в ожидании его приезда» следовало бы начать работу. Машка прошептала:

— В ожидании или не дожидаясь?

Я толкнула ее и стала слушать.

В общем, Николай Васильевич произнес совершенно другую речь, чем та, которую я накануне услышала от Мити в ресторане «Донон». Он перечислил обширные задачи, стоявшие перед советским здравоохранением в связи с пятилетним планом, и широко, со знанием дела, обрисовал современное положение в нашей практической и научной медици-

не. Правда, в конце он все-таки упомянул о «микробиологической хате» — и Машка не поняла, почему я гримасничаю, стараясь удержаться от смеха.

Потом Николай Васильевич предложил почтить вставанием память «выдающихся деятелей, которые были душой предшествующих съездов», и начались доклады... Машка не давала мне слушать. То она, как глухонемая, при помощи пальцев, разговаривала с кем-то на хорах, то смеялась над знакомым студентом, энергично записывавшим выступление наркома, которое назавтра должно было появиться в газете. То кокетничала одновременно с тремя молодыми людьми, сидевшими в разных рядах за нами.

— Техника, да? — смеясь, спросила она и стала учить этой технике меня, но через пять минут соскучилась, заявила, что у меня нехватает «серьезного, ответственного отношения к делу», и выдумала новую игру: стала писать знакомым студентам анонимные записки — глупые, но довольно смешные.

— Кто это? — спросила она, когда Митя, которого я до сих пор не видела, появился на эстраде — не за столом президиума, а в глубине, на ступеньках справа. Я ответила:

— Доктор Львов.

— Ты его знаешь?

— Немного.

— Какой интересный!

— Ты находишь?

— Безумно интересный, — сказала Машка. — Давай напишем ему.

— Ты сошла с ума!

— Ну ты напиши, миленькая, дорогая! Хоть два слова! Я хочу, чтобы он знал, что ты здесь. А потом ты нас познакомишь.

— И не подумаю.

— Не познакомишь?

— Да нет, могу познакомить, но зачем же писать?

— А вдруг он уйдет! Ну, пожалуйста! Что тебе стоит?

И Машка почти насильно всунула мне в руки карандаш и бумагу.

— Что же писать?

— Все равно. Два слова!

...И прежде, особенно в Лопахине, случалось, что на меня находило такое чувство беспричинного счастья, что я должна была убежать куда-нибудь, чтобы под открытым небом «выкричать» свою радость. Я прыгала, пела, бросалась на землю, «слушала тишину» и т. д. Это были минуты, когда я была твердо, безусловно уверена, что меня ждет самое лучшее, самое прекрасное в жизни. Именно это чувство вдруг овладело мной, когда я взялась за карандаш, чтобы написать Мите. Что-то радостное зазвенело в душе, откликаясь на сиянье хрустальных люстр, на строгость белых колонн, на всю праздничную нарядность великолепного зала, — и вместо двух слов я написала Мите бог знает что! Какой-то длинный, запутанный, восторженный вздор, в котором были даже стихи, не мои, разумеется, а Уткина, которым я тогда увлекалась.

С любопытством зажмурив один глаз, Машка покосилась на записку, сказала «ого!» и, сложив записку, написала на обороте: «Доктору Львову».

— Кстати, он уже приват-доцент.

— Нет, лучше — доктору, — подумав, ответила Машка, и, прежде чем я успела опомниться, моя записка пошла гулять по рядам, приближаясь к Мите. Некоторые оборачивались с недоумением, и тогда Машка так энергично начинала показывать, кому предназначается записка, что

сидевший рядом с нами маленький старичок в пенсне, наконец, потерял терпение и прошипел:

— Пожалуйста, тише.

Между тем, Николай Васильевич, немного при́встав, сказа́л:

— Слово для доклада имеет профессор Крамов.

Движение интереса пробежало в переполненном зале, и Крамов, бледный, с пухлыми щечками, прекрасно одетый, держа в руках один узкий листок бумаги, поднялся на кафедру и выжидательно склонил голову набок...

Разумеется, теперь я довольно ясно представляю себе, какое место занял этот съезд в развитии советской науки. То были годы «кризисов» — недаром знаменитый хирург Ф. выступил с «Хирургией на распутье», а другой, не менее знаменитый О., ответил ему книгой «Хирургия в пути». Смелая «Теория медицины» С., о которой через два-три года заговорили, как о выдающемся явлении, лишь недавно появилась в виде небольшой статьи, напечатанной среди других статей, заслуженно и давно забытых. Уже намечался в те годы тот сложный, плодотворный путь, по которому методы точных дисциплин, проникая в биологию, создавали основы для новых, еще не известных наук. В практической медицине шли горячие споры о том, что определяет успех лечения — наука или инстинкт врача. На многочисленных диспутах «клиническое мышление» противопоставлялось «лабораторному», и этим вопросом занимались решительно все — начиная с известного профессора О., заявившего, что диагноз нужно ставить «не только головным, но и спинным мозгом», и кончая студентом, пишущим первую историю болезни. «Что такое медицина — искусство или ремесло по ремонту человеческих машин?» — под таким названием незадолго до съезда в Доме ученых состоялся диспут, на котором выступали самые видные профессора нашего института. Профилактическое направление советской медицины — кстати, этой теме было посвящено на съезде выступление наркома — искало и находило новые организационные формы, и страницы медицинских журналов были полны горячими спорами о диспансеризации, амбулаториях, борьбе с частной практикой и т. д. Но главной мыслью, вокруг которой старое и новое сталкивалось с особенной силой, была мысль о науке, как коллективном процессе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно эта мысль противопоставила два пути развития науки — путь рассчитанной, подвижной организации, работающей над серией перекрестных опытов с целью скорейшего открытия истины, и путь исследователя-одиночки, оглядывающегося по сторонам, в надежде подобрать какой-нибудь, хотя бы незначительный, но еще не известный факт. Именно эта мысль опрокинула устаревшее представление о том, что наука движется вперед с помощью осторожных прибавлений. И наконец, именно она провела отчетливую границу между теми, кому казалось, что наука зашла в тупик, и теми, кто утверждал, что в тупик зашла не наука, а авторы «кризисов», отражающие на страницах книг лишь собственную душевную драму. Среди этих последних были видные ученые — с тем большим упорством настаивали они на бесплодной идее «науки ради науки».

«Нашему делу нехватало борьбы, — писал в те годы ученый, страстно поддерживавший мысль «о коллективном научном процессе». — И борьба началась».

Он был прав. Именно тогда началась упорная борьба за советскую науку, за ясность ее материалистических позиций, за ее целеустремленное, практическое направление — борьба, продолжавшаяся долгие годы.

Разумеется, эта борьба была неотделима от всего, что происходило в стране, и эта теснейшая, неразрывная связь отчетливо ощущалась обеими сторонами, как бы ни стремилась одна из них укрыться за «аполитичностью» науки. Нужно ли упоминать, какие надежды возлагались в те годы на молодежь, из среды которой должны были появиться — и появились — новые деятели новой советской науки?..

57

Доклад

Согласно повестке дня, за Крамовым должен был выступить какой-то профессор Загорский, занимавшийся «территориальным распределением кишечных инфекций», и Машка, соскучившись, стала уговаривать меня пойти на новый фильм «Сумка дипкурьера», который был, по ее мнению, вершиной киноискусства, — когда Николай Васильевич, хитро моргнув, объявил, что слово имеет приват-доцент Дмитрий Дмитриевич Львов. Это было неожиданно — ведь Митя сам сказал, что «старички» перенесли его доклад на последнее заседание! Потом я узнала, что это устроил Николай Васильевич — среди главных фигур съезда он один принадлежал к «молодым», несмотря на свои шестьдесят три года.

Митя был немного бледен — волновался. С первых же слов, широко раскинув руки, он взялся за кафедру, и долго не отпускал ее, точно боялся, что отпустит — и за тридевять земель улетит от «симбиоза и антагонизма при вирусных инфекциях»: так сложно назывался его доклад. Он начал медленно, неуверенно, стараясь привыкнуть к огромному залу, в котором еще слышался сдержанный шум голосов. Резкий свет лампочки, вставленной куда-то в самую кафедру, снизу падавший на лицо, раздражал его. Но с каждой минутой голос становился спокойнее, фразы — короче...

...В сущности говоря, главная митина мысль была очень проста: никаких сомнений в том, что вирусы, попадая в организм человека, неизбежно встречаются с микробами. Каков же результат этой встречи, происходящей в течение тысячелетий? И на основании опытов, сведенных в таблицы, которые он последовательно развешивал одну за другой на доске, он доказал, что вирус, который по своей природе в сотни раз меньше бактерии, выработал способность размножаться в бактериальной клетке...

— Смелый человек, — сказал за моей спиной чей-то голос.

— Или не знает Крамова, — с иронией отозвался второй.

Я обернулась. Это были военные врачи, пожилые, в очках, с умными лицами.

— А вам не кажется, что он совершенно прав?

— Да, может быть... Но выступить против Крамова? Вы знаете Крамова?

— Нет.

— Дьявольский характер! Смесь Талейрана с Иудушкой Головлевым!

Я шепнула Машке, не знает ли она, кто такой Талейран, и она ответила, что, кажется, какой-то монгольский владыка.

— Дура, то Тамерлан.

— А-а...

Но зато кто такой Иудушка Головлев, я прекрасно знала. Дьявольский характер... И найдя в президиуме Крамова, я долго смотрела на его бледное, почти скучающее личико. Он вежливо слушал Митю...

Бывают в жизни счастливые минуты, когда не только явные, очевид-

ныс, но и тайные, скрытые силы ума и сердца соединяются в одном общем усилии. Когда-то мелькнувшая и давно забытая мысль открывается с неожиданной стороны, привычные представления возникают в новых, еще неведомых формах, и сознание, озаренное причудливым светом вдохновения, стремится заглянуть в будущее—и не только заглянуть, но почти предсказать его с помощью фактов, еще никем и никогда не открытых.

Митя говорил — и что-то глубоко поэтическое было в этом стройном течении мыслей, на три четверти новых — я была в этом уверена — и для него самого. В самом деле, только вчера я сказала ему, что старый доктор думал, что вирусы являются особой формой существования белка. А сегодня... Какими смелыми, какими странными доказательствами он пытался подтвердить правоту этой мысли. Он привел последние слова Мечникова: «я рад, что умираю в такое время, когда с обыкновенной бактериологией осталось мало что сделать, так как будущее принадлежит бактериологии невидимых микробов». Он заявил, что здравоохранение неизбежно зайдет в тупик, если изучение вирусов не станет делом государственного значения...

— Вспомните эпидемию гриппа, охватившую в девятнадцатом-двадцатом годах весь мир и погубившую более двадцати миллионов человеческих жизней, — сказал он. — И остановитесь хоть на мгновение перед этой чудовищной цифрой! Сравните с этим бедствием мировую войну, унесшую лишь девять миллионов! И подумайте — какое значение в жизни человечества приобретает та скромная профессия, которой мы отдаем наши силы!

Я слушала с увлечением и не заметила, когда и почему в зале стало заметно меняться настроение — кажется, в ту минуту, когда Митя поставил точку на стоявшей позади кафедры школьной доске и объявил, что эта точка — то, что мы знаем о вирусах, а вся доска — это то, чего мы не знаем. Чуть слышный смехок раздался здесь и там, когда он потребовал, чтобы во всех институтах были созданы вирусные отделения. Этот смехок усилился, когда он предсказал, что отсутствие метода борьбы с вирусными болезнями может привести к неисчислимым потерям. Он заявил, что загадку многих неизлечимых болезней следует искать в направлении, указанном вирусной теорией, — и чей-то голос на хорах иронически протянул:

— Не-у-же-ли?

Митя побледнел. Он стоял, подняв голову, и мне было страшно, что сейчас он обернется и увидит пухлое, бледное личико Крамова, на котором появилось злорадное выражение. Но Митя не обернулся.

— Болезнь, которую трудно распознать и легко спутать с другими, — сказал он. — Которая подкрадывается незаметно. От которой умирает каждый десятый. Против которой нет причинного лечения, потому что она возникает при условиях, которые пока еще невозможно предусмотреть. Болезнь загадочная и беспощадная, социальное значение которой переоценить невозможно. Вы узнали, я полагаю, о какой болезни я говорю? Так вот — для меня и моих сотрудников вирусная природа рака не вызывает ни малейших сомнений..

Вот когда в зале раздался уже не прежний сдержанный, а дьявольский, оглушительный шум! Напрасно мы с Машкой шипели и шикали, напрасно Николай Васильевич громко ударял по звонку. Шум, вперемежку с возмущенными возгласами, становился все громче.

— Соблюдайте регламент!

— Бредовые идеики!

— Время!

— Прекратить болтовню!

Старичок, сердившийся на меня и Машку, долго оглядывался с изумлением, как бы не веря ушам, и вдруг сам закричал оглушительно:

— Вздор!

58

Признание

Николай Васильевич объявил, что прения переносятся на следующее заседание; все стали уходить, и по оживленным лицам я видела, что говорят о Мите. Он еще был на эстраде, снимал таблицы, собирал бумаги.

Мне хотелось сказать ему, что он прочитал превосходный доклад, но это было невозможно, потому что Машка все не уходила — должно быть ждала, что сейчас мы пойдем кокетничать с Митей.

— Маша, милая, не сердись на меня... Мне нужно поговорить с ним. Ты... Я тебя в другой раз познакомлю.

Я боялась, что она очень обидется. Но она только значительно посмотрела на меня и сказала:

— А-а... Понимаю.

Потом сухо простилась и ушла. Без сомнения, ей казалось, что никогда в жизни она не приносила большую жертву.

— Дмитрий Дмитрич...

Я остановила его, когда он спускался с эстрады.

— А, Танечка! Добрый вечер.

— Добрый вечер... Я хотела сказать вам... Это было замечательно то, что вы говорили. Для вас, разумеется, не имеет значения, что я... Но я с вами согласна.

— Спасибо.

И Митя крепко пожал мою руку. Когда я остановила его, у него было недовольное лицо с вздернутыми — как всегда, когда он сердился, — бровями. Теперь брови опустились пониже.

— И спасибо за вашу записку, — прибавил он, улыбнувшись. — Я прочел — и позавидовал.

— Чему же?

— Не знаю. Тому, что вы такая милая. И любите стихи. И молодая. Это был провал, да? Я увлекся и сказал больше, чем хотел. Это едва начатая работа.

Я сказала:

— Это был блестящий успех.

— Фью... — он засвистел. — До сих пор я не замечал у вас склонности к парадоксам. А где Андрей?

Митя сказал это с таким выраженьем, как будто не прошло и десяти минут, как он расстался с Андреем.

— Андрей? Он в Ленинграде?

— Как, вы не знаете? Он сегодня приехал. Да он здесь где-нибудь! Мы условились встретиться после доклада.

Сейчас я увижу Андрея! Это было так, словно я своей рукой мгновенно, болезненно приоткрыла сердце, заглянула и поскорее отвернулась, чтобы не видеть всей той путаницы противоречивых чувств, которыми было полно мое сердце.

— Куда же он девался, не пойму, — оглядываясь, говорил между тем Митя. — Мы только что поздоровались — и Николай Васильевич объявил мой доклад. Я ничего толком и спросить не успел! Даже не знаю, где он остановился. Да ведь он спрашивал о вас, — вдруг вспомнил

Митя. — Я же ему сказал, что вы на съезде! Неужели он не подошел к вам?

— Нет.

— Странно! Может быть, вы его не узнали?

Я засмеялась.

Митя догнал меня — это было на лестнице — и заглянул в лицо.

— Вы что-то скрываете от меня?

— Да нет же!

— Ну, так он ждет нас в вестибюле!

Но в вестибюле было пусто. Только Машка, стоявшая перед зеркалом, небрежно накинула макинтош на плечо и вышла, послав мне равнодушно-пренебрежительный взгляд.

— Ну, значит, он пошел прямо ко мне, — сказал Митя. — Он знает, что я живу в «Астории».

— В «Астории»?

— Да, я переехал из «Европейской». Вы не торопитесь?

— Нет.

— Тогда пойдем, хорошо?

... Было еще совсем светло, когда мы вышли из Филармонии. Давно пора было кончиться белым ночам, и коренные ленинградцы считали, что они уже кончились. Но на улицах был еще неопределенный, рассеянный свет белых ночей, всегда казавшийся мне каким-то тревожным.

— Он очень похудел, вот что меня огорчило! Глаза огромные, шея тонкая, ежик торчит! Мне показалось, что он чем-то расстроен, я спросил, и он ответил, что нет. Я его люблю. А вы, Таня?

— Очень.

... У подъезда «Астории» стояли, громко разговаривая, врачи, один из них окликнул Митю, он отозвался, но не остановился, показав очень вежливо, что он — не один.

— Простите, Танечка. Я подойду к портье.

Портье сказал, что Митю спрашивали, но давно, днем, часа в четыре.

— Что за вздор! Куда же пропал Андрей?

— Может быть, он ждет вас в номере?

— Да нет же! Ключ у портье.

— Так, может быть, он зашел...

Митя сумрачно посмотрел на меня.

— Тоже нет. Она уехала, — не называя Глашеньку, резко сказал он. — Ну, что ж, подождем. Выпьем кофе.

Мы зашли в ресторан. Ничего особенного не было в том, что Андрей по какой-то причине, которая окажется, вероятно, совершенно ничтожной, ушел из Филармонии, не дождавшись брата. Но он не подошел ко мне — вот это было, действительно, странно!

— Знаете, какой у вас вид? — Митя сложил кулаки, как трубу. — Как будто вас приговорили к расстрелу. Какая вы милая! Вы так волнуетесь за Андрея? Вот я ему расскажу! А я выпил кофе и успокоился. Еще два стакана, — сказал он официантке.

— Спасибо, не хочу.

— Выпейте.

— Не могу, Дмитрий Дмитрич.

— Ну что ж, тогда один. — Официантка ушла. — У меня всегда становится волчий аппетит от волнения... Нет, вот у вас какой вид, — сказал неожиданно Митя, — как будто вы прекрасно знаете, где он!

Это было сказано как раз в ту минуту, когда я подумала, что, мо-

жет быть, мы с Андреем случайно разошлись в Филармонии и он, после съезда, поехал ко мне. Не удивительно, что я покраснела.

— Нет, не знаю. Но мне пора. Может быть, вы проводите меня, Дмитрий Дмитрич? Кстати, мы спросим, не заходил ли Андрей ко мне в общежитие.

... Это нужно было сделать давным-давно — рассказать Мите о том, что произошло в Анзерском посаде. Это нужно было сделать в первый же день, в первую минуту, когда я увидела Митю. Мне не пришлось бы теперь объяснять, почему Андрей не мог не заехать ко мне! «Так сделай это сейчас», — я мысленно убеждала себя. «Сейчас? Ни за что!» — «Почему же?» — «Потому что Митя спросит — как же случилось, что я до сих пор ничего не сказала ему».

И все время, пока мы ехали на ночном, быстром трамвае, и говорили о митином докладе, и смотрели на Неву, по которой не плыл, а как бы влачился туман, на баржи, которые, едва вырисовываясь, тоже как бы влачились в тумане, — все время мне думалось: «Что я отвечу ему?».

Было уже без четверти двенадцать, когда мы пришли в общежитие. Я разбудила швейцара, который крепко спал в кресле у дверей своей комнаты, сердито выставив длинные, тонко закрученные седые усы, и он сказал, что ко мне в пятом часу заходил «приличный молодой человек».

— А сейчас не заходил? Вечером?

— Вечером — нет. Кстати, сейчас не вечер, а ночь, и через десять минут выходные двери будут закрыты. Что тогда станет делать доктор Таня?

Я сердито ответила, что доктор Таня влезет по водосточной трубе. Расстроенные, не зная, что делать, мы стояли в подъезде, и Митя уже собрался ехать к себе, когда швейцар вдруг вспомнил, что «приличный молодой человек» оставил записку. Кряхтя, он отправился к своей комнате и долго шарил там, роняя стулья и на кого-то сердясь. Потом вернулся с маленькой запиской в руке.

«... Таня, родная моя, как видишь, я в Ленинграде. Твои соседки сказали, что ты на кафедре, а если не на кафедре — у Нины, а если не у Нины — у Лены Быстровой. В общем, если я тебя не найду, увидимся на съезде. Но до съезда еще четыре часа — чертовски много! Я привез тебе сто один подарок. Милая, дорогая, как я тосковал без тебя! Твой Андрей».

Я прочла эту записку вслух (без последней фразы), и Митя мрачно спросил — кто такие Нина и Лена.

— Мои подруги.

— Он знает их?

— Нину — да. Еще по Лопахину. И вы ее знаете.

— Не помню. Так, может быть, он был у Нины?

— Она еще не вернулась с каникул.

Митя закурил.

— Нет, с ним что-то случилось, — помолчав, сдавленным голосом сказал он. — Что же делать?

— Можно было бы позвонить Лене по телефону. Но последнее время у них снимают трубку, очень болен отец. Дмитрий Дмитрич, может быть, мне съездить к Лене? У нас условный знак, я постучу в стенку, и она мне откроет. А вы поезжайте к себе.

— Ну что вы? Поедьте вместе.

— Это очень далеко, на Международном.

— Все равно.

У него на щеке билась жилка — как у Агнии Петровны, когда она

волновалась. Мы сели в трамвай, и он сердито сказал:

— Нет его у Лены.

— Дмитрий Дмитрич, уверяю вас, что с ним ничего не случилось.

— Вы не знаете Андрея. Он не мог не подождать меня после доклада.

— Я знаю его лучше, чем вы думаете.

— Тем более. Вообще, он был какой-то странный.

— Ну вот... Придумайте еще что-нибудь.

— Я не придумываю. Это проскользнуло у меня в сознании, но как-то смутно, потому что я должен был через несколько минут выступить. А теперь я вспоминаю. Он был очень расстроен.

— Чем же?

— Не знаю. Он побледнел, когда мы заговорили о вас, — вдруг вспомнил Митя. — Да, да! Он побледнел и спросил: «Так она тебе ничего не сказала?» И как раз в эту минуту Николай Васильевич объявил мой доклад. Что вы должны были сказать мне, Таня?

Я ничего не ответила. Мы сошли с трамвая. Парадная дверь в доме, где жили Быстровы, была уже закрыта, Митя позвонил. Дворничиха, шлепая туфлями, показалась в темном подъезде.

— Танечка, я вас очень прошу. Объясните, в чем дело?

Мы прошли темный пролет лестницы между первым и вторым этажами. Я спросила:

— Андрей переписывался с вами последнее время?

— Нет. Я получил от него только одно письмо — перед самым отъездом из Москвы.

— Ну, вот...

Лампочка горела на третьем этаже.

— Танечка, я вас умоляю. Я не пойду дальше. Что изменится от того, что мы узнаем, что днем Андрей был здесь и справлялся о вас?

— А что изменится от того, что я...

Теперь мы снова были в темном пролете, а там, через несколько ступенек, опять начинался светлый, и на черной, обитой клеенкой двери был виден голубой почтовый ящик Быстровых.

— ... от того, что я скажу вам, что мы с Андреем хотим пожениться.

Это было глупо, что я заплакала, но ничуть не смешно, и по митиному лицу я видела, что он и не думал смеяться. Он взял меня за руки, усадил на подоконник — на лестнице были низкие подоконники — и молча сел рядом. Я редела, довольно долго, минут десять.

— Ну вот, а теперь рассказывайте, — ласково сказал он, когда я перестала, и, как маленькую, погладил по голове. — Почему вы так долго молчали? Почему вы плачете? И главное — где Андрей?

— Да не знаю я, где Андрей!

— Ш-ш... Ну, ладно, все равно! Не провалился же он в самом деле сквозь землю! А теперь...

Он взял мои руки, крепко пожал и хотел поцеловать, но я отняла.

— Поздравляю вас от всей души, милая, хорошая Танечка! Это великолепно, что вы выходите за Андрея, потому что вы оба какие-то светлые, чистые и будете превосходной парой. Но почему этот болван молчал — просто загадка! Если бы у меня была такая невеста, я звонил бы о ней на каждом углу.

Я подняла глаза: у него было доброе лицо, и голос звучал сердечно и просто. «Если бы у меня была такая невеста»... У меня снова стали капать слезы, сперва две-три, а потом сразу много — так что пришлось встать и отойти в сторону, чтобы справиться со слезами.

— Спасибо, Дмитрий Дмитрич. Но все это... далеко не так просто.

Вы даже не можете себе представить, как хорошо отношусь я к Андрею. Но в тот день, когда я получила от него письмо... Это было в Анзерском посаде... Письмо, в котором он спрашивал меня — разделяю ли я его чувства... я все-таки не решилась ответить «да», хотя никогда еще не встречала человека лучше, чем он, и часто думала, что, может быть, никогда и не встречу.

Кто-то поднимался по лестнице, не спеша, и я говорила все тише, наконец шопотом, так что Митя должен был встать и подойти поближе, чтобы услышать меня...

— Но когда я, наконец, решила, что скажу ему «нет», за мной гл-бежали, потому что ему стало плохо. И я... Он был присмерти, и я не могла... Это вышло случайно. Но вы не скажете ему, что это вышло случайно? Я бы сказала сама, я бы тысячу раз написала ему, но мне было страшно, что ему покажется оскорбительным, что я его пожалела. Вы знаете, Дмитрий Дмитрич, когда я зашла к нему перед отъездом, он сказал, что просит меня подумать об этой минуте, когда я пожалела его. Но что же я могла придумать, не огорчая и не оскорбляя его? И вот теперь, когда он приехал...

Я замолчала — не потому, что было сказано все, а потому, что эти слова были так ничтожны, так жалки в сравнении с тем, что я чувствовала в эту минуту. И так непохожи на правду!

Митя грустно смотрел на меня.

— И вы думаете, что вам это удастся?

— Что удастся?

— Да вот... Не выйти за Андрея.

— Дмитрий Дмитрич...

— Пожалуйста, не думайте, что я шучу, — поспешно сказал Митя, — или не понимаю, что произошло между вами. Но ведь вы любите его, это же совершенно ясно.

Я сказала растерянно:

— Что?

— Да, да, — с глубоким убеждением повторил Митя. — У вас характер сложнее, чем у него, вы будете долго сомневаться и мучить его и себя, и кончится только тем, что у вас пропадут самые лучшие годы. Нет, Танечка, вы... — Он взял меня за руки, но в это мгновение где-то очень близко от нас, за стеной, послышался крик. Дверь распахнулась, и Лена Быстрова, которую я не сразу узнала, растрепанная, в розовом ночном халате, выбежала на площадку.

— Лена!

Она обернулась — и бросилась ко мне.

— Это ты, Таня? Как хорошо, что ты пришла. Я хотела вызвать неотложную помощь, а отец... Ему очень плохо. Идем, идем скорее! Он не отпускает меня!

Простая случайность

Мы стояли в передней, Лена рассказывала, и ничего нельзя было понять — ни того, что случилось утром, когда Василий Алексеевич порезал палец и три часа нельзя было унять кровь, ни того, что случилось сейчас, ночью, когда почему-то понадобилась неотложная помощь. Мария Никандровна ушла в аптеку и не возвращалась что-то очень долго, Василий Алексеевич уснул и вдруг стал вставать и бороться с Леной, которая заставляла его лечь. С болезненным возбуждением, в котором было что-то беспомощно-торопливое, Лена рассказывала, путалась,

искала анализы — я смотрела на нее во все глаза, я не узнавала ее. Да, я ничего не поняла до тех пор, пока не вошла вслед за Леной в столовую — вошла и остановилась, в изумлении глядя на смутно белевшую постель, на стриженую костлявую голову, неподвижно лежавшую на высоких подушках.

Мне не раз случалось видеть, как страшно болезнь изменяет людей — например, на одной курации мне попался больной, лицо которого менялось почти ежечасно. Но это была не перемена — то, что я увидела, подойдя к больному. Это было полное, окончательное исчезновение прежнего, спокойного, медленного, задумчивого, удивительно определенного в каждом движении, в каждом слове человека, и появление нового человека — высохшего старика, с квадратным черепом, кости которого отчетливо проступали под натянувшейся кожей — причем, эта перемена произошла за несколько дней. При электрическом свете желтый цвет лица — у Василия Алексеевича была желтуха — обычно почти незаметен. Но уже не желтый, а странный, зеленый отсвет лежал на истомленном лице, на узких, беспомощно лежавших вдоль тела руках. И этот умирающий человек открыл глаза, когда мы вошли, и спустил на ковер тонкие зеленые ноги, и Лена стала упрашивать отца, и было видно, что она старается скрыть от него то страшное, безнадежное, что против воли сквозило в каждом ее движении, в каждом слове.

— Папочка, не нужно, дорогой. Вот доктор пришел, сейчас он тебя посмотрит. Хочешь пить?

Василий Алексеевич покачал головой. Рука, которой он опирался на постель, дрожала.

— Слабость... проклятая, — с трудом пробормотал он.

Еще прежде, в передней, я объяснила Лене, что Митя — врач, и она как-то бледно, бессознательно улыбнулась, когда Митя пошутил, что он всегда является кстати. Теперь она умоляюще смотрела на него (Митя ласково уложил больного и сел подле его постели), и мне стало страшно, когда в этом измученном взгляде мелькнула надежда. Шопотом она попросила у Мити разрешения остаться. Он покачал головой.

— Ради бога!

— Нет, нет.

Я увела Лену.

Шел третий час, когда мы ушли от Быстровых. Больной уснул, сказав Лене, что если бы его прежде лечили такие врачи, он давно избавился бы от этой несносной желтухи. Выходная дверь была заперта, дворничиха, которую Митя насилу поднял с постели, узнав, из какой мы квартиры, спросила сочувственно:

— Ай скончался?

Молча мы вышли на Международный — пустой и темный. Ночной ветерок мягко нес по мостовой первые желтые листья. Пролетка стояла у аптеки, в окнах которой сонно просвечивали цветные шары.

— Я подвезу вас.

— Спасибо, мне ведь близко, вы знаете.

— Извозчик!

Мы сели. Я спросила Митю о положении больного, и он ответил сумрачно:

— Проживет несколько дней.

— Так это не желтуха?

— Нет. Вы помните симптом Курвуазье? У него рак поджелудочной железы и, очевидно, глубокий, с метастазами, потому что поражена и печень.

— Вы сказали Лене?

— Зачем? Она все понимает. Хорошая девушка, — прибавил он задумчиво.

— Очень!

Мы помолчали.

— Какая беспомощность, — вдруг сказал с горечью Митя, — какая жалкая беспомощность! Чувствовать этот ужас ожидания, который гонит от себя умирающий человек. Знать, что смерть приближается — неизбежно, неотвратимо, — и не уметь не только что остановить ее, но хотя бы облегчить мученья. Чорт побери! И подумать только, что едва я заговорил о природе рака, как полторы тысячи врачей освистали меня! Ну, ладно! Все еще впереди. Как вы полагаете, доктор Таня?

Доктор Таня ответила, что она согласна — все еще впереди. Извозчик повернул на улицу Льва Толстого.

— Ну-с, милый друг, а что мы станем делать с Андреем?

— Дмитрий Дмитрич... Мне кажется, что я должна... Мы встретимся, и я все расскажу ему. Как вы думаете?

Я сказала это с отчаяньем, голос зазвенел, и Митя внимательно посмотрел на меня. Какое-то странное движение прошло по его лицу — и меня сразу бросило и в холод и в жар. Неужели я выдала себя, и он понял, что я не могла, не имела права ответить Андрею «да», потому что... Но у Мити вдруг стало холодное, недовольное лицо, как всегда, когда он уставал, и я подумала с тоской: «Нет, не понял!»

— Сейчас поеду к себе в «Асторию», — сказал он, — а оттуда, если Андрей не пришел, прямо в главное управление милиции.

— Дмитрий Дмитрич, я буду звонить вам. Ваш номер двести двадцать четыре?

— Да.

— Часов в двенадцать?

— Пожалуйста.

— А если Андрей у вас, скажите ему, что я жду его. И буду ждать весь день. Никуда не уйду.

— Хорошо. Доброй ночи.

Я спала тревожно — все была виновата перед кем-то во сне, — когда соседки по комнате разбудили меня и, перебивая друг друга, стали рассказывать, что ко мне приходил посыльный в красной шапке.

— Зачем?

— Да письмо же принес!

— Какое письмо?

— У тебя в руках! Очнись, соня.

Я накинула пальто и спустилась в столовую — в столовой никого не было по утрам. Письмо было от Андрея.

«Дорогая Таня, ты, без сомнения, очень удивилась, не найдя меня в Филармонии. Я был и видел тебя. Когда ты прочтешь это письмо, я буду уже в поезде, еду в Москву, дела. В середине сентября вернусь в Анзерский посад. На съезде, кажется, не будет докладов, которые так уж интересуют меня. Впрочем, Митя обещал прислать стенограммы.

.. Что же случилось? Я вижу твое лицо грустное, с озабоченными глазами и слышу твой голос, произносящий эти слова: «Что же случилось?». Ничего особенного, дорогой друг. После твоего отъезда я каждый день уходил на Анзерку, а оттуда по каменистой — помнишь? — дорожке к оврагам, к варницам, и думал, думал о тебе. Да какое там думал! Я говорил с тобой, я перебирал каждое твое слово. И странно — мне стало казаться, что не одна, а две Тани были со мной в те прекрас-

ные, незабвенные дни. Одна, ответившая мне «да» и убеждавшая себя в том, что она не могла ответить иначе. И другая, ответившая «нет» и страдавшая, оттого что не решалась отнять у меня свое слово. Помнишь, когда мы расставались, я просил тебя подумать о той минуте, когда я был присмерти и ты пожалела меня? Уже тогда я чувствовал твое раздвоение, а потом, после твоего отъезда, увидел его так же ясно, как сейчас из окна гостиницы вижу высокий, узкий, темный двор — неправда ли, какие неприветливые дворы в Ленинграде?

Я написал тебе в Ленинград, ты не ответила, и мне впервые подумалось — она не любит меня. Я телеграфировал день приезда, номер вагона — я так надеялся, что ты встретишь меня! Никого не было на перроне — ведь я не сообщил Мите, что приезжаю, мне хотелось в первые минуты встречи быть только с тобой. Никого! И я снова подумал — она не любит меня».

Дальше полстраницы было зачеркнуто, и я разобрала только: «Не подумай, что я упрекаю». Потом снова шли отчетливые, твердые, написанные без колебаний строки:

«Я оставил вещи в гостинице и поехал к тебе — у меня не было ни малейших сомнений в том, что найду если не тебя, так хоть несколько слов от тебя. Но старый, смешной швейцар ответил, что ты не оставила записки и не сказала, когда вернешься домой. Вот, милая Таня! Когда я пришел на съезд и увидел твое оживленное, смеющееся лицо, такое далекое от всего, чем было полно мое сердце, — точно чья-то рука направила яркий свет фонаря на догадки, мерещившиеся мне в полутьме. Я понял, что обманывал себя — и обманывал лишь потому, что мне не хотелось верить печальной мысли — она не любит меня.

Потом я получил записку, которую ты послала Мите. На ней было написано «Доктору Львову», и кто-то передал ее мне. Ведь я тоже доктор Львов, тебе нужно было поставить инициалы. Не сердись, я прочел только несколько строк. У тебя было превосходное настроение — не скрою, что это болезненно укололо меня. Но я подумал о другом: она не сказала Мите о том, что произошло между нами в Анзерском посаде. Почему? И я ответил себе: потому что не любит меня.

Это было трудно — заставить себя подойти к Мите и спросить о тебе. Я подошел, спросил и понял — да, не сказала.

Вот и все! Я буду писать тебе. Иногда — если позволишь — я стану приезжать к тебе и спрашивать: «Все то же?» Я буду много работать — помнишь, мы говорили о том, что великие открытия приходят и из глухих деревень? Ты не должна думать, что я стал меньше любить тебя.

Всегда твой Андрей».

Бледная, взволнованная, размахивая этим письмом, в пальто, накинутом на ночную рубашку, я вбежала в вестибюль и закричала швейцару:

— Петр Францевич, дайте гривенник, скорее, скорее!

Сто лет он копался в старом, потрепанном портмоне, сто лет не отвечала станция — и кажется, не ответила бы еще сто, если бы я с отчаяньем не ударила кулаком по автомату.

— Дайте справочную Октябрьской дороги. Говорит ревизор.

Не знаю, какой добрый демон подсказал мне эти слова, но барышня, в любое время дня и ночи повторявшая «занято» в ответ на подобную просьбу, вдруг сказала:

— Даю...

— Когда отходит ближайший поезд в Москву?

— Почтовый? Через 20 минут.

Лишь на другой день я догадалась, почему Андрей нарочно поехал утренним, почтовым поездом, который больше суток шел до Москвы и которым не ездили даже студенты, получавшие 27 рублей стипендии в месяц. Он не хотел оставаться еще на целый день в Ленинграде. Но тогда, у автомата, я поняла лишь одно: еще двадцать минут — и я не увижу его. Не увижу, не скажу, что я одна во всем виновата. Не скажу, что записка, которая попала в его руки на съезде, была ничего не значащим вздором! Не скажу, что сама не знаю, как получилось, что я не ждала его, хотя мы условились, что он приедет на съезд.

Кажется, курсантам военных школ положено одеваться в полторы-две минуты. Я оделась быстрее. Девочки стали приставать с расспросами, я что-то ответила и, опрометью сбежав по лестнице, бросилась к площади Льва Толстого.

Нечего было и думать на трамвае добраться до вокзала за 20, теперь уже 15 минут! Такси в те годы не было и в помине. Но как раз накануне Машка Коломейцева рассказала мне об одном нашем студенте пятого курса, у которого рожала жена и который, растерявшись, выскочил на улицу, остановил первую попавшуюся машину и отправил жену в клинику Отто. Этот случай смутно вспомнился мне, когда, перебежав через площадь, я увидела издали приближающуюся по Большому проспекту машину. Остановить? И с бьющимся сердцем я пошла по мостовой навстречу машине.

— Что случилось?

— Товарищ шофер, мне нужно успеть на Октябрьский вокзал. Поезд отходит через 15 минут. Я вас умоляю.

Шофер был мрачный, небритый, в ушанке, надвинутой на лоб. Я сунула ему пять рублей — все, что у меня было. Он распахнул дверцу и сказал сердито:

— Садитесь.

...Сама не знаю, что я бормотала, заглядывая в окна, заходя наудачу в вагоны. Помнится, мне хотелось крикнуть «Андрей!», как в лесу. Мне казалось, что в жизни не может быть большего несчастья — я потеряла Андрея. Он уедет, не повидавшись со мной, расстроенный, оскорбленный, не зная, что я все-таки люблю его, хотя и не так, чтобы он был счастлив, бедный, дорогой, милый!

— Таня!

Он стоял в двух шагах от меня, на площадке вагона.

— Таня... Ты пришла!

Это было недолго — несколько мгновений, — когда я сердилась на него за то, что красная, растрепанная, я проталкивалась в проходах среди пассажиров, возившихся со своими вещами, за то, что я плакала, когда он увидел меня. Потом я бросилась к нему и сказала все сразу.

— Я пришла, потому что это невозможно, чтобы ты уехал, не повидавшись со мной. Я не хочу, чтобы мы так расставались! Ведь ты не станешь сердиться за то, что я плохо знаю себя? Мне нужно было написать тебе, но я боялась, что это будут холодные, принужденные письма.

На Андрее было какое-то старое позеленевшее пальто с лохматыми петлями, и я помню, что из-за этих петель один раз мне тоже захотелось плакать. Но все это — и что он так похудел, что на носу стали видны две беленькие параллельные полоски, и что, должно быть, Машенька перестала заботиться о нем, не обметала петли, — обо всем этом сейчас было некогда думать. До отхода поезда оставалось только три или четыре минуты!

— Конечно, ты прав, с моей стороны было просто подлостью не встретить тебя! Но это не потому, клянусь, что у меня в душе изменилось что-нибудь после того, как мы расстались в Анзерском посаде. Да, я ничего не сказала Мите, но только потому, что все покрылось туманом и отодвинулось, когда я вернулась в Ленинград, и еще потому, что были другие причины, о которых я тебе когда-нибудь расскажу. Или если не расскажу, все равно — за это ты не должен сердиться!

Нужно было просто снять вещи Андрея с полок и выбросить их через окно на перрон. Но это даже не пришло мне в голову — без сомнения потому, что я чувствовала себя виноватой. Для меня было наказанием то, что он уезжал, и вполне заслуженным, с которым я даже не пыталась бороться...

Я говорила и говорила, и уже усатый дежурный в красной шапке вышел и пронзительно засвистел, а я все еще говорила.

— Милая моя, родная, — наконец поспешно сказал Андрей, — спасибо, что ты пришла. Но все же я не хочу, чтобы ты думала, что связана тем, что сказала мне в Анзерском посаде. Мы будем переписываться, хорошо?

Поезд тронулся. Я быстро поцеловала Андрея.

— Да. И я ничего не стану скрывать от тебя. Ты — мой лучший друг, единственный, самый дорогой, на всю жизнь.

Он стоял на площадке и кивал с просветлевшим, добрым лицом, а когда вагон был уже далеко, еще раз показал рукой, чтобы я написала.

60

Кто и когда?

Так всегда бывало после осенних бурь в Лопяхине, поражавших меня своей дикостью и первобытной силой: вдруг падает ветер, уходит на юг косая стена дождя, перестают страшно шуметь на Овражках деревья, Тесьма возвращается в свои берега, и странная тишина наступает в городе. Куда-то уходит шальный дух разрушения, бессмысленно гремевший железом на крышах, — и все немного боится, как бы ему не пришлось в голову вернуться обратно. Осторожно открываются двери — и лопахины робко выглядывают в переулки, усеянные обломками водосточных труб, ветками, дранкой, которую ветер неизменно приносил с мельницы Лассена — там был станок, на котором делали дранку.

Вот так же и я выглянула на улицу через несколько дней после отъезда Андрея. Конечно, не следует понимать это выражение буквально, то есть, что я спустилась по лестнице в вестибюль и выглянула на улицу Льва Толстого. Та дверь, что я приоткрыла, вела из не очень просторного помещения, которое называлось моей душой, в очень просторное, которое было институтом, кафедрой, неоконченной работой, пятым курсом — словом, всем, что я должна была сделать в наступившем учебном году.

В общем, можно сказать, что, подобно лопахинским улицам, это последнее помещение было завалено обломками пронесшейся бури. Больше я не ходила на съезд, только слышала, что в прениях выступил Крамов, который пытался опрокинуть митин доклад. На съезде ждали, что в заключительном слове Митя резко ответит ему, сотрудники нашей кафедры звали меня на это заседание, но я не пошла, отговорившись болезнью Василия Алексеевича, которому становилось все хуже.

Это было правдой — я проводила у Быстровых целые дни и часто оставалась ночевать, чтобы сменить измученную, отчаявшуюся Лену.

Впрочем, волнение, растерянность, отчаянье исчезли из этого дома, когда стала совершенно ясна безнадежность положения больного. Василий Алексеевич умирал светло, спокойно, как человек проживший большую, светлую, твердую жизнь — и только одно сожаление время от времени томило его: как много еще мог бы он сделать! Московско-Нарвский Дом культуры должен был открыться на днях, к десятилетию Октября, и к Василию Алексеевичу с подробными рапортами о том, как идет штукатурка верхних лож, как получается звезда на паркете, приходили друзья, и он беспокоился, что свежий материал для дверей приходится сушить над временемками, на самой постройке. Главный инженер зашел к нему посоветоваться насчет выбора колеров для главного зала, и Василий Алексеевич настоял на бирюзовом и синем цвете вопреки мнению какой-то важной комиссии. Накануне открытия он послал нас с Леной в Дом культуры, и мы ввалили ему, что все готово, хотя в главном зале еще не было полов, стулья не привинчены, а стены окрашены едва ли наполовину. Вот об этом — о Московско-Нарвском Доме культуры и говорили главным образом в эти дни у Быстровых. О том, что должно было вскоре прийти, о том, что было неизбежно, неотвратимо, никто не упоминал ни словом, и только Марию Никандровну я иногда заставляла на кухне, стоящей у окна и молча глотающей слезы...

... Накануне отъезда Митя звонил в общежитие — он не назвал себя, но это был он. Я не подошла к телефону. Все кончено навсегда, навсегда! В жизни осталась лишь одна сияющая, великолепная, благородная цель — наука.

Но не то что с наукой, а даже с учебными занятиями у меня вдруг оказались какие-то сложные отношения — это стало ясно после глупой истории с пункцией, о которой я сейчас расскажу.

... Это было на лекции, посвященной менингиту, то есть воспалению мозговых оболочек — одной из самых страшных детских болезней, против которой в то время знали только одно, и то весьма несовершенное средство.

— Что же это за средство? — спросил профессор притихшую аудиторию, и я громко сказала со своего места:

— Пункция.

Честное слово, до сих пор не знаю, каким образом эта пункция (прокол оболочек спинного мозга) залетела в мою туманную голову. Но я так уверенно произнесла это слово, что обрадованный профессор немедленно пригласил меня подойти — очевидно, чтобы я могла похватать перед изумленными товарищами своими глубокими познаниями в детских болезнях. Дрожа, я вышла вперед — и началось... Боже мой, что началось!

На демонстрации был туберкулезный больной, и профессор задал вопрос, относящийся к туберкулезу. Я тупо уставилась на него, облизала языком нижнюю губу и промолчала. Он задал другой, третий и, когда в ответ на четвертый я понесла какую-то чушь, покачал головой и сказал:

— Вот тебе и пункция! Ну-с, садитесь.

Разумеется, не только потому я стала аккуратно ходить на лекции — даже на стоматологию, к которой питала необъяснимое отвращение, — что мне стало страшно получить плохой диплом или отстать от подруг. Но я подумала: еще год — и я стану врачом! Пригодится ли мне тогда мое стремление доказать во что бы то ни стало, что стрептококк, показавший в Анзерском посаде такую очевидную ненависть к возбудителю дифтерии, не потерял этого чувства, приехав вместе со мной в

Ленинград, — кстати сказать, весь октябрь я просидела в лаборатории, пытаясь повторить этот опыт? Пригодятся ли книги по микробиологии, прочитанные с таким трудом, что на всю жизнь осталось в памяти то почти физическое напряжение, с которым я пробивалась от страницы к странице? Пригодится ли мое умение попадать иглой в тончайшую вену кроличьего уха в ту минуту, когда я останусь одна-одинешенька перед воспаленным, рожающим, умирающим человеческим телом? Когда не подопытное животное, а человек, у которого своя счастливая или несчастная жизнь, посмотрит мне в глаза с выражением доверия и надежды?

Разумеется, я не могла и не хотела решать этот вопрос в личном плане, когда комсомольская ячейка нашего института выступила как организатор кампании «Деревне — врача!» и когда журнал «Медицинский работник» выходил в обложке, на которой завпосредбюро показывал на карте СССР кончающему студенту-медику свободный врачебный участок. На этот вопрос вообще не потребовалось бы ответа, если бы не моя микробиология, в практическом значении которой я сомневалась все больше.

Самое простое было посоветоваться с друзьями — и я посоветовалась: сперва с Олей, для которой было ясно, что мне следует заниматься наукой — и только наукой, а потом с Леной, которая не сомневалась в том, что я должна посвятить себя деятельности практического врача. Прошло несколько дней, и я окончательно запуталась, потому что Дмитриев сказал мне, что бюро ячейки решило выдвинуть меня на научную работу по кафедре профессора З...

В конце концов, сущность вопроса заключалась все-таки в том, что я должна была выбирать между двумя направлениями в жизни, которые — так мне казалось — были очень далеки одно от другого. Первый путь — наука — требовал не только упорства и знаний, но и таланта, которого у меня, быть может, и нет. «Это путь сомнений, исканий», — так говорил Николай Васильевич. — Зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто находит хоть крупицу общей истины, объясняющую еще неведомую тайну природы».

Второй путь — практика — вел меня немедленно и непосредственно в самую глубину жизни.

Эти два пути с особенной отчетливостью представились мне на похоронах Василия Алексеевича Быстрова.

Был ясный октябрьский день, один из тех, когда кажется, что вернулось лето — но вернулось только для того, чтобы проститься надолго. В сквере, вдоль которого мы прошли за гробом, было сухо, деревья стояли легкие, веселые, как будто им не жаль было расставаться с последней листвой, еще дрожавшей на ветках. Небо было бледное, но ясное, с нежными, высокими облачками.

Я много плакала на гражданской панихиде — и теперь, выйдя на просторное шоссе, вздохнула полной грудью. Народу было так много, что, когда выносили, милиция на несколько минут остановила движение, но родных, кроме Марии Никандровны и Лены, — никого, и мне вспомнилось, как Лена говорила, что она стала особенно сердечно относиться ко мне, когда узнала, что у меня, кроме отца, нет родственников, ни далеких, ни близких. И снова и снова у меня сжималось горло, когда я вспоминала, как она неподвижно стояла у изголовья гроба и, не отрываясь, глядела на мертвое лицо отца. Но я прогнала слезы и до самого Волкова кладбища думала о том, что сделала ошибку, проведя два года — два драгоценных года! — на кафедре микробиологии, среди

лабораторного стекла, бесконечно далекого от человеческих мук и страданий.

Прощанье было на панихиде, но и здесь, на кладбище, после речей, тоже стали прощаться. В ясном свете дня, на воздухе, между живых цветов, странным казалось зеленое лицо покойника, который как будто с важностью прислушивался к какой-то происходившей в нем, неизъяснимой тайне. И вот митина речь на съезде, его страстный призыв вступить на новый путь борьбы против рака вспомнились мне. «Болезнь страшная, беспощадная. Болезнь, которую легко спутать с другими и трудно распознать, потому что она подкрадывается незаметно. Болезнь, социальное значение которой переоценить невозможно. Болезнь — тайна. Кто и когда разгадает ее?»

Все еще подходили, целовали в лоб, целовали тонкую, тоже странно-зеленую руку. Вот Лена в последний раз наклонилась над отцом и что-то шопотом сказала ему. Вот гроб начали на веревках опускать в могилу, и такими грубыми показались эти толстые перекрутившиеся веревки, и то, что рабочие, побагровев, с натугой держали тяжелый гроб на весу, и то, что их высохшие, грязные сапоги глубоко вжимались в глинистую землю. Вот первые комья с глухим стуком упали на гроб... Кто и когда? Вот холм из цветов и венков вырос над свежей могилой, стали расходиться... Кто и когда?

61

Проводы

Еще когда я была на четвертом курсе, в институте много говорили о том, что Николай Васильевич собирается переехать в Москву. На съезде я тоже слышала, что новый институт эпидемиологии, которым будет руководить Николай Васильевич, решено организовать в Москве, а не в Ленинграде. Но это были неопределенные слухи, и на кафедре, например, никто им не верил. В самом деле, как было поверить тому, что придет день — и никто из нас не услышит строгого покашливания Николая Васильевича, и «Реве тай стогне», и беспечного молодого смеха, когда вдруг выяснялось, что подопытный кот съел приготовленное к очередному «пятничному чаю» печенье. Кот был то подопытный, то ловил в виварии крыс. Как представить без Николая Васильевича кафедру, в одной из комнат которой стояли коллекции, вывезенные им из Китая, Индии, Египта, а в другой висел портрет Мечникова с надписью: «Бесстрашному ученику от восхищенного учителя с пожеланием всяческого преуспеяния в борьбе против наших микроскопических врагов». Кафедру, на которой все было проникнуто его мыслью, создано по его слову!

... В начале января Петя Рубакин сказал мне, что до конца учебного года Николай Васильевич будет совмещать Московский институт с Ленинградом, а в начале следующего окончательно переедет в Москву. День проводов был назначен, и некой Тане Власенковой, — сказал Рубакин, — от имени кафедры поручено произнести прощальную речь.

Институт устраивал в честь Николая Васильевича торжественное заседание — оно должно было состояться через несколько дней. А это было не заседание, а обычный «пятничный чай», на который сотрудники кафедры явились с цветами — все знали, что Николай Васильевич любит живые цветы. Повсюду, на окнах, на шкафах, стояли букеты — все гортензии — зимой трудно достать другие цветы в Ленинграде.

Николай Васильевич пришел в новом черном костюме, который — это было широко известно — шился к съезду и не поспел, потому что

надул портной,—и с первого слова объявил, что вчера просил у наркома разрешения забрать с собой всю кафедру в Москву.

— Он спрашивает — сколько же человек? Я отвечаю — со служителями тридцать четыре. Многовато, говорит. А что за многовато, если вы мне все нужны, все мои дорогие, родные...

Есть такая детская книга «Алиса в стране чудес», героиня которой на каждом шагу испытывает странные превращения. То она становится такой маленькой, что свободно опускается в кроличью норку, то такой большой, что может разговаривать только с птицами, живущими на кронах высоких деревьев.

Нечто подобное в этот день происходило со мною. Никогда прежде я не бывала на этих чаепитиях, где сотрудники кафедры держались свободно, как знакомые, совершенно иначе, чем на работе. Правда, я уже не была той девочкой, которая, решив посвятить себя «изучению ультрамикроскопического мира», тайком пробралась в кабинет профессора и спряталась за портьеру. Но все-таки я чувствовала себя неуверенно, напряженно, неловко. То мне казалось, что я могу и даже должна вмешаться в серьезный разговор, завязавшийся между Николаем Васильевичем и Петей. То, съезжившись на диване, я начинала торопливо повторять в уме свою речь.

Между тем речи начались, и даже было уже видно, что Николаю Васильевичу самому хочется сказать речь — у него было растроганное, но вместе с тем какое-то нетерпеливо-страдающее выражение. Вдруг дошла очередь до меня. Я встала, откашлялась, начала: «Дорогой Николай Васильевич!» и замолчала, потому что оказалось, что не помню ни слова. Это было ужасно. С остолбенелым видом я стояла, крепко сжимая рюмку в руке.

— Ну что, забыла?—с огорчением спросил Николай Васильевич.

Все засмеялись, я вспомнила, и вышло даже к лучшему, что я так волновалась, потому что сказала совсем другое, чем приготовила, и это другое было гораздо серьезнее и умнее.

Николай Васильевич поцеловал меня и немного всплакнул. Когда молодежь приветствовала его, он всегда бывал особенно тронут. Вместо ответа он рассказал, как в 1919 году разнесся слух о его смерти—и в институте, в Микробиологическом обществе, словом, везде почтили его память вставаньем, а академик Коровин, всю жизнь доказывавший, что Николай Васильевич не кто иной, как Дон-Кихот, воюющий светряными мельницами, написал статью, в которой сравнил его одновременно с Мечниковым и Пастером.

— Потом, говорят, волосы на себе рвал,—хохоча, сказал Николай Васильевич,—и доказывал, собачий сын, что я подстроил эту штуку нарочно... Ну, Таня,—сказал он, когда чай кончился и я подседа к нему.—А вы приедете ко мне в Москву, а?

— Нет, Николай Васильевич.

— Вот тебе и на! Почему?

— Потому что я решила оставить микробиологию. Хочу работать, как практический врач.

— Что такое?

Он взял меня за руки и посмотрел в глаза.

— Это, кажется, серьезный разговор. Да, Таня?

— Да.

Он подумал.

— Завтра зайдите ко мне домой. Между двумя и тремя. Ишь, придумала! Практический врач!

Учитель

Еще ничего не было окончательно решено, когда я сказала Николаю Васильевичу, что намерена оставить науку, с тем чтобы заняться практической медициной. Но я продолжала думать над этим вопросом и, несмотря на то, что бюро ячейки попрежнему выдвигало меня на аспирантуру, все более склонялась к тому, чтобы взять врачебный участок. Я поняла, что мучилась этими сомнениями давно, еще когда писала свою первую историю болезни — печальную историю, кончавшуюся словами: «диагноз под вопросом». Разве не спрашивала я себя на собрании комсомольской ячейки, обсуждавшей дело Карсавина: «А тебе не придется вернуть государству деньги, затраченные на твое обучение?». Когда после спокойных терапевтических клиник я в заразных бараках встретилась с лихорадочной борьбой, идущей у каждой койки, своими глазами увидев напряженную работу жизни, стремившейся победить смерть, — разве не захотелось мне с головой ринуться в эту работу? Нет, нет, я думала об этом давно!

Но странная вещь! Едва я начинала представлять себе деятельность практического врача, как наша кафедра вспоминалась мне с какой-то пугающей, соблазнительной силой. Что же, значит не будет этого чудного чувства, с которым я всегда подходила к дверям лаборатории? Не будет затаенного волнения, когда, стараясь не спугнуть еще неопределенную мысль, осторожно соединяешь ее с другой, от которой ожидаешь так много? А трепет, когда касаешься того неведомого, о котором ничего не знает ни один человек на земле? А надежда — пускай детская, — что наступит день торжества, когда то, что я сделаю, коснется миллионов сердец,—я еще не забыла ее! А «белая станция» старого доктора, в которой все происходило по его желанию и о которой я неизменно вспоминала в дни моих немногих удач.

Мне не повезло: вернувшись с проводов Николая Васильевича, я на удачу раскрыла Тимирязева, стала читать и наткнулась на страницу, умножившую мои колебания. Вот она:

«...Стыдитесь, — говорит ученому негодующий моралист. — Кругом вас бедствуют люди, а вас заботит мысль — откуда взялась эта серая грязь на дне вашей колбы! Смерть уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из объятий матери, а вы ломаете голову — мертвы или живы какие-то точки под стеклами вашего микроскопа? Разбейте ваши колбы, бегите из лаборатории, окажите помощь больному, принесите слово утешения там, где бессильно искусство врача».

Но вот проходит сорок лет, и вновь встречаются эти воображаемые лица. Теперь берет слово ученый:

«...Вы были правы, я не оказывал помощи больным, но вот целые населения, которые я оградил от болезней. Я не утешал отцов и матерей, но вот тысячи отцов и матерей, которым я вернул их детей, обреченных на неизбежную гибель. И все это было в той серой грязи на дне моей колбы, в тех точках, которые двигались под моим микроскопом».

Николай Васильевич назначил мне час, когда он возвращался домой к обеду, и опоздал на добрых сорок минут. Наконец пришел — веселый, с цветами, и от души удивился, найдя меня в своем кабинете.

— Что повесила нос, милая дивчина? — спросил он. — Опять собра-

лась сказать речь и забыла? Садитесь-ка вот сюда. Я вас слушаю. И не сердитесь, что опоздал. Зато дома обедать не буду.

Он подвинул мне кресло и сам сел у окна, спиной к свету.

... Ясным видением молодости встает передо мной эта минута: солнце сверкает на светлой мебели, обитой яркой, полосатой материей, на твердых, темно-блестящих фикусах, на письменном приборе, на лениво-внимательном Будде, которым прижата груда бумаг на столе. Николай Васильевич, толстенький, с седой бородкой, в небрежно завязанном галстуке, сидит, терпеливо приготовившись слушать, сложив на груди короткие ручки. Он очень серьезен — без сомнения, чтобы не обидеть свою ученицу. Но в темных, живых глазах мелькает ирония, от которой чувство растерянности с еще большей силой охватывает меня...

— Ну-с?

В общем, это был длинный, бессвязный рассказ, из которого можно было сделать только два вывода: во-первых, что я твердо решила посвятить себя деятельности врача на сельском участке, а во-вторых, что в глубине души мне хочется, чтобы Николай Васильевич не согласился с моими доводами и отправил меня заниматься теорией.

— Вот что, милая Таня, — выслушав меня, серьезно сказал он. — Однажды уже был, кажется, случай, когда я посоветовал вам перечитать Дон-Кихота. Мне нравится, когда из темного леса выходят по звездам, не спрашивая дороги. Но я вас полюбил и поэтому постараюсь ответить на ваши вопросы. Вы спрашиваете: должны ли вы посвятить себя практической медицине? Отвечаю — нет. Почему? Да потому, что у вас теоретическая голова. Все, чем вы интересуетесь, невольно, можно сказать, против вашей воли оборачивается теоретической стороной. Вот вы рассказали мне о болезни отца Лены Быстровой — и что же? Что взволновало вас больше всего? Не клиническая картина, не вопрос о том, как облегчить страдания больного, а тайна самой болезни, перед которой беспомощно останавливаются глубочайшие умы медицинской науки. Да, у вас теоретическая или, я бы сказал, теоретико-поэтическая голова. Правда, этого мало, нужны еще хорошие руки. Но это, милый друг, зависит от вас. Итак — наука. Вопрос второй: ехать ли вам после института в деревню или куда там пошлют? Безусловно! Почему? Потому что для ваших научных интересов это будет только полезно.

Он говорил — и я слушала с таким чувством, точно в большом зале, по которому я бродила впотьмах, зажигались лампочки, сперва в одном углу, потом в другом, и хотя было еще полутемно, но уже стали видны двери, через которые можно выйти на волю.

— Мне ли доказывать вам, что в деревне можно и должно заниматься наукой? Разве свою работу, весьма любопытную, вы не привезли из деревни, да еще глухой-преглухой, за сто километров от железной дороги? Да знаете ли вы, что как раз то обстоятельство, что в деревне нет сложного взаимодействия городских факторов, и помогает решению важнейших вопросов! Угодно примеры? Пожалуйста. Местные заболевания — скажем, зоб, трахома, энцефалит. Именно на материале сельского участка нужно изучать их статистику, лечение, отдаленные результаты. А загадочное действие ядовитых растений? Много ли мы знаем о бактерицидных свойствах народных средств, которые продаются в каждой аптеке? Я уже не говорю о последовательной, научно поставленной борьбе с какой-нибудь определенной характерной для района болезнью — ослепительная, увлекательнейшая задача, в особенности если поставить перед собой цель полного ее уничтожения! Милая моя, да я знаю крупнейших ученых, которые едут в деревню

для решения самых сложных вопросов теоретической медицины! Вот-с. Это — одна сторона. Но для вас важна и другая.

Николай Васильевич помолчал, вздохнул и попросил разрешения прилечь.

— Вот у меня, например, — устроившись на диване, сказал он, — в молодости не было подобных сомнений. Я попал прямо в лабораторию, и мне удалось кое-что сделать, но лишь потому, что в те времена сама бактериологическая лаборатория была новостью в медицинской науке. Так что нельзя сказать, что для науки — по крайней мере с организационной стороны — это были потерянные годы. Но пришел день, когда мне стало ясно, что я превратился в скучного собирателя фактов, встающих перед ним внезапно, как из тумана. На второстепенном — вот характерная черта! — я стал настаивать, как на главном. И нужна была катастрофа, чтобы мне стало ясно, что наука и жизнь не должны расходиться под линзами микроскопа.

И Николай Васильевич рассказал, как, работая молодым человеком на Одесской бактериологической станции, он по поручению Мечникова делал овцам прививки против сибирской язвы, и три тысячи животных погибли по неизвестной причине.

— По неизвестной причине. А на деле причина заключалась именно в том, что он был не проверен жизнью — тот эксперимент, который я пытался столь широко применить. Вот что было для меня катастрофой! — раздельно повторил Николай Васильевич. — Вот-с, милый друг! Так что — смело вперед. Вам сколько лет — двадцать два? Вы не белоручка и, слава богу, здоровы. Так взгляните же открытыми глазами на жизнь, о которой вы не имеете еще никакого понятия. Вы встретитесь с трудностями — это почти неизбежно. Но вы преодолете их, в особенности, если не будете забывать, что, в сущности говоря, вам дьявольски повезло — до революции вам нечего было бы делать с вашим призванием. В деревне вы получите то, что никогда не найдете в лаборатории, хотя бы ею руководил гениальный ученый — жизненный опыт! Да-с, жизненный опыт, значение которого для человека науки переоценить невозможно...

Мы говорили добрых три часа, и то, что в этот день я услышала от Николая Васильевича, заставило меня надолго забыть о своих сомнениях. Потом они появились снова, но на этот раз окончательное решение подсказала мне сама жизнь.

Доктор Таня

Но сомнения — сомнениями, а пора было браться за дело, то есть оканчивать институт. Пятый курс, потом государственные: при одном-этом слове мне становилось холодно и что-то круглое катилось от головы к ногам, очевидно душа уходила в пятки.

В первом полугодии я еще заходила на кафедру, главным образом, чтобы посоветоваться с Петей Рубакиным, которому Николай Васильевич поручил позаботиться о моей первой статье. Во втором — забыла и думать, что существует на белом свете, да еще в Ленинграде, да еще во дворе Первого мединститута, скромное серое здание, в котором некая студентка ежедневно до поздней ночи возилась с таинственным стрептококком. Кстати сказать, я потеряла сон и покой, работая над статьей, посвященной этому стрептококку! Я переписала ее по меньшей мере четыре раза. Потом Оля Тропинина исправила стиль, и я переписала

сала еще четыре раза. В особенности не давалась мне одна фраза, начинавшаяся словами: «Поповой доказывалось...».

Но что значили эти муки в сравнении с неслыханным издевательством, которое я ежедневно терпела от Пети? То он начинал публично доказывать, что за эту статью я должна получить по меньшей мере нобелевскую премию. То утверждал, что мое — очень скромное — название никуда не годится и статью нужно назвать «О противоестественном поведении одного паразита». То требовал, чтобы я посвятила ее памяти выдающегося советского микробиолога Петра Николаевича Рубакина, поскольку сей последний отдал данному произведению все свои силы и, читая двенадцатый вариант, скончался в ужасных мучениях. То, едва увидев меня, он кричал: «Поповой доказывалось» и умолял, чтобы его отвезли в сумасшедший дом. Словом, дорого досталась мне его помощь — и день, когда я наконец отправила статью Николаю Васильевичу, показался мне праздником, несмотря на то, что это был отвратительный, пасмурный день, битком набитый ушными и горловыми.

Ох, уж эти ушные и горловые! Это было необходимо — кто не понимал, что на периферии каждый из нас мог прежде всего встретиться с этими болезнями. Но это было трудно — вот что возмущало меня. Стыдно признаться, но все время, пока я занималась ушными и горловыми, у меня было неприятное чувство, что ко мне пристают с чем-то длинным, скучным, однообразным и что ровно ничего не произойдет, если на другой день после экзамена я забуду об этих болезнях. И я забыла, впрочем только потому, что началась новая неделя, а на пятом курсе это значило — новый предмет.

Я занималась с Олей Тропининой — и еще раз оценила ее умение легко схватывать то, что можно назвать «общей панорамой» предмета. В любой новый курс она входила, как в город, держа перед глазами воображаемую карту и следя по ней за линиями улиц. Она очень помогала мне, но и я ей, кажется, тоже. Оля нетерпеливо относилась к мелочам, а были предметы, представлявшие собою не что иное, как переплет мелочей, да еще и прескучных. Она не любила возвращаться — превосходная черта! Но, как известно, не возвращаясь к прочитанной странице, очень трудно, почти невозможно окончить медицинский институт!

Кроме того, когда в шестом часу утра Оля засыпала на полуслове, я трясла ее за плечи, ругала и даже немного била иногда, хотя и очень жалко было смотреть на ее худенькое, милое лицо с большими, влажными, закрывающимися глазами.

... Это было неожиданно, когда из сплошного, слившегося времени, состоявшего из зубрежки, ночных дежурств, торопливых практических занятий, — времени, делившегося не на дни и часы, а на детские и инфекционные, — вдруг выглянула весна. Однажды, идя с утомительного дежурства в Институте скорой помощи, я без всякой причины посмотрела на небо — и убедилась, что земля, как ни странно, продолжает свой бег вокруг солнца, не обращая внимания на заботы и огорчения очередного выпуска молодых врачей. Небо было весеннее. Нежная молодая луна, едва заметная в его прозрачной голубизне, медленно уходила, ночные пушистые облачка тепло розовели, освещенные солнцем, а оно — великолепное, красно-желтое, тоже весеннее — уже вставало где-то над Павловском, готовясь ринуться в город.

Так же неожиданно, как весна, обнаружилось, что почти все мои подруги повыходили замуж. Эту «кампанию» начала, к общему изумлению, тихая, сдержанная, молчаливая Верочка Климова, вышедшая за того молодого военного врача, который водил меня на гастроли

МХАТ'а. Я же и познакомила их — неждаром на свадебном обеде третий—после жениха и невесты—тост был провозглашен за меня. Потом вышла Машка Коломейцева и тоже удивила—не потому, разумеется, что вышла, но потому, что, отвергнув множество завидных женихов, выбрала студента-египтолога, худого, лохматого, в темных очках и, главное, погруженного в свои иероглифы, интересовавшие его, кажется, гораздо больше, чем Машка.

— Ничего не поделаешь, девочки, любовь, — решительно объявила она.

Когда мы готовились к государственным, я получила приглашение еще на одну свадьбу — не институтскую, а нашу, лопахинскую, о которой я еще расскажу.

Андрей писал мне очень часто, и теперь мне казалось странным, что до сих пор я жила, не получая этих длинных, умных, ласковых писем. Он писал, не выбирая главного в своей жизни, — о рыболовной артели, в делах которой он принимал горячее участие; о разговоре с лощманом — в Посаде жил интересный старик лощман 85 лет; о новом — тоже артельном—строительстве карбасов на Анзерке. Иногда он спохватывался — а вдруг то, что он пишет, нисколько не занимает меня? Он ошибался — не только потому, что это были живые, свободные письма, в которых, как пульс, билась ровная, неторопливая, пытливая мысль, но еще и потому, что я инстинктивно чувствовала, что он не один решает шахматные задачи, сражается с Митрофаном Бережным, который был для него живым олицетворением старого мира, любитесь девушками-гребцами, поразившими его своей красотой. Впрочем, в некоторых письмах он прямо писал, что видит меня рядом с собою. «Вчера вернулся из Архангельска, был на концерте, слушал Шестую симфонию Чайковского, и знаешь ли, что происходило у меня в душе под эти золотые звуки? Я вспоминал нашу юность, полную великолепных надежд! Да, теперь мне ясно, что это были не только наши надежды, но и надежды на нас. Помнишь ты наш с тобой разговор на Пустыньке после школьного бала? Мы мечтали совершить великое во имя и для счастья народа. Откуда взялась эта мысль, которая с тех пор невольно звучит в душе, как далекая, но отчетливая мелодия? Откуда этот свет правды и чистоты, озаривший наши школьные годы? Он пришел к нам от тех, кто впервые в истории человечества не согласился с господствующей идеей — «человек человеку волк». «Какое счастье, что ты не одинок, — как будто говорила мне эта музыка, поднимающая из глубины души какие-то радостные слезы, — что твои усилия не потонут в океане усилий других людей, стремящихся изменить жизнь и сделать ее прекрасной, счастливой!» Потом я стал думать о тебе — и как живо представилось, как ты внимательно слушаешь меня, а потом говоришь одно слово, от которого мои умные мысли в один миг переворачиваются вверх ногами».

Всегда мне было трудно отвечать на письма Андрея: в письмах становилось особенно ясно, насколько он образованнее, чем я.

Но теперь я отвечала легко — не сидя над каждой фразой, как прежде, — и письма получались длинные, беспорядочные, хотя в общем какие-то очень «мон». Конечно, нечего было и думать угнаться за Андреем, который, сидя в Анзерском посаде, успевал следить не только за научной, но и за художественной литературой, выписывал журналы и был в курсе всего, что происходило в стране...

В мае Лена Быстрова вернулась с Восьмого съезда комсомола — усталая, повзрослевшая и какая-то другая, чем прежде. С первого же слова она заявила, что должна подготовиться к докладу, и пропала на

несколько дней, но однажды вечером вдруг явилась, захлопнула перед моим носом учебник судебной медицины и вытащила меня на улицу, уже полную той неопределенной игры теней и света, которой всегда начинается ленинградская белая ночь.

Лена видела на съезде Сталина и слышала его речь.

— Ты знаешь, какое у меня было чувство, — сказала она, — как будто каждое слово имело прямое отношение ко мне. Я проверяла себя все время, пока он говорил — вот это обо мне? А это? И знаешь что, Таня, — вдруг взволнованно сказала она, — слушая его, я подумала, что была неправа, советуя тебе отказаться от аспирантуры.

— Почему?

— Потому что у тебя все-таки есть данные и ты, наверно, могла бы стать хорошим ученым. Знаешь, что он сказал? — и Лена процитировала наизусть: — «Нам нужны теперь целые группы, сотни и тысячи новых кадров из большевиков, могущих быть хозяевами дела в разнообразнейших отраслях знаний. Без этого нечего и говорить о быстром темпе социалистического строительства нашей страны».

— А ты думаешь, что я могу заниматься наукой?

Лена не ответила, задумалась, и некоторое время мы молча шли по Университетской набережной, пустынной в этот сумеречный час. Было тихо, только стук наших каблучков по панели слышался да на Неве пыхтел катерок, тащивший большую баржу.

— Да, все зависит от нас, — сказала Лена. — И я теперь вижу, что, в сущности говоря, мы еще только начинаем учиться. Он сказал, что наука — это крепость, которой должна овладеть молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни. А мы хотим быть этими строителями и будем, потому что верим в торжество коммунизма и готовы отдать ему все свои силы.

Город был тих и неподвижен — так тих и неподвижен, что казался давно покинутым, давно отданным под власть белой ночи, луны, самой природы. Но это только казалось. На самом деле над городом, над природой властвовала бледная решительная девушка, стоявшая на парапете у Ростральной колонны и говорившая с таким вдохновением, что я боялась, как бы она не упала в Неву.

... Как страшный уголовный фильм, вроде «Сыщик Гобс и белая маска» в двадцати сериях, который я некогда видела в Лопакхине, промелькнула передо мной судебная медицина, с ее музеем, после которого я не могла уснуть до утра. На экзамене иронический доцент спросил меня, не намерена ли я посвятить себя этому предмету, и я таким голосом крикнула «нет», что он сделал вид, будто падает со стула от страха.

С трудом вспоминаю я несколько дней, прошедших между курсовыми и государственными экзаменами, которые начались в июне. Девочки потащили меня на «Похищение из сераля» Моцарта: я мгновенно заснула — и открыла глаза, когда похищение уже совершилось. Во втором акте я вдруг обнаружила за щекой карамель — должно быть, снова вздремнула. Зато к концу третьего окончательно пришла в себя и потребовала у девочек, чтобы оперу показали сначала. На другой день Леша Дмитриев, встретив меня и Олю на институтском дворе, объявил, что у нас «жалкий, полузадохшийся вид», и доказал, что для того, чтобы сдать госэкзамены, нам нужны три вещи: гулять, гулять и гулять. Мы испугались и пошли в Ботанический сад.

Это была странная прогулка! Оля все время громко дышала и говорила: «Внимание! Вентиляция организма», а я изображала артистку Колумбову из московского театра «Павлиний хвост». Потом мне захо-

телось посидеть в беседке на холме, с которого открывался вид на длинную аллею, красиво расчерченную параллельными косыми тенями, но Оля не дала, объявив, что мы должны не сидеть, а «драться за здоровый отдых». В саду было привольно, прохладно, от маленьких серозеленых растений подле оранжереи пахло легкой горечью, нежные, молодые побеги елей были уже темные, твердые — верный признак, что лето в разгаре. Часа три мы бродили по саду и, наконец, уснули где-то в кустах, голодные, счастливые, пьяные от воздуха, зелени и неслышанного, давно забытого, фантастического безделья.

64

Прощанье с юностью

Это было в середине июня, государственные уже начались, мы занимались втроем: Оля, Лена Быстрова и я — и счастливый день в Ботаническом давно казался мне полусном. Помнится, мы обсуждали в этот вечер сложнейший план, согласно которому наша группа не должна была попасть к Гиене Платоновне — таково было прозвище некой Елены Платоновны М., доцента по детским болезням, — когда в дверь постучали, позвонили и на пороге показалась нарядная, похорошевшая, смущенная, в новой шляпке с вуалью Ниночка Башмакова.

Разумеется, прежде всего мне пришло в голову, что кто-то снова объяснился ей в любви и она пришла, чтобы немедленно обсудить со мной — серьезно это или несерьезно? Но на этот раз у меня не было времени, чтобы заняться подробным изучением вопроса, и, усадив ее тут же в передней на диванчик — это было в квартире Быстровых, — я сказала решительно.

— Ну, выкладывай! Десять минут.

Нина засмеялась, покраснела, откинула вуальку и поцеловала меня с задумчивым — это было поразительно! — видом. Спohватившись, что покрасила мою щеку, она вынула платочек, стала оттирать, размазала и сказала счастливым голосом:

— Уф!

Мы все заметно одичали во время экзаменов — я, кажется, больше других. Поэтому я тоже сказала: «Уф», но с другим, нетерпеливо страдающим выражением.

— Говори же!

— Ничего особенного! Просто меня собираются пригласить в Михайловский театр.

— Да ну?!

Это было великолепно — едва окончив консерваторию, получить приглашение в большой, известный всей стране, талантливый театр, — и я от всей души поздравила Нину.

— Вот молодец! Помнишь, как Гурий спрашивал: «Ребята, а вдруг я — гений?» Когда твой дебют? Я весь институт приведу! Скэро?

— Постой... Это еще не все.

Нина заморгала, потом зажмурилась, и две слезы — большие, счастливые — покатались из зажмуренных глаз.

— Понимаешь, он очень хороший, — она вытерла слезы, — и даже слишком умный для меня, но мне не страшно, что он такой умный. И вот те крест, он любит меня! До сих пор, когда мне объяснялись, я как-то не чувствовала. А теперь почувствовала — и знаю на верное и убеждена, что ему все равно, что я хорошенькая и пою, а важно совершенно другое. Он мне давно понравился, еще в прошлом году,

но, понимаешь, мне даже в голову не приходило—во-первых, потому, что он всегда был погружен в музыку, то есть в себя, а во-вторых, потому, что он — знаменитый.

— Знаменитый?

— Ну, да! Знаешь кто? Виктор Сергеев.

— А-а.

Признаться, в первую минуту я не вспомнила, кто таков Виктор Сергеев и почему Нина с гордостью произнесла это имя. Но потом афиша Филармонии мелькнула передо мной, статья в «Вечерней Красной», другая статья...

— Постой, но ведь он же москвич?

— Да нет! Ленинградец! Он наш консерваторский, ученик Щелепова. Он давно окончил, еще в двадцать третьем, но его оставили при консерватории, понимаешь?

Я обняла Нину.

— Вот теперь, когда ты не спрашиваешь — серьезно или несерьезно, я верю, милый друг, что это серьезно...

Мне хотелось, чтобы девочки тоже поздравили Нину, но она не пустила меня, и мы болтали до тех пор, пока из ленинкой комнаты не донесся многозначительный кашель. Нина заторопилась.

— Постой, да как же твои дела?

— Ничего, пока все сдала на отлично. Но впереди — ох! — самое трудное! Хирургия.

— А комиссия по распределению была?

— Вчера.

— И что же?

— Еще не знаю.

— Но ты остаешься в Ленинграде?

— О, нет!

— Как же так?—с огорчением спросила Нина.—И не дают выбирать?

— Дают. Я, например, попросилась в Лопахино!

— Не может быть! Вот здорово! Тогда мы будем видеться часто!

— Погоди, еще не дадут!

— Да что ты! Ведь это нам с тобой кажется, что Лопахино — прелесть. А для других — это страшная глушь! Дадут!

Я еще раз крепко обняла ее. Еще раз заглянула в добрые, заплаканные глаза, по которым было видно, что Нине от души хочется, чтобы мне стало так же хорошо, как ей. Еще раз пожелала счастья. Потом проводила до ворот, и милое, легкое виденье в шляпке с вуалью исчезло за углом, как за кулисой, а я вернулась к кишечным расстройствам, которые, как известно, представляют собою серьезнейшую опасность для грудных, особенно в летнее время...

Душным июльским вечером я выхожу из института и поворачиваю не направо, как обычно — к общежитию, площади Льва Толстого, кино «Элит» и так далее, а налево — все равно куда, к трамвайному парку. Только что кончилось торжественное собрание нового выпуска молодых врачей: чудные слова доверия и надежды еще звенят в голове; лица товарищей — усталые, похудевшие, счастливые — еще мелькают перед глазами. «Очень странно, девочки, — сказала Лена Быстрова, — но жизнь, оказывается, может стать еще интересней». Незнакомый садик открывается на берегу Невы, я захожу, и дети, до сих пор старательно игравшие в классы, с удивлением смотрят на маленькую тетю-чудачку, которая ложится на скамейку и как зачарованная смотрит в прекрасное, еще подернутое дымкой жары, остывающее ве-

чернее небо. Неужели уже прошли, промчались, отшумели институтские годы? Трамвай, звеня, скатывается по Сампсониевскому мосту — прямо ко мне? Последний зеленый луч заката скользнул над Невой — для меня? Толстая, важная няня, точно сошедшая со страниц детской книжки, подходит с вязаньем в руках и спрашивает — не дурно ли мне? Я смотрю на нее, и слезы счастливого волнения застилают глаза. Неужели эта доброта и вежливость и вязанье в руках — для меня?

Молодость кажется бесконечной, и о ней хочется рассказывать долго, подробно, с любовью. Почему не рассказать, например, о прекрасном «лопахинском» вечере у Нины, на который пришли командир-подводник Володя Лукашевич и Гурий, который работал теперь корреспондентом «Ленинградской правды» и собирался в Запорожье, где начиналось строительство Днепровской плотины?

Почему не рассказать, как Гурий произнес немного длинную, но в общем превосходную речь о том, что все мы, в сущности говоря, «разъезжаемся в пятилетку»? Почему не рассказать о том, что на этом вечере кто-то заговорил об Андрее, и оказалось, что каждому из нас по-своему нехватает Андрея? Почему не рассказать о том, как рано утром мы вышли на улицу—Нина жила теперь в Чернышовом — и отправились к Неве, над которой с гортанными криками носились чайки?

Мы шли вперед, взявшись за руки, во всю ширину панели, Гурий громко читал Маяковского: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу», и город был нарядный, просторный, молодой и опять какой-то новый в мягких красках тающей белой ночи...

Но хватит! Мне предстоит рассказать еще многое и, быть может, лишь вступлением к тому, что составляет главное содержание жизни. окажутся молодые, быстро промелькнувшие годы.

(Конец первой книги.)



БЕГЛЕЦ

Из книги «Всеобщая песнь»

ПАБЛО НЕРУДА

★

Прославленный поэт Пабло Неруда — коммунист. Он принимает горячее участие в общественной жизни своей родины Чили. Горняками Чили Пабло Неруда был послан в сенат. В 1947 году президент чилийской республики Гонсалес Видела, пришедший к власти благодаря поддержке всех демократов страны, изменил народу. 5 января 1948 года Пабло Неруда, преследуемый полицией, явился в сенат и произнес речь: он обвинял президента в государственной измене. Свыше года поэт скрывался, преследуемый полицией. Скрываясь, он продолжал свою работу. Он написал большую книгу поэм «Всеобщая песнь». Поэма «Беглец» входит в эту книгу и выражает чувства поэта, которого прятали простые люди Чили и в центре столицы, и в сельских хижинах, и в матросских кварталах Вальпараисо. Поэма «Беглец» написана, как и другие произведения Пабло Неруды, свободным стихом без рифм.

1

Глубокой ночью, пустотой,
меняя то и дело облик,
от слез — к бумаге,
я в эти годы гнета
иду,
за мной погоня, я — беглец.

В хрустальный час, среди чащи одиноких звезд,
на перекрестках городов,
в лесах, в полях, в порту,
от двери к двери, от руки к руке.
Ночь тяжела, но человек расставил вехи,
иду я в темноте к чуть приоткрытой двери:
маленький клочок звезды,
сейчас он — мой.

Однажды в деревенский дом
вошел я ночью,
и никто дотоле
не знал, не мог предвидеть этих жизней.
Их было пятеро.
Когда вошел я,
все поднялись, как в ночь пожара.
Я руки жал и вглядывался в лица,
я прежде их не видел,
не замечал — как двери.

В глаза им заглянул —
они меня не знали.

Я вскоре лег, усталый,
чтоб уснула
печаль моей земли.

Но сон пришел не сразу,
ночь продолжалась:
эхо жизни — чьи-то крики,
оборванные нити одиночества.
А я все думал: «Где я? Кто эти люди?
Почему они меня впустили?
Они не знают, кто я. Почему же
сни открыли дверь и сторожат мои стихи?»
Никто мне не ответил,
лишь ночь безлистая несвязно бормотала
Земля в окно дышала,
чтоб спал я слаще,
как бы на ворохе опавших листьев,
от ветки и до ветки,
от гнезда и до гнезда,
и дальше — мертвым сном
среди корней.

2

Стояла осень винограда.
Белые тугие гроздья,
заиндевшие, протягивали пальцы,
а черных крепкие соски
подземным соком наливались.

Худой мастеровой — хозяин дома —
мне прочитал земли большую книгу,
он знал плоды и ветки,
и то, как дерево стригут,
и крону формы чаши.
Как ребенок,
загадочно он говорил о лошадях.
За ним шли следом кошки и собаки:
одни, ленивые, ступали важно,
другие, сумасшедшие, кружились
под зябким персиком.
Он знал любую ветку,
любой рубец,
и древний голос, тайны раскрывая,
ласкал далеких лошадей,

3

Я помню и другую ночь,
спустившись с Анд, она пересекала город,
белой розой
она осыпалась и на меня.

То было в зиму Юга,
холод жег, как угли.

Река Мапочо черная была от снега.
Я шел по улице среди тишины,
сквозь город, горем очерненный.
Я сам был тишиной. Моя любовь
жила в глазах и падала на сердце.
Вот эта улица, и та, другая,
и ночи ледяной порог,
и человека одиночество среди ночи,
весь мой народ, затерянный, злосчастный,
в забытом пригороде мертвых,
последнее окно —
луч тусклого больного света,
нанизанные тесно бусы
чернеющих домов,
ветер Чили,
который никогда не затихает, —
моим все это было
до немоты, до слез.

4

Мне дверь открыли молодые,
я прежде их не знал,
он инженером был с глубокими глазами,
она вся золотая — колос лета.

С ними я делил вино и хлеб.

Шли дни, и я вошел в их тайны,
они мне рассказали:
«Мы жили врозь,
и наш раздор казался вечным.
Мы снова встретились, тебя встречая,
теперь мы вместе».
Вместе в маленькой квартире
мы были крепостью молчания.
Молчание хранил я и во сне:
то было в сердце города — казалось,
шаги предателя я слышу за стеной,
а голоса тюремщиков, их хохот,
их гогот пьяный
царапают мне кожу.

И снова ночь. «Прощай, Ирена.
Прощай, Андрес. Прощай, мой новый друг.
Прощай, звезда. И дом в лесах, прощай,
напротив моего окошка
ты призраками землю заселял.
Прощай, вот эта точка на холме,
тебя глазами провожал я каждый вечер.
Прощай, зеленая неоновая лампа,
ты открывала мне за ночью ночь».

5

Другая ночь, далекая от прежних.
Кривые улицы Вальпарайсо,
переулки, закоулки, тупики.

Я в дом вошел. Там жили моряки.
Меня там ожидала мать. Она сказала:
«Я ничего не знала. Но вчера мой сын
пришел. Услышав ваше имя, я смутилась:
«Как сможем мы его принять?»
Сын мне сказал: «Он с бедняками.
Над нашей жизнью не глумится он,
он любит нас и защищает».
И я сказала сыну: «Если так,
он в этом доме будет дома».
Я поглядел на чистую скатерку, на кувшин —
вода прозрачная, как эти жизни.

Я подошел к окну. Вальпарайсо
приподнял тысячи дрожащих век.
Меня наполнил воздух моря,
огни холмов и дрожь морской луны,
морской волны зеленые алмазы —
еще один большой покой,
дарованный мне жизнью.

Стол был накрыт:
салфетка, хлеб, вино, вода,
благоухание земли и ласки
туманило мои глаза солдата.

У этого окна Вальпарайсо
я проводил и дни и ночи.
А моряки, что жили в этом доме,
с утра искали для себя работу,
корабль они искали, но напрасно:
ни «Атомена» не взяла их, ни «Султана»,
обманывали их все корабли.
Мне объяснили: нужно было смазать,
другие дали больше.
Все было здесь прогнившим, как в Сант-Яго,
добычи поджидали кошельки
начальника, секретаря.
Конечно, они поменьше,
чем президента кошелек,
но все ж обгладывают кости бедных.
Несчастливая республика, исхлестана, как кляча,
она одна плетется по дороге.
Несчастливая страна,
в разбойничьем притоне
ее раздели до последней нитки,
заткнули рот, связали руки,
и, раненую, продали ее.

Два моряка, что жили в этом доме,
теперь кули таскали на плечах,
они о соли моря тосковали,
о хлебе моряка.

А я глядел: холмов огни,
нависшие дома,

сердцебиение Вальпарайсо,
гроздя нищеты —
окрашенные ярко двери,
развалины, расщелины, туман,
деревья, что в отчаянье схватились
за край оврага, рваные ступени,
белье, что треплется среди лачуг.
Вдруг хрипая сирена — голос моря,
он обволакивал меня, как новая одежда.
И жил я наверху, среди тумана,
в высоком пригороде нищеты.

6

Вальпарайсо, холодное олово,
я гляжу из моего убежища
на твою серую гавань
с ее уснувшими судами,
на неподвижную лунную воду,
на застывшие склады железа.

Когда-то твое море, Вальпарайсо,
кишело гордыми кораблями,
они приходили к тебе отовсюду,
у них были тонкие высокие мачты,
они шушшали, как шушат колосья.
С ними приходили в твои кладовые,
в твой опасный покой, Вальпарайсо,
слоновая кость, полная света,
черное дерево цвета ночи.
Тебя обволакивали, Вальпарайсо,
запахи кофе и далекой ночи.
Отчаливал «Потоси», груженный нитратом,
трепетал, выходя в открытое море,
шел он к другому черному порту,
нежный кит, голубой и тяжелый.

7

Была заря селитры в пампах.
Все удобрение планеты
дрожало, заполняя Чили,
как снежный трюм большого корабля.
И я гляжу — вот что осталось
от тех, чей след на берегу,
от золотого ливня:
отбросы, гнойники,
они, как ожерелье,
на шее родины моей.
Прохожий, пусть тебя повсюду
сопровождает неподвижный взгляд —
глаза Вальпарайсо.

Живет чилиец среди мусора и ветра,
сын земли жестокой.
Стекла осколки, сорванные крыши,

разрушенные стены,
 известка в язвах,
 грязь, едва похожая на землю.
 Вальпарайсо, роза нечистот,
 ты ранишь и меня шипами улиц,
 когда я вижу твоего ребенка,
 израненного нищетой.
 Мне больно от тебя за весь народ,
 за всю мою Америку,
 они изгрызли даже кости,
 ты опоясана одной лишь пеной,
 жалкая богиня,
 разрубленная на куски,
 и мочатся голодные собаки
 на грудь раскрытую твою.

8

Я люблю тебя, Вальпарайсо,
 все твое я люблю, невеста океана,
 резкий свет среди ночи,
 открывающий тебя матросу,
 ты тогда, как цветок апельсина,
 в наготе из огня и тумана.
 Я не дам никому тебя обидеть,
 не позволю никому за тебя вступиться,
 только мне ясны твои тайны,
 только я расскажу о ступенях,
 зацелованных сыростью моря,
 расскажу, как сечет тебя ночью
 долгий дождик черного Юга.
 Королева всех побережий,
 кораблей и приливов узел,
 ты во мне, как луна и как ветер,
 что живет в тенистой аллее.
 Я люблю твои улицы и закоулки,
 острый месяц над твоими холмами,
 и люблю я твоих матросов,
 разукрашенных синью мая.

9

Пунцовые и розовые,
 игрушечными кажутся твои предместья.
 Весь город мог бы поместиться
 в бутылке моряка,
 когда бы не было великой бури,
 зеленого набега шквалов ледяных,
 когда бы не терзали эту землю
 подземный ужас и морской прибой.
 Весь океан средь ночи наступает
 на крохотный огонь.
 Вальпарайсо,
 тебе в любви я объясняюсь.
 Я вернусь к тебе,

когда свободными мы будем,
ты на престоле волн и ветра,
а я на влажных пастбищах раздумий.
Увидим мы — свобода прорастет
среди вод и снега.
Бальпарайсо, одинокая царица,
я вижу скалы желтые твои,
руками грузчика меня ты обнимаешь,
и помню я лазоревое пламя
поруганного царства твоего.
Тебе нет равных среди песков прибрежных,
царица вод, Антарктики звезда.

10

Так, что ни ночь,
когда спускались сумерки на берег Чили,
в пустынный час, от двери к двери,
я шел — беглец.
Другие скромные дома, другие руки.
В каждой борозде родной земли
меня среди долгой ночи ожидали.

Не раз я мимо этой двери проходил,
она тогда молчала,
крашеный фасад,
окошко с блеклыми цветами.
И это было чудом:
всюду — в краю шахтеров,
где горем воздух пропитался,
в пристани забытой Юга,
здесь, на гулкой улице,
среди музыки полудня,
окно, похожее на тысячи других,
меня там ожидали
тарелка супа
и сердце на столе.
Все двери были моими,
говорили:
«Брат, зайди сюда».

А в это время родину терзали,
так гроздь давят — горькое вино.

Маленький жестянщик приходил,
мать с детьми,
неповоротливый крестьянин,
писательница, мыловар
и юноша, приколотый, как мотылек,
среди канцелярской муки.
Проставлен был на двери знак,
чтоб я вошел, будь это днем иль ночью,
и чтоб сказал, не зная никого:
«Меня вы, кажется, сегодня ожидали».

11

Что можешь ты, проклятый, против воздуха,
 против всего, что из земли растет,
 цветет, молчит и смотрит,
 и ждет меня, и судит
 тебя, проклятого, с твоей изменой?
 Вот что купил ты,
 за что ежеминутно платишь.
 Сажаешь в тюрьмы, мучаешь, ссылаешь,
 рыщешь, окруженный наемными штыками,
 торопишься,
 чтоб у подкупленного совесть не проснулась,
 уснуть боишься.
 А рядом, в самом сердце Чили,
 я живу —
 беглец.
 Народ мне сходни приготовил,
 народ укрыл меня в глубоком подземелье
 родины моей,
 и под крылом голубки
 я сплю. Я вижу сны,
 твои преграды я ломаю.

12

Вам всем,
 молчаливые люди ночи,
 которые в темноте сжимали мою руку,
 неугасающие светильники,
 звездные строки,
 хлеб жизни,
 я хочу сказать вам:
 если я увидел такую простоту,
 такой чистоты цветы,
 это может быть только потому,
 что я — это ты,
 горсть земли, мука, песня.
 Я не колокол, слишком далекий,
 не хрусталь, зарытый так глубоко,
 что ты не можешь его разгадать,
 я — только народ,
 потайная дверь,
 темный хлеб.
 И когда ты меня принимал,
 ты принимал себя —
 гость, тысячу раз поверженный
 и тысячу раз воскресший.

Вам всем,
 которых я не знаю,
 которые никогда не слышали моего имени,
 которые живут на берегах рек,
 у подножий вулканов,
 в серных сумерках меди,
 рыбакам и земледельцам,

синим индийцам края озер,
сапожнику, что сейчас протягивает к коже
свои древние руки,
и тебе, который, не ведая того,
ожидал меня ночью, —
я говорю вам всем:
я — ваш и вас я пою.

13

Пески Америки, и тучные луга,
и горы цвета крови,
братья, раскиданные бурей,
живые семена мы соберем,
они вернуться в землю.
Всходы нового маиса
твои слова, услышав, повторяют.

Тебя хочу прославить я, маис,
из недр ты всходишь моего народа,
дабы родиться, строить, петь
и снова в землю возвратиться
для новой бури.

Здесь мои потерянные руки,
ты их не видишь в темноте,
дай мне твои,
я вижу их
над злым песком,
над ночью Америки.
Твою я вижу руку, и другую,
что поднялась, готова к бою,
и ту, что возвращается в родную землю,
как семя.

Я не один средь этой ночи —
народ, его не сосчитать.
Пересекая тишину, мой голос
бросает зерна в темноту.

Мученья, ночь, и снег, и смерть
посевы быстро прикрывают,
и погребенным кажется народ.
Но в землю возвратившись,
маис из-под земли выпрастывает руки,
непреклонный,
он воскресает вновь и вновь.

1949 г.

Перевел с испанского **Илья Эренбург.**



КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

К 125-летию Малого театра

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

*Главный режиссер Государственного
академического Малого театра*

К. ЗУБОВ

★

«В зале Малого театра пролетариат получил от старого мира в наследство лучшее, что в нем было, — искусство...».

*(Из приветствия Московского Совета
М. Н. Ермоловой 2 мая 1920 г.)*

«Ставя пьесы о нашей жизни, Малый театр превращает свою сцену в общественную трибуну».

(«Правда», 7 декабря 1948 г.)

Старейший театр России

Сто двадцать пять лет назад — 14 (27) октября 1824 года состоялся первый спектакль Московского Малого театра. С открытием занавеса в доме «Тверской части 2-го квартала, под № 104», принадлежавшем купцу Варгину, открылась замечательная страница в летописи русского театрального искусства, в истории передовой общественной мысли России.

Сто двадцать пять лет!.. Сменялись поколения актеров и зрителей. Угасали одни и тут же зажигались другие, не менее яркие звезды артистических талантов. Появлялись новые драматурги, новые сценические герои. Но Малый театр неизменно оставался могучим центром прогрессивной национальной культуры, тесно связанным с жизнью страны, духовно близким народу. «История Малого театра в беспристрастном и строгом освещении, — справедливо писал один из выдающихся артистов и руководителей Малого театра А. И. Южин, — есть история отражения на искусстве всей сознательной и подсознательной жизни страны, мыслей и чувств высших представителей русской культуры, страданий, надежд и борьбы широких масс русского народа».

Здесь, в старых и вместе с тем неста-

реющих стенах, зародилось русское драматическое искусство.

Здесь получили подлинную сценическую жизнь гениальные комедии «Горе от ума» и «Ревизор». Отсюда начали свое триумфальное шествие по России и всему миру творения великого русского драматурга Островского.

Здесь родина замечательных реалистических традиций русского театрального искусства, здесь первоисточник прекрасных принципов русского драматического мастерства — народности, высокой идейности, стремления к естественности, правде, простоте.

Здесь всегда звучала чистая народная речь, и богатый, образный, сочный русский язык сверкал всеми своими великолепными красками и тончайшими оттенками.

Этот «императорский» по названию театр был по сути своей антиимператорским. «Русская либеральная и радикальная общественность, — как писал А. В. Луначарский в статье, посвященной столетию театра, — отвоевала у двора Малый театр, оккупировала его». Несмотря на строжайшие цензурные запреты, театр умел превращать свои подмостки в трибуну, с которой актер разговаривал со зрителями, призывал, протестовал, учил, обличал. Актеры Мало-

го театра так верно и проникновенно трактовали «Горе от ума», «Ревизор», пьесы Островского и Сухово-Кобылина, что они звучали страстным и гневным протестом против самодержавного темного царства, против гнета, насилия, деспотизма. Эта оппозиция самодержавному строю с самого начала определила творческое лицо театра. Благодаря прогрессивным общественно-политическим взглядам его крупнейших актеров, основным стилем Малого театра становится критический реализм. Этот критический реализм, сделавшийся главной традицией Малого театра, превращал его сцену в очаг воспитания и просвещения, в кафедру, с которой, говоря словами Гоголя, «читается целой толпе, целой тысяче народа за одним разом... живой и полезный урок». Театр, поднявший сценическое искусство на высоту общественно-политического служения, зажигал в людях стремление к свободе, будил веру в лучшее будущее.

Не случайно говорили, что в Москве существуют два университета — один на Моховой, а другой на Театральной. Не случайно молодежь повторяла, что она «в гимназию ходила, а в Малом театре училась». Да, Малый театр действительно был университетом жизни, он способствовал росту общественного самосознания, в его стенах звучал смелый голос правды и свободолюбия. Это Малый театр имел в виду Герцен, когда называл театр «высшей инстанцией для решения жизненных вопросов»; это его подражал Белинский, когда в петербургский период своей жизни писал: «Театр! Театр! Каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким невыразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них».

Один из современников Малого театра Н. В. Давыдов свидетельствует: «Великий образец театрального искусства, Малый театр 60—70-х годов был мощным аккумулятором, заряжавшим русского зрителя социальной энергией».

Царские сановники и полицейские сатрапы видели в «вольнодумном» актерском коллективе Малого театра опасную для самодержавного режима силу. Московский генерал-губернатор Закревский в докладе начальству доносил, что Щепкин «желает переворота и на все готовый». И в каче-

стве довода, подтверждающего «неблагонадежность» великого актера, приводил тот факт, что он «на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, занимствуя сюжеты из сочинений Герцена».

Что касается постановок театра, то они, по мнению графа Закревского, настолько опасны, что грозят «произвести переворот в государстве».

Враг самодержавия, гнета, насилия. Друг народа, свободы, прогресса. Таков Малый театр, который внес неоценимый вклад в сокровищницу несметных духовных богатств нашего народа. И народ по праву считает Малый театр своей национальной гордостью, своей национальной славой.

125-летнее благородное и самоотверженное служение правде искусства — это прекрасный подвиг, совершенный поколениями русских актеров и драматургов во имя своего великого народа.

Поколения великих актеров

Ни один театр не дал миру столько блистательных талантов, сколько дал Малый театр. Мы никогда не забываем, что сцена, на которой мы работаем, видела Щепкина и Лецкого, слышала трагический шопот Мочалова и страстные монологи Ермоловой. Ведь для нас, работников Малого театра, его прошлое не только история. Тысячами невидимых, но ясно чувствуемых нитей оно связано с нашим сегодняшним творчеством.

Может быть, ничто другое не является таким ярким показателем неиссякаемой жизнеспособности Малого театра, как сменяющие друг друга поколения первоклассных талантов, цепью живой преемственности связывающие, через многие десятилетия, его былые и сегодняшние дни.

У истоков русского национального актерского искусства высятся две огромные фигуры — Щепкина и Мочалова.

Крепостной актер Михаил Семенович Щепкин — первый реалист нашего национального театра — по словам Герцена, «создал правду на русской сцене». С появлением Щепкина, на театральные подмостки на смену напыщенно-декламирующим героям пришел живой человек с его естественными переживаниями и искренними чувствами. Щепкин не только гениаль-

ный актер-самородок, передовой человек своего времени, близкий Пушкину, Гоголю, Белинскому, Герцену, — но и выдающийся театральный теоретик, проповедывавший народность и жизненную правдивость искусства. Он требовал, чтобы актер не отгораживался от жизни, а «изучал человека в массе». Щепкин близок нам, людям искусства, и своими прогрессивными принципами театрального дела. Он ратовал за ансамбль — «гармонию спектакля», за глубокое, полное воплощение идей драматурга, за непрерывное и настойчиво трудолюбивое совершенствование актером своего мастерства.

Великий актер-гражданин, видевший в театре огромную воспитательную силу, реформатор театрального дела, создатель русской национальной школы актерского мастерства — таков наш Щепкин.

Одновременно со Щепкиным на сцене Малого театра выступал первый русский трагик Павел Степанович Мочалов. «Какой могучий, какой страшный художник!», — восклицал Белинский. «Необыкновенный талант, бездна огня и чувства», — писал о великом трагике С. Т. Аксаков.

Бурный, страстный, горящий неукротимым порывом Мочалов потрясал зрителей правдой чувств, неотразимой силой трагической выразительности. Исключительное впечатление, которое производила игра Мочалова, объяснялось тем, что в сценических образах он раскрывал гордую, свободолюбивую душу человека из народа, рвущуюся из мрака самодержавной России к светлой будущему.

«Мочалов, как и Щепкин, — писал Герцен, — принадлежат к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской природы, которые делают неизбежной нашу веру в будущность России». Эти силы и возможности, столь прозорливо увиденные Герценом в Щепкине и Мочалове, были заложены и в других великих актерах, составивших славу Малого театра.

Щепкин и Мочалов!. Мне не хотелось бы, как это принято, подчеркивать то, что Щепкин является основателем реалистического, а Мочалов романтического направления нашего сценического искусства. Слов нет, Щепкин и Мочалов — художники разных индивидуальностей, разных творческих профилей. Но усиленное подчеркива-

ние этого обстоятельства вряд ли исторически справедливо. Ведь оба они — и «земной» Щепкин, и «возвышенный» Мочалов — реалисты, чуткие и правдивые выразители жизни, подлинно народные художники. Оба они — родоначальники бессмертной плеяды замечательных актеров, составляющих славу и гордость нашего драматического искусства.

Три поколения Садовских, Л. Никулина-Косицкая, И. Самарин, В. Живокини, С. Шумский, Н. Медведева, Г. Федотова, М. Ермолова, Ф. Горев, А. Ленский, А. Южин, Е. Лешковская — каждое имя сверкает, каждое имя — страница в истории русского театра. Сколько замечательных сценических шедевров создано этими выдающимися мастерами искусства, сколько сердец потрясли они своей игрой, сколько благородных идей заронили в людские души!

Достаточно вспомнить пламенную игру одной из самых ярких звезд русского театра Марии Николаевны Ермоловой. Всю мощь своего огненного темперамента, всю силу своей любви к свободе и ненависти к тирании она бросала в зрительный зал, и тот отвечал ей волнами трепетного воодушевления. Она всходила на сцену Малого театра, как на трибуну, чтобы учить современников мужеству, свободолюбию, борьбе. И нередко спектакли с участием Ермоловой, которую В. И. Немирович-Данченко называл кумиром революционной молодежи, — выливались в революционные демонстрации. Ермолова олицетворяла совесть русского демократического искусства, и так глубоко символично, что именно ей первой Советским правительством было присвоено высокое звание Народной артистки республики!

Точно эстафету, передавали великие русские актеры из поколения в поколение животворящий факел народного искусства, и он разгорался все ярче и ярче. С. Шумский, приветствуя от имени артистов Малого театра своего учителя Щепкина, говорил:

«Нам остается только не уклоняться от проложенной Вами дороги, твердо идти вслед за Вами и надеяться, что по примеру Вашему мы сами будем служить, по мере сил, уроком для артистов, последующих за нами».

И действительно, последующие поколения актеров следовали высокому образцу своих старших товарищей. Наша современница А. Яблочкина, говоря о влиянии, которое оказали на нее Ермолова, Ленский, Южин, пишет:

«Мы поклонялись этим крупнейшим художникам — они были для нас рыцарями добра и красоты, вождями, на призыв которых мы с готовностью могли пойти».

Бережно храня заветы своих учителей, А. Яблочкина, как и другие артисты ее поколения, передают свои знания и опыт новым артистическим силам. «Мне всегда мечталось, — пишет А. Яблочкина, — служить связующим звеном между теми, кто дал так много театру в прошлом, и теми, кто теперь творит в нем».

Новые поколения актеров не только свято хранили щепкинские традиции жизнеутверждающего сценического реализма, подчиненного высоким и прогрессивным идеям, но и развивали, обогащали, совершенствовали его и вместе с передовыми русскими драматургами неустанно двигали вперед наше театральное искусство.

Немеркнущая дружба

«14 января 1853 года я испытал первые авторские тревоги и первый успех, — писал в своей автобиографии А. Н. Островский. — Шла моя комедия «Не в свои сани не садись»; она первая из всех моих пьес удостоилась попасть на театральные подмостки».

С этого дня и началась замечательная долголетняя дружба великого драматурга и великого театра. То, что Малый театр угадал в молодом Островском большую, свежую творческую силу, и явилось ярчайшим подтверждением общественной и художественной чуткости театра, его постоянного желания правдиво и полно отражать жизнь. То, что Малый театр дал сценическую жизнь драматургии Островского, — величайшая, немеркнущая заслуга театра.

Дружба Малого театра с Островским — не случайность, а историческая закономерность: всем ходом своего развития, стремлением к утверждению правды и справедливости Малый театр как бы был подготовлен к этой встрече.

Мы нередко говорим о содружестве театров и драматургов. Думается, нам следовало бы чаще обращаться к историческому примеру глубокого и органического идейно-творческого единства Островского и Малого театра. Их связывали прочные нити духовной близости. Театр проникновенно и чутко понимал и толковал каждую реплику, выходящую из-под пера великого писателя. На его сцене создатель бессмертной галереи живых и ярких человеческих образов видел мастерское скульптурно-выпуклое их воплощение. Драматург и театр вдохновенно, рука об руку, горя одним и тем же творческим пламенем, создавали великолепные произведения искусства. Островский принимал непосредственное участие в постановке своих пьес, присутствовал на репетициях, работал с отдельными актерами, внимательно прислушивался к их замечаниям и даже вводил в текст отдельные актерские находки.

Драматургия Островского открыла новую эру в жизни Малого театра. Сорок семь из сорока восьми пьес великого драматурга получили здесь свое сценическое рождение. Перед зрителем прошла созданная гением Островского огромная, проникнутая ярким национальным колоритом панорама русской жизни. На театральных подмостках появились люди разных профессий, разных слоев общества, и каждый из них предстал со своими мыслями, чувствами, со своим душевным складом и психологическим своеобразием.

Мастерски точно воспроизводя картины русского быта, театр толковал Островского, в первую очередь, как обличителя «темного царства» самодержавной России с его невежественными хозяевами, самодурами и алчными стяжателями. И поистине замечательно то, что Малый театр (пусть не всегда сознательно) воплощал Островского в духе революционно-демократической критики действительности в духе Добролюбова и Чернышевского. Такое воплощение было естественно для театра, постоянным творческим методом которого был критический реализм. И именно на драматургии Островского этот метод развился и окреп.

Можно утверждать, что за последнее столетие не было на подмостках Малого театра ни одного крупного актера, кото-

рый бы не играл в пьесах Островского. И в этой плеяде первое место принадлежит личному другу и сподвижнику великого драматурга — Прову Михайловичу Садовскому — родоначальнику целой династии первоклассных мастеров русского драматического искусства. Начиная с первой, поставленной Малым театром, пьесы Островского, Садовский играл или принимал участие в постановке почти всех его пьес. Замечательный реалист, Садовский создавал типически обобщенные образы и так сливался с изображаемыми персонажами, что, как образно замечал один тогдашний критик, «игроки нельзя подпустить под маску — того и гляди, коснешься живого тела». Садовский создал множество самых разнообразных образов, отличавшихся глубиной психологической правдой. Понстине классическим является его Любим Торцов — человек широкой русской природы, смелый, великодушный и справедливый. Его слова «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» звучали в устах Садовского, как вызов простого человека миру социальной несправедливости.

Огромный талант Прова Михайловича Садовского, как и талант Островского, был проникнут национальным русским духом.

Подлинно творческая дружба Островского и Садовского была не менее замечательной, чем дружба Гоголя и Щепкина. На празднестве, посвященном чествованию Щепкина, Погодин, в присутствии Островского и Садовского, заявил: «Щепкин имел такое влияние на Гоголя, какое в младшем поколении Садовский своей простотою, своей натурою, даже своей особою имеет на Островского».

Вместе с П. М. Садовским и вслед за ним на сцену Малого театра пришла целая когорта замечательных мастеров, блестяще воплощавших образы Островского. М. Садовский — Мурзавецкий, О. Садовская — Домна Пантелеевна, Л. Никулина-Косицкая — Катерина, С. Васильев — Тихон, Н. Медведева — Гурмыжская, Г. Федотова — Василиса Мелентьева, Н. Никулина — Варвара, К. Рыбаков — Незнамов, А. Южин — Телятев, — какое обилие сценически совершенных образов, вошедших в классический фонд русского драматического искусства!

«Литературе Вы принесли в дар, — писал И. А. Гончаров Островскому, — целую библиотеку художественных произведений для сцены, создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать — у нас есть свой русский национальный театр. Он по справедливости должен называться «Театром Островского».

Содружество Малого театра с Островским не ограничилось более чем тридцатью годами их непосредственного контакта и тесного плодотворного сотрудничества. Театр пронес Островского сквозь десятилетия, как знамя полнокровного реалистического искусства, искусства большого социального накала и глубоких человеческих характеров.

Своей дружбе с Островским Малый театр верен и сейчас. И как олицетворение этого прекрасного негаснущего творческого союза, высится у входа в старейший русский театр памятник великому драматургу.

Новая эпоха

Великая Октябрьская социалистическая революция спасла русское искусство и, в частности, искусство Малого театра от угрожавшей ему глубокой деградации. Десятилетие с 1907 по 1917 год, говоря горьковскими словами, заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции. Мистика, символизм, формальное трюкачество захлестнули театральные подмостки. Пошлые, гнилые, художественно-ничтожные пьесы драматургов-эпигонов и модернистов господствовали в театральном репертуаре.

Влияние этой гнили на Малый театр выразилось в том, что, вопреки стойкому противодействию лучшей части актеров, на его сцену проникли пустые и пошлые пьесы, не имеющие ничего общего с его историческими традициями. Враги народного искусства, деятельно поддерживаемые царской властью, нападали на Малый театр, называли его реалистическое искусство «старомодным и безжизненным», душили Малый театр, травили его гениального режиссера Ленского, пытались погасить очаг нашей великой национальной культуры.

Выдающиеся русские актеры искали выхода из тупика. «Дорогое, милое искусство, — писала гениальная Ермолова, — что с ним теперь? Все навыворот: порнография, безумие — вот литература и театр нашего времени. Я со страхом думаю, что надо опять итти на сцену. Зачем? Что делать? То, что бы я хотела — нет сил, а то, что хочет мода, я не хочу».

Великая очистительная гроза социальной революции, открывшая перед Россией широкий и радостный путь к свободе и правде, окрылила наше искусство, подняла его на небывалую высоту, сделала его истинно народным.

Победивший пролетариат жаждал чистого и правдивого, жизненного и реалистического театрального действия. Нужно ли говорить, что Малый театр всем своим историческим прошлым, всеми своими демократическими традициями был подготовлен начать новую жизнь — жизнь, целиком посвященную благородному служению революционному народу в огне восстания, утвердившему свою единственно справедливую советскую власть.

Вчерашний «императорский» театр с энтузиазмом распахнул двери перед новым зрителем. Малый театр первым начал действовать в Москве при советской власти. Теперь перед ним была аудитория, о которой десятилетиями мечтали прогрессивные русские художники и мыслители, это были люди труда, представители класса победителя, сыны новой России. В партере, где обычно сидели, говоря саркастическими словами Пушкина, «великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий...», нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, только в балетах...» — теперь мы видели рабочих, крестьян, красноармейцев, студентов. «Об этой публике всю жизнь грезил и тосковал Малый театр», — писал Южин.

Крупнейшие художники русской сцены: Южин, Ермолова, Садовская, Лешковская, Правдин и другие — с радостью отдавали свое творчество широкой народной аудитории. Весь актерский коллектив играл вдохновенно, с небывалым чувством ответственности.

Стремясь донести до рабочего зрителя свое искусство, актеры Малого театра систематически выезжали со спектаклями на окраины, в рабочие клубы, в воинские части. В 1918—1919 годах было дано 170 выездных спектаклей. Один из участников этих спектаклей рассказывает об игре Ольги Осиповны Садовской в Сокольническом окраинном театре, «где было 4 градуса мороза, где не было света в уборных, где не удалось достать хотя бы кипятку, чтобы согреться после утомительного и долгого пути на ломовой подводе». Он описывает блестящие радостью глаза великой актрисы, когда она, кончив роль, сошла со сцены и сказала: «Хорошая публика — стоит играть».

Все лучшие классические произведения, которые были в репертуаре Малого театра, стали достоянием широких народных масс. Если в первом послереволюционном сезоне классика составила более половины репертуара, то в сезоне 1918—1919 гг. на ее долю пришлось до 98 процентов всех спектаклей. Основу репертуара в первые годы Советской власти составляли произведения Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Островского, Тургенева, Толстого.

Советское правительство с большим вниманием относилось к Малому театру и его актерам. Знаменательным днем для всего советского искусства явилось триумфальное празднование 2 мая 1920 года пятидесятилетнего служения Марии Николаевны Ермоловой русской сцене. Первым поднялся приветствовать юбиляру сидевший в центральной ложе Московского Совета Владимир Ильич Ленин.

Актеры Малого театра чувствовали, что в новую эпоху их роль воспитателей и просветителей народа бесконечно возросла. Глубокий отклик нашел в Малом театре зов Ермоловой:

— Приступим к великому делу просвещения народа и будем работать все вместе без разделения, колебания и сомнения.

Чтобы выполнять свою высокую воспитательную миссию, театр должен был обновить свой репертуар. Стремясь к произведениям большого социального звучания, он обращается к драматургии Горького, которая в дореволюционное время «императорским» театрам была запрещена. В 1919 году Малый театр осуществляет постанов-

ку пьесы «Старик», на премьере которой присутствует Ленин. (В дальнейшем театр не раз обращается к произведениям Горького и, в частности, поставил пьесу «Варвары», которая уже 8 лет удерживается в его репертуаре).

Позже ставятся пьесы советских авторов: «Оливер Кромвель» А. Луначарского, «Загмук» А. Глебова, «Лево руля» В. Билль-Белоцерковского и другие.

Но по-настоящему забился пульс современной жизни на сцене Малого театра лишь с момента постановки им героической драмы К. Тренева «Любовь Яровая» (декабрь 1926 года). Спектакль был большой принципиальной победой театра—первые на его подмостках появились живые образы наших современников. Театр правдиво показал рождение нового человека, безоговорочно связавшего свою судьбу с революцией. Спектакль не был экскурсом в историю, простым воссозданием картины прошлого. Великолепный ансамбль Малого театра, создавший этот спектакль, страстно и гневно обличал прошлое и не менее горячо и решительно утверждал новое, революционное. Это был подлинно боевой, партийный спектакль. Со сцены повеяло дыханием большевистских идей, огнем революционного пафоса.

Этот выдающийся спектакль знаменовал собой новый этап в истории всего советского театра. Он указал Малому театру путь, по которому он должен следовать, чтобы отвечать растущим запросам жизни.

И Малый театр пошел по этому пути. Начиная с «Любови Яровой», зритель все чаще видел на его подмостках своих современников. Все увереннее и сильнее звучал в стенах Малого театра голос нашего времени.

Но этот новый путь, на который вступил наш театр, ему пришлось защищать в жестокой борьбе. Малый театр — цитадель реалистического искусства — подвергался непрерывным нападкам со стороны «леваков», выступавших под лозунгами футуризма, экспрессионизма, конструктивизма и прочих чуждых теорий. Противникам здорового реалистического искусства удалось осуществить на сцене Малого театра несколько формалистических постановок («Го-

ре от ума», «Волки и овцы», «Смерть Тарелкина»). Однако Малый театр быстро распознал подлинную сущность этих «левых» реакционеров и, преодолев несвойственное его духу формалистическое экспериментаторство, продолжал следовать традициям идейно насыщенного и художественно полноценного искусства.

Достаточно вспомнить такие спектакли, как «Бойцы» В. Ромашова, посвященный делам и людям Красной Армии; «Скутаревский» Л. Леонова, характеризующий внутреннюю перестройку интеллигенции, искавшей и обретавшей свое место в социалистическом обществе; «В степях Украины» А. Корнейчука, живо и правдиво рисующий колхозную деревню, столкновение между частнособственническим и социалистическим сознанием и победу нового над старым.

Одной из лучших предвоенных постановок Малого театра явилась «Слава» В. Гусева — подлинно патристический спектакль, показавший рядовых советских людей, беззаветно преданных народу, готовых на любой подвиг во имя социалистического Отечества.

В годы военной бури

Когда гремели пушки на полях Великой Отечественной войны, голос нашей «музы» — нашего советского народного искусства — не только не затих, но, наоборот, звучал особенно сильно, призывно, страстно. Артисты Малого театра, как и все деятели советского искусства, вся советская интеллигенция, были вместе со своим народом, поднявшимся на священную битву.

В эти дни грозных испытаний Малый театр еще больше сблизился, сроднился со зрителями. И во время 11-месячного пребывания в эвакуации в Челябинске, и после возвращения осенью 1942 года в столицу он все прочнее и прочнее укреплял свои связи с фронтом. Теперь была уже не одна, а десятки и сотни сцен Малого театра! Лесные поляны, аэродромы, площадки грузовиков, госпитальные палаты, заснеженные землянки, крестьянские избы превращались в сценические подмостки, с которых артисты обращались к защитникам Родины. От Ледовитого океана до Черного моря, от Мурманска до Сева-

стополя и Сталинграда простерся радиус действия наших фронтовых бригад. Не удовлетворившись этим, Малый театр создал зимой 1942—43 годов свой постоянный фронтовой филиал, работать в котором считали для себя честью наши артисты и режиссеры. Этот театр до конца войны был с бойцами и дошел с ними до Берлина.

Пламенные патриотические стихи, отрывки из бессмертной русской классики, шутки и юмор — все это встречалось воинами с радостью и благодарностью. Слово было острым, разящим оружием, помогавшим в тяжелом и святом ратном деле. И когда я наблюдал воздействие наших великолепных мастеров художественного чтения на бойцов, которые должны были через несколько дней, а иногда и часов встретиться на поле боя с врагом, когда я видел, как загорались их глаза, мне вспоминались слова Луначарского: «Замечательной особенностью Малого театра было то, что в центре его внимания всегда стояло слово. Мощь слова как социального оружия должна неизменно вырасти в нашу эпоху».

По-новому, по-особому играли в военное время наши актеры и на центральной сцене. Обличения Глумова, и те никогда не звучали столь хлестко и гневно. Но этого было мало. Патриотический спектакль, в котором жила бы тема великой освободительной войны, в котором действовали бы советские люди, с оружием в руках отстоявшие родную землю, — вот чего требовал зритель, вот о чем мы мечтали.

Первой такой полнокровной и острой пьесой, откликавшейся на события войны, явилась пьеса А. Корнейчука «Фронт», которую Малый театр, первым в Москве, поставил в 1942 году. Мы работали над этим спектаклем с вдохновением, ибо знали, что он ставит вопросы, решение которых помогает великому делу победы над врагом. Важная тема разрешалась драматургом смело и талантливо. «Художественная самокритика наших недостатков» — так называли «Фронт» бойцы и командиры, смотревшие спектакль и единодушно признававшие его большую воспитательную силу. Пожалуй, ни одно сценическое произведение так конкретно не послужило делу победы, как «Фронт».

Вскоре театр одержал еще одну творческую победу. Была поставлена пьеса

Леонида Леонова «Нашествие». Спектакль производил огромное впечатление и прочно вошел в наш репертуар. Он звучал гимном патриотической воле и негибаемому духу советских людей, прославлял их духовную стойкость и нравственную силу. Впоследствии, при повторном рождении этого спектакля, мне довелось работать над ним как режиссеру, и мне стало понятно, почему пьеса так увлекла покойных П. Садовского и В. Массалитинову. Нельзя сейчас не посетовать по-дружески на Л. Леонова за то, что так давно молчит его голос талантливого драматурга.

Пьеса «Инженер Сергеев» В. Рокка, также посвященная героико-патриотической теме, дала нам возможность показать чудесные качества советского человека, готового на любые жертвы во имя победы, во славу Отчизны.

Создавая патриотические спектакли о советском народе и его победоносной армии, Малый театр не прекращал работы над русской классической драматургией. Под руководством П. Садовского была поставлена комедия Островского «Волки и овцы», которая и сейчас идет на сцене театра с неослабевающим успехом.

В военное время театр, стремясь воссоздать в художественных образах историю нашей родины, осуществил постановку пьесы Ал. Толстого «Иван Грозный», посвященную выдающемуся государственному деятелю, собирателю России, защитнику ее суверенного могущества. Второй вариант спектакля, сделанный при непосредственной помощи уже тяжело больного Алексея Николаевича, был впервые поставлен 2 мая 1945 года. В этот день под сокрушительными ударами наших доблестных войск пала столица гитлеровского рейха. После спектакля, необычайно горячо принятого зрителями, со сцены был объявлен приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Берлина. Трудно передать ликование, охватившее зал. По обе стороны ramпы долго гремели возгласы в честь гения Сталина.

Коллектив Малого театра, вместе со всеми работниками искусств, достойно выдержал экзамен войны. У нашего театра есть патриотические традиции, уходящие своими корнями далеко в глубь истории. Еще

в дни Отечественной войны 1812 года московская труппа, ставшая позднее труппой Малого театра, своим искусством вдохновляла народ на борьбу с иноземными захватчиками. Когда Наполеон уже стоял у ворот Москвы, труппа продолжала давать патриотические спектакли. По свидетельству очевидца, некоторые зрители, «вышед из театра на другой день бежали прямо в Комитет записываться в ряды ополчения».

Эти исторические традиции нашего народного искусства, стократно обогащенные, наполненные новым социалистическим содержанием, показали в годы Великой Отечественной войны свою действенную вдохновенную силу.

Голос жизни

Малый театр был и остается хранителем золотого фонда нашей классической драматургии. Но ошибочно полагать, что он лишь воспроизводит старые постановки. Нет, произведения классиков по-новому прочитаны, по-новому осмыслены актерами. Шедевры Гоголя, Грибоедова, Островского в наши дни получили новую жизнь. Достаточно сослаться на такие последние постановки, как «Горе от ума», «Ревизор», «Доходное место», чтобы представить себе ту творческую работу, которую непрерывно ведет театр над классическим наследством.

Но главные творческие победы одержаны Малым театром на путях реалистического отображения современности, на путях искусства, проникнутого самыми передовыми и благородными идеями нашего времени — идеями коммунизма. В послевоенных условиях Малый театр, глубоко воспринявший критику Центрального Комитета партии недостатков в репертуаре драматических театров, — настойчиво работает над постановкой пьес советских драматургов.

Спектакли «За тех, кто в море» и «Южный узел» воскрешают страницы Великой Отечественной войны, которая еще долго будет вдохновлять нашу драматургию и наши театры на новые и новые произведения искусства.

Малый театр — это общественная трибуна. Борцом против тлетворной идеологии пресмыкательства перед буржуазным Западом выступил театр, поставив пьесу

Б. Ромашова «Великая сила». Страстным проповедником новой коммунистической морали выступил он в пьесе А. Софронова «Московский характер». Горячим поборником мира, беспощадным разоблачителем поджигателей нового военного пожара заявил он себя, осуществив постановку пьесы К. Симонова «Русский вопрос». В этом спектакле Малый театр отчетливо и остро выявил политический конфликт пьесы, не сбиваясь ни на лирико-психологическую драму, ни на сатирическую комедию. Борьбе сил реакции и сил прогресса посвящен и спектакль «Заговор обреченных», показывающий социально-политические процессы, происходящие сегодня в странах народной демократии.

Об этих спектаклях, дышащих воздухом нашей великой эпохи, писалось много. Мне хотелось бы только подчеркнуть, что это не только отдельные успехи, но и новая ступень в развитии реалистических традиций театра, его новый вклад в дело общественного служения народу.

Шестьдесят четыре современные пьесы поставлено за годы Советской власти на сцене Малого театра. Если мысленно представить себе героев этих пьес, отражающих нашу действительность, перед нами предстанет обширная галерея советских людей от времен гражданской войны до наших дней. Большевикистский комиссар Кошкин, «братишка» — матрос Швандя, ученый-физик Скутаревский, командир дивизии Гулин, колхозник Чеснок, актер Медведев, инженер Сергеев, генерал Огнев, директор завода Потапов, профессор Лавров, секретарь райкома Полозова — какое разнообразие типов, профессий, характеров. Ряд образов, рожденных советской драматургией, нашел в Малом театре глубоко реалистическое и правдивое воплощение. Это было бы невозможно, если бы сами актеры не были тесно связаны с жизнью, если бы они не жили жизнью своего народа, своего великого времени.

В нашем социалистическом государстве актер выполняет почетную и благородную миссию, его достоинство гражданина и художника поднято на огромную высоту. А ведь Щепкину приходилось доказывать, что и актер «может быть человеком», что «и лицедеи — люди». Воистину прекрасна наша судьба — судьба наследников Щеп-

кина, творящих в стране строящегося коммунизма!

Сегодняшний состав труппы Малого театра представляет собой богатый дарованиями творческий коллектив. Три поколения соединились в нем, образовав сплав, в котором органически слиты лучшие традиции далеких десятилетий с прекрасной новью социалистического искусства.

Продолжают работать на сцене Малого театра представители старшего поколения — соратники Ленского, Южина, Ермоловой, Лешковской. Полна творческих сил Евдокия Дмитриевна Турчанинова — актриса редкого дарования, обладающая острым чувством современности. Сравнительно недавно создала она потрясающий образ Метропии Давыдовны Мурзавецкой — образ властной, хитрой, умной и жестокой волчицы, а теперь она великолепно играет в новой пьесе «Наш современник» К. Паустовского няню Пушкина Арину Родионовну, играет мягко, лирично, создавая образ русского человека, полного величественной простоты, чувствующего себя не слугой, а другом гениального поэта.

Попрежнему сверкает своим замечательным талантом Варвара Николаевна Рыжова — непрезойденная исполнительница ролей в пьесах Островского, чудесная мать в «Славе», старуха Лаврова в «Великой силе».

С нами Александра Александровна Яблочкина, более 60 лет плодотворно работающая в Малом театре, и Николай Капитонович Яковлев, радующие зрителя своими неувыдаемыми талантами; Вера Николаевна Пашенная, с классическим мастерством сыгравшая недавно Кукушкину в «Доходном месте», актриса горячего темперамента и большой театральной культуры; Александр Алексеевич Остужев — «мочаловский актер», создавший классические образы Отелло и Уриэля Акосты.

Основой сегодняшней труппы Малого театра является так называемое среднее поколение, которое, критически усвоив традиции прошлого, развивает их, двигает вперед, обогащает современностью. Я имею в виду таких выдающихся мастеров нашего театра, как Е. Гоголева, Е. Шатрова, Д. Зеркалова, С. Фадеева, К. Тарасова, М. Царев, И. Ильинский, Н. Светловидов, С. Межинский, Н. Анненков, В. Влади-

славский, А. Зражевский, А. Дикий, М. Жаров. Замечательно, что эта фаланга талантливых актеров в захватывающем общем труде нашла единый современный творческий язык и органически слилась со старшим актерским поколением. Эти актеры создали совершенные образы в классических произведениях русской драматургии (сошлемся хотя бы на Ильинского—Хлестакова или Шатрову — Купавину) и в то же время играют лучшие роли во всех постановках советских пьес, которые являются сейчас основой всего нашего репертуара.

Театр вырастил плеяду молодых талантливых актеров, прочно вошедших в его коллектив. Стоящие на пороге большого творческого пути И. Ликсо, Н. Афанасьев, Д. Павлов, Б. Телегин, способная характерная актриса Т. Панкова, обладающая незаурядным дарованием К. Рок, растущие актрисы О. Хорькова, Т. Еремеева и М. Овчинникова — все они олицетворяют молодое поколение артистов Малого театра, которое под руководством старших товарищей и вместе с ними совершенствует свое мастерство и в то же время вносит в творческую жизнь театра тот оптимизм и бодрость, которые свойственны советской молодежи, выросшей под счастливой звездой социализма.

Неиссякаема жизненная сила Малого театра, как неиссякаемы народные источники, питающие все наше великое социалистическое искусство!

К вопросу о нашем творческом кредо

Анализ творческих традиций и принципов Малого театра требует глубокого и обширного исследования. Это насущная задача нашего театроведения. Здесь мне хочется высказать лишь некоторые мысли, связанные с характеристикой сценического метода и стиля Малого театра.

Искусство Малого театра, сама методика его сценических приемов всегда были жизнеспособны, доступны пониманию широчайших слоев нашего зрителя, и недаром Белинский, Герцен, Добролюбов считали это искусство мощным рупором, сквозь который голос прогрессивных авторов доходил до глубин человеческого сердца.

История Малого театра, его творческие особенности, искусство его основополож-

ников, его традиции — всё говорит о том, что он оказался подготовленным к органическому восприятию боевого и живого метода социалистического реализма.

Как уже указывалось, с именем гениального Щепкина — основоположника Малого театра — связана реформа в театральном искусстве, положившая начало русскому реализму на сцене, быть может близкая по своему значению реформе Пушкина в нашей родной поэзии и литературе. И дело здесь, конечно, не только в той «простоте и естественности», которую утвердил своим примером на русской сцене Щепкин, но и в тех принципах понимания искусства, какие он провозгласил и которым учил своих последователей.

Если проанализировать весь 58-летний творческий путь Щепкина, все, что им сделано для родного искусства, станет ясным, что влияние щепкинского гения переросло рамки его времени и он остается, как сказал другой гениальный преобразователь театра К. С. Станиславский, «нашим великим законодателем».

Два основных тезиса щепкинского реализма являются как бы взаимно дополняющими друг друга: «Искусство настолько высоко, насколько близко к природе» и в дополнение к этому «Действительная жизнь и волнующие страсти, при всей своей верности, должны в искусстве проявляться просветленными...».

Как бы прямым развитием этого второго щепкинского положения является высказывание А. Н. Островского: «При художественном исполнении слышатся часто не только единодушные аплодисменты, а крики из верхних рядов: «Это верно», «Так точно!»... Но с чем верно художественное исполнение, с чем оно имеет сходство? Конечно, не с голою обыденною действительностью: сходство с действительностью вызывает не шумную радость, не восторг, а только довольно холодное одобрение... Радость и восторг происходит в зрителях оттого, что художник поднимает их на ту высоту, с которой явления представляются именно такими. Радость быть на такой высоте и есть восторг, и есть художественное наслаждение; оно только и нужно, только и дорого и культурно и для отдельных лиц, и для целых поколений и наций...»

Из сопоставления мысли Щепкина с высказыванием Островского — второго основоположника Малого театра, выясняется, что именно эти тезисы определяют существо его реалистического метода. Метод этот, естественно, не оставался неизменным, претерпевал отклонения в сторону бытовизма, натурализма, переживал рецидивы беспредметно возвышенного классицизма. Тем не менее щепкинские основы были и остаются для нас неизблемыми. Именно поэтому Малый театр, его актеры и режиссура, никогда не интересовало иллюзионистское воспроизведение действительности и механическое копирование фактов; такой «реализм», окрашенный в нарочито серые краски, чужд общественному театру, каким всегда был Малый. Общественный театр отбирает самые значимые явления, синтезирует их, создает типические образы, отбрасывая все мелкое, второстепенное, средствами сценической выразительности подчеркивая главное, наиболее характерное, общественно важное.

Основная традиция Малого театра — традиция служения своим искусством передовым идеям общества, — утвердившись со времен Щепкина, — является до сих пор главной движущей силой его развития. Эта общественная тенденция, пронизывающая все творчество театра, требует отбора таких выразительных средств, которые могли бы захватывать зрителя. Отсюда, по сравнению с некоторыми другими театрами, Малый всегда был театральным — конечно, не в дурном смысле этого слова. Он запечатлевал в образах явления действительности, с точки зрения обобщения и типизации, а не фотографической точности. Чтобы пояснить это фактами, можно, например, вспомнить свидетельство современников, видевших Щепкина в «Скупом рыцаре». Произнося монолог барона, после слов «Он расточит...» актер быстрыми шагами подходил к рампе и буквально бросал в публику: «А по какому праву?»... Причем, та простота и естественность, которая делала авторский текст как бы принадлежащим актеру, производила в этом случае впечатление прямого разговора с публикой. Это непосредственное обращение к залу освящено и Гоголем в словах Городничего: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь!» В ре-

зультате это место делалось смысловой кульминацией акта, если не всего спектакля. Такой же прием употреблялся и В. Давыдовым в «Свадьбе Кречинского», когда забываемая фигура актера в гриме Расплюева приближалась по средней магистрали сцены прямо к рампе, для того чтобы начать знаменитый экспозиционный монолог. Такой же прием избрали и мы, работая над пьесой К. Симонова «Русский вопрос» Гарри Смит — Царев в последнем акте, в своем заключительном страстном обличении трумэнзовской Америки, бросает гневные слова в зрительный зал, разрушая тем самым «четвертую стену» и превращая сцену Малого театра в трибуну политического оратора. Мы убеждены, что этим не только не нарушаем, а продолжаем нашу традицию, исходящие из признания того, что театр есть театр — то есть искусство идейно-направленное, прекрасное своими специфическими способами отражения жизни, а не бесстрастно копирующее действительность.

Это и позволяет в противовес натуралистическому изображению действительности давать сценическим образам более резкие очертания, делая их более яркими и запечатлевающимися в восприятии зрителя. Возможность некоторой гиперболизации, вместе с отбором самого существенного, типического, вместе с исключением неспущенных мелочей быта и жанра, — и составляет основу метода построения сценического образа в Малом театре.

Классическим примером этому может служить исполнение покойным П. Садовским роли комиссара Кошкина в спектакле «Любовь Яровая». Какой силы, убедительности достиг здесь П. Садовский! Сравнивая его со многими другими актерами, виденными мною в этой роли, я убедился, что не было более партийного воплощения на сцене образа комиссара Кошкина. Простота, сдержанная героичность сопровождала его игру на всем ее протяжении. И одна только яркая, озаряющая вспышка в конце первого акта захватывала своею неожиданностью — это был момент идейной кульминации, где обнаруживалась вся принципиальная непоколебимость и неподкупность честного героя-большевика.

Вспоминая «Любовь Яровую», как блестящую победу реализма Малого театра,

победу, одержанную в самый разгар ожесточенной гравли Малого театра со стороны «левых» театров, упрекавших его в «консерватизме», — нельзя не сказать о замечательном исполнении центральной роли В. Пашенной. Какой это образец блестящего актерского мастерства, воспитанного гениальным А. Ленским на основах щепкинского реализма. Простота, сдержанность, граничащая со скупостью — и за всем этим необычайная сила и убежденность. Нет нужды умножать подобные примеры, которых в этом спектакле столько, что весь он как бы является доказательством того, как через правду сценическую достигается социальная правда. Этот спектакль является свидетельством подлинной животворности традиций щепкинского реализма, опираясь на которые нынешний коллектив Малого театра шаг за шагом, все увереннее и глубже овладевает методом социалистического реализма, изучая современные социальные проблемы в свете марксистско-ленинской науки.

Партийность в искусстве, синтетическое, обобщающее претворение нашей жизни в глубоко идейных и высоко художественных спектаклях — вот тот основной принцип, которым, точно компасом, руководствуется Малый театр. Ленинизм учит нас, что наше искусство не может быть аполитичным, не может представлять собой «искусство для искусства», а призвано осуществлять передовую роль в общественной жизни. В основе нашего понимания целей и задач искусства лежит ленинский принцип партийности литературы и искусства.

Ответственность за осуществление этого великого принципа во всем своем значении встала перед Малым театром после решений ЦК партии по идеологическим вопросам. Эти решения, являющиеся историческими для всего советского искусства, влили новую энергию в работников Малого театра, и 125-летний юбилей заставит наш коллектив с увлечением создавать высоко идейный репертуар.

Три наших послевоенных спектакля: «За тех, кто в море», «Великая сила» и «Московский характер» — удостоены Сталинских премий. Что отличает эти постановки? Их отличает, в первую очередь, партийное понимание темы и партийное же ее осуществление. Очевидно, в этом пар-

тийном понимании и осуществлении темы находит свое место и то, что называл Щепкин верным взглядом на предмет. И вот этот верный взгляд на предмет, осуществленный методом реалистического искусства, помогает созданию спектаклей, где волнующая тема современности берется во всей ее полноте. И такой подход к творчеству горячо защищается всем коллективом театра.

Я сознательно беру термин «защищать», ибо холодное сердце чуждо Малому театру. Человек, не посвященный в нравы и обычаи Малого театра, попав на его репетиции, особенно первые, стал бы свидетелем волнующих споров и страстных дискуссий, в которых рождается спектакль.

В Малом театре нет и тени режиссерской диктатуры. Здесь всегда царили и теперь царят традиции подлинного демократизма. Бывали случаи, когда мизансцены, решение того или иного эпизода, куски претерпевали множество изменений, благодаря усилию актеров, направленным на режиссерскую трактовку, и, наоборот, когда актеры в результате убежденности режиссера становились на его точку зрения и вместе добивались наиболее удачного результата. Так или иначе, создание спектакля в Малом театре — это подлинно коллективная работа, синтезирующая режиссерское и актерское творчество.

Примером такого коллективного создания спектакля, в котором режиссер не диктует, не навязывает свою волю актерам, а направляет творческий процесс, аккумулируя все актерские находки, явился поставленный нами недавно спектакль «Заговор обреченных». Пьеса Н. Вирты увлекла нас своей темпераментностью, своей боевой направленностью. И режиссура и актеры понимали, что ее нельзя решать в серых будничных тонах, что сложные конфликты, заложенные в ней, могут быть во всей своей глубине раскрыты только мастерством наших крупнейших актеров. Поэтому я, как постановщик, привлек к участию в этом спектакле ведущих мастеров: в качестве актера выступает в нем талантливый режиссер А. Диккий, женские роли находятся в руках блестящих актрис: Е. Гоголевой, Д. Зеркаловой, С. Фадеевой, и даже в маленьких ролях заняты такие актеры, как М. Царев и С. Межковский.

Этот ансамбль сначала не казался мне достаточно гармоничным, и я побаивался за согласное его звучание. Конечно, можно было бы попытаться дирижерской палочкой постановщика привести коллектив к необходимому единству. Однако такая система чужда нам.

Нужного согласия добивался не один я, а все участники спектакля. Обладающие политическим кругозором и общественным чутьем, чувствующие свою ответственность за постановку в целом, актеры явились и сорежиссерами. Каждый из них выступал не как узкий исполнитель указаний постановщика, а как творец, проявляющий свое, так сказать, режиссерское отношение к роли.

Именно в результате таких коллективных усилий, пьеса, хотя и облеченная в достаточно занимательную театральную форму, но лишенная бытовых и жанровых подробностей, в Малом театре обрела яркие жизненные краски; образы, подчас казавшиеся схематичными, стали полнокровными, и весь спектакль прозвучал взволнованно и убеждающе.

Работа над «Заговором обреченных» характерна для наших творческих методов. Она еще раз подтвердила, что Южин и Немирович-Данченко справедливо назвали Малый театр театром актера.

Общезвестно, что ни один наш театр не может двигаться вперед без тесного контакта с советской драматургией. Это особенно относится к Малому театру, имеющему богатейшие традиции творческих связей с передовой литературой. Достаточно сослаться на дружбу с Островским, о которой говорилось выше. В советское время примерами многолетнего сотрудничества театра и драматурга является наша работа с Б. Ромашовым, К. Треневым, Л. Леоновым, А. Корнейчуком. Театр надеется в дальнейшем умножить и укрепить свои связи с передовой советской драматургией, что несомненно будет плодотворным и для театра и для литературы.

На каждом шагу перед Малым театром встают все новые и более сложные задачи, среди которых необходимо основными считать создание современного, созвучного нашей великой эпохе ансамбля и воспитание артистической смены, достойной славы Малого театра. Вся труппа спаяна

единой мыслью сохранить и обогатить мастерство Малого театра, его стиль, особенности его приемов, исходя из того убеждения, что социалистический реализм предполагает разнообразие и богатство красок в театральном, как и во всяком ином искусстве.

Вечно молодой

Мысленно оглядываясь назад, мы с вершин сегодняшнего дня обзираем огромный 125-летний исторический путь, пройденный Малым театром. Этот путь не был ровным и гладким. Театр знал и многочисленные творческие победы и отдельные поражения. Но всегда, даже после временных неудач, выходил он на верную дорогу и продолжал свои традиции правдивого, национального, подлинно прогрессивного искусства.

Зная реалистического искусства Малый театр пронес через многие испытания. В скольких битвах, от скольких врагов отстаивал он его чистоту! Сколько раз формалисты различных мастей, декаденты, эстеты, «леваки», космополиты пускались в атаки на принципы Малого театра, объявляли его устаревшим, хоронили его, называли «ненужным балластом», третируют, принижали, замалчивали. Все эти враги Малого театра были по сути апологетами гнилого буржуазного искусства, его явной или тайной агентурой, стремившейся увести наш театр в гукиз бездейности, выхолостить его социально-общественную сущность, разложить и разоружить наше передовое искусство.

Но Малый театр не сдался! Ощущая постоянную поддержку большевистской партии, всегда высоко ценившей реалистическое, действенное, близкое массам искусство, Малый театр оставался верным своим творческим принципам. Его коллектив, как и все, кому были действительно дороги судьбы нашего искусства, был уверен, что будущее принадлежит не буржуазным эпигонам, прикрывавшимся «ультралево́й» фразеологией, а защитникам истинно народного театра. И действительно, все эти крикливые «теории» псевдоноваторов были смыты временем, как грязная пе-

на, а правда народного искусства восторжествовала.

«Всю свою душу Малый театр отдавал народу», — справедливо говорила великая Ермолова. И советский народ платит своему театру искренней любовью. Если в 1937 году Малый театр был награжден орденом Ленина, если многим актерам присвоены звания народных и заслуженных артистов, если 25 наших актеров являются лауреатами Сталинской премии, то все это мы рассматриваем, как признание полезности нашего труда для народа, а это для каждого советского художника самая высокая награда.

Наш народ окружает любовью Малый театр не только и не столько за его неоспоримые прошлые заслуги, но и за его новые творческие победы, одержанные на путях социалистического реализма. Когда Малый театр умел призывать к борьбе за лучшее будущее. Сейчас, когда это будущее наступило, он страстно борется за утверждение коммунистической нови.

Сто двадцать пять лет—весьма почтенный возраст. Но Малый театр, выдержавший труднейшее испытание — испытание временем, переживает сейчас настоящую юность. Он в расцвете своих сил, он полон творческого горения, смелых дерзаний, увлекательных замыслов. Великие идеи нашего времени, радость свободного и благодатного служения социалистической Отчизне влили молодую кровь в жилы театра-ветерана. Малый театр молод неиссякаемой молодостью своего героического народа!

Справедливо говорится: кому много дано, с того много и спросится. Коллектив Малого театра знает, что он в долгу перед своим прекрасным зрителем. Нам предстоит сделать очень многое, чтобы оправдать его доверие и надежды. Вдохновленные всенародной любовью и сталинским вниманием, мы сделаем всё, чтобы знаменательная дата в истории Малого театра послужила вехой на пути к новым и новым творческим успехам нашего старого и вместе с тем вечно юного театра



О СОВЕТСКОЙ САТИРЕ И ЮМОРЕ

Заметки писателя
БОРИС ГОРБАТОВ

★

1
До сих пор наши литературные критики и литературоведы продолжают относиться к боевому жанру советской сатиры и юмора с непостижимым равнодушием и пренебрежением. Считают ли: они этот жанр несолидным для себя, несерьезным или, напротив, слишком сложным, но только почти невозможно найти ни теоретических работ, ни обобщающих статей, ни даже просто рецензий, посвященных разбору произведений, созданных нашими сатириками и юмористами.

Однако природа, как известно, не терпит пустоты: нива, не засеянная пшеницей и заброшенная, покрывается сорняками; поле боя, добровольно оставленное нами, немедленно занимается нашим идейным противником.

Там, куда не проник ясный свет большевистской теории, начинают немедленно возникать и бродить всякие «теории» и «теориейки», обычно не писанные, но живучие и цепкие, отмеченные следами вражеских влияний или являющиеся плодом недомыслия, идейной неразборчивости и неразберихи, а чаще всего — элементарной теоретической неграмотности.

До сих пор в среде некоторых наших писателей-юмористов, например, живет и бродит гнилая формалистическая «теория» о том, что юмористика есть-де какой-то совсем особый, самостоятельный, ни с чем не соприкасающийся жанр литературы, имеющий свои автономные законы, свои «секреты смеха», свою «магию смешного», доступную только посвященным, только жрецам, знающим приемы и фокусы ремесла; что владеть этой «спецификой» могут

только немногие адепты жанра. Именно они, дескать, владеют тайной ремесла. И тайна сия — велика есть.

«В искусстве смеха, — писал, например, С. Юткевич в своей вышедшей не так давно книге «Человек на экране», — все должно быть рассчитано так же точно, как и в искусстве акробата».

«...Для производства смешного нужен тренинг, посгоянный и напряженный, нужны условия, в результате которых, после долгого и напряженного труда, может возникнуть легкий и точный смех, и, наконец, нужен опыт, расчет, знание всех законов своего ремесла».

«...Трюк — это квинт-эссенция юмористической выдумки, это ее экстракт и дрожжи».

И далее следуют ссылки на Гаспера де Борс, Жюля Жанена, Поля Мариюля, Фрателини и т. д. и т. п.

Итак только акробаты и жонглеры, только люди, владеющие трюком (этой «квинт-эссенцией выдумки»), могут быть «производителями смешного»; они-то и знают «специфику» этого жанра; а «специфика» этого жанра, дескать, такова, что к нему неприложимы законы, по которым растет и развивается вся наша советская литература; следует установить свои особые законы жанра, свои мерки и критерии. Поэтому-то и критиковать творения юмористов следует не с позиций высоких требований советской литературы, а с позиций жанра, его специфики и особенностей.

Эту «теорию» пора уже разбить вдребзги.

Во-первых, и юмор и сатира не являются монополией собственно писателей юмористов. И юмор и сатира присущи всей на-

шей большой советской литературе, больше того — неотделимы от нее. Разве в великом наследстве Максима Горького, основоположника нашей советской литературы, можно скальпелем отделить его сатиру от его прозы? Разве Владимир Маяковский, будучи великим поэтом революции, не был и великим мастером революционной сатиры? Разве М. Шолохов не является блестящим юмористом в самом высоком и самом благородном смысле этого слова? Достаточно вспомнить хотя бы деда Шукаря. Попробуйте найти равный образ во всей так называемой подлинной юмористической литературе. А «Василий Теркин» А. Твардовского! Он и родился-то на четвертой странице армейской газеты в отделе юмора. А сатирические типы Веры Пановой, например Супругов из «Спутников»? А «Весна в Сакене» Г. Гулия — повесть, вся пронизанная солнечным народным юмором? А басни С. Михалкова? А комедия А. Софронова «В одном городе»? А детские стихи С. Маршака и А. Барто? А песни М. Исаковского? Недаром «Крокодил» издал их в своей библиотечке.

Я нарочно взял произведения разных жанров — и поэзию, и прозу, и драматургию, и песни, и детскую литературу, чтобы показать, как невозможно, как противоестественно вырывать «собственно юмористичку» и «собственно сатиру» из общего поступательного движения и развития нашей советской литературы. Примеры можно умножить.

Во-вторых, у нас уже есть больше чем тридцатилетний опыт советской литературы, в том числе и жанра советской сатиры и юмора. И этот опыт убедительно свидетельствует о том, что только то, что развивалось по законам, общим для всей нашей советской литературы, — точнее, по пути социалистического реализма, — только это одерживало победу, становилось удачей; получало признание народа и долгую жизнь. И, напротив, то, что шло вразрез с этими законами развития и вбок от великой дороги социалистического реализма, — неизбежно приводило к поражению, к неудаче, не выдерживало беспощадной проверки временем и, в конечном счете, отбрасывалось нашим народом прочь.

Разве М. Зощенко не знал «секретов смешного» и «магии смеха» или не был

«посвященным»? Но он не знал и не хотел знать правды жизни; он клеветал на нашу действительность, оглулял и оболванивал наших советских людей, и — обратите внимание! — его писания были не только глубоко порочны идейно, но и художественно были отвратительны. Больше того, они даже не были смешны: они были мрачны, унылы. Если это и был юмор, то юмор ипохондрика и человеконенавистника. И читатель с презрением отшвырнул прочь эту мрачную стряпню.

Пора разобраться и в удачах и в неудачах Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Уж они-то знали и специфику, и законы жанра! Посмотрим, когда же у них были удачи и отчего проистекали провалы.

Молодым людям, плохо знающим историю советской литературы, покойные И. Ильф и Е. Петров представляются какими-то монументами, где все слилось вместе и покрылось юбилейной бронзой — и искания юности, и достижения зрелости. Но мы-то «старички», помним, как начекали свой творческий путь И. Ильф и Е. Петров. Мы-то знаем, сколь этот путь был сложен и извилист. Нельзя забывать, что Е. Петров и в особенности И. Ильф, как и многие другие представители советской писательской интеллигенции, не сразу пришли к пониманию пути развития советского общества и задач советского писателя.

Мы еще помним, как встретил читатель-современник выход в свет первых романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Уже тогда наш читатель, и наша советская печать, и сами мы — писатели — указывали авторам на то, как много обывательского в их романах, как много там безидейного, пустого юмора ради юмора. Уже тогда указывалось, что перспективы в этом романе смещены, пропорции нарушены, сила и значение эмпанских элементов преувеличены, рядовая масса советских служащих изображена неправильно. Уже тогда вызывал возражения центральный образ обоих романов — образ Остапа Бендера, этакого «симпатичного жулика», в котором были романтизированы и даже опоэтизированы самые худшие, с точки зрения нормального советского человека, черты одесского люмпена, проходняка и туеядца. К слову сказать, переизданные благодаря грубой

нашей ошибке, эти романы приносят сейчас немалый вред. Мне рассказывали, что еще есть юноши, для которых идеалом героя, как это ни удивительно, стал «обаятельный» Остап Бендер. Как видите, в воспитании этих юношей Остап Бендер занял совершенно неподобающее ему место. Мне жаль этих бедных молодых людей! К счастью, такие поклонники Остапа Бендера все-таки единичны.

В своих первых романах И. Ильф и Е. Петров обнаружили присущий им в тот период их литературной деятельности буржуазно-интеллигентский скептицизм и нигилизм по отношению ко многим сторонам и явлениям советской жизни, дорогим и священным для нас, обнаружили высокомерие по отношению к рядовому советскому человеку.

Повторяю, эти их коренные недостатки были очевидны уже тогда, много лет назад; они и тогда подвергались критике. Именно эта критика — как это всегда бывает, когда критика партийна и принципиальна, — была для И. Ильфа и Е. Петрова поистине благотворной. Именно после нее, после этой критики, пришли И. Ильф и Е. Петров в большевистскую «Правду» — работать и учиться. Именно «Правда» стала для них настоящей идейной школой, помогла им увидеть жизнь не с задворок, не с черного хода, помогла разобраться в ней — в этой советской жизни — и увидеть ее законы, ее перспективы.

И И. Ильф и Е. Петров не перестали от этого быть сатириками и юмористами. Напротив! Именно в эти-то годы и расцвел их замечательное дарование. Ставши, наконец, обеими ногами на твердую и прочную почву жизни, вооружившись, наконец, передовым марксистским мировоззрением, И. Ильф и Е. Петров создали такие шедевры, которые и сейчас живут, и жить будут, как их незабываемые правдивые фельетоны «Безмятежная тумба», «Веселящаяся единица», «Равнодушие», как их книга «Как создавался Робинзон», как их меткие, острые, бравые выступления в «Литературной газете», как их прекрасный рассказ «Тоня», являющийся и сейчас нашим острым орудием в борьбе с низкопоклонством перед буржуазным Западом.

Сложен и груден был путь обоих этих писателей. Этот путь пришел Е. Петрова в большевистскую партию и сделал его в

наших глазах тем, чем он и дорог нам: пламенным публицистом, сатириком, автором «Острова мира», бесстрашным военным корреспондентом, истинным писателем-большевиком. Если бы не пал Е. Петров смертью героя в дни Отечественной войны, мы несомненно увидели бы его дальнейший рост, ибо был он в самом расцвете своих творческих сил.

Пример И. Ильфа и Е. Петрова необыкновенно поучителен; он показывает, что только на путях социалистического реализма может полнокровно и многогранно расцвести творчество советского писателя, что только произведения истинно патристические, истинно народные выдерживают жестокое испытание временем.

Поэтому именно с позиций социалистического реализма и должно подходить к любому произведению в любом жанре.

Само собою разумеется, чтобы писать стихи, надо знать технику стихосложения, так же как для того, чтобы писать по-настоящему юмористические произведения, надо владеть художественным мастерством.

Но мастер художник — не ремесленник. Ремесленные приемы акробатики и эстрадные фокусы не могут заменить писателю правду жизни. По старым рецептам «старой кухни юмора» нельзя сочинять действительно веселые, действительно смешные вещи.

То, над чем смеялись наши деды, уже сейчас не смешно. И то, над чем плакали наши бабушки, слез у нас сейчас не вызовет. Недавно я смотрел старые кинофильмы. Было утомительно скучно и даже досадно смотреть на ужимки Макса Линдера и Монги Бенкса. А ведь как от души смеялись, глядя на них, наши «дедушки»! Я смотрел душераздирающую драму с участием Веры Холодной и Мозжухина — и от души смеялся. А ведь в свое время плакали же наши «бабушки», глядя эти же фильмы.

Времена меняются, меняются и люди. Мы уже не те, что были тридцать лет назад, и чувства у нас другие, а среди этих других чувств — и другое, новое чувство юмора.

И как к поэзии мы предъявляем те же требования большевистской партийности и высокой художественности, что и к прозе, так и к нашей сатире и к нашему юмору должны быть предъявлены те же требова-

ния, что и ко всякому другому жанру, — и для сатиры и юмора обязательны верность правде жизни, пламенная патриотичность и истинная народность. А формалистическую «теорийку» об «акробатике смеха», о какой-то особенной «специфике жанра» — всю эту пустую магию и алхимию следует как негодную и вредную отбросить прочь.

2

Есть и еще одна «теория», бытующая если не на страницах нашей печати, то на задворках нашего литературного быта, теория капитулянтская, ликвидаторская и глубоко вредная, о том, что в наши дни, дескать, сатире места нет, и стараться тут, собственно, не из чего.

С глянцевого стороны эта, с позволения сказать, «теория» выглядит как будто ультрареволюционно. «Время наше, — говорят носители этой «теории», — героическое, люди у нас замечательные, — где же тут место сатире?»

Но если стереть глянец, то это ультра-революционное утверждение, — как это, собственно, и всегда бывает со всякими «левыми» и ультралевыми теориями, — оказывается на поверку глубоко реакционным, враждебным и капитулянтским. Прикрываясь фиговыми листками в виде разглашований о замечательной эпохе и героических современниках, носители этой теории шепотком клеветуют, что будто в паше время у нас настоящей сатире ходу нет.

Нет особой нужды отвечать этим капитулянтам. Мы знаем, как высоко оценивает значение советской сатиры и юмора наша партия и наш народ. В решении ЦК ВКП(б) о журнале «Крокодил» требовательно сказано, что «Крокодил» должен стать боевым органом советской сатиры и юмора, что «основной задачей журнала является борьба с пережитками капитализма в сознании людей».

Таким образом, партия призывает писателей сатириков и юмористов к еще более боевой работе, так необходимой нашему обществу.

Именно против этого решения, против создания боевой политической, партийной сатиры направлено жало капитулянтской теории о том, что «в наше время сатире места нет».

К сожалению, следы этой теории есть и в нашей печати. Вот стихотворение как раз много работающего в сатирическом жанре Владимира Дыховичного «Случай с сатириком». В нем рассказывается, как вернулся писатель с фронта, захотел написать фельетон, и что из этого вышло.

...Мы после войны на привычную тему
Хотели вскочить, как в трамвай, на
ходу.

Казалось бы, просто: «герон» знакомы,
Родная обйма, обычный набор —
Торговая сеть, продавцы, управдомы,
Такси и лукаво-ленивый шофер.

Средь этих героев сатирик, как дома,
Хватай свою тему во всей полноте...
Но вдруг оказалось: не те управдомы,
Не те продавцы и шоферы не те.

И нет фельетона: былого шаблона
По моде сегодняшней не причесать.
О том, как не смог написать фельетон,
Я вдруг захотел фельетон написать.

Что же случилось с сатириком? Оказалось, что и шофер теперь работает «точно, по-военному»; и управдом перестроился, стал другим, заботится о благоустройстве дома и подносит сатирику букет роз; и продавщица в универмаге не грубит, а стала вежливой и симпатичной. Что же тут делать сатирику? — спрашивает В. Дыховичный.

Вяжите! — я вскричал. — Вяжите!
Меня вяжите, продавец!
Кольцо, веревки одолжите, —
Пришел сатирику конец.

И начал петлю я вязать,
Заплакал, дернулся, ругнулся
И по традиции сказать
Я мог бы: «Тут я и проснулся». Но...

Но оказывается, что еще не все потеряно для сатирика. Оказывается, есть еще черчиллы, бирнсы, зваты, поджигатели новой войны, они-то и выручили нашего сатирика и заменили собой шоферов, управдомов и продавцов. Есть еще тема для сатиры! И поэт патетически восклицает:

Не ржаветь сатирическим перьям,
Что приравнены пынче к штыкам.

Нет спору, борьба с новыми поджигателями войны, разоблачение лживой буржуазной демократии и отталкивающего «американского образа жизни» дают обильную пищу боевым перьям наших сатириков и юмористов. Больше того, по-моему, основной удар и должен быть направлен туда, за рубеж, против врагов нашей родины, против врагов человечества.

Но верно ли, что внутри нашего советского общества уже нет больше тем для юмориста? Верно ли, что тут уже не с кем бороться? Верно ли, что тут всё розы да улыбки? Конечно, если вертеться все в том же заколдованном кругу знакомых персонажей—шофер, управдом, продавец,—то очень скоро сатирическое оружие притупится. Но партия как раз и призывает наших писателей «оружием сатиры обличать расхитителей общественной собственности, рвачей, бюрократов, проявления чванства, угодничества, пошлости»

Как видите, для подлинно боевого сатирика и юмориста дел не мало. Надо только работать, надо изучать жизнь, ее законы и ее перспективы.

В своем замечательном выступлении на дискуссии по книге Г. Александрова А. А. Жданов сказал:

«Если внутренним содержанием процесса развития, как учит нас диалектика, является борьба противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отжившим и развивающимся, то наша советская философия должна показать, как действует этот закон диалектики в условиях социалистического общества и в чём своеобразие его применения. Мы знаем, что в обществе, разделённом на классы, этот закон действует иначе, чем в нашем советском обществе. Вот где широчайшее поле для научного исследования, и это поле никем из наших философов не обработано. А между тем наша партия уже давно нашла и поставила на службу социализму ту особенную форму раскрытия и преодоления противоречий социалистического общества (а эти противоречия имеются, и о них философы не хотят писать из трусости), ту особенную форму борьбы между старым и новым, между отживающим и нарождающимся у нас в советском обществе, которая называется критикой и самокритикой».

Товарищ А. А. Жданов указывал, что в нашем обществе критика и самокритика являются «подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии».

В этой цитате всё, в том числе и упрек в трусости, прямо относится и к нашим сатирикам. В самом деле, вспомним, какие фельетоны, какие юмористические произведения получили за последнее время признание читателя и какие были читателем с негодованием отвергнуты.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что одним из лучших фельетонов прошлого года был боевой фельетон Ивана Рябова, напечатанный в «Правде», — «Саратовская купель». В этом блестящем по форме и очень остром по существу фельетоне И. Рябов, невзирая на лица, подверг злой критике больших людей — саратовских руководящих работников. И этот острый фельетон имел заслуженный успех.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что наибольшее негодование читателей вызвала книжка юмористических рассказов Г. Рыклина «Дать по шапке». За что осудил читатель эту книжку? За то, что она слишком остра? За то, что она бичует высоких лиц? Нисколько! «Героями» этой книжки являются всё люди мелкие — даже маленькие, безмянные и малопримечательные. Об этой книжке еще будет речь впереди. Здесь важно только отметить, что именно за идейную мелкотравчатость своей «сатиры» был так жестоко раскритикован печатью Г. Рыклин. И именно за боевую партийную остроту был так хорошо встречен читателями фельетон И. Рябова «Саратовская купель».

Наша партия требует от писателей сатириков и юмористов, чтобы они острее наточили свои перья.

Критика и самокритика являются движущей силой нашего развития. Критике и самокритике отведено почетное место в нашей советской жизни, и советский писатель, работающий в области сатиры и юмора, не смеет быть в обозе движения. Его место — в передовых рядах. А с гнилой, капитулянтской, глубоко врзждебной нам «теорией» о якобы невозможности развития сатиры в наше время следует покончить как можно скорее.

3

Какой же должна быть современная советская сатира?

Нашим литературным критикам и литературоведам давно следовало бы заняться разработкой теоретических проблем этого боевого, насущно необходимого и мало исследованного жанра нашей литературы. Это можно и нужно сделать и потому, что уже есть богатая практика наших писателей. Есть и база для теоретического подхода к проблеме.

Общеизвестны высказывания основоположников марксизма и русских революционных демократов о сатире и юморе. Известно, каким важным и боевым оружием в борьбе с политическим противником считали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин оружие смеха.

Так, Маркс говорил:

«Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. Богом Греции, однажды уже трагически раненым на смерть в «Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз комически умереть в «Разговорах» Лукиана. Зачем так движется история? Затем, чтобы человечество смеясь с расставалось со своим прошлым»¹.

Оружие смеха, острая сабля сатиры были для Маркса и Энгельса совершенно необходимым средством борьбы против их идейных противников.

Энгельс писал в статье «Маркс и «Новая рейнская газета», что тон этой газеты «не был вовсе торжественным, серьезным или восторженным. У нас были сплошь жалкие противники, и мы обращались со всеми ими, без исключения, самым презрительным образом. Конспирирующая монархия, камарилья, дворянство, «Крестовая газета» — словом, вся «реакция», вызывавшая такое нравственное негодование у филистера, — для нее у нас были только насмешки и издевательство»².

В другой статье Энгельс писал о необходимости вольного воздуха в газете. «Этот вольный воздух газета должна вне-

сти в Германию, для чего нужно прежде всего писать о противнике с презрением, с насмешкой. Если только публика снова научится смеяться над Бисмарком и К^о, это будет уже большим достижением... сейчас необходимо... постоянно напоминать о том, что Бисмарк и К^о все те же ослы, те же каналы и те же жалкие и бессильные перед лицом исторического движения людишки, какими они были до покушений. Стало быть, ценно всякое остроумное словечко об этой сволочи»¹.

Общеизвестно также, какое внимание уделял сатире и юмору наш великий учитель Ленин и какое значение придает им товарищ Сталин. И Ленин и Сталин не раз в своей борьбе и в своей полемике пользовались сатирическими приемами, цитатами из великих сатириков, сатирическими образами и сравнениями. вспомним, как замечательно сравнил товарищ Сталин Гитлера с котенком, который вообразил себя львом. вспомним, как на XVII съезде партии товарищ Сталин высмеял тип «честного болтуна» в памятном диалоге:

«Я: Как у вас обстоит дело с севом?

Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались.

Я: Ну, и что же?

Он: Мы поставили вопрос ребром.

Я: Ну, а дальше как?

Он: У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом.

Я: А все-таки?

Он: У нас намечаются сдвиги.

Я: Ну, а все-таки, как у вас с севом?

Он: С севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Сталин».

И для товарища Сталина, и для Ленина, и для Маркса и Энгельса, для великих русских писателей-демократов юмор никогда не был самоцелью, юмором ради юмора, развлечением, развлекательством. В их могучих руках сатира и юмор были острейшим оружием борьбы.

Очень хорошо говорил об этом Герцен:

«Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится, бог знает на чем, важной развалиной,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 403.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VI, стр. 7.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 121.

мешая расти свежей жизни и пугая слабых...

Смех — вовсе дело не шуточное, и им мы не поступимся. В древнем мире хохотали на Олимпе и хохотали на земле, слушая Аристофана и его комедии, хохотали до самого Лукиана. С IV столетия человечество перестало смеяться, — оно все плакало, и тяжелые цепи пали на ум среди стенаний и угрызений совести. Как только лихорадка изуверства начала проходить, люди стали опять смеяться. Написать историю смеха было бы чрезвычайно интересно. В церкви, во дворце, во фронте, перед начальником департамента, перед частным приставом, перед немцем управляющим никто не смеется. Крепостные слуги лишены права улыбки в присутствии помещиков. Одни равные смеются между собой.

Если низшим позволить смеяться при высших или если они не могут удержаться от смеха, тогда прощай чинопочитание. Заставить улыбнуться над богом Аписом значит расстричь его из священного сана в простые быки¹.

Да, смех — дело не шуточное. Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится на поверхности жизни, против пережитков капитализма в сознании людей, против всего, что досталось нам в наследство от проклятого прошлого. Мастерски владеть этим орудием и должны писатели сатирики и юмористы.

Разумеется, в условиях бесклассового социалистического советского общества сатира становится совсем другой, чем она была когда-то. Она и не может и не должна быть такой, какой была сатира в обществе классовом. Она и не может быть и не смеет быть такой, как сатира современного буржуазного Запада.

Современные буржуазные сатирики в своем «творчестве» вдохновляются лютой ненавистью ко всему роду человеческому. Для последователей Сартра в юмористике, человек — двуногое животное. Он зверь. Нет, даже хуже зверя. Все пороки присущи ему. Эта человеконенавистническая сатира проникнута глубочайшим пессимизмом, в

ней нет и не может быть ничего светлого. Это юмор сумасшедшего дома, морга, анатомического театра, страшный звериный юмор гангстеров и убийц.

Нет более в Америке светлого юмориста-человеколюбца, подобного Марку Твезу. Зато «на смену» пришли тысячи продажных и неразборчивых в средствах безымянных «юмористов». Но как из миллиона блох не слепить одного орла, так и из этого легиона бездарностей не слепить одного Марка Твена.

Безнадежно уныл и мрачен этот «юмор» человеконенавистников и пошляков. Нам пришлось читать американские юмористические журналы. Тут всё либо порнография, либо реклама. Миллионными тиражами выходят в США книжки «Комикс» для детей. Однако ничего веселого и комического нет в этих книжках. В них просто рекламируются отравления, убийства, бандитизм. Это — поэзия гангстеров. Это — зловещий юмор. Кровавый. Отталкивающий. И это — «юмор» для детей!

Куда девался пресловутый английский юмор? В этом году «Британский союзник» решил поразить советского читателя лучшими образцами современной английской юмористической литературы. В № 10 «Британского союзника» напечатан рассказ «Влюбленная корова».

Вот содержание этого рассказа. Некто Гедеон достал у цыгана приворотное зелье, чтобы приворожить горячо любимую им Бетти. В это зелье надо опустить волос Бетти, но брат Бетти не сумел найти ее волос и принес Гедеону волосок из хвоста чьей-то... коровы. Однако приворотное зелье подействовало. Корова влюбилась в Гедеона и стала следом за ним ходить по трактирам. Хозяину коровы надоело каждый день разыскивать корову в трактирах, и он подарил ее Гедеону. Гедеон разбогател и женился на Бетти. Неправда ли, как смешно, умно и оригинально?

Или вот в журнале «Америка» напечатана серия карикатур. Вот одна из них: Лес. Снег. На снегу следы дамы с собачкой. Следы дамы идут прямо, а след собачки загибает к дереву. И все. Это «глубокое» наблюдение над поведением собаки трудолюбиво оформлено художником.

Таков этот безрадостный, ёрнический «юмор» впавшего в маразм буржуазного общества!

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 118—119.

Впрочем, такова там и «наука». Вот — филологическое и философское эссе Эрика Партриджа под названием «непристойные выражения в произведениях Шекспира». С глубокомысленным видом изучает эту «проблему» ученый англичанин. Он построил целую «шкалу непристойности» и вычислил, что «Гамлет» менее непристоен, чем «Отелло», но более непристоен, чем «Макбет». «Гамлет» стоит на одном уровне с «Королем Лиром». «Венецианский купец» оказывается менее неприличным, чем это обычно полагают.

Это — не пародия. Это всерьез. Непристойности — вот единственное, что интересует этого, с позволения сказать, «ученого», его хозяев и читателей в великом наследии гениального Шекспира — их соотечественника.

Поистине, непристойна и эта «наука», и эта литература, и вся эта, «культура» чело-веченонавистников и пошляков.

Великие русские сатирики Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов вдохновлялись в своем творчестве любовью к человеку и ненавистью к существовавшему в их дни строю. Им довелось жить и писать в мрачные годы. Однако самые острые сатирические страницы их творений были освещены светом веры в человека, веры в его будущее.

Салтыков-Щедрин замечательно говорил:

«Чтобы сатира была действительно сатирой и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтобы она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец, и, во-вторых, чтобы она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало».

Салтыков-Щедрин очень ясно сознавал предмет, против которого направлено жало его сатиры, — никто яростнее его не бичевал самодержавие, крепостничество, реакцию, тьму. Но при этом он пламенно мечтал об идеале, к которому сам стремился и куда хотел направить своего читателя. Он предчувствовал лучшие времена и радостно их приветствовал. Поэтому при всей горечи его сатиры, она в основе своей была глубоко оптимистической и светлой.

Мы живем в такое время, когда сбылись мечты самых передовых умов человечества о справедливом общественном строе, обеспечивающем счастье каждому человеку. Мы живем в стране социализма и уверенно идем к коммунизму. Поэтому

наша сатира и может и должна быть жизнеутверждающей, оптимистической, светлой. Бичуя недостатки, мы знаем, что они устранимы. Громя пережитки капитализма в сознании людей, мы понимаем в то же время, что они не больше как пережитки, вчерашнее, а не завтрашнее. Мы верим в силу нашей правды и в силу нашей печати.

Так появляется в нашей юмористике совсем неизвестный юмористам прошлого жанр «положительного фельетона»; появляются сатира и юмор не только бичующие, но и утверждающие нашу правду, наш образ жизни, наши идеалы в острой борьбе с капиталистической неправдой, с «американским образом жизни», с чужими, враждебными человеку «идеалами» гангстера и его босса.

Закономерен ли такой жанр?

Находятся люди, которые на этот вопрос отвечают: нет, не закономерен. Вот А. Раскин уже после войны писал в «Литературной газете»: «Уже всерьез начинают у нас поговаривать о... положительном фельетоне. Положительный фельетон! Это звучит так же, как, скажем, «лирический памфлет» или «нежная эпиграмма»; фельетон — жанр обличительный, а не воспевательный».

Так ли это? В прошлом году в «Литературной газете» был напечатан памфлет киргизского писателя Боялинова — «Ответ мистеру Пойнтону». В этом памфлете, беспощадно вскрывая колонизаторскую сущность английского империализма, Боялинов остроумно и глубоко задушевно воспевал, именно воспевал преимущества нашего советского строя. Это как раз и был тот «лирический памфлет», над самой идеей которого так неудачно издевался А. Раскин.

Само собою разумеется, и полемика и борьба являются основой любого боевого жанра, тем более такого, как сатирический фельетон. Но разве нам за нашу большевистскую правду приходится бороться только средствами обличения неправды? Разве, утверждая красоту и справедливость нашей правды, не наносим мы сокрушительный удар нашим врагам?

Но, может быть, эту борьбу следует предоставить другим собратям по перу — прозаикам, новеллистам, очеркистам, поэтам? Я думаю, вряд ли наши юмористы откажутся от этого почетного дела. Надо

думать, что они останутся верны завету Салтыкова-Щедрина: чтобы сатира была действительно сатирой и достигала своей цели, надобно, чтобы она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее.

4

Когда перечитываешь и просматриваешь все, что сделано нашими сатириками и юмористами за последние годы, с радостью видишь, что сделано и немало, и неплохо. В годы войны острое оружие смеха находилось на вооружении народа. И следует без лишней скромности признать: оружие это действовало сокрушающе. Вспомним памфлеты А. Толстого, И. Эренбурга, Л. Леонова, вспомним отделы юмора в наших фронтовых, армейских газетах, уничтожающие врага карикатуры Кукрыниксов, Б. Ефимова, К. Елисеева, Б. Прокурова, М. Черемных и других.

И после войны в той острой борьбе за справедливый мир во всем мире, за демократию и против американского неофашизма и империализма, которую ведет сейчас все передовое человечество, немалую роль играет остро отточенное оружие нашей политической сатиры. Стоит указать только на боевые памфлеты и карикатуры «Литературной газеты», вызывавшие такую ярость в стане врага; на умные и талантливые фельетоны Д. Заславского; на политическую сатиру А. Безыменского и так далее.

Достаточно просто назвать ряд имен, чтобы представить себе многообразие и богатство этого популярного в нашем народе, хотя и не замечаемого нашими критиками и литературоведами жанра. Следует назвать имена Демьяна Бедного и Василия Лебедева-Кумача, Валентина Катаева, Сергея Михалкова и Самуила Маршак.

У нас уже есть признанные мастера короткого и боевого газетного фельетона — И. Рябов, С. Нариньяни, А. Колосов. Два недавних фельетона С. Нариньяни — «Растиньяк из Таганрога» и «Потомок Кабанихи», напечатанные в «Комсомольской правде», нашли широкий отклик у нашей молодежи, вызвали целый поток писем в редакцию. Это произошло не только потому, что они были хорошо написаны, а потому, что

затронули они очень важные, животрепещущие темы. Это — проблемные фельетоны.

Наша юмористическая литература, как никакая другая в мире, замечательна не только тем, что она смешит или развлекает читателя, а, главным образом, тем, что она, не теряя своей изящной и легкой формы, служит большому, великому делу воспитания людей. Часто она впереди других жанров разведывает и ставит самые острые вопросы нашей этики и морали, поднимает большие философские вопросы, — повторяю, не теряя при этом своей специфической формы. Именно такие фельетоны и имеют наибольший успех у нашего читателя.

Я должен по справедливости назвать и многих других, уже признанных нашим читателем, писателей, работающих в нелегком жанре сатиры и юмора, — С. Васильева и С. Смирнова — талантливых авторов лирико-юмористических стихов, С. Швецова — мастера литературной пародии, Д. Беляева, Л. Ленча, Б. Ласкина, М. Слободского и В. Дыховичного и многих других. Следует отметить хорошую работу В. Полякова для эстрады. Мало, к сожалению, у нас юмористических романов, произведений большой формы. Здесь можно отметить разве только роман Л. Лагина «Патент А—В», являющийся памфлетом, бичующим звериную сущность современного капиталистического мира.

Может быть, в кратком перечне имен и произведений я упустил кое-какие имена. Однако следует признать, что до сих пор все же остается слишком узким круг авторов юмористических произведений. Здесь бедней, чем в смежных областях литературы, приток новых сил. Здесь, в этом забытом нашими критиками жанре, больше чем где бы то ни было нерешенных проблем, больше запущенных, хронических недостатков.

Поэтому и в этих своих заметках мне больше всего хотелось бы сказать о недостатках и слабостях нашей современной юмористической литературы.

Эти недостатки отчетливо сформулированы в известном решении ЦК ВКП(б) о журнале «Крокодил». В решении совершенно правильно сказано, что редакция журнала «Крокодил» оторвана от жизни, работает беспланово, не проявляет необходимой требовательности к идейному

и художественному уровню фельетонов, рассказов, стихов, рисунков, что в журнале преобладают бездарные, антихудожественные материалы, что журнал делается руками узкого круга штатных работников, а страницы его в течение многих лет заполняются произведениями одних и тех же авторов.

Здесь, в этом решении, было справедливо замечено также, что видные советские писатели и поэты, а также работники центральной и местной печати к участию в журнале «Крокодил» не привлечены.

Следует сразу же и по справедливости признать, что после этого решения и журнал «Крокодил», и вообще наша юмористика стали лучше. Однако, к сожалению, недостатков еще очень и очень много. Попробуем разобраться в них.

Когда-то И. Ильф и Е. Петров создали почти нарицательный образ Авессалома Изнуренкова. Это — подпрыгивающий и радостно бляющий толстячок-бодрячок, профессиональный остряк. Ему никакого дела нет до живой жизни, он ее не знает и знать не хочет. Все в жизни для него только повод к каламбуру. Для него нет ничего дорогого и святого. Ради красного словца он не пожалеет родного отца. Он только острит. Острит потому, что ему за это платят.

Разумеется, такого Изнуренкова в его чистом, так сказать, «девственном» виде уже не встретишь в нашей литературной среде. Но нет ли еще элементов «изнуренковщины» в творчестве некоторых наших юмористов? Откуда берется у некоторых литераторов осужденное и нашей партией и нашим народом такое беспардонное зубоскальство по поводу самого дорогого и светлого, что есть у советских людей? Откуда это представление о наших людях, как о глупых и злых обывателях? Откуда эта безидейность, аполитичность, мелкотравчатость, неразборчивость в художественных приемах, та пошлятина, которые, к сожалению, еще бытуют в иных произведениях наших юмористов?

Изнуренковы совсем не так безобидны, как может показаться с первого взгляда. Если изнуренковых трудно терпеть в жизни, то совсем нельзя терпеть их, когда они развязно выходят на страницы нашей пе-

чати и начинают зубоскалить и издеваться над советским человеком.

В нашей печати уже была раскритикована книжка Г. Рыклина «Дать по шапке». Г. Рыклин — один из старейших наших фельетонистов, у него немало заслуг в прошлом. Мне трудно понять, как мог именно он написать такую пошлую и вредную книжку, как «Дать по шапке». Только полным отрывом автора от живой жизни нашего народа можно объяснить появление подобной книжки. Только человек, вращающийся в узком кругу литературных сплетен и представляющий жизнь по изнуренковским образцам, мог создать такие фельетоны.

Прицел этой книжки мелок, как и мелок изображенный в ней мирок. Что говорить, есть еще у нас кое-где и бюрократизм, и волокита, и казнокрадство, и взяточничество, и подхалимство. Однако не против этих реальных пережитков капитализма направлен темперамент Рыклина. Автор вращается в куда более мелкой сфере. Сплетники, шептуны, мелкие проходимцы, этакие нравственные уродцы — вот против кого направлено «жалю» его сатиры. Больше всего в этой книге «огня» против чиновничества, будто бы это и есть самое типичное и самое большое зло. Мы читаем о чиновнике, который помнит день рождения... супруги начальника и предусмотрительно преподносит ей астры осенние. Или вот другой чиновник, который на всякий случай провожает до машины якобы снятого с работы начальника, но узнает, что начальник этот получил повышение, и восклицает: «О, — воскликнул я так, что в небе дрогнули звезды, а на земле затрепетал мотор автомобиля, — с повышением вас! Но слова мои растаяли в воздухе. Я смотрел вдаль и веселился. Надо всегда смотреть вдаль».

По какому же поводу веселился этот предусмотрительный «герой»? Что видел он, глядя вдаль? Чего ради стал угадывать перед начальником... переведенным совсем в другое учреждение? Что сможет сделать для его карьеры в наших условиях этот начальник? Если спросить Г. Рыклина по чистой совести, то он и сам не сможет ответить на эти вопросы, потому что он и не думал всерьез о корнях такого позорного явления, как подхалим-

ство в нашей среде, а просто перелицовывал старые дореволюционные юмористические рассказы на свой лад.

Бывают у нас подхалимы, и их надо зло и страстно обличать. Но такого мирка, какой вывел Г. Рыклин в своих рассказах, таких перелицованных чиновников, этаких «людей двадцатого числа», этаких столоначальников, экзекуторов и писарей, вот таких, какими их описал Г. Рыклин, давая им наименования из советской номенклатуры, — таких нет и быть не может в нашей советской среде.

Совсем иной мир, в котором живут наши люди, совсем другой воздух, совсем иной образ жизни. Перемены, которые произошли в нашей жизни за последнее тридцатилетие, изменили и самую природу человека: расцвели и стали иными человеческие характеры и отношения, изменился и характер борьбы с тем, что мы очень точно и справедливо называем пережитками капитализма в сознании людей.

Эти пережитки живучи; носители их приспособляются к новому образу нашей жизни, маскируются, «меняют кожу», — юморист и должен уметь разоблачить их в этой новой коже, а не перелицовывать без конца старую.

Мне рассказывали недавно об одном шофере-жулике: он ежемесячно покупал бензин «налево», но не для того, чтобы эксплуатировать казенную машину для своей личной наживы, а для того, чтобы в конце каждого месяца иметь экономию горючего, получать премию за эту экономию, да еще числиться лучшим стахановцем своего гаража. Как видите — это старый жулик, но в новой коже.

Г. Рыклин, как и некоторые другие наши юмористы не удосуживаются изучать реальную жизнь и, следовательно, не видят в ней и не сознают ясно «предмет, против которого надо направить жало своей сатиры», и в их рассказах мы видим не разоблачение реальных трюков и недостатков, а перелицовку старых сюжетов.

Нетрудно установить генеалогию этих перелицовок, и предков Г. Рыклина найти нетрудно. В этих рассказах учится он не у Чехова, а у Н. Лейкина, О. Дымова, у юмористов «Будильника». Он ищет образцы для подражания в той мелкой предреволюционной журналистике, которая в

массовом масштабе рождала авессаломов изнуренковых, и этот позаимствованный мир мелких, жалких страстишек и чиновнических вожделиний пытается выдать нам за мир советских людей.

Путь, которым Г. Рыклин шел в своих рассказах «Дать по шапке», ни к каким творческим достижениям привести его не мог. Сейчас он это сам понял.

Читаешь писания некоторых наших юмористов и не смешно становится, а страшно: мир болезненных уродцев, излюбленных еще М. Зощенко, гиперболизированный и доведенный уже просто до абсурда, вдается тут за реальную жизнь.

Вот рассказ Виктора Ардова «Коварный лунатик». Написан он, разумеется, «только» ради смеха. В. Ардов любит писать «посмешной»; для него, как для Авессалома Изнуренкова, каламбур — единственный кумир, которому стоит служить. Вот «ради смеха» и написал он этот рассказ. Лунатик бродит по крышам, повергая в ужас управдома. Управдом воюет с ним, потом лунатик проваливается через только что отремонтированную крышу, невольно разоблачая этим управдома, — и вот мораль, она выражена в приказе райжилуправления:

«Управдом дома № 17/19 по Малушинскому переулку дал сведения, что ремонт вверенного ему дома им закончен полностью. Между тем в ночь на сегодня летучая бригада лунатиков в составе т. Ступнина К. С. установила, что крыша на сегодня отремонтирована плохо и кровельное железо не заменено новыми крепкими листами.

Ввиду этого приказываю:

1) Управдома снять с работы и дело о нем в отношении ремонта и в отношении нечуткого отношения к лунатикам передать следственным органам.

2) Впредь лунатику Ступнину, ввиду заслуг по выявлению существовавшей в доме бесхозяйственности, обеспечить в лунные вечера электрическое освещение от его квартиры до гребня крыши, на каковом гребне установить перила и вывесить пробковые спасательные круги с надписями на каждом круге: «Лунатик, брось!»

Так вот и пострадал управдом из-за далекого и холодного спутника нашей планеты».

И лунатик — дурак, и управдом — дурак, и в райжилуправлении — дураки тоже. А умных нет. Смешно ли это? Нет, грустно, досадно и возмутительно! В этих внешне безобидных, якобы комических, якобы написанных только ради смеха писаниях наш советский читатель с полным основанием и справедливой обидой видит пасквили и клевету на себя и на мир, в котором он живет и который он строит.

А ведь В. Ардов — человек способный. Мог бы и он с пользой работать в нашей журналистике, если бы вдохновляли его на эту работу не кумиры Изнуренкова, а те идеалы, о которых еще Салтыков-Щедрин говорил.

Характерно между прочим, что те же авторы, которые так зло издеваются над нашими людьми в одних рассказах, — в других, написанных как «положительные», о тех же людях пишут с приторным, патетичным умилением. У таких «авторов» середины нет: либо черное, либо белое; либо зубоскальство, либо лакировка.

Только циническим равнодушием и пренебрежением к жизни и труду советских людей можно объяснить появление в нашей печати подобных «произведений».

Иногда необузданное зубоскальство достигает поистине пределов, предусмотренных уголовным кодексом. Безнаказанное, оно со страниц печати обращается против живых людей.

Я имею в виду пародию А. Раскина на роман Веры Пановой «Кружилиха». Эта пародия, напечатанная в «Крокодиле», вызвала справедливое возмущение советской общественности. Так злобно, развязно и неблагоприятно, как А. Раскин о Вере Пановой, еще никто и никогда не говорил у нас о советских писателях. А заодно с Верой Пановой были высмеяны и ее герои, дорогие нам советские люди.

Могут сказать: пародия — уж такой «особый жанр», в нем преувеличение обязательно. Да, верно, но где же пределы этого «преувеличения»? Микроскоп тоже увеличивает, но он не искажает. Искажает кривое зеркало. Так что же, следует кривое зеркало признать методом нашей сатиры и юмора? Думаю, что сказать такое не отважится сейчас ни один человек.

Здесь уместно поговорить о типичном и нетипичном.

Один редактор забраковал фельетон, где сообщалось, что в самом центре Ташкента комендант общежития поселил свою свинью в отдельной комнате, — забраковал на том основании, что это — не типично. «Это единичный случай, — объяснял редактор, — одна свинья на весь город». Автор спросил: «Как вы себе представляете массовое явление подобного рода? Две свиньи в отдельных комнатах, три свиньи?»

Нередко для фельетона приходится брать исключительный факт. Я говорил уже выше о прекрасном фельетоне И. Рябова «Саратовская купель». Это событие в Саратове совсем уж исключительно, это нечто из ряда вон выходящее. И тем не менее И. Рябов совершенно справедливо и закономерно направил на него острие своего фельетона. Но И. Рябов и не выдавал саму саратовскую купель за типическое явление. Напротив, он именно подчеркнул, что случай этот просто немыслимый в нашей жизни и именно поэтому заслуживающий самого сурового осуждения; однако смысл этого факта свидетельствовал о явлении довольно типическом для некоторых наших работников, о притуплении бдительности.

А. Г. Рыклин и В. Ардов выдают «героев» своих писаний именно за типичных людей нашего общества, а их поступки за явления типические. В этом и есть неправда. Это-то и есть пасквиль на наших людей. Читатель правду знает, неправды он не прощает никому, даже юмористу.

Большим и серьезным недостатком сатиры и юмора является также крайне узкий круг тем. Станным выглядит мир, если судить о нем только по книгам, написанным нашими сатириками за последние два года. В этом мире нет стахановцев, нет людей труда, вообще нет заводской жизни, в нем почти нет и колхозников. Партийные и комсомольские темы затрагиваются робко, пугливо и только немногими авторами. Бедна и география этого мира: это либо столица с ее парком культуры и отдыха, метро и стадионом, либо какой-то условный, в реальной жизни не существующий, заолустный, заштатный городок, взятый напрокат из старой юмористики.

Главными действующими лицами в большинстве этих рассказов являются давно знакомые персонажи: управдом, продавец,

шофер, секретарши, работники жилотделов и коммунальщики. Непомерно много всяческих юморесок из «мира искусств». На закулисные темы иные юмористы набрасываются с особым смаком. Но какое до всего этого дело широкому советскому читателю? Что ему в этом закулисном мире?

Этот стандартный набор объектов для разоблачения ярко свидетельствует о том, как плохо знают жизнь некоторые наши сатирики и юмористы, как мало они в эту жизнь вторгаются. А уж кому-кому, а им обязательно надо быть на самом переднем крае.

Сатирик — по преимуществу разведчик и снайпер среди других родов литературных войск. Он всегда должен быть впереди тяжелой артиллерии прозы, драматургической пехоты и даже поэтической кавалерии. Только близкое проникновение в живую жизнь и может подсказать автору действительно острые, действительно животрепещущие, действительно для всех читателей интересные вопросы и проблемы.

Именно те фельетоны, которые родились из живого общения с жизнью и были подданы самой действительностью, стали популярными и запомнились на долгие годы. «Коварный лунатик» не вызвал, насколько мне известно, ни отклика, ни дискуссии, ничего, кроме досады и раздражения читателей. А острый, идейный, проблемный фельетон С. Нариньяни «Растинька из Таганрога» до сих пор еще обсуждается нашей молодежью. Вспомните «Румбу» Л. Кассиля — самое имя его героини — Жозя стало нарицательным.

Именно нерешительное проникновение в жизнь мешает, на мой взгляд, расти и развиваться способному писателю Леониду Ленчу. По моему, кризис, который он, несомненно, переживает сейчас, есть кризис темы. Так и чувствуется, что Л. Ленч не знает, о чем ему сейчас писать, не знает жизни, вертится в кругу старых представлений, старых персонажей, затрепанных сюжетов.

Год назад в Союзе писателей критиковали Л. Ленча за один из его водевилей; уже тогда по-товарищески указывали ему на то, что неудача этого водевиля кроется в незнании автором реальной советской действительности, что питается он не сока-

ми подлинной жизни, а газированной водичкой литературных закуулков.

Это можно отнести также и к Борису Ласкину, тоже способному юмористу, но часто из-за незнания жизни впадающему в слащавую сентиментальность.

Пора, уже давно пора выходить нашим юмористам за пределы кабинетов редакций, в живую жизнь, навстречу подлинным советским людям.

Пора решительно расширить круг тем. Пора оставить в покое лунатиков и «укротителей тигров», а обрушить меткий огонь сатиры против действительных врагов нашего общества. ЦК ВКП(б) точно указал их нашим сатирикам. «Журнал должен оружием сатиры обличать расхитителей общественной собственности, врачей, бюрократов, проявления чванства, угодничества, пошлости»¹.

Между тем как раз расхитителям общественной собственности, врачам и бюрократам меньше всего достается в нашей сатирической литературе. Воры, хапуги, разгильдяи, растратчики, вельможи, щедрые за счет государственного кармана, всякие и всяческие «комбинаторы» и нарушители социалистической дисциплины — вот кто должен быть беспощадно взят «на вилы!». Но для этого опять же надо нашим сатирикам выйти из своих кабинетов. Так же редко, как на заводах и в колхозах, бывают наши юмористы и в учреждениях, и на производственных совещаниях, и в... камере народного суда.

Да, да — в народном суде на скамье подсудимых можно увидеть еще невымершие тылы носителей пережитков капитализма.

На Всесоюзном совещании сатириков и юмористов товарищ Садыков из Азербайджана рассказал любопытный и невыдуманный эпизод из судебной практики. Вор обокрал квартиру, хозяин заявил в милицию, и вор был пойман. На суде пострадавший — хозяин квартиры — долго и обстоятельно перечислял украденные у него вещи. Вор все признавал. Но когда хозяин кончил, вор потребовал, чтобы хозяин дополнил список украденного. «Ты не все перечислил», — сказал он. «Нет, все!» — отнекивался хозяин. Тогда вор сказал: «Я украл у тебя еще 120 кусков хозяйствен-

¹ Газета «Культура и жизнь» от 11/IX 1948.

ного мыла, которое в свою очередь ты украл на мыловаренном заводе, где ты работаешь. Давай же оба признаемся в своих преступлениях. Я один раз обокрал тебя, а ты все время обкрадывал государство».

Разве этот эпизод не повод для хлесткого, умного, острого фельетона?

Когда-то Ильф и Петров создали образ «симпатичного» вора Остапа Бендера. Не пора ли, в противовес ему, вылепить образ такого расхитителя общественной собственности со всеми его отвратительными чертами, который был бы поучителен и для молодежи и для взрослых и вызывал бы отвращение, ярость, презрение, а не симпатию, как Остап Бендер? При этом надо показать не мелодраматический конец вора, как в «Золотом теленке», а тот реальный, подлинный и, к слову сказать, не долго заставляющий себя ждать неизбежный финал, который в нашем обществе ждет всякого вора — большого и маленького. Это, право же, было бы куда острее и, главное, полезнее, чем истории про оправдома и лунатика.

К числу тем, которые еще ждут своего раскрытия в сатирической и юмористической литературе, принадлежит и очень важная и нужная тема разоблачения одного из самых отвратительных пережитков прошлого — низкопоклонства перед буржуазным Западом. Пока что перья наших сатириков и юмористов прошили только по верхушкам темы. Здесь сатирики и юмористы — разведчики и снайперы нашей литературы — отстали от более тяжелых родов литературного оружия — от нашей публицистики, драматургии и даже прозы.

А жаль! Против такого презренного явления, как низкопоклонство и космополитизм, был бы особенно уместен хлесткий огонь насмешки. Смех убивает наповал. Отчего же боевое оружие смеха молчит в этом случае?

Не оттого ли, что некоторые наши юмористы еще не привыкли мыслить острее, брать тему глубже, изучать жизнь до тоньше, а всё стараются итти старыми, истоптанными и будто бы надежными дорожками, боятся покинуть привычный и знакомый, обжитой мирок своих давних «героев», находясь в плену штампов, ремесленных приемов и рецептов старой кухни юмора?

С этим надо решительно кончать!

Больше чем кто-либо другой из писателей, советские сатирики и юмористы должны понимать и чувствовать себя политическими борцами, общественными деятелями, солдатами самой идейной и самой народной печати в мире — большевистской печати.

5

В последнее время наши юмористы стали и больше и охотнее писать так называемые положительные фельетоны. Это очень хорошо. Выше уже говорилось, что этот жанр имеет самое законное право на существование. В нем есть уже немалые удачи. И однако неудач пока больше.

Нашей юмористике, в отличие от юмористики буржуазной, вообще свойственен оптимизм. Но это оптимизм борца, а не слащавое умиление обывателя. Между тем налет слащавости, к сожалению, еще присущ многим фельетонам. Таковы некоторые рассказы В. Карбовской, Б. Ласкина и других. Причем, неизвестно, чему тут люди улыбаются?

Вот, например, рассказ о том, что женщина потеряла получку, а сослуживцы тайком от нее сложились и преподнесли ей деньги, будто нашли их. А потом и сами деньги нашлись.

Или рассказ о том, что советский человек вдруг да не оказался вором. Или рассказ о том, что думали о человеке, что он плохой, а он, оказывается, хороший.

Читаешь эти рассказы и удивляешься: «Крокодил» это или «Задуманное слово»? Нехватает только рождественского мальчика, замерзающего на улице, да доброй старушки.

Ну стоит ли доказывать, да еще восторгаясь при этом, что советский человек — не вор, не жулик? Быть честным — это еще не доблесть, это обязательное качество советского человека. Восторгаясь этим, как чем-то якобы исключительным, авторы такого «положительного» фельетона невольно просто клеветают на советских людей.

Или вот рассказ И. Горелова «Случай с классиком». Написан он из самых добрых побуждений. Старик колхознику попадает в руки книжка без обложки. В этой книжке написано про их село Жуково. Старик думает, что эту книжку написал гостивший у них недавно советский журналист. Читает и возмущается. Его родное село описано

без колхоза, без электрификации, темным, пьяным. Получается пасквиль! Старик приходит в ярость и пишет письмо в центр с протестом против этой книжки. А потом оказывается, что это... повесть Чехова «В овраге», где описано дореволюционное село, конечно не похожее на село наше, современное.

Итак весь рассказ написан для того, чтобы утвердить нашего читателя в мысли, что советская деревня 1949 года совсем не такая, как чеховская конца прошлого века. И это, по мысли автора и редакции, должно вызвать восторженное умиление читателя.

Чему тут, собственно, умиляться? Естественно, что наши села сегодня уже не похожи в своем развитии даже на те, какими они были перед войной. А здесь оказалось, что грамотный и культурный старик колхозник, прочитав до конца повесть Чехова, так, видите ли, и не догадался, что это повесть из дореволюционной жизни, и сел писать протест.

Вот так, умиляясь, и сделал автор рассказа хорошего старика — дураком. Вместо умиления получился полный конфуз.

Случай этот, впрочем, не единичный. Наши юмористы нередко строят свой сюжет просто по принципу «наоборот». Ну, скажем, известен закон капиталистического мира «Человек человеку волк». Значит, о нашем обществе надо писать, что «человек человеку не волк». Известно далее, что в капиталистическом обществе любовь продажна. Значит, о нашем обществе надо писать, что тут любовь не продажна. Известно, что прежде человеком «не от мира сего» назывался мечтатель, бессребренник, этакий «карась-идеалист». Он был «не от мира сего», ибо мир-то был капиталистический. А у нас, наоборот, мечтатель со своей мечтой — человек нашего мира, а стяжатель не от мира сего, то есть не нашего мира. Вот и все.

Так, просто каламбура, перелицовывая, работая «наоборот», забывают серьезные наблюдения и размышления о том, что же такое действительно наша жизнь и наши человеческие отношения, наши мечты и идеалы. Разве же новый мир есть только «не старый мир»? Разве только в том дело, что у нас отмерли или отмирают старые нормы, старые понятия, старая мораль? Да разве не создали мы и не создаем совсем

новое, никогда в мире невиданное, свое особое, советское, коммунистическое?

Тут только и начинается творческое проникновение писателя в жизнь. Тут только и надо не столько вглядываться в старое, сколько, внимательно всматриваясь вперед, находить новое в человеческих отношениях, в нашем образе жизни.

Неудачи некоторых положительных фельетонов наших юмористов проистекают оттого, что авторы их знают жизнь умозрительно, не видят, не ищут, а потому и не находят подлинно жизненных сюжетов в нашей действительности. Если бы фельетонисты и сатирики чаще бывали бы на заводах и фабриках, в шахтах и колхозах, в воинских частях и в высших учебных заведениях, они бы нашли и интересные, и комедийные, и уж совсем не надуманные сюжеты и для положительных и для обличительных фельетонов.

6

Летом нынешнего года в Москве состоялось Всесоюзное совещание, посвященное вопросам советской сатиры и юмора. Впервые за долгие годы собрались вместе писатели, художники — мастера советской карикатуры, фельетонисты, редакторы, газетчики. Произошел большой и искренний разговор. Памятуют слова Герцена о том, что «смех — дело не шуточное», они по-серьезному говорили о смешном. Невзирая на лица, критиковали друг друга и самих себя. И вместе с тем предъявили большой счет нашим критикам, редакторам, Союзу советских писателей.

Следует сразу же сказать — это справедливый счет. Нетерпимо, что руководство Союза советских писателей так мало занимается насущными вопросами и проблемами сатирического жанра. Недопустимо, что до самого последнего времени секция сатириков и юмористов в ССП работала плохо, аполитично, нетворчески. Нельзя мириться больше с полным равнодушием наших критиков и наших печатных органов к произведениям советской сатиры и юмора.

Следует заклеить, как гостыдний, нудуг «юморобязни», каковым — увы! — страдают еще многие редакторы наших литературно-художественных журналов и даже

газет. Прекрасная традиция большевистской «Правды» предоставлять на своих страницах почетное место фельетону, карикатуре, сатирическому стихотворению усвоена, к сожалению, далеко не всеми. Нет юмора в наших толстых журналах. Был такой отдел в «Новом мире» — да исчез. А почему, собственно? Нет фельетона во многих периферийных газетах. Даже в «Литературной газете» редко видим мы пародию, фельетон, юмореску. А уж «Литературной газете» следовало бы, по чести, быть туг и инициатором, и примером.

Такое отношение к боевому жанру большевистской печати, каким является сатира

и юмор, ничем нельзя ни объяснить, ни оправдать. Может быть, кадров нет? Но Всесоюзное совещание убедительно продемонстрировало, что есть у нас талантливые кадры юмористов и в Москве, и в Ленинграде, и в наших республиках.

Дело только в том, чтоб оказать им чуткое внимание, помочь им, направить их.

И тогда — в этом не приходится сомневаться — вместе с общим подъемом нашей советской литературы подыметесь на желанную высоту и ее важный, боевой и любимый народом жанр — жанр советской сатиры и юмора.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИМПЕРИЯ ФОРДА

СЕРГЕЙ КОЗЕЛЬСКИЙ

★

«Только два стимула заставляют людей работать: жажда заработной платы и боязнь ее потерять...»

Генри Форд 1-й.

«Прибыли хозяев рабочих не касаются.»

Генри Форд 2-й.

Американский рай... «американский образ жизни»... «высокий американский стандарт»... — захлебываясь от хорошо оплаченного восторга, орут на весь мир штатные пропагандисты Уолл-стрита, восхваляя мнимо высокий уровень жизни в США. Нет более отвратительно-лицемерного мпфа, чем легенда об американском благоденствии. Не раем, но адом являются Соединенные Штаты для миллионов тружеников — простых американцев: промышленных и сельскохозяйственных рабочих, мелких фермеров, интеллигенции. Реальная американская действительность вдребезги разбивает лживую пропаганду наемников хищных монополий.

Положение рабочего класса в США поистине ужасно. Американские рабочие — бесправные рабы всемогущих хозяев, которые безраздельно властвуют в своих промышленных княжествах и финансовых империях. У этих магнатов свои законы, своя полиция, своя шпионская сеть, свой суд и своя конституция. Золото сделало их бесконтрольными и всемогущими, дало им в руки скипетр феодальных деспотов. Доллары поставили в полную зависимость от их диктаторской воли десятки тысяч человеческих судеб и человеческих жизней.

Одной из таких феодальных деспотий, каких немало в заокеанской стране небожителей, является Дирборн — вотчина династии Фордов.

Столица империи — Дирборн.

Дирборн — пригород Детройта — насчитывает 80.000 жителей. Другим пригородом Детройта является Хайланд-парк, насчитывающий 50.000 жителей. Пригороды «близнецы» входят в империю Форда, вернее они составляют ее ядро. Здесь — голова спрута, невидимые щупальцы которого охватили не только Северную и Южную Америку, но и глубоко проникли на другие континенты — в Европу, Азию, Африку.

В здании администрации «Форд мотор компани» в Дирборне установлен огромный глобус, на котором кружочками отмечены разбросанные по всему миру предприятия Форда. Кружочков нет только на одной шестой части земной суши, занимаемой страной Советов. Теперь исчезли кружочки и на территории ряда стран Восточной и Юго-Восточной Европы.

Дирборн — это феодальная вотчина всемогущего автомобильного короля. Таких городов, фактически принадлежащих промышленным и финансовым магнатам, в Соединенных Штатах немало. Питтсбург находится почти в полном владении Меллонов, Цинциннати — Тафтс, штат Делавэр — Дюпонов... Не будь в Детройте других автомобильных заводов-гигантов — «Дженерал моторс» и Крайслера, все двухмиллионное

детройтское население было бы целиком подчинено своему пригороду. Тогда, говоря словами американской поговорки, «не собака махала бы хвостом, а хвост — собакой».

Империя Форда родилась в Детройте почти полвека назад. Руками трудящихся Детройта были созданы колоссальные фордовские богатства, а первоначальный личный капитал Форда в 28 тысяч долларов был приумножен в 30.000 раз! Основные доходы Форду принес его похожий на водяного жука автомобиль «модель Т». Каждые десять секунд с конвейера сходил автомобиль «модель Т».

Из Дирборна тянутся нити управления к принадлежащим Форду мичиганским рудникам и лесным разработкам, к плантациям Южной Америки, к автомобильным рынкам Китая, Японии, Индии, Южной Африки.

Из Дирборна по паутине рельсов и по системе Великих Озер и каналов идут многочисленные поезда и пароходы, являющиеся собственностью Форда.

Уже несколько десятилетий алчный фордовский спрут сосет пот и кровь тружеников. 100.000 рабочих, занятых на 26 заводах, принадлежащих Форду, являются бесправными рабами автомобильного магната. Десятками тысяч людей, непосредственно работающих на его предприятиях, как и теми, кто косвенно зависит от него (таких людей насчитывается до полумиллиона), старик Форд правил самодержавно, диктаторски-нагло вторгаясь в частную жизнь, не уступая в своей деспотичности самым жестоким монархам.

Неистребимая жадность, властолюбие, лицемерие, ханжество и полнейшая беспринципность — вот черты, делавшие старика Форда законченным образцом хищника-монополиста, для которого нет ничего более высокого, чем чистоган, нажива, сверхприбыли.

Всю свою долгую жизнь этот человек обманывал и лгал, брал всё, что «плохо лежало», избавлялся от ненужных компаньонов, захватывая их долю участия в предприятиях, крал чужие изобретения и своей потогонной системой превращал тысячи рабочих в инвалидов и стариков.

Это был классический лицемер. Он умильно болтал о прелестях патриархальных времен — и строил ультрамеханизированные цехи; он корчил из себя миротворца-пацифиста — и зарабатывал огромные суммы на кровопролитных войнах; он давал торжественные обещания — и тут же цинично нарушал их; он молился богу — и нещадно грабил ближнего.

После смерти в 1947 году Генри Форда 1-го престол наследовал его внук Генри Форд 2-й. Последовал ряд деклараций и широковещательных обещаний, но вскоре рабочие убедились, что Генри Форд 2-й унаследовал от деда не только бесчисленные богатства, но и деспотический нрав и законченное лицемерие.

Дирборн — арена сорокалетней фордовской деятельности — живой свидетель уродливых порядков и нравов, насаждаемых американскими монополистическими магнатами, образец американской «справедливости» и пресловутого «американского образа жизни».

...В нескольких километрах к юго-западу от Детройта, на пыльной, унылой равнине близ реки Ривер Руж, раскинулся Дирборн. Архитектурным центром его является здание администрации «Форд мотор компани», похожее на белый ребристый цилиндр авиационного мотора с воздушным охлаждением. Против цилиндра — другое здание, расположенное в виде буквы П. Его окаймляет небольшой жидкий парк. За железнодорожными путями — колоссальный завод, дымящий разноцветными облаками пара и газов.

Город Дирборн разбросал свои маленькие домики, неприглядные, закоптелые, вокруг огромного завода. Большинство из них состоит из одной или двух квартир.

Вдоль широких улиц тянутся ряды кабаков, и ночью их световые рекламы образуют гирлянды назойливо повторяющихся слов: «пиво», «спиртные напитки», «бар». В двух или трех местах гирлянды прерываются мигающими вывесками маленьких кино. Эти дешёвые кинотеатры открыты всю ночь. Сюда заходят погреться и подремать безработные, целыми днями в период набора рабочих дежурящие у проходной завода Ривер Руж.

В городе несколько церквей и костелов, отделение банка, городская ратуша и полицейское управление.

Клубов и общественных организаций в Дирборне нет, если не считать «поста» Американского легиона. Жители города, подавленные страхом «показаться на Миллер роуд», то есть быть уволенными и выйти из ворот № 3 на длинную и унылую Миллер роуд, соединяющую Дирборн с Детройтом, боятся заниматься общественной деятельностью. Фордовские сыщики зорко следят за каждым шагом рабочих.

...Трамваи, похожие на допотопные броневики, скрежеща на поворотах, после смены везут в Детройт изможденных людей. Тысячи фордовских рабочих едут в пригород Детройта Хамтрамк, где они ютятся в таких же жалких домиках, как и дирборнские, но то только здесь они чувствуют себя несколько спокойнее - все же дальше от «опеки» сыщиков фордовской частной полиции.

Ехать из Дирборна в Хамтрамк далеко, и усталые люди засыпают. Разговаривать в трамвае опасно, ибо сыщики Форда садятся в трамваи, чтобы подслушать, что говорят рабочие, едущие с завода. Опытных на этом не поймает, а вот новички наивно думают, что фордовский надзор ограничивается территорией завода, в то время как в действительности глаза, уши и носы сыщиков «Форд сервис» — тайной и явной полиции дирборнского короля — проникают и в Дирборн и в Хайланд-парк и в Хамтрамк. Улицы, площади и дома Детройта беспрестанно находятся под надзором фордовских «сервисменов».

Но несмотря на непрерывную слежку и деспотический режим, все больше сознательных рабочих вступает в ряды активных борцов против фордовского рабства.

Из истории преступлений.

Присяжные фордовские историографы, выполняя указания своего хозяина, не жалея розовых красок, расписывают «искреннее сотрудничество» автомобильного короля со своими подданными. Это одна из наиболее лживых и лицемерных басен, созданных для того, чтобы скрыть непрерывную борьбу фордовских рабочих против безжалостной эксплуатации, затушевать классовый антагонизм, исказить правду о бесчеловечных нравах, царящих в империи Форда.

История этой империи знает не только многочисленные острые трудовые конфликты, но и трагические кровавые расправы «благодетеля» Форда с безоружными рабочими, осмелившимися поднять голос в защиту своих элементарных прав.

На Миллер роуд разыгрались события в «кровавый четверг», 7 марта 1932 года. Здесь по праву должен был бы стоять памятник безработным, убитым «сервисменами» и дирборнской полицией. Но памятников в Дирборне вообще нет.

Детройт корчился в тисках великой депрессии. До пятидесяти процентов трудящихся огромного города остались без работы. Помощь со стороны городских властей и частных благотворительных организаций была мизерной. В начале века Форд предусмотрительно перенес свои предприятия за пределы города отчасти для того, чтобы снять с себя ответственность за благополучие рабочих, живущих в Детройте.

Доведенные до полного отчаяния фордовские безработные решили организовать «голодный марш» в Дирборн и предъявить администрации Форда ряд требований: ослабления «спидапа» (то есть бесчеловечного ускорения конвейера), упразднения шпионского надзора за рабочими, пресечения взяточничества при найме на работу, введения двух пятнадцатиминутных передышек в день, обеспечения пособия безработным и бесплатного медицинского обслуживания для рабочих и их семей и т. д. Были заготовлены плакаты: «Мы хотим работать!» и «Вперед, рабочие! Не бойтесь!».

Процессия, состоявшая из нескольких сот мирно настроенных безработных, беспрепятственно прошла по улицам Детройта. Но когда демонстранты дошли до Бэби Крик-парка, то есть до черты, отделяющей Детройт от Дирборна, им преградил путь сильный отряд дирборнской полиции. Полиция была вооружена дробовиками, пистолетами и слезоточивыми бомбами. Начальник отряда предупредил демонстрантов, что в Дирборн для них путь закрыт. До завода оставалось полтора километра. Стоял сильный мороз. После краткого совещания предводители демонстрации повели колон-

ну вперед. Полиция ответила градом слезоточивых бомб. Демонстранты стали бросать в полицейских комья мерзлой земли. Началась рукопашная схватка.

Пробивая таким образом дорогу, рабочие приблизились к главным воротам завода Форда. Через шоссе здесь, как и у других ворот завода, перекинут стальной пешеходный мостик. На мостике уже были установлены заводские пожарные шланги высокого давления. Оттуда фордовские пожарники стали окатывать демонстрантов ледяной водой.

Ввиду того, что ворота были закрыты и мостик занят отрядами охранников, сражение здесь само бы прекратилось, если бы не Гарри Беннет — правая рука Форда, его «начальник кадров» и обер-полицейстер. Корреспонденты-очевидцы утверждают, что полицейский капитан, получив его приказание, крикнул: «Вынимай револьверы! Огонь!».

Грянули выстрелы. Охранники Форда открыли сильный огонь по демонстрантам. Рэй Пилсбури, фотограф газеты «Детройт миррор», так описывает побоище:

«Через отверстия в воротах полицейские и охранники просунули револьверы и ружья... Было произведено в рабочих несколько сот выстрелов. Я видел, как вожаки упали и стали корчиться на замерзшем шоссе. Толпа отхлынула, оставив жертвы на земле. Огонь продолжался, и со всех сторон, из цехов, раскинувшихся на три километра, бежали на выстрелы люди. Перед воротами ежесекундно продолжали падать люди, и всюду валялись убитые и раненые».

У фотографов полиция и «гвардейцы» Форда вырывали и разбивали фотоаппараты, чтобы в печать не проникли снимки варварского побоища.

Журналисты утверждали, что сын Форда Эдсель и губернатор штата с вышки около ворот № 3 наблюдали за расстрелом рабочих.

Старик Форд проявил трогательную заботу об одной из «жертв» столкновения: в тот же вечер он послал новелький «линкольн» в имение Гарри Беннета в знак благодарности за проявленную «распорядительность».

Форд и Беннет, конечно, не понесли ни малейшей кары за кровавую расправу над безоружными безработными. Гарри Той, прокурор района Уэйн Каунти, рьяно защищал Форда и превратил все расследование в «антикрасный карнавал»¹.

Безработные были выданы этим «прокурором» за «хулиганов из трущоб Детройта», а охранники Форда были изображены «мирными людьми, не принимавшими участия в событиях». Судебные власти не только оправдали дирборнскую полицию, большая часть которой состоит на жаловании у Форда и начальником которой по традиции является один из бывших агентов фордовской «службы безопасности», но и в мотивировке своего вопиюще несправедливого решения назвали убийц-полицейских «спасителями города от красного заговора».

Тяжело раненных демонстрантов в госпитале приковали наручниками к койкам. Их допрашивали с пристрастием, то угрожая им, то обещая работу, если они дадут необходимые адвокатам Форда показания. В течение всего судебного процесса можно было наблюдать трогательный альянс прокуратуры и защиты. Да и не удивительно: прокурор, делавший всё для выгораживания фордовских убийц, получил свой пост при помощи денег, отпущенных из кассы автомобильного короля, и при содействии политической машины, контролируемой Гарри Беннетом.

Вслед за «кровавым четвергом» 1932 года и последовавшим за ним рядом более мелких, но весьма острых столкновений грянула «кровавая среда» 1937 года.

Это было 26 мая. Профсоюз автомобильной промышленности вел кампанию за более тесное объединение рабочих. Лидеры профсоюза заручились разрешением городских властей на распространение ленточек у главных ворот фордовского завода. Перед выступлением рабочих стало известно, что Форд готовит провокацию: ряды его охранников спешно пополнялись преступным элементом, подступы к заводу ежедневно кишели подозрительными молодчиками со значками «Форд сервис». Представитель га-

¹ Китс Суард. Легенда о Генри Форде. Изд. 1948 г. Из этой книги почерпнут ряд фактов, приведенных в этом очерке.

зетя «Детройт таймс» Фроман узнал среди этого сброда одного бутлегера, которого не раз встречал в полицейских участках. На вопрос Фромана, что этот человек теперь делает, последовал ответ:

— всю нашу банду с пристаней две недели назад нанял Форд.

Несмотря на признаки готовящейся провокации, представители рабочих двинулись в Дирборн. Во главе процессии из 50—60 человек находились профсоюзные деятели Ричард Франкенстин и Уолтер Рютер. Раздача листовок была поручена женщинам— в расчете, что охранники и полиция не посмеют применять к ним насилие.

Франкенстин и Рютер вместе с небольшой группой профсоюзников прибыли к воротам и поднялись на мостик. Немедленно к ним подошла группа охранников и приказала сойти с мостика. Когда они повернулись, чтобы исполнить распоряжение, на мост с другой стороны взбежали другие охранники. Захваченные в западню, профсоюзные деятели были тут же избиты до крови.

Когда к заводу прибыли остальные члены организационного комитета, их также подвергли жестокому избиению. У одного рабочего был разбит череп. Отряд дирборнской полиции под командованием начальника полиции Карла Брукса — тоже бывшего фордовского охранника — в дело не вмешивался, даже когда одну из женщин — члена профсоюза — фордовские охранники били ногами в живот.

На суде Гарри Беннет показывал, что ни один охранник Форда не участвовал в потасовке и что «с профсоюзниками расправились лояльные служащие и рабочие «Форд мотор компани».

Несмотря на террор фордовской охраны, возмущение не угасало. Тогда на помощь охране выступил муниципальный совет Дирборна, состав которого определялся тем же Фордом. Вопреки закону, «отцы города» запретили распространение листовок вблизи завода под предлогом того, что это... «нарушает правильность движения». За полтора месяца начальник полиции Брукс арестовал за раздачу листовок 906 человек.

В истории «трудовых отношений» в Дирборне имеется еще ряд дат, когда невыносимый режим повседневного угнетения вызывал вспышки протеста рабочих, граничившие с восстанием. Серьезные столкновения происходили в апреле 1941 года и в марте 1944. В мае 1949 года в знак протеста против невыносимых условий труда забастовало 60.000 рабочих на главном заводе фордовской компании. Однако охрана Форда при поддержке полиции, муниципалитета и судов неизменно подавляет рабочие выступления. Диктатура Форда попрежнему безраздельна и жестока.

Тень Гарри Беннета.

Вся жизнь Дирборна контролируется Фордом и его многочисленными шпионами.

Китс Суард, автор «Легенды о Генри Форде», пишет о политической жизни Дирборна:

«В своем старании диктовать фордовскому рабочему или служащему, как он должен проводить свободное от работы время, «Форд сервис» (то есть политическая полиция Форда) наиболее нагло проявляет свою деятельность в руководстве политическим сознанием жителей Дирборна... Большинство жителей знает, что уже много лет подряд их город имеет все атрибуты «удельного княжества», над делами которого они, как граждане и налогоплательщики, не имеют ни малейшей власти или очень мало власти».

Над Дирборном и Хайланд-парком много лет тяготела зловещая тень Гарри Беннета¹ — начальника политической полиции Форда, главы его «разведки» и «контрразведки», устроителя темных дел и палача.

Кто же этот всевластный, никем не избранный хозяин Дирборна?

¹ Сейчас, при режиме Генри Форда 2-го, Беннета сменил бывший начальник детройтского отдела Федерального бюро расследования Джон Бьюгос, оказавшийся достойным своего зловещего предшественника.

Некогда Беннет был матросом. Потом он стал профессиональным боксером и искателем жемчуга в Африке. В 1916 году он поступил в фордовскую фотолабораторию. Его приметил сам Форд и назначил главой заводской охраны. Старик угадал в двадцатичетырехлетнем Беннете прирожденного провокатора. Холодный рассудок, презрение к чести и морали, жестокость, беспринципность были определяющими чертами молодого авантюриста. На первых порах он, правда, получал от хозяина замечания за «излишнюю мягкость», но вскоре Беннет показал себя способным выполнять функции самого бессердечного держиморды, и автомобильный король ставит его во главе всего «Форд сервис».

Беннет развил лихорадочную деятельность по созданию целой системы сыска, слежки, доносов, провокаций. Он подобрал несколько сот помощников — это были либо бывшие уголовники, либо бывшие боксеры и акробаты. Особенно ценными он считал людей, соединивших боксерскую профессию с уголовным прошлым.

В прессе в 20-х годах усиленно распространялась легенда (еще одна легенда!), что Форд и Беннет делают гуманное и благое дело, так как, подбирая бывших преступников, предоставляя им хорошую службу, они дают возможность «падшим» исправиться и начать новую жизнь. На самом деле это такая же «хорошая служба», как служба в печальной памяти «черных сотнях» гитлеровских «СА». Дирборнский магнат руками Беннета создал банду для устрашения, шпионажа и расправ над рабочими.

Беннет был нераздельным хозяином этой банды и подчинялся только Форду. Закон для Беннета не был писан: городские власти, суд и полиция были в его руках. Его «сервисмены», среди коих были явные и тайные шпионы, день и ночь сновали по заводу, работали за станками, шатались по городу, подслушивая разговоры, проникали в дома служащих и рабочих, собирая сведения для всеобъемлющей картотеки населения Дирборна и Хайланд-парка, запугивая, подкупая, лаская, грозя и подчас, когда это было нужно Форду, действуя кулаком и пулей. Председатель профсоюза рабочих автомобильной промышленности Уолтер Рюгер, например, был ранен выстрелами в своем доме в Детройте 20 апреля 1948 года. Выяснилось, что в деле замешаны несколько бывших уголовников. Нити преступления вели к «Форд сервис».

Уголовники-«сервисмены» оплачивались Беннетом из особого фонда. Этот его фонд был весьма велик. Сенатская комиссия по просвещению и труду установила, что американские промышленники тратят ежегодно на оплату шпионов не менее 20 миллионов фунтов стерлингов, причем компания Форда проявляет в этом смысле особую щедрость.

Грязная деятельность банды Беннета развивалась в полном соответствии с политическими взглядами Форда, которому принадлежат слова: «Пусть полиция правит страной. Она знает, как поддерживать порядок. Если что-нибудь у меня на заводе не ладится, полиция с этим справляется. Они могут делать то же во всей стране...»

Следуя этому принципу, Гарри Беннет создал в Дирборне и Хайланд-парке гипичное полицейское государство, а его нынешний преемник продолжает охранять и укреплять эту современную деспотию.

«Выборные» городские власти, деятелей которых в Дирборне называют «воспитанниками «Форд сервис», входят составной частью в механизм этого маленького абсолютистского государства.

О том, как происходят выборы в Дирборне и Хайланд-парке, можно судить по некоторым фактам, которые обнаружились во время правительственного расследования в 1941 году. Некий Брус Тэррель, бывший служащий Форда, показал, что первая обязанность, которая была ему вменена после его зачисления в «Форд сервис», состояла в том, чтобы под руководством некоего Верна Дунана «проверять списки избирателей и обеспечить, чтобы лишь те, которые голосуют правильно, получали работу на заводе Форда». «Правильно», конечно, означало — подать голос за кандидатов, одобренных Фордом. Как выяснилось, Тэррель сидел в тюрьме за кражу со взломом и некоторое время «работал» как профессиональный шпион. Но кто же Верн Дунан, под начальством которого орудовал этот человек? Это один из трех «столпов», на ко-

торых годами держалось самоуправление Дирборна. Остальные два «столпа» — главный городской судья Лео Шэфер и начальник полиции Карл Брукс.

Дунан руководил выборами по указке Беннета. Сам он обычно никакой должности не занимал и числился только в тайных списках «Форд сервис». Без одобрения Дуна на не мог быть избран ни один член муниципального совета и, конечно, не мог быть избран мэром. Дунану в его «работе» помогали огромная агентура «Форд сервис», главный судья и начальник полиции. На подкум избирателей не было нужды тратить деньги. Действовали главным образом оружием страха. Тайно и явно угрожали лишением работы или дутым судебным процессом. Занимались провокацией и шантажем, прибегали к членовредительству, не останавливались перед убийством.

Провокатор и шпик Дунан только раз занимал официальный пост в городском самоуправлении Дирборна. Он был «комиссаром безопасности» во время «кровавого четверга», после которого он при содействии и вместе с судьей Шэфером и начальником полиции Бруксом помогал выгородить «Форд сервис», организовавшую расправу над рабочими.

Карл Брукс состоял начальником дирборнской полиции свыше 12 лет подряд. На этот пост он попал прямо из охранников Форда — он был начальником полиции завода в Хайланд-парке.

Карьера Брукса окончилась в 1941 году скандальным судебным процессом, во время которого выяснилось, что начальник полиции Дирборна брал взятки с преступного элемента и получал крупный и постоянный доход от «главного» дирборнского публичного дома, известного под названием «Маленький коричневый дом». Таков облик дирборнского «блюстителя порядка и нравов».

Карьера судьи Шэфера, пожалуй, еще более любопытна. В суде он заседал свыше 15 лет подряд. От этого, с позволения сказать, судьи, отец которого был другом Генри Форда, шли к автомобильному магнату прямые коммерческие нити. Дело в том, что Форд передал судье Шэферу концессию на продажу завтраков рабочим завода Ривер Руж. Известно, что только в 1937 году судья получил от этой концессии 50 тысяч долларов чистой прибыли, в то время как его должность оплачивалась суммой, не превышавшей 5 тысяч долларов в год. Судейские усилия Шэфера делились пропорционально этим суммам: на пять тысяч он служил гражданам, на пятьдесят тысяч — Форду.

Наглость этого «судьи» была настолько велика, что он украсил киоски закусок на фордовском заводе откровенными вывесками: «Шэфер лэнч компани».

Аналогичная концессия — на продажу фруктов — была предоставлена известному гангстеру Честеру Ламару, который помогал Беннету в «мокрых» делах.

Так на заводе Форда под крылышком ищейки Беннета рядышком торговали и наживались судья и бандит.

Нет такого места, где бы фордовский рабочий мог укрыться от контроля наемных «сервисменов». «Восьмичасовой невроз на заводе, — пишет Китс Суард, — сменился постепенно 24-часовым неврозом в частной жизни». Верная себе фордовская агентура выступает и здесь под лицемерной маской «стража моральных устоев». Она уверяет всех и вся, что ее дело следить за тем, чтобы все рабочие, подобно трезвеннику Форду, не употребляли алкоголя, чтобы они по воскресным дням посещали церковь, чтобы не вздумали заводить «любовных интриг». Вся эта фальшивая и ханжеская «забота» о «моральных устоях» прикрывает систематический и неотступный шпионаж за политическими настроениями рабочих и членов их семей. Каждый подслушанный разговор, имеющий политический оттенок, немедленно заносится в особые карточки. «Опороченные» люди в зависимости от характера «преступления» переводятся на менее выгодную работу или совсем увольняются.

Форд расставил своих «сервисменов» буквально во всех уголках Дирборна. В 1941 году в газете «ПМ» появилась «исповедь» бывшего фордовского «сервисмена» Ральфа Ринара. Вот что он рассказывает о своей «работе» у Форда:

«Мои агенты доносили мне о подслушанных разговорах в бакалейных лавках, на рынках и в ресторанах, в игорных домах, барах, на общественных собраниях и в церк-

вах... Женщины, ожидающие очереди на рынке, часто обсуждают работу своих мужей и их деятельность вне завода. Обо всех этих разговорах я всегда узнавал».

Профессиональные политики, заседавшие в дирборнской ратуше («Сити холл»), помогли Форду держать город в полном повиновении и страхе. Они содействовали созданию организации «Дирборнские рыцари», которая была задумана Беннетом, как помощник и резерв «Форд сервис». Во главе этой псевдорбочей организации был поставлен фордовской администрацией профсоюзный ренегат Сэм Тэйлор.

Рекламные трюки Форда.

Время от времени Форд, вкуче с послушными ему марионетками из городского «самоуправления», предпринимал благотворительные акции, сопровождавшиеся сногшибательной рекламой. Может быть, в этих благотворительных затеях наиболее наглядно и обнаженно сказывалось лицемерие и жадность дирборнского монарха.

Во время депрессии начала 30-х годов состоялась «делка двух Фордов», как иронически прозвали жители Дирборна соглашение между Генри Фордом и его однофамильцем мэром Клайдом Фордом.

По этому соглашению Генри Форд обязался кормить всех «иждивенцев города» (то есть, попросту говоря, голодных людей) при условии, что муниципальный совет снимет с предвыборной программы предложение о введении специального налога для покрытия расходов по оказанию помощи неимущим.

Таким образом, безработный фордовский рабочий переводился с иждивения городских организаций на частное попечение Форда. Это поставило всех голодающих в непосредственную зависимость от Форда. «Форд компани» распределяла карточки на продовольствие, которые отоваривались в специальных фордовских магазинах. Все эти «благодаяния» аккуратно регистрировались. Впоследствии, когда «облагодетельствованные» вновь нанимались Фордом на работу, их «долги» вычитались из зарплаты, притом с большими процентами. Таким образом, в результате своей «благотворительной» затей Форд избавился от уплаты налога и заменил его своего рода частным ростовщичеством, еще больше увеличившим его и без того баснословные доходы.

Еще более показателен эксперимент Форда, связанный с предместьем Дирборна— Инкстером.

Инкстер представлял собой беспорядочное сборище хибарок, в которых ютились фордовские рабочие, прибывшие сюда со всех концов Америки во время «просперити» и перехода заводов Форда от «модели Т» к «модели А».

Большинство жителей Инкстера составляли обнищавшие негритянские семейства. В поселке из-за недостатка общественных средств были выключены свет и водопровод. Все шире распространялись туберкулез, рахит, дистрофия и другие болезни нищеты. Такая открытая язва в фордовской вотчине была плохой рекламой для хозяина. Форд решил взять Инкстер «в свои руки».

Представители Форда немедленно организовали общественное питание, уплатили по счетам за свет, воду и другие коммунальные услуги.

Американская пресса раструбила об этом «благодаянии» автомобильного короля на весь свет. Одна реклама стоила Форду больше, чем средства, затраченные на благоустройство Инкстера. Однако и эти деньги Форд вскоре вернул в свою кассу.

Как только в поселке была восстановлена мало-мальски сносная жизнь, Форд нанял все^х без исключения инкстерских мужчин на свой завод, но вместо 4 долларов платил им ежедневно лишь 1 доллар. Разницу между стандартной зарплатой и тем, что получали инкстерские негры, то есть 3 доллара с человека в день, Форд удерживал на покрытие расходов по благоустройству поселка. Ежедневно в фордовской кассе оседало 1.500 долларов. Этот явный грабеж нищих людей длился более двух лет. Инкстерские рабочие осмелились протестовать против этого грабежа. Машина Беннета была немедленно приведена в действие: «смутьяны» были не только уволены с завода, но и изгнаны из Инкстера.

И еще один пример фордовского лицемерия и жадности. Во время депрессии автомобильный магнат вместе с покорными ему местными властями затеял организацию «индивидуальных рабочих огородов». Каждому рабочему и служащему Форд приказал под страхом немедленного увольнения завести огород. В Америке существует выражение «свадьба с дробовиком», означающее, что жених идет к венцу насильно, под дулом дробовика, направленного на него отцом невесты. Затея Форда получила название «дробовые огороды», ибо проводилась она насильно, не в интересах владельцев огородов, а, как увидим, в интересах усиления эксплуатации рабочих и повышения фордовских прибылей.

Так как у подавляющего большинства рабочих не было приусадебной земли, ее милостиво выделил Форд, предоставив под огороды 2.000 гектаров суглинистых пустырей вокруг Дирборна. С огородников стали взимать плату за распашку, за семена, за огородные орудия. Рабочие пробовали протестовать: они с огромным трудом выращивали на неплодородной земле картошку и салат, которые и так были дешевы. Но Форд настаивал на своем. Около половины рабочих жили на расстоянии 15—30 километров от огородов и были вынуждены тратить время своего отдыха на изнурительные поездки. Инспекторы «Форд сервис» цинично отвечали на протесты рабочих: «Вам далеко?.. Чего ж вы не купите автомобили? Ведь вы их сами производите!».

Над огородниками был установлен строжайший контроль. «Шефом», отвечавшим за обработку огородов, был назначен Беннегом бывший бандит и профессиональный боксер, один из самых жестоких фордовских «сервисменов» Кид Маккой.

Вскоре открылась истинная причина этой «отеческой заботы» Форда. Раструбив на все 48 штатов при помощи платных объявлений в десятках газет и журналов о своем «благоедеянии», Форд начал... снижать заработную плату. «Теперь вы имеете свои продукты с огородов и можете обойтись меньшими деньгами», — говорили рабочим фордовские администраторы. Огородное движение, разрекламированное Фордом, как «возвращение народа к земле», оказалось циничным маневром, еще больше обездолившим рабочих и увеличившим золотые запасы дирборнского магната.

Таков далеко не полный список «благоедеяний» Генри Форда.

Пытка страхом безработицы.

Американские социологи супруги Роберт и Хелен Линд, в течение ряда лет исследовавшие жизнь «среднего американца», издали книгу, в которой подведены некоторые итоги их работы. Факты и наблюдения, приведенные Линдами, оказались столь разительны, что, вероятно, против воли авторов, зазвучали как обвинительный акт против американской «цивилизации» и всей системы изнурительной эксплуатации рабочих, превращающей людей в рабов.

«Заведующего личным составом крупной механической мастерской спросили, — пишут супруги Линд, — считает ли он, что рабочий, управляющий сложной машиной, гордится своей работой и испытывает чувство собственности, глядя на свою машину. Заведующий ответил: «Нет». — «Тогда ради чего они работают? Чтобы иметь возможность купить дом, автомобиль или просто чтобы поддерживать свое существование?» — «Они просто работают. Они не знают, зачем. Их затащила рутинная работа, и они продолжают делать все то же однообразное дело, а мысли их сосредоточены на том, когда наступит депрессия и их уволят».

Следовало бы подчеркнуть эту последнюю фразу: мысли рабочих сосредоточены на боязни, что наступит депрессия и их уволят. Это психическое состояние пронизывает жизнь рабочих на любом американском заводе, независимо от того, кто является его владельцем: «Юнайтед стейтс стил» или «Стандард ойл», Дюпон или Форд. Этот страх используется капиталистами, как тяжелый пресс для непрерывного давления на психику нанятых им рабочих.

На всех американских предприятиях в той или иной степени, в той или иной

форме существует это угнетение страхом — страхом потери работы, страхом голодной смерти, страхом, который усиливается сознанием, что ни полицейский, ни суд не будут ограждать рабочего от произвола всемогущего безликого хозяина, именуемого обычно «компания» или «корпорация».

Этот заводской невроз—угнетение страхом—очень усердно и настойчиво культивируется на заводах Форда. Психическое состояние фордовских рабочих журнал «Форчун» охарактеризовал одной примечательной фразой: «Атмосфера у Форда предельно натянута. Чувствуешь, что если бы кто-нибудь вдруг выстрелил из пугача, у 35.000 человек был бы разрыв сердца». И хотя эта характеристика относится к периоду депрессии, любой фордовский рабочий подтвердит, что такая напряженная обстановка обычна для фордовских предприятий.

Заводской невроз искусственно провоцируется и намеренно подогревается администрацией заводов Форда. Смысл его — парализовать волю рабочих, лишить их способности и даже желания сопротивляться.

Фордовская администрация всеми мерами старается разъединить людей, используя всё, вплоть до расовых и религиозных предрассудков. Но и это для «Форд сервис» кажется недостаточным.

«Сервисмены» следят за тем, чтобы рабочие на заводе не только не собирались в свободное время группами, но чтобы они даже не разговаривали между собой. Разъединение людей носит не только общественный, но и чисто физический, пространственный характер.

Психологическая обстановка породила такие показательные выражения, как «фордизация лица» и «фордовский шопот».

«Фордизация лица» вызвана запрещением не только смеяться, но и улыбаться на работе. Лицо должно быть маской. Тогда «сервисмены» не придерутся.

Громко говорить нельзя. Вообще разговаривать нельзя. Поэтому люди прибегают к «фордовскому шопоту», то есть изредка переговариваются, бросая слова сквозь почти сжатые губы, не отрывая глаз от работы.

Чувство непрерывного страха и настороженности не покидает рабочего даже вне завода. «Фордизованные лица» вы можете увидеть и «фордовский шопот» услышать в трамвае, на улицах Детройта, в переулках и домах Дирборна, Хайланд-парка и Хамтрамка. Непроницаемое выражение лица и манера говорить шопотом у многих становится привычкой.

На одном судебном следствии фордовский рабочий, здоровый, уравновешенный человек, давал показания. Он рассказывал следователю о применении цианистого калия в производственном процессе в его цехе. Рабочий говорил спокойно. Вдруг он остановился, его лицо исказил ужас, и он упал в обморок. Это, как потом выяснилось, было вызвано появлением в дверях начальника цеха, в котором работал свидетель.

Такое психическое состояние рабочих достигается не только страхом увольнения. Здесь действует также самый простой, примитивный страх физического воздействия со стороны «сервисменов». Молодчики из «Форд сервис» не ждут какого-нибудь проსлупка со стороны рабочего, а бьют «профилактически», вроде того, как некогда бурсаков секли по субботам, «чтобы впредь умнее были».

«Сервисмены» годами создавали себе репутацию «легкости на кулак» путем вызывающего поведения на улицах Дирборна и Детройта. В баре и кабаке, на собрании и на футбольном стадионе — всюду молодчики Беннета задевали людей, избивали и калечили их, оставаясь в большинстве случаев совершенно безнаказанными. «Сервисмены» афишировали свою неприкосновенность. Когда же надо было иногда платить штраф за их хулиганский налет, Беннет использовал «оперативные суммы» или средства, предназначенные для «воспитания кадров».

Фордовские «сервисмены» отличаются бесчеловечностью и наглостью. На заводе они наугад, без всякой на то причины, загоняли какого-нибудь рабочего в уединенный

коридор и «прогоняли через строй». Ночью на заводском дворе они подкрадывались к одинокому рабочему, ослепляли его электрическим фонарем и, задав несколько грубых вопросов, вроде: «Откуда идешь, лодырь?» или «Кто твой начальник, идиот?», не ожидая ответа, зверски его избивали.

Все это — не шалости бывших уголовников и не прихоти самого Беннета. Это продуманная система терроризирования, запугивания и унижения рабочего, который должен был как огня бояться фордовских администраторов.

Известен такой случай: потерпевшему увечью рабочему делали перевязку в амбулатории завода. Фельдшер посадил рабочего на стул и бинговал поврежденную руку. В этот момент в амбулаторию ворвались «сервисмены». «Чего этот тип сидит на стуле? Встать!» — приказали они. Фельдшеру было сделано строгое внушение, чтобы он не баловал рабочих и разрешал садиться в кабинете «только раненым в ногу или в голову».

Все эти бессмысленные и наглые издевательства составляют часть утонченной инквизиторской системы запугивания людей.

«Фсрд сервис» имел огромную власть над рабочими. Он имел право рассчитывать их без всякого объяснения причин. Таким образом рабочий сознавал, что качество его труда не служит ему гарантией сохранения службы. Главное — не попасть на удочку зловещего «Форд сервис», и самым страшным было, конечно, то, что лишь незначительная часть «сервисменов» была видимой, легальной. Большинство же агентов тщательно замаскировано.

Между прочим, не только рабочие испытывают у Форда чувство неуверенности и неустойчивости. Таково же положение служащих и технического персонала; этих людей также выгоняют по малейшему доносу, по любому капризу Форда и его временщиков.

Характерен случай с бывшим секретарем Форда Эрнстом Либольдом. До сих пор остается тайной, что произошло между секретарем и его хозяином, но только Либольд в один прекрасный день скрылся в неизвестном направлении. Беннет немедленно мобилизовал по телеграфу сотни агентов по продаже фордовских автомобилей, которые являются одновременно и агентами фордовской разведки, журналистов, полицию, следственные власти целого штата. Через сутки Либольд был обнаружен в 600 милях от Дирборна в отеле небольшого городка, где он зарегистрировался под вымышленным именем. За ним тут же были посланы два бандита из «Форд сервис»: известный нам Верн Дунан и бывший боксер Эльмер Хоган. Либольд после обыска был доставлен в Дирборн и... исчез с горизонта.

Обстановку, царящую в фордовской вотчине, характеризует такой эпизод.

Пишущий эти строки как-то ранним утром ехал в трамвае в Детройте. Вагон шел из Дирборна. Напротив сидел изможденный человек. Он спал мертвым сном. Когда кондуктор разбудил его на нужной ему остановке, человек, шатаясь, сошел. Я последовал за ним: мне хотелось узнать, что с этим смертельно утомленным человеком. Я подошел к нему и заговорил. Человек метнулся в сторону, глаза его расширились от страха. Затем он несколько успокоился.

— Почему вы так испугались меня?

— А кто вас знает, может быть, вы «сервисмен». В этом городе надо всегда держать ухо востро. Вот ведь и спать-то в вагоне небезопасно. «Сервисмены» придираются: что, мол, репутацию Форда портишь, будто ты так уж утомлен! А как же не спать, когда конвейер идет быстрее, чем способны двигаться человеческие руки... Работашь, работаешь — и знаешь, что сам себя с завода выживашь... Изнашивашься уж очень быстро. «Он» только и ждет, чтоб подешевле свеженьких нанять...

«Он», «компания», «фирма», «корпорация» — эти слова в устах американского рабочего во всех штатах, городах, на всех заводах звучат синонимом понятия в р а г.

„Великая хартия“ эксплуатации.

Американская пропаганда неустанно твердит, что уровень жизни американских трудящихся быстро и неуклонно повышается. Чтобы «доказать» этот тезис, пропагандисты прибегают либо к статистической эквилибристике, либо к прямой фальсификации истины.

Генри Форд больше других преуспевал на фальсификаторском поприще.

Еще в 1914 году он под звуки торжественных, рекламных фанфар объявил, что будет платить своим рабочим минимальную ставку в 5 долларов в день, то есть почти вдвое больше, чем в то время платили на других предприятиях американской автомобильной промышленности. Обыватели ахнули. Форд в их глазах превратился в «благодетеля человечества». Газеты на всех перекрестках трубили о фордовской «великой хартии».

Осуществление этой «великой хартии» началось так. Накануне дня широко разрекламированного нового набора рабочих у ворот завода Форда столпилось 10.000 человек. Был сильный мороз, люди стояли долгими часами в ожидании обещанного найма. Наконец терпение рабочих лопнуло, толпа все громче и настойчивее стучалась в ворота. Волнение грозило перейти в крупные беспорядки.

Вместо администраторов Форда перед взволнованной массой рабочих, прибывших в фордовский «рай» по рекламным приглашениям фирмы, появилась... полиция, которая начала поливать толпу холодной водой. Вода тут же замерзала, покрывая одежду ледяной корой. Крики возмущения сливались с проклятиями и угрозами по адресу дирборнского короля. Полиция, выполняя волю Форда, продолжала «наступление», пока рабочие не разошлись, чтобы «оттаять».

Это был первый день жизни «великой хартии», провозглашенной Генри Фордом.

Эта «хартия» была низменной и вместе с тем хитроумной, далеко идущей программой алчного магната, стоявшего во главе грандиозного бизнеса. Внешне эта демагогическая программа выглядела настолько «левой», что даже уолл-стритовские тузы не сразу поняли ее подлинный смысл и окрестили Форда «утопическим социалистом».

Это и нужно было Форду, выдававшему себя за «благодетеля рабочего люда». Самые квалифицированные рабочие со всех концов страны рвались в заветный Дирборн, прельщенные «хартией» и перспективой ежедневного получения фордовских 5 долларов.

В чем же был действительный смысл пятидолларовой приманки Форда?

Во-первых, она давала фордовской администрации «законное» право неограниченно усиливать эксплуатацию, увеличивать скорость конвейера и темп работы, выжимать из рабочего максимум возможного.

Но дело не только в этом. Щедрость Форда была, как всегда, весьма условной: пятидолларовая оплата причиталась, согласно «хартии», только «регулярным» фордовским рабочим. Вот тут-то и была зарыта собака! Попасть в реестр «регулярных» оказалось не так-то просто. Для этого надо было удовлетворять ряду придуманных самим Фордом произвольных требований и испытаний.

Из этого реестра исключались не только «неблагонадежные», но и вообще все, кто, по мнению фордовских надсмотрщиков, «жил недостойно и проявлял себя незаслуживающим доли в прибылях компании».

Не трудно себе представить, какой произвол царил при установлении «стандартной» пятидолларовой ставки.

Эта ставка была использована еще для одного очень важного с точки зрения диктатора Форда мероприятия. Все той же пятидолларовой бумажкой Форд широко открывал своей шпионской агентуре двери домов рабочих и служащих, которые должны были доказать, что они живут «достойно» и заслуживают пятидолларовую ставку, не только «сервисменам», но и инспекторам образованного при «Форд сервис» «отдела социологии», во главе которого Форд поставил священника Сэмюэля Маркиса, настоятеля епископального собора в Детройте.

Так началась, как мягко выражается Китс Суард, «стандартизация жизненных привычек» служащих Форда. Буквально каждый шаг их находился под строжайшим

контролем. Ханжеский и лицемерный «кодекс поведения» был в руках фордовских спричников орудием наглого вторжения в личную жизнь рабочих и служащих, назойливого контроля над каждым их жестом и словом.

За свои пять долларов Форд взимал с подвластных ему людей колоссальную дань. Этой данью были не только все без остатка физические силы рабочего, но и его личная свобода, его человеческое достоинство.

Вскоре, однако, и стоимость пятидолларовой бумажки покачнулась. Началась инфляция. За несколько лет стоимость жизни в Дирборне возросла более чем вдвое, и пять долларов фактически превратились в 2,40 доллара. Продав себя за 5 долларов, рабочие Дирборна получали только 2 доллара 40 центов. При этом пятидолларовую оплату получали далеко не все, ибо вместе с введением новой ставки Форд начал массами увольнять людей, чтобы иметь возможность нанимать побольше «новичков» по низкой ставке.

В это время купленный Фордом поэт Эдгар Гест писал в фордовском журнале в патетическом обращении к рабочим: «Держитесь за ту работу, которая у вас есть!»

Когда появились явные признаки недовольства рабочих, Форд ввел 6-долларовую оплату. Одновременно он, действуя с математическим расчетом, ускорил движение конвейера на 20 процентов.

Спустя несколько лет «гуманный» Форд начал усиленный наем подростков. Наемные перья расписывали очередное «доброе дело» автомобильного короля. Что же происходило на деле?

Старых рабочих, заслуживших право на высшую ставку, Форд выгонял, а вместо них нанимал тысячи подростков по самой низкой цене (3,20 доллара в день). Компания продолжала зарабатывать на своем «человеколюбии».

Когда разразился кризис, Форд после совещания с президентом Гувером объявил, что повышает оплату до 7 долларов в день. Техника выжимания прибылей из иллюзорного увеличения ставок осталась та же. Людей выгоняли из одного цеха и нанимали в другой по ставке для «новичков». «Форд сервис» продолжала терроризировать и дисквалифицировать рабочих на основе «изъянов» в их частной жизни. Движение конвейеров неумолимо ускорялось. Согласно утверждению журнала «Нью рипаблик», рабочие для получения 7-долларовой оплаты, то есть для увеличения своего заработка на 17 процентов, должны были увеличить выпуск продукции на 47 процентов. В 1933 году во время одного судебного процесса выяснилось, что филиал Форда «Бриггс мануфакчуринг К^о» платил некоторым своим рабочим 10 центов в час и заставлял их работать 14 часов в день! Такое этот бесчестно разрекламированный «фордовский рай»!

Об экономическом положении рабочих в районе Детройта можно судить по тому, что около пятой части школьников обычно страдает там от дистрофии. Ежемесячно за неуплату квартплаты лишаются крова примерно 7.500 семейств.

Фордовская эквилибристика в области зарплаты практически привела к тому, что в 1940 году рабочие жили значительно хуже, чем в 1914 году. Таким образом, фордовский «прогресс» за четверть столетия привел к явному ухудшению положения рабочих.

Какова же в действительности жизнь американского рабочего, которую столь идиллически рисует официальная американская пропаганда?

Незадолго до окончания войны Калифорнийский университет подсчитал, что для весьма скудного существования рабочей семье необходимо в год минимум 2.964 доллара. По сведениям американской печати в 1946 году четыре пятых американских рабочих семей не обладало этой минимальной суммой. В 1947 году цены значительно увеличились и материальное положение рабочих еще больше осложнилось. «Было время, — писала в сентябре 1947 года газета «Нью-Йорк таймс мэгэзин», — когда требовалось захватить тележку, чтобы забрать то количество зелени и овощей, которое вы приобретали за пять долларов. Теперь же вы можете спрятать все покупки в карманах пальто, и у вас еще останется место для перчаток».

В то время как прибыли Форда и других некоронованных королей Америки непрерывно растут, кривая жизненного уровня рабочих неуклонно идет вниз.

Форд — финансовый спрут.

Путем демагогических трюков Форд годами рекламировал свою «независимость от Уолл-стрита». Два десятка лет подряд он ругал банкиров и финансистов, называл их «инявками на народном теле», клеймил финансовые спекуляции, утверждая, что только тот, который «производит подлинные ценности», достоин жить, остальные же являются «паразитами», подлежащими уничтожению.

Форд — враг финансового капитала — это одна из самых отвратительных легенд, инспирированных самим автомобильным магнатом.

Когда под ударами наступившего осенью 1929 года кризиса вся структура американского капитала дала глубочайшие трещины, воочию стало ясным, что представляет собой фордовская империя, выросшая на поте и крови десятков тысяч рабочих.

Во время «великой депрессии» обезумевшие от страха финансисты «рубил постромки», калялись, выдавали своих партнеров и сообщников, выступали со взаимными разоблачениями. Проектор общественного мнения добрался до Форда на четвертый год депрессии, в начале эры Рузвельта. Только тогда вскрылась подноготная бизнеса Форда, ее органическая связь с монополистическим капиталом, против которого так рьяно и лицемерно выступал автомобильный король.

Обыватели представляли себе Форда как независимого богача, который «делал» деньги путем производства «дешевых машин» и не прибегал к банкам и кредиту. Действительно, у Форда всегда были огромные запасы наличных, «ликвидных» фондов, которыми он мог оперировать. Однако не все это было заработано путем производства «дешевых машин». Огромные суммы, исчисляемые сотнями миллионов долларов, были получены Фордом следующим образом: с одной стороны, он пользовался 30- или 60-дневным кредитом своих поставщиков, с другой — вынуждал тысячи своих агентов по продаже машин как в Соединенных Штатах, так и в других странах платить за доставляемые им машины в п е р е д. Автомобильный король заставлял агентов, под страхом утраты фордовской лицензии, брать столько машин, сколько он считал нужным посылать. Таким образом поставщики и агенты поставляли Форду значительную часть его оборотного и резервного капиталов. Они были вынуждены это делать под давлением фордовского «бизнес-шантажа»: не одолжишь денег — не куплю и не продам!

Чтобы уяснить себе масштаб фордовских операций, необходимо хотя бы географически представить себе эту разветвленную империю.

Голова гигантского «спрута» «Форд мотор компани» — в Дирборне. Это «семейная» корпорация, акции которой не продаются.

У «Форд мотор компани» — многочисленные иностранные филиалы: «Форд мотор компани лимитед» в Англии и такие же компании в Канаде, Германии, Бельгии, Дании, Голландии, Финляндии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Австралии и Южной Африке. В то же время существуют сборочные заводы и «компании обслуживания» фордовских автомобилей в Аргентине, зоне Панамского канала, Кубе, Мексике, Уругвае, Бразилии, Чили, Китае, Японии, Египте, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Дании, Ирландии, Турции, Португалии, Швеции, Греции, Германии и т. д.

Еще до второй мировой войны Форд связал свои интересы с «И. Г. Фарбениндустри», то есть, вопреки своим многочисленным заверениям, приобщился к компании международных картелистов. Сорок процентов акций «Форд мотор компани» в Германии были проданы «И. Г. Фарбен». Тут же картелисты обменялись любезностями: глава немецкого химического треста доктор Карл Бош стал директором немецкой компании Форда, а сын Форда Эдсель возглавил американский филиал «И. Г. Фарбен».

Генри Форд глубоко увяз в банковских спекуляциях. Обнаружилось это лишь в 30-х годах, когда во время кризиса затрещал детройтский банковский консорциум «Гардиан Групп». Участие в операциях этого консорциума автомобильный магнат осуществлял через своего сына Эдсея, шурина Эрнеста Канцлера и адвоката Клиффорда Лонглей.

Вложив в детройтские банки ничтожную долю своих капиталов, Форд овладел контролем над активом в полмиллиарда долларов. Когда «Гардиан» перед крахом раз-

вернул бешеную спекуляцию (в особенности недвижимостью), Форд, этот поборник «честных и консервативных финансов», был на стороне зарвавшихся спекулянтов: ведь он рисковал малым, а прибыли получал большие. Под удар ставились деньги мелких, в основном трудовых вкладчиков, а до них никому дела не было!..

Когда грянул гром, обнаружилось вопиющее злоупотребление доверием вкладчиков. Директора банков консорциума, политики, судьи, конгрессмены, оказывается, делали в детройтских банках крупные займы, обеспечивая их заведомо «липовыми» ценностями. В некоторых случаях обеспечение принимало форму простой бухгалтерской описи несуществующих ценностей.

Крупнейшие акционеры детройтских банков собрались, чтобы обсудить, как подпереть рушащееся здание. Форд и здесь остался верен своей натуре вымогателя и шакажиста. Он решил проглотить собратьев-финансистов и обусловил свой заем передачей ему, Форду, полного контроля над всеми банками консорциума. Этот многолетний «враг финансового капитала» стал даже угрожать созданием собственного сверхбанка. По указке Форда в это время наемные политики стали инспирировать «массовые демонстрации», которые несли плакаты, представляющие «христианина Генри», как спасителя штата Мичиган от власти «менял во храме». Продажная печать наводнялась статьями о финансовом «ангеле-хранителе» Форде. «Крисчен сайенс монитор» даже сообщила, что Форд вырабатывает «новый банковский кодекс, основанный на десяти заповедях».

Однако план Форда выдать себя за «финансиста-спасителя» был сорван главным образом благодаря разоблачениям сенатора Козенса, который четверть века назад был одним из первых компаньонов Форда и оказался вытесненным из прибыльного дела. После того как открылись грязные спекулятивные махинации, которые проводил Форд на «Грисволь стрит» (детройтский Уолл-стрит), ему пришлось отказаться от создания собственного сверхбанка. При помощи долларов спешно замазывались щели в репутации Форда и других разоблаченных бизнесменов. Специальный следователь сенатской комиссии по финансовым и банковским делам Фердинанд Пекора выявил, что в книгах детройтских банков значились подозрительные «займы» на сумму 600.000 долларов, выданные судьям Детройта, района Уэйн и штата Мичиган.

Форд, один из основных виновников детройтской финансовой катастрофы, вышел из воды сухим. Правда, теперь все, кто не был слеп, убедились, что этот пресловутый «чистый производственник», как и все грешные банкиры, производит «деньги из денег». «Бескорыстный промышленник» предстал перед лицом общественного мнения в своем подлинном виде: он оказался обычным в американских монополистических кругах финансовым гангстером.

Форд - меценат.

Портрет одного из бесстыднейших лицемеров капиталистического мира—«просвещенного работодателя» Генри Форда—будет неполным, если не упомянуть о меценатстве этого полуграмотного человека.

Форд настойчиво стремился создать себе репутацию покровителя искусств, ревнивого хранителя американских традиций, собирателя исторических ценностей. И дело здесь не только в любви Форда к рекламе и в его желании прослыть «оригиналом» и «простаком из народа». Фордовское пристрастие к старине и его меценатство имели недвусмысленную политическую окраску. Своими бесконечными обращениями к «далекой доброй старине» Форд стремился замаскировать глубочайшую пропасть, которая в капиталистическом обществе отделяет владельца предприятия от рабочего. Форд и здесь оставался законченным Тартюфом: выпуская миллионы автомобилей и забывая ими все мировые рынки, он в то же время болтал о прелестях «эры тележки с лошадкой», о красоте патриархальных отношений между работодателем и рабочими.

В Дирборне Генри Форд создал деревушку-музей, которую назвал «Гринфильд виллэдж» («Деревня зеленых полей»). В музейных залах, напоминающих лавки старьевщиков, было свалено всё, что символизирует «добрую старину»: старый паровой котел, цитра бродячего музыканта, примитивная прялка, древние погребальные дроги...

Здесь же вертелась старинная ветряная мельница, ее источенный червями вал по приказу Форда поставлен на подшипники..

Всё должно быть, как в старину! Туристов, подкатывающих в Дирборн на первоклассных автомобилях, в «Гринфильд виллэдж» возили на старинных колымагах. Освещался «Гринфильд виллэдж» газовыми рожками на кривых столбах.

И это рядом с огромным заводом Ривер Руж, где 80.000 рабочих превращены в придатки ультрасовременных машин.

Так Форд стремится показать своим рабочим, замученным конвейером, что ему самому не по нутру жестокий век машин, что сам он полон восхищения веком ветряных мельниц и простейших кузниц, когда каждый ремесленник был «сам себе хозяин».

Всякий раз, когда дирборнский магнат «открывал» какой-нибудь предмет старины, газеты точно по сигналу начинали расписывать фордовский «идеализм» и «трогательный сентиментализм». А Форд под эти фанфарные звуки ускорял и ускорял бег своих конвейеров, усиливал нещадную эксплуатацию рабочих, жадно множил несметные богатства, хищнически выжатые им из пота десятков тысяч людей.

„Чудо“ Уиллоу Ран.

В самом начале второй мировой войны американская пресса, послушная отделу рекламы фордовских предприятий, протрубила, что Форд обещал производить 1.000 боевых самолетов в сутки. (В скобках заметим, что это «производственное чудо» оказалось чистейшим блефом, и завод никогда даже не приближался к возвешенной рекламой цифре выпуска продукции). Но в 1941 году в деревушке Уиллоу Ран около Детройта был действительно построен огромный завод бомбовозов «Б-24». Длина основного заводского корпуса равнялась 1,6 километра, ширина его—400 метрам. Завод был построен на правительственные средства и стоил 65 миллионов долларов.

Всё было детально распланировано и рассчитано. Всё... кроме одной «мелочи»: никто не подумал о том, где и как будут жить десятки тысяч рабочих, которых фордовские агенты вербовали во всех концах страны. Завод был построен в сельскохозяйственной местности: кругом не было никакого жилья, кроме маленьких ферм, где рабочий мог за баснословные деньги снять лишь комнатку на чердаке. До Детройта было 50 с лишним километров, да и он был переполнен, и спекуляция жилплощадью шла страшная.

Никто во время строительства завода-гиганта не подумал о людях. Лишь в 1942 году правительственные органы взялись за создание жилищного фонда. Но тут они натолкнулись на ожесточенное сопротивление местных компаний по продаже и покупке недвижимости, мелких домохозяйчиков и самого Форда. Первые боялись, что если правительство построит дешевые дома для рабочих, их спекулятивным доходам будет нанесен удар; вторые испугались за заработки, извлекаемые ими путем сдачи комнат рабочим; что же касается Форда, то он опасался, что его непререкаемый политический контроль над районом, где находился завод, может рухнуть, если десятки тысяч новых рабочих осядут в Уиллоу Ран и начнут голосовать.

В Вашингтон полетели письма, петиции, телеграммы с протестом против правительственного строительства, являющегося «вмешательством властей в частную инициативу».

Положение рабочих оставалось чрезвычайно тяжелым.

В Уиллоу Ран выросли огромные лагеря из автоприцепов, в которых в страшной тесноте ютились рабочие. Школ, пожарных, кинотеатров не было и в помине. Не было даже дренажа и водопровода. В колодцах появились тифозные бактерии.

Многие рабочие вынуждены были ездить на работу за 40—50 километров. От центра Детройта до завода рабочий добирался в среднем два с половиной часа и тратил при этом на транспорт 1,37 доллара. Таким образом, 8-часовой рабочий день дополнялся 5-часовыми поездками на завод и обратно. И на такое чудовищное изнурение, на такие варварские условия жизни были обречены рабочие «самого со-

вершенного в мире завода бомбовозов», которым так гордился Форд.

Рабочие находились в столь ужасных условиях, что даже представитель армии на заводе полковник Стронг не выдержал и публично заявил: «Так с людьми обращаться нельзя!»

Люди бежали из ада Уиллоу Ран, на их место прибывали новые партии рабочих, завербованных фордовскими агентами. В среднем ежедневно 17 процентов рабочих не выходили на работу.

Описывая Уиллоу Ран, нельзя не сказать об одном показательном курьезе.

При осмотре гигантского завода бросается в глаза его странная структура. Всякому ясно, что огромный заводской конвейер лучше всего располагать по прямой линии, тем более, что земли у Форда было сколько угодно. Но завод почему-то построен под прямым углом, что потребовало установки двух сложнейших поворотных кругов. В чем дело? — спрашивали непосвященные. А причина заключается в том, что завод стоит близ демаркационной линии между двумя графствами. Одно графство находится во власти реакционнейшего республиканского аппарата, соседнее «страдает» периодически некоторым «демократическим либерализмом»! И вот когда разросшийся завод приблизился к границе «либералов», Форд приказал «повернуть» его, чтобы не переступить линии, за которой можно было подвергнуться обложению усиленным налогом на прибыль.

Кстати, о военных прибылях.

Еще во время первой мировой войны Форд заявил, что он «до копейки отдаст государству все то, что заработает на военных заказах». Тогда он заработал на танках, подлодках, моторах «либерти» и других предметах военного снаряжения 29 миллионов долларов чистоганом, но по сию пору эти миллионы остаются в фордовских банках. Ни копейки государству он не вернул.

На второй мировой войне Форды заработали неизмеримо больше. На этот раз еще чаще сыпались обещания «вернуть прибыль народу». Но и на этот раз колоссальные доходы, нажитые в годы войны, остались в фордовской кассе.

Войны явились для «благочестивого» Форда, как и для других американских монополистических магнатов, выгоднейшим «бизнесом».

Король Генри Второй.

Старик Форд скончался от кровоизлияния в мозг 7 апреля 1947 года. Ему было 83 года. В управление колоссальной «империей» вступил внук миллиардера Генри Форд 2-й.

Фордовская реклама создала молодому магнату ореол «либерала» и «просвещенного промышленника нового типа». В отличие от деда и отца Генри Младший окончил университет. Во время войны он три года служил офицером во флоте (правда, большинство времени — на суше).

По выходе из Йэльского университета молодой Генри женился на богатой наследнице финансового туза Анн Макдоннелл. Чтобы жениться, он принял католичество.

В списке 13 самых влиятельных семей Америки, опубликованном Временной национальной экономической комиссией, первой значится семейная группа Форда. Генри 2-й унаследовал империю, которая была создана из капитала в 28.000 долларов, занятых его дедом у друзей. Эти 28.000 превратились в 1.000.000.000 долларов. Обычно за 42 года капитал в 28.000 долларов, исходя из 5 (сложных) процентов годовых, должен вырасти до 225.000 долларов. У Форда этот капитал вырос в 4.000 с лишним раз больше нормального!

Жесточайшая эксплуатация двух поколений рабочих, грабеж, обман, спекуляция, убийства были теми «сверхсложными процентами», на которых выросла фордовская империя.

После «интронизации» молодого Форда пресса пошумела о «либерализации» фордовского режима. Вместо Гарри Беннета появился Джон Бьюгас. Вместо вольнонаемных штурмовиков Генри Младший решил пользоваться «казенными» молодчиками

Эдгара Гувера. На смену методистскому ханжеству Генри Старшего пришло католическое лицемерие Генри Младшего. Наследник престола нанял новых изощренных во лжи пропагандистов.

На первых порах молодой Форд вел себя весьма скромно. Так ему было рекомендовано собственным «отделом пропаганды». Он повсюду заявлял, что ему нужно «учиться от азов», что он будет охотно советоваться «со старыми и верными» инженерами и рабочими и т. д.

Старик Форд поразил в свое время Америку обещанием пятидолларовой ставки. Молодой Форд, взойдя на престол, намекнул, что он идет дальше деда и дарует рабочим «гарантированное годовое содержание». Печать немедленно подхватила сенсацию, а Элеонора Рузвельт писала, что в период реконверсии Дирборн является «единственным светлым пятном в картине американских отношений между трудом и капиталом». На самом деле это бурно разрекламированное «годовое содержание» Форда-внука оказалось таким же, если не большим блефом, чем «пятидолларовая оплата» Форда-деда.

Едва миновал «медовый месяц» пышных речей и демагогических деклараций, молодой Форд начал еще туже, чем его дед, «завинчивать гайку». Заявив, что падение производительности труда на заводах является следствием «безответственности рабочих организаций», этот «просвещенный» властитель фордовской империи ускорил движение своих неумолимых конвейеров, усилил слезку за рабочими, еще больше увеличил эксплуатацию своих подданных.

Фордовские щупальцы проникают повсюду: в западной Германии дирборнский король установил контроль над акционерным автомобильным обществом в Кельне, а на территории маршаллизированной Франции, в Пуасси, построил завод, производящий по моделям, изготовленным в Америке, стандартные автомобили.

Форд Младший сохранил в полной неприкосновенности звериную систему и лицемерную циничную философию эксплуатации, которая царил в Дирборне около полувека. Все идет по-старому в империи Форда, находящейся сейчас под эгидой Национальной ассоциации промышленников, Дж. Эдгара Гувера и кардинала Спеллмана — духовного отца молодого Форда.

Генри Форд 2-й — модернизированная копия своего жестокого деда. После легких рекламных девиаций, вызванных сменой «капитанов», фордовский корабль лег на старый курс бесчеловечной эксплуатации, угнетения, произвола и насилия над рабочим классом.

Но передовые рабочие все глубже осознают свои классовые цели, все смелее организуются для противодействия нещадному гнету и гнусному надругательству над ними тиранов-фордов. Все яснее становится им — простым людям, поработенным алчным автомобильным королем, подлинная сущность фордовской империи, являющаяся одной из опор монополистического капитала — хозяина трумэнзовской Америки.

Для того чтобы иметь точное представление об «американском рае», нужно наедине задать фордовскому рабочему только один вопрос:

— Что такое заводы вашего хозяина?

Можно не сомневаться, что он ответит:

— Каторга!



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вл. Николаев. Век нынешний и век минувший. — Владимир Юрезанский. Забайкальская эпопея. — В. Гальченко. «Бабушкино море». — В. Шкловский. В мире находок. — Лев Крупеников. Умение всматриваться. — Н. Разговоров. «Весна свободы».

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВОЕННАЯ НАУКА

Академик Е. Тарле. Уолл-стрит — хозяин США. — Д. Мельников, Л. Черная. Мемуары фашистского разбойника. — Полковник П. Крайнов. Чему учит история Китая. — Профессор И. Базилевич. Найденное сочинение А. В. Суворова.

ТЕХНИКА

Б. Ляпунов. Новая книга на старый лад. — Генерал-майор В. Московский. Создатель первого в мире самолета.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. МЕДИЦИНА

Доктор геолого-минералогических наук А. Эберзин. Основоположник эволюционной палеонтологии. — Заслуженный деятель науки профессор А. Цейтлин. Советская рентгенология в борьбе с легочными заболеваниями. — Профессор И. Кочергин. Победа советской медицины.

ГЕОГРАФИЯ

Кандидат географических наук Д. Арманд. Путь географа.

Литература и искусство

Век нынешний и век минувший

Некогда, по совету врачей, Лев Николаевич Толстой ездил в Заволжье на кумыс. Понравились ему привольные заволжские степи, привлекли его внимание и степняки — русские да башкиры — народ, по замечанию писателя, простой и неиспорченный. Лев Николаевич купил в Самарской губернии имение. И хотя бывал здесь наездами, хорошо знал жизнь окрестных жителей. Особенно Толстого интересовало крестьянство. В самом ближнем от имения селе Гавриловка великий писатель был частым гостем. В 1873 году, после сильной засухи, в Самарской губернии начался голод. Царское правительство, знавшее о беде, постигшей заволжских крестьян, не оказало никакой помощи голодающим, а позаботилось лишь о том, чтобы страшное бедствие не получило «широкой огласки». На всю страну прозвучал тогда голос великого писателя, с болью и гневом

рассказавшего о бедственном положении крестьян. В письме, опубликованном 17 августа 1873 года в газете «Московские ведомости», Лев Николаевич писал: «Проехав по деревням от себя до Бузулука 70 верст, и в другую сторону от себя до Борска 70 верст, и еще до Богдановки 70 верст, и проезжая по деревням, я, всегда живший в деревне и знающий близко условия сельской жизни, был приведен в ужас тем, что я видел: поля голые там, где сеяны пшеница, овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя узнать, что посеяно. И это в половине июля! Там, где рожь, поле убрано или убирают пустую солому, которая не возвращает семян; где покосы, там стоят редкие стога, давно убранные, так как сена было в десять раз меньше против обычных урожаев, и желтые выгоревшие места. Такой вид имели поля. По дорогам везде народ, который едет или в Уфимскую губернию на новые места или отыскивает работу, которой или вовсе нет, или плата за

которую так мала, что работник не успевает выработать на то, что у него съедают дома».

Лев Николаевич сделал подробнейшую опись каждого десятого двора в селе Гавриловка. Хозяйства были разные, но нужда у всех одинаково страшная — всем грозила голодная смерть. Великий писатель обратился тогда с предложением начать сбор средств и хлеба для пострадавшего населения. Это обращение нашло некоторый отклик. Благодаря усилиям Льва Николаевича и большой материальной помощи, оказанной лично им, многие крестьянские семьи были спасены от смерти. Но из цепких когтей беспросветной нужды крестьян никакими пожертвованиями вырвать нельзя было. И в последующие годы, наезжая в Самарскую губернию, Лев Николаевич в письмах и многочисленных дневниковых записях продолжал рассказывать о нищенском существовании заволжских крестьян.

Как живут заволжские крестьяне сейчас, что стало с теми семьями, которые некогда посетил и описал великий писатель? На эти вопросы читатель может найти ответ в книге очерков Николая Задонского «Степняки». Автор очерков проехал зимой 1948 года по тем местам, где бывал некогда Лев Николаевич Толстой. Колхозы Заволжья переживали довольно тяжелую пору: четыре года войны не могли не отразиться на хозяйстве, а в 1946 году степняки были свидетелями такой засухи, с которой вряд ли может пойти в сравнение даже засуха 1873 года. И оказалось, что колхозы Заволжья сумели справиться и с трудностями, вызванными войной, и с невиданной засухой.

Колхозники Гавриловки не знали нужды ни в годы войны, ни после засухи. В годы войны Гавриловка, несмотря на то, что здесь оставались лишь женщины да старики, отправила фронту сто девяносто вагонов хлеба, да еще несколько десятков вагонов мяса, шерсти, овощей, а после засухи своими семенами были засеяны и озимые и яровые, и весь год у колхозников не переводился пшеничный хлеб. Может быть, у гавриловцев были большие запасы? Нет, не только в этом дело. Даже в засушливый год колхоз намолотил тридцать две тысячи пудов одной пшеницы. Это, по сравнению с прежними урожаями,

не так много. Но если учесть количество хозяйств в колхозе, то выйдет, что семья гавриловского колхозника даже в самый засушливый год собирает до двухсот тридцати пудов хлеба. А это намного больше того, что собирала раньше крестьянская семья в самый урожайный год!

Описывая бедственное состояние гавриловских крестьян, Лев Николаевич Толстой отметил, что Гавриловка по зажиточности «одна из самых обыкновенных деревень здешнего уезда». «Гавриловка, — подчеркивает Н. Задонский, — обыкновенное колхозное село. И может быть, именно поэтому, записывая в блокнот обычные цифры, рисующие экономическое состояние гавриловского колхоза, так ощутительно чувствуешь величие сталинской эпохи, огромное значение тех перемен, которые произошли в селе за эти годы».

Если бы сейчас Лев Николаевич Толстой мог снова посетить Гавриловку, он не узнал бы ее. При нем во всем селе только три кулацких дома были покрыты железом, большинство крестьян жило в земляных хибарах, теперь же гавриловские колхозники живут не в избах, а в беленьких, чистеньких домах, хорошо и уютно обставленных. Если раньше гавриловские крестьяне, как и все крестьяне, обрабатывали землю деревянной сохой, жали серпом, а молотили цепями, то теперь почти вся обработка земли механизирована. На полях колхоза работают девять тракторов, уборку хлебов производят четыре комбайна, работают здесь и зерноочистительные машины, и плуги, и сеялки, и сортировки. Если раньше хозяйство велось по дедовским приметам, «на глазок», примитивно, то теперь гавриловцы хозяйствуют, строго придерживаясь требований агрономической науки. Если раньше гавриловские мужики находились во власти земли, безропотно дожидались милостей от природы, то теперь гавриловские колхозники умеют отстоять свои поля и от засухи и от других стихийных бедствий, теперь они властвуют над природой. Если семьдесят пять лет назад в Гавриловке было только двое грамотных — священник да писарь, которые одни только и могли заверить Толстому опись крестьянских дворов, то теперь здесь почти все грамотны. 180 колхозников выписывают газеты и журналы, книги есть в каждом доме. Более 40 юношей и девушек

из Гавриловки учатся в институтах и техникумах. За годы советской власти из среды гавриловских крестьян выдвинулось немало интеллигенции — учителей, врачей, агрономов, офицеров, ответственных партийных и советских работников. Семен Иванович Синичкин, о великой нужде деда которого писал Лев Николаевич Толстой, ныне — доктор медицинских наук; Василий Николаевич Куляпин — инженер-полковник; Федор Михайлович Синичкин — полковник, Герой Советского Союза.

Автор очерков побывал во многих семьях, бедственное положение предков которых описал Лев Николаевич Толстой. Разные это семьи, но в каждой достаток, у каждого человека огромная жажда жить, работать. Автор подметил одну любопытную деталь: в колхозной деревне довольно много стариков, и все они крепкие, жадные до работы. Один из колхозников объясняет это так:

— Пожить да покрасоваться подольше народ хочет, ежели жизнь хорошая...

— Ну, мне кажется, и прежде всем пожить хотелось, — возражает автор.

— Хотелось, да не приходилось, — отвечает колхозник. — Возможностей таких не было, как нынче... Первое дело в том, что труд при машинах полегче стал... Бывало, в селе, на моей памяти, половина мужиков к пятидесяти годам с грыжей ходили... Поковырай поди сохой степную землю! А теперь про грыжу у нас вроде и не слышно. Вторая причина в перемене пищи. Кто это прежде пироги пшеничные да маслице кушал? Самые разве богатые! А нынче всюду едят... Молодые-то про старую мужицкую еду — хлеб из мякны и тюрю — совсем не слыхали... Третья причина — следить за собой народ научился, здоровье свое сохранять. Лекарства упогребляют, на курорты ездят.

Жизнь колхозников разнообразна и интересна, радостную основу ее составляет вдохновенный творческий труд. Каждый день нашей жизни все больше и больше сближает труд физический с трудом умственным. В самом деле, присмотритесь к трудовой деятельности рядового гавриловского колхозника — и вы увидите, что это

так. Колхоз ставит перед собой целый комплекс серьезных задач: повысить урожайность, улучшить животноводство, построить гидроэлектростанцию и т. д.

Эти задачи требуют не только от руководства колхоза, а от большинства колхозников овладения наукой, культурой, техникой и умения успешно применять знания на практике.

Высокоосознательное отношение к выполнению своих обязанностей, глубокое удовлетворение трудом, гармоническое сочетание личных интересов с интересами общественными — вот что характерно теперь для внуков и правнуков тех забытых и обездоленных заволжских степняков, жизнь которых с такой болью описывал некогда Лев Николаевич Толстой.

В книге очерков Н. Задонского сравнивается век нынешний и век минувший, в ней много верных наблюдений, ярких примеров того, каких огромных успехов добилась советская деревня за двадцатилетнее существование колхозного строя. С интересом прочтет эту книгу читатель. И все же нам хочется предьявить автору некоторые претензии. Н. Задонский построил свою книгу исключительно на сопоставлении фактов, обнародованных семьдесят пять лет назад Толстым, с фактами современности — и этим до некоторой степени себя связал. Сейчас жизнь в деревне во много раз богаче, интереснее, содержательнее. Старательно проводя параллели фактов прошлого с аналогичными фактами современности, автор обошел молчанием некоторые интересные стороны жизни колхозного села. Так например, об агроучебе, об овладении культурой, о колхозной самодеятельности, о планах на будущее в очерках говорится мимоходом. Очерки написаны суховато, протокольно. Нам понятно стремление автора к документальности, предельной правдивости. Но правдивость очерков определяется не только неоспоримостью приведенных фактов, но и глубиной их раскрытия. Автор мог бы позволить себе написать о виденном горячее, эмоциональнее, глубже. От этого книга голько выиграла бы.

Вл. НИКОЛАЕВ.

Забайкальская эпопея

Роман иркутского писателя Константина Седых «Даурия», как в непрерывно движущейся художественной панораме, показывает забайкальское казачество за большой период времени. Перед вами в суровой и своеобразной красе встает незнакомая природа, проходит жизнь народа с его укладом, трудом и праздниками, с его мечтами и борьбой за лучшее будущее.

В центре повествования — семья Улыбиных. «В войну 1854 года отличился на Дальнем Востоке казак Андрей Улыбин. Англичане пытались высадить в бухте де-Кастри, защищаемой нашей полусотней забайкальцев, десант морской пехоты, чтобы изгнать с Амура русских. Пока с судов английской эскадры, окутанных дымом пальбы, летели гранаты и бомбы, он лежал за камнями. Но едва пальба утихла и к берегу понеслись, сверкая на солнце веслами и штыками, шлюпки десанта, Андрей вместе с другими казаками выполз на рыжий обрыв у входа в бухту. Первым же выстрелом сбил он на передней шлюпке одетого в белый китель рослого офицера с педзорной трубой в руках. Англичане в замешательстве повернули назад. За это и был Андрей Улыбин первым из забайкальского войска награжден георгиевским крестом и представлен к производству в урядники».

Но жизнь жестоко посмеялась над героическим защитником родины. Пока георгиевский кавалер находился в полку, хозяйство его развалилось. Кончив срок военной службы, Андрей Улыбин оказался бездомным бедняком и вынужден был уйти из родной станицы в пастухи к известному на все Забайкалье богачу.

Этим событием в жизни рядового казака и начинается эпопея. На ее страницах в ярких красках изображается самобытная родина восточного казачества, живущего на русских землях за Байкалом, которые назывались когда-то Нерчинской Даурией. К. Седых смелой, широкой кистью рисует труд, нравы и социальное расслоение забайкальских потомков славных сподвижников Ермака и Пугачева.

В ряде острых сцен изображен тяжелый дореволюционный быт, грубые, дикие отно-

шения в семье и между соседями, волчьи повадки богачей Иннокентия Кустова и Платона Волокитина. Поистине страшны корысть, жадность, жестокость таких казаков, как лавочник Сергей Чепалов, разбогатевший на грабеже и убийстве «фазанов» (так звали китайских контрабандистов, воровски уносивших с Аргуни русское золото в «поднебесную империю»). Рядом с богатеями в этом «темном царстве» старого Забайкалья нарисованы чванливые фигуры войскового старшины Беломестных, станичного атамана Лелекова, неустойчивого, идущего на поводу у богачей поселкового атамана Каргина.

На этом фоне К. Седых показывает рождение нового революционного сознания в среде трудового казачества, рождение и развитие тех сил, которые при помощи русских рабочих, под руководством партии, сметут в 1917 году «темное царство» Чепаловых и Кустовых. Перед читателем встает героический образ казака-правдолюбца Семена Забережного, настойчиво ищущего в жизни справедливости; силача Федотки Муратова, бесшабашного парня, становящегося преданным воином революции; мечтавшего о любви и счастье, расстрелянного красногвардейца Тимофея Косых и, наконец, обязательный образ одаренного, впечатлительного Романа Улыбина, главного героя произведения — юноши, беззаветно сражающегося за новую правду, за правду коммунизма.

Писателю несомненно удался образ большевика Василия Улыбина, сына того Улыбина, который срезал пулей английского офицера, пытавшегося вступить на русскую землю в 1854 году. Василий за найденные у него жандармами прокламации двенадцать лет протомился в неволе и был освобожден в 1917 году. Во время гражданской войны 1917—1920 годов Василий Улыбин становится помощником командующего Даурским фронтом Сергея Лазо. Образ Лазо в «Даурии» является одним из наиболее значительных. К. Седых показывает, как неотразимо действовал на красногвардейцев, на трудовое казачество этот спокойный, находчивый, с громадным самообладанием командир и пламенный оратор.

Страницы романа, рисующие боевые действия, тяжелые зимние походы, рассказы-вающие о скитаниях красногвардейцев в

диких дебрях Курунзулайской тайги, о вынужденном отступлении из Читы, когда матросы-подрывники, уходя навстречу неизвестности, торжественно поют «Варяга», вызывают глубокое волнение.

К. Седых показал в романе, как гражданская война расширяла сознание казачьей массы, как она воспитывала в трудовых людях большевистские мысли и чувства. На глазах читателя юный Роман Улыбин вырастает в умелого, отважного в бою командира красновардейского отряда.

Исторический роман К. Седых о трудной, самоотверженной, полной суровой романтики и высокого героизма борьбе за советскую власть в Забайкалье, восстанавливающий события тех далеких лет, ценен своей правдивостью, искренностью, силой ненависти к классовым врагам, к изменникам родины, продавшимся японцам, американцам и англичанам. Книга прославляет мужество и бесстрашие первых борцов за торжество советского строя в Забайкалье.

Действие романа «Даурия» динамично. Сюжет романа разворачивается напряженно, захватывая и увлекая читателя. У писателя живое воображение, которое в сочетании с полнотой исторических представлений, с прекрасным знанием жизни и труда забайкальского казачества дает автору возмож-

ность создавать яркие, волнующие картины.

Органически входит в повествование природа Даурии. Отлично написанные картины дальневосточной природы придадут роману своеобразное очарование.

Книга имеет большую познавательную ценность. Отныне при изучении истории гражданской войны на Дальнем Востоке уже нельзя будет обойтись без «Даурии» К. Седых.

Пламенная правда народной борьбы против тупой, звериной злобы белогвардейцев, против станичных кулаков и их слепых прислужников, против презренного предателя и авантюриста — атамана Семенова встает на страницах романа с покоряющей силой. «Даурия» заслуживает широкого читательского внимания.

При переиздании роман надо освободить от некоторых словесных заноз вроде — «дрожливые девичьи голоса», «наликомат», «повздыхивая» и решительно очистить от ненужного бранного остроловия, от грубых, подчас даже непристойных шуток, которые совсем не украшают книгу.

Роман хорошо издан Иркутским областным издательством. Ненужными являются лишь исполненные в натуралистической манере иллюстрации.

Владимир ЮРЕЗАНСКИЙ.

★

«Бабушкино море»

Почему море — бабушкино?

Потому, что, когда тебе шесть лет и перед тобой с каждым днем шире распаивается большой, удивительный мир, ты все новое, незнакомое начинаешь узнавать и понимать еще не самостоятельно, а с чьей-то помощью, через кого-то, кого любишь.

Девочка приезжает на лето в рыбачью станицу, в колхоз, где живет и работает ее бабушка — папина мама. Девочке лет шесть, ее зовут Ляля. Странно выглядит она здесь, на просторном морском берегу — тощенькая и бледная после scarлатины, слабенькая и неловкая. И ей все вокруг кажется странным. Все непривычно, не так, как в Ленинграде: шумит совсем рядом теплое море, «от моря дует теплый

большой ветер — такой большой, что все вокруг, куда ни погляди, так и ходит, так и колышется. Колышутся листья, колышутся ставни на окнах, колышутся черные сети рыбаков, развешанные вдоль берега...».

Для Ляли это — словно другой мир, иная планета. Все незнакомо: вещи, люди, слова. Во всем надо разбираться с самого начала.

И девочка входит в этот новый мир, он охватывает, обнимает ее, как теплый, неотступный ветер. Иной раз она — новичок в этом большом, беспокойном мире — теряется и неловко барахтается, сбита с толку. Случаются минуты горькой обиды на новых друзей и на собственную неловкость и неумелость. Откуда маленькой горожанке знать, что такое байда и как вынимать из петель сети мелкую рыбешку? Даже самые маленькие смеются, глядя на

ее безуспешные старания ухватить скользкий и непослушный рыбий хвостик. «Хорошо вам, — горько шепчет она в такие минуты, — море ваше!» Но и море, и вся эта шумная, неугомонная жизнь постепенно становятся родными и для нее. Старательно и серьезно усваивает она первые уроки, и они приносят ей радость.

С. Георгиевская знает детей, это чувствуешь в каждой строчке.

...Хорошо бы походить босиком, но.. опасно, может проснуться мама: «Мама всегда просыпается, когда делаешь то, чего она не позволяет», — коротко и точно передает автор рассуждения девочки. Ляля надевает платье. Она «подымает руки и старается застегнуть на затылке пуговицу. Но руки у Ляли короткие, и ей никак не дотянуться до застегки. Ляля садится на корточки, чтобы стать покороче. Но пуговица все равно не застегивается». И это тоже очень точно и хорошо. Сплошнa веришь и разговорам детей, чутко услышанным и не подслащенным в писательской передаче. В том, как знакомятся, ссорятся, мирятся, откликаются на происходящее маленькие герои повести, — всё — правда, и это важнее всего.

Правдив и неутомим интерес Ляли к окружающему. Растерянность девочки, чувствующей, что в прежних ее знаниях и опыте не все так, как здесь, соединена у неё со стремлением поделиться тем, что зато есть в городе множество других хороших и интересных вещей. И это желание именно поделиться, а не «похвастать» городскими чудесами перед новыми подругами — Людой, Светой.

И тут хоть и наивно в соответствии с возрастом, но тем не менее вполне ясно и твердо сказывается их ребячье сознание. Оно складывается понемногу, неощутимо, его лепит весь окружающий мир и окружающие люди — их отношения, их труд. Сегодняшняя жизнь колхоза и прошлое станицы, о котором кое-что узнают дети из рассказов старших, прошлая и настоящая жизнь лялиной бабушки — тоже материал для раздумий и сравнений. Они, эти раздумья и сравнения, придут позже, пока же маленькая героиня повести просто смотрит, слушает, впитывает. Но, конечно, и то, что

узналось о прошлом, не забудется, западет в душу и прорастет когда-нибудь новым, сознательным пониманием настоящего. И уж, наверно, запомнится, что в старое время некому было выручить рыбака из беды, поддержать его вдову и сирот, а вот теперь за артельными лодками, застигнутыми бурей, высылают катер, а в случае чего и самолет.

Ляля не может вмешиваться во все окружающее так энергично и деятельно, как мальчуган из новой повести П. Павленко «Степное солнце», для этого она слишком мала. Но есть нечто очень важное, от самой нашей жизни идущее, что роднит ее с этим мальчуганом. Шестилетняя девчурка тоже не может оставаться на новых местах пассивной, безучастной. Она не просто смотрит на новизну окружающего изумленными глазами — она деятельно, всем существом у з н а е т — и, узнавая, сама становится иной.

Невозможно, естественно было бы не попробовать самой вытаскивать рыбу из сети, раз это делают все, даже самые маленькие, помогая рыбакам во время путины. Невозможно не схватиться за толстый, обжигающий ладони канат, чтобы, промокнув насквозь, скользя по мокрой глине, падая, тянуть вместе со всеми к берегу тяжелую лодку. Результат этих усилий невелик, да и не он важен. Важна огромная, непобедимая внутренняя потребность ребенка — действовать, вмешиваться, помогать. Важно еще не осознанное, но естественно и неизбежно складывающееся понимание себя и мира, основанное на том, что человек может полнокровно жить только в действии, в радостном труде, в жаркой и дружной общей работе.

А это именно так, и иначе быть не может. Лучше всего в этом убеждает и Лялю и читателя знакомство с лялиной бабушкой.

До приезда сюда, в станицу, бабушки и вообще старушки в понимании Ляли означали что-то очень доброе, мягкое, многоречивое, с занятными сказками и ласковыми присловьями. А здешняя новая бабушка оказалась совсем другая, «не старушка, а старуха»: на первый взгляд колючая, суровая, жесткая. Ее еще предстоит узнать и

полюбить—и это происходит не сразу. Эта бабушка — награжденная орденом Ленина, бригадир рыбацкой артели, ее все слушаются, а пожалуй и побаиваются, да и с Лялей она не слишком ласкова. Разумеется, далеко не все понятно девочке в рассказах окружающих о прошлом бабушки, о горькой доле овдовевшей рыбацки в старое время, о том, как, наперекор вековому предрассудку (бабе на море не место), завоевала она доверие и уважение артели, о том, как уже совсем недавно отплатила захватчикам-немцам за гибель старшего сына... Обо всем этом сказано скупно, сдержанно и хорошо. А все же одними рассказами, словами не переломить недоверия ребенка, встретившегося с непонятным и как будто суровым человеком. Но изо дня в день ребенок видит, как вместе со всеми и лучше всех работает бабушка, как за эту умную, умелую работу уважают ее все вокруг: и рыбаки, и председатель колхоза, и дети, и садовник с виноградника, и колхозный кучер. Ляля замечает, что и на нее люди смотрят приветливее, услышав слова: «внучка Сушевой». И понемногу в сердитой бабушке раскрывается девочке большое, главное, подлинно человеческое.

Каждый день, насыщенный новизной и узнаванием, неощутимо и неизбежно меняет ребенка. Осенью родители с трудом узнают свою Лялю — и не только потому, что хрупкая девочка подросла, окрепла и загорела. Нет, в девочке, которая громким голосом, подражая бабушке-бригадиру, выкрикивает над игрушечной лодкой морскую рыбацкую команду, изменилось многое. определились какие-то душевные черточки. В ней уже проглядывает настоящий характер, чувствуется будущий деятельный человек, человек для людей, в котором будет и смелость, и напор, и любовь к труду. Писательница показала это очень умно и тактично, без пышных фраз, но с несомненной убедительностью; и в этом серьезная большая удача ее повести.

Повесть С. Георгиевской с интересом прочтут и дети-дошкольники и взрослые,

потому что автор не пригибается, чтоб стать меньше ростом, и не сюсюкает. Может быть, чаще, чем надо, упоминается вначале о лакированных лялиных туфельках и пелеринке с колпачком, с излишней «трогательностью» говорится о том, как будил Лялю папа, или о колечках на маминной руке, да преувеличенно «красочным» языком разговаривает «тетя Сватья» И уже совсем напрасно так тщательно фиксирует автор в начале повести «экзотику» деревенской жизни. Это выражается главным образом в языке героев. Председатель рыболовецкого колхоза говорит, например, так: «Известно, дите!», «Но превзошли!» или «Конечно, может по-городскому одета, не видывали!».

А Ляля почтительно перенимает у своих новых подружек неправильное произношение некоторых слов: «чтой ли», «отпущай» и т. п. Эти места повести производят впечатление надуманности. В самом деле, кто поверит, что в наши дни в богатом рыболовецком колхозе «не видывали» городской одежды. Да и язык деревни сближается с городским, и нет нужды писателю так тщательно выписывать псевдокрестьянские речения. Но это лишь отдельные срывы. Тон повести прост и верен. На каждой странице повести чувствуется то, о чем совсем просто, мельком говорится в последних ее строчках: ребенок растет. Растут наши детишки, учатся чувствовать себя смелыми и уверенными работниками на большой и прекрасной земле.

О любви к родной земле — вот о чем рассказывает эта книга и маленьким и взрослым читателям. Хорошо и по праву взяты эпиграфом к ней чудесные чеховские строки:

«...в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей».

В. ГАЛЬЧЕНКО.

В мире находок

В «Библиотеке научной фантастики и приключений» Детгиза вышла целая серия книг.

На наших глазах рождается новый жанр, глубоко отличный от того, что мы читали, сами будучи детьми.

У Жюль Верна двери в машинное отделение «Наутилуса» были заперты. Натуралист, случайно попавший на подводную лодку, смотрел сквозь стекло, почти не зная, какая сила его везет.

Героем романа оказался пассажир.

Романтизм вещи Жюль Верна заключается в бегстве капитана Немо от людей.

Романтичен капитан Гаттерас, но он тоже бежит от всего человечества на северный полюс.

Ученый у Жюль Верна — подсобный герой: это слуга богачей и предпринимателей, описанный как добродушный, смешной чудаков. Таков рассеянный Паганель.

У Герберта Уэллса науки нет — есть изобретение, случайно попавшее в руки неуча. Вспомним хотя бы романы «Первые люди на Луне» и «Война в воздухе».

Ученые у Уэллса, даже когда они люди, непонятны и враждебны всему человечеству, как марсиане.

Можно сказать, что Жюль Верн изобразил науку на службе у буржуазии, не поняв того, что он изображает, а Уэллс уже более сознательно показал ужас человечества перед наукой, захваченной буржуазией.

На первом съезде советских писателей М. Горький говорил:

«Процесс социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, а затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга».

Мы в наших книгах показываем роль труда в создании человека, показываем стирание противоположностей между физическим и умственным трудом.

Наша страна — это страна предвидения и плана: мы знаем свой завтрашний день, и к завтрашнему дню у нас реалистическое отношение.

Вадим Охотников. «В мире исканий». Детгиз, 1949.

Лучшая фантастика у нас — это план, и наши планы обычно перегоняют по своему размаху фантастику наших писателей.

То, что называется у нас научной фантастикой, — это литературные произведения, заключающие в себе все элементы фантастики, но имеющие в своей основе подлинное научное знание.

Одна из целей наших книг по научной фантастике — это показ создания изобретения.

Советская научная фантастика молода. Она находится в процессе непрерывного роста в стремлении вперед, но мы еще сами не знаем до конца всех ее возможностей.

Наш молодой читатель родился в мире, который на его глазах изменяется. Поэтому он хочет видеть будущее.

Вадим Охотников родился в 1905 году. Детство провел в городе Лохвицы Полтавской губернии, мальчиком помогал чинить телефонную и запускать электрическую станции.

Он является одним из изобретателей советского звукового кинематографа. На приборах В. Охотникова у нас было заснято несколько картин.

Электромагнитный модулятор, созданный им в 1932 году, был запатентован у нас в Союзе.

Американская техника с опозданием пошла приблизительно по тому же пути, закрепив электромагнитный модулятор патентом, выданным на имя некоего Димика.

Во время ленинградской блокады В. Охотников в осажденном городе также занимался изобретениями.

Сейчас изобретатель сделался писателем, и книга «В мире исканий» представляет почти полное собрание его беллетристических произведений.

Жизнь изобретателей, воздух наших лабораторий В. Охотников знает превосходно.

В рассказе «Пути-дороги» крупный советский инженер Витовский, уже имеющий проверенные на практике конструкции, пытается создать новый тип дорожного полотна, спекая грунт электрическими разрядами. Изобретение не выходит, потому что Витовский все старается сделать сам и слиш-

ком увлечен воспоминаниями о своих прежних победах.

Молодые инженеры, сделав в трудных условиях наблюдения над ударом молнии в почву, нашли новое решение вопроса, который был поставлен Витовским.

В рассказе нет противопоставления старого поколения новому — это рассказ о коллективной природе советского изобретательства.

В результате возникает новая конструкция: Баянов—Витовский—Петров.

Недостатком рассказа является то, что молодые инженеры не слишком выразительно показаны в их работе, в их творческих исканиях. У Витовского есть черты оригинального научного мышления. Баянов и Петров просто хорошие молодые люди.

Два рассказа «Тайна карстовой пещеры» и «В глубь земли» похожи по месту действия — недра земли; по действующим лицам — работники изыскательных партий; и по деталям сюжета.

В первом рассказе советская изыскательная партия, решающая задачи обводнения пустыни, ищет исчезнувшую реку. Для исследования подземного течения реки, уходящей в пещеру, построен вездеход.

На этом вездеходе едут два механика и профессор-геолог.

Не без цели развлечь читателя, молодой механик Костя тайно захватил с собой собаку. Собака под землей ведет себя весьма активно: она сперва спасает Полозова и Костю, а затем и всю экспедицию. Имя собаки — Джульбарс — позволяет установить ее кинематографическое происхождение. Автор слишком нагрузил бедное четвероногое, в ущерб остальным героям.

Подземные приключения занимательны. Экспедиция, для того чтобы осушить озеро, при помощи взрыва заваливает русло реки. Это рассказано интересно, но сцена, описывающая пропажу Кости-механика, светлива.

Изыскательная партия находит урановую руду, что чуть не приводит к катастрофе, так как радиация разряжает аккумуляторы.

В результате экспедиция прорывается на поверхность земли, несмотря на все препятствия, но и тут собака оказывается впе-

реди. Все это написано с некоторым недоверием к читателю из боязни ему наскучить.

Во втором рассказе «В глубь земли» сюжет построен интереснее, приключение органичнее, интересно намечены характеры ребят-ремесленников, принимавших участие в создании модели механического крота.

По литературному мастерству гораздо сильнее «Угольный генератор». Это рассказ об ошибке изобретателя и неразрешенной проблеме. В нем есть знание темы и понимание трудности в решении технических вопросов.

Интересен рассказ «Шорохи под землей». В этом рассказе показано, как неуспех при решении одной задачи оказывается началом успеха в решении другой задачи. Тут автор учит читателя технически мыслить, видя предмет во всем его объеме. В то же время в этом рассказе удачен показ научного содружества.

Рассказ «Напуганная молния» дает любопытный образ рассказчика: рассказывает о научном явлении не ученый, а человек, который сам старается понять научный факт. Это заставляет его говорить словами, понятными для читателя.

Книга читается легко. В ней есть реальное знание вопроса и новый подход к фантастике: фантастика становится бытовой, причем ощущение изумительности открытий автором сохраняется.

Книга написана правильным, но несколько бледным языком.

Недостатком книжки является также и то, что некоторые технические выдумки автора не использованы им самим, как писателем.

Советская научная фантастика еще только формируется как жанр, но она живет уже чувствами новых советских людей.

Некоторые слов об оформлении книги. Она издана в коленкором переплете, довольно обильно, но не прочно позолоченном. Это плохо для всякой книги — для детской — особенно.

Рисунки А. Васина хорошо связаны с содержанием книги, но несколько схематичны.

В. ШКЛОВСКИЙ.



Умение всматриваться

„Мы, советские геологи, привыкли всматриваться в факты», — этими словами кубанского нефтяника, геолога Ивана Романовича Фоменко, начинает Анатолий Медников свой очерк «Земное сокровище» — один из трех, составляющих содержание книги молодого очеркиста.

Слова эти, видимо, неслучайно привлекли внимание автора. Умение всматриваться в факты, постигать их смысл и обобщать их — качество, не в меньшей степени, чем геологу, необходимому и очеркисту, желающему раскрыть перед читателями сложные и быстро развивающиеся процессы нашей советской жизни.

Очерки, включенные в книжку, расположены в хронологическом порядке. Читая эти очерки, наглядно ощущаешь рост молодого писателя, рост его наблюдательности, умения всматриваться и умения увлекательно рассказывать о своих наблюдениях.

Первый очерк «Свет на Азовском берегу», посвященный возрождению Азовстали, является наиболее слабым в книжке. Добросовестно пересказав известные факты, автор лишь в очень незначительной степени сумел раскрыть суть героического труда и смело новаторства восстановителей крупнейшего металлургического завода страны.

Приведя высказывание выдающегося советского металлурга академика И. П. Бардина о том, что «металлургия—это такое романтическое производство, которое может захватить так же, как сцена, как завоевание воздушных пространств», А. Медников не смог передать всю увлекательность и красоту труда металлургов и строителей металлургических заводов, хотя как раз история восстановления Азовстали давала для этого благодарный материал. Стоит вспомнить хотя бы смелый, небывалый проект подъема подорванной оккупантами гигантской четвертой домны, разработанный и осуществленный группой советских инженеров. Об этом необычайном в металлургической практике научно-техническом подвиге можно и нужно поэмы писать, и одна такая поэма («Строитель» С. Поделкова)

уже написана. А. Медников рассказывает о подъеме домны бесстрашно, без огонька, — читатель его очерка не сможет себе ясно представить, как это происходило, не познакомится по-настоящему с теми замечательными новаторами — инженерами и рабочими, которые задумали и осуществили эту смелую работу, названную товарищем Сталиным «серьезным успехом передовой советской строительной техники».

Но уже и в этом первом очерке отдельные наблюдения, отдельные зарисовки (монтаж укрупненными узлами, скоростная плавка сталевара Аврамова) говорят о наблюдательности автора и его стремлении подметить и показать новое, только возникающее и зарождающееся в нашей послевоенной промышленности.

Второй очерк — «Земное сокровище» — посвящен майкопским нефтяникам. Он дает значительно более яркое и достаточно полное представление о новаторских делах советских рабочих и инженеров в другой важнейшей отрасли нашего народного хозяйства — в нефтяной промышленности.

Автор увлекательно рассказывает о втором рождении старейшего в стране нефтяного района. «дедушки русских промыслов». И на том месте, где был сооружен мраморный обелиск с надписью: «Прародительница нефти России, скважина № 1», в годы послевоенной пятилетки возродился со сказочной быстротой мощный нефтяной промысел. Хотя автор очерка уделяет много места техническим проблемам, убедительно передает любовь и привязанность нефтяников к своей трудной, но увлекательной профессии, он не делает технические и узкопрофессиональные вопросы главным предметом своего внимания. Главное в очерке — показ новых черт советского рабочего и инженера, показ все новых и новых проявлений коммунистического отношения к труду у советского человека. Это новое, хорошо подмеченное и достаточно убедительно изображенное очеркистом, проявляется во многом: в отношениях между комсомольцами — молодыми нефтяниками и их руководителем — мастером Поздняковым, говорящим одному из своих пи-

Анатолий Медников. «Немеркнувшие огни». Профиздат, 1949.

томцев: «Самый счастливый день в моей жизни будет тот, когда ты, мой ученик, сбгонишь меня»; в скоростной проходке скважин бригадой коммуниста Николая Позднякова, в борьбе прославленного кубанского нефтяника Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии Александра Хрищановича за превращение всего бурового участка в скоростной.

Новаторство Хрищановича представляет собой новый шаг вперед по сравнению с методом скоростного бурения мастера Позднякова. Хрищанович, тоже буривший скоростными методами, пришел к выводу, что этого недостаточно: буровой мастер руководит только бурением, а все остальные работы — подготовительные, строительные и монтажные — ведутся на участке отдельно. И случалось нередко, что так называемая коммерческая скорость бурения скважины была высокой, а весь цикл работ — от сдачи в эксплуатацию одной скважины до сдачи другой — затягивался, сводя на нет успехи скоростного бурения.

Хрищанович принял на себя ответственность за весь цикл работ, установил единый ритм и на бурении, и на перемещении вышек, и на монтаже оборудования и добился скоростной работы всего участка. «Коммерческая скорость, — говорил Хрищанович, — погоды не делает. Надо смотреть шире и дальше».

Умение смотреть шире и дальше, творческое беспокойство за общее дело, забота об интересах всего государства, всего народа — эти замечательные, коммунистические черты передового советского рабочего ярко проявляются в новаторских начинаниях Александра Хрищановича, Николая Российского, Александра Чутких, Ворошина и многих других застрельщиков нового, строителей коммунизма.

Третий, последний очерк «Хозяева рудного края» знакомит нас с жизнью возрождаемого и реконструируемого Криворожского железорудного бассейна. Как и в предыдущем очерке, главное здесь — показ советского человека — хозяина и творца новой жизни. Умело изображена автором огромная, все возрастающая техническая мощь нашей промышленности и соответствующий этому рост культурно-технического уровня рабочего класса.

Путь передового бурильщика Криворожья — Якова Трояна, о котором расска-

зано в очерке, является путем неуклонного движения вперед. Мастер Троян двадцать лет тому назад начал свою работу ручным ломом. Теперь он стал хозяином мощных перфораторных молотков, мастером высокого класса, застрельщиком передовых методов труда. Внедрив свой метод многозабойного бурения, он в стахановскую смену выполнил задание на 3062 процента, добыв тысячу тонн руды.

Инженеры-новаторы Криворожья разработали и внедрили новый метод так называемого «этажно-принудительного обрушения» руды. Это смелое техническое новшество, установившее в области горнорудных работ приоритет советской технической мысли, наглядно свидетельствует о тесном творческом содружестве наших ученых, инженеров и рабочих.

«История волнующая и, если хотите, типично советская», — сказал об этой работе один из ее участников инженер Афанасий Дмитриевич Полищук, удостоенный за нее, с группой товарищей, Сталинской премии. Именно передовые рабочие, переходя на скоростные методы бурения, натолкнули инженеров и ученых на поиски новых, более эффективных способов добычи руды. И в результате многолетних творческих исканий и смелых опытов был создан новый метод, при котором огромный массив руды взрывается под землей и обрушивается вниз, в подготовленные подземные камеры, откуда руда и извлекается подъемниками на поверхность земли. Это — сложная и рискованная техническая операция, требующая исключительной точности расчетов: при взрыве гигантского «рудного тела» весом в несколько сот тысяч тонн не должно пострадать обширное подземное хозяйство шахты.

Описание подготовки и проведения такого взрыва читается с захватывающим интересом, с чувством гордости за нашу великолепную советскую технику и за наших людей — рабочих, техников, инженеров — хозяев рудного края, хозяев новой советской жизни, строителей коммунизма.

Биографии этих людей: начальника шахты инженера Федора Ивановича Волкова, Якова Трояна, его товарища Иосифа Польшаги, с которым он дружит и соревнуется около двух десятков лет, с юности, — это биографии людей, идущих к коммунизму; при этом характерно, что биографии рабо-

чего и инженера все меньше отличаются одна от другой.

Криворожский шахтер Иосиф Польша сам говорит о двух путях, открытых у нас в стране перед каждым советским рабочим человеком: один — закончить институт, стать инженером, директором; второй путь — «от рабочего к рабочему», от рабочего, скажем, уровня 1945 года к рабочему 1950 года. И этот второй путь по существу не менее славен, чем первый, ибо наше движение к коммунизму знаменуется неуклонным подъемом культурно-технического уровня рабочего класса, приближающим, как предсказывал товарищ Сталин на Первом всесоюзном совещании стахановцев в 1935 году, полное уничтожение противоположности между умственным и физическим трудом.

— Знаешь, Яшенька, — говорит своему другу Иосиф Польша, — есть у нас такие военные звания: «инженер-капитан», «ин-

женер-полковник». Вот представляю себе, будут тебя величать: «инженер-бригадир» или «инженер-бурщик» товарищ Троян...

Книга очерков А. Медникова свидетельствует о несомненном умении писателя всматриваться в факты, о его серьезном отношении к изучению изображаемого им жизненного материала. И совершенно не нужно автору излишне настойчиво подкреплять это прямыми напоминаниями о своей очеркистской деятельности («Я спустился в шахту с первой сменой», «Я с ним встретился в конторе рудоуправления», «Я беседовал с ними в забое» и т. д.).

В заключение хочется отметить, что в очерках А. Медникова радуется и возрастает мастерство автора, и его стремление выступать пропагандистом передовых новаторских начинаний советских рабочих и инженеров.

Лев КРУПЕНИКОВ.

★

«Весна свободы»

Рабочие Франции свято чтут память расстрелянных Кавеньяком героев июньских баррикад 1848 года. Они используют революционные традиции и опыт 1848 года в борьбе против «американской партии», подавляющей демократические права трудящихся, продающей национальные интересы Франции магнатам Уолл-стрита. Эти традиции и опыт помогают сегодня французскому народу «итти к республике независимой и свободной, к человеческому счастью, к социалистической Франции», как сказал член политбюро французской компартии Этьен Фажон на митинге, посвященном столетию революции 1848 года.

Понимая значение 1848 года в истории освободительной борьбы трудящихся Франции, известный деятель французского кино Жан Гремийон задался благородной и патристической целью: в дни столетия революции 1848 года выпустить на экраны Франции историческую кинокартину «Весна свободы», в которой французы должны были увидеть подлинное лицо парижского пролетариата, поднявшегося на борьбу за

«социальную и демократическую» республику против республики «капитала и привилегий».

Замыслу художника суждено было осуществиться только наполовину. Французское правительство, которое должно было финансировать постановку фильма, ознакомившись с разработанным Жаном Гремийоном сценарием картины, поспешило при помощи шулерского административного трюка употребить ассигнованные на нее деньги для других, менее «опасных» мероприятий. Однако оно совершило грубый просчет, полагая таким образом навсегда похоронить «Весну свободы» и украсть у французского народа труд ее создателя. В ответ на плохо замаскированное запрещение постановки картины прогрессивная французская газета «Леттр Франсэз» опубликовала целиком специально для этой цели литературно обработанный Жаном Гремийоном сценарий фильма, и «Весна свободы», лишенная миллионов зрителей, обрела миллионы читателей.

Литературный сценарий Гремийона в картинах, полных жизни и движения, воссоздает исторические события июня 1848 года.

Жан Гремийон. «Весна свободы». Литературный сценарий (опубликован в газете «Леттр Франсэз»).

Следуя традиции советских исторических фильмов, Жан Грემийон сумел тесно переплести судьбу главных действующих лиц «Весны свободы» с судьбой народа, с судьбой парижского пролетариата, и это единство действия придает его сценарию особенное напряжение и порождает то взволнованное внимание, с которым следят читатели (и с которым следили бы зрители) за развитием событий в его фильме.

В сценарии рассказано о рабочих Парижа, боровшихся против Луи-Филиппа. После того как обнаружилась вся лживость и реакционность политики буржуазной республики, они взяли в руки оружие и пошли на баррикады с лозунгом: «Свобода или смерть!». С негодованием изображает Грემийон республиканского министра внутренних дел Мари, который заявил парламентарам восставших рабочих: «Так вы искренне верили в Национальные мастерские? В право на труд? Порядок — вот что нам нужно было поддержать... Уж не думаете ли вы, что мы собираемся отдать власть улице?..»

В последних главах сценария Гремийон рассказывает о героических боях повстанцев, которые отвергли ультиматум Мари и до последнего патрона защищали баррикады.

В органическом единстве с историческими событиями показана в сценарии судьба героев фильма — молодого столяра Жана и его подруги Франциски, приехавших на заработки из деревни в Париж и ставших участниками восстания. Жан и Франциска, чудом спасшиеся от падачей

Кавеньяка, видят из своего убежища, как расстреливают их товарищей — защитников баррикад, захваченных в плен. Жан и Франциска остаются в живых, они продолжают борьбу за свободу французского народа. Так кончается сценарий этого фильма, который продажная клика шуманов и моков побоялась показать французскому народу. Газета «Леттр Франсэз» писала: «Можно без труда увидеть сходство между нынешним правительством и правительством, которое предало февральскую революцию; между Мари, министром юстиции, который... заставляет сегодня борцов сопротивления занять в тюрьмах камеры, где сидели коллаборационисты, и Мари, министром внутренних дел, потопившим в крови июнь 48 года; между Жюлем Моком и Кавеньяком».

Лакеи американского империализма, не допустившие экранизации «Весны свободы», отдали французские киноэкраны Голливуду. Во Франции демонстрируются пошлые фильмы, распространяющие тлетворные идеи американских расистов и человеконенавистников. Но не поможет прислужникам Уолл-стрита проданный американцам экран, как не помогут и все другие средства растления свободолюбивого французского народа. Движение за мир, свободу и национальную независимость растет и ширится. В этом движении участвуют и лучшие деятели французской культуры, науки и искусства. Такими произведениями, как «Весна свободы», они помогают народу в его борьбе против американизированных потомков Кавеньяка.

Н. РАЗГОВОРОВ.

★

История. Международные отношения. Военная наука

Уолл-стрит — хозяин США

Небольшая по размерам, но содержательная книжка В. Вронского «Борьба прогрессивных и реакционных сил в США» дает в сжатой форме характеристику основных устремлений монополистического капитала США и отвечающих директивам Уолл-стрита политических действий Белого дома и Государственного департамента.

В. Вронский. «Борьба прогрессивных и реакционных сил в США». Госполитиздат, 1949.

Прежде чем говорить о внутренней и внешней политике Соединенных Штатов за последние четыре года, отметим одну характерную особенность в функционировании правительственного механизма в США. Эта особенность заключается в том, что еще никогда за всю историю американского империализма полное, безоговорочное подчинение государственной власти всемирной бирже и крепко сплоченным во круг нее гигантским трестам не обнаружи-

валось до такой степени наглядно, как в эти последние годы.

Ни Мак-Кинлей, ни Теодор Рузвельт, ни Тафт, ни Кулидж, ни даже Гувер не позволяли себе столь открыто демонстрировать такое беспрекословное повиновение политическим ордам нью-йоркской биржи, как это делал и делает президент Трумэн. Но «дело» это идет еще дальше. Уолл-стрит совершенно открыто выдвигает на важнейшие посты в государстве «авторитетных» биржевиков, даже не помышлявших раньше об активном личном участии в управлении страной.

Двукратное появление Ачесона в Государственном департаменте — в первый раз в качестве помощника государственного секретаря, а в настоящее время уже в качестве министра, — внезапное выдвижение другого маститого биржевого деятеля Баруха или его друга Форрестола и так далее, — все эти факты необыкновенно показательны.

Истинная «доктрина Трумэна» в том и заключается, чтобы между могучей управляющей властью монополистического капитала и властью исполнительной царил не только полная гармония взглядов, но и то бесперебойное взаимодействие, которое дается, так сказать, личной унией, то есть прямым назначением биржевиков на министерские посты. Биржа стремится самым энергичным образом укрепить свои командные позиции в правящем аппарате. Вся работа Б. Вронского дает доказательный реальный комментарий к указанному явлению. Жаль только, что автор не подверг это явление достаточно глубокому анализу.

События во внешней и внутренней политике США, подгоняемые наступающим кризисом, развиваются настолько стремительно, что это создает особую трудность при написании публицистической книги на данную тему: книга может быстро устареть. Этой опасности подвергается и книга Б. Вронского. Однако ее противостояние времени могло быть более длительным. Б. Вронский выполнил большую и кропотливую работу по сбору и обработке весьма распыленного по источникам материала, но, нам кажется, ему нужно было более точно и глубоко продумать принцип систематизации материала и, наконец, всячески избегать местами слишком уж бег-

лого и поверхностного изложения. Конкретно эти критические замечания заключаются в следующем.

Из самого материала книги вытекала задача дать отдельную главу о двух течениях, разделяющих сейчас правящие классы США в области тактики борьбы против СССР.

Нужно было гораздо более тесно увязать внутреннюю политику представителей этих двух течений с их внешней политикой, с их тактикой. Потому что здесь «водораздел» лежит не по линии официальных двух партий — демократической и республиканской. Он лежит между теми, кто проникся идеей фултонской речи Уинстона Черчилля о необходимости активизировать борьбу против СССР до самой последней крайности, не стесняясь возможностью вооруженного конфликта, — и теми, кто, не расходясь с первыми в конечных основных целях, сейчас находит более безопасным и целесообразным ограничиться до поры до времени лишь продолжением ведущейся политики провокаций и шантажа, пока не форсируя ее так, как это делают с одинаковым рвением демократ Гарриман или республиканцы Гувер и Дьюи. Ведь и участь антирабочего закона Тафта-Хартли прямо связана с борьбой этих двух тактик. Представители первой тактики (усиленной гонки к войне) совершенно логически настаивают на необходимости немедленно следовать немецко-фашистскому образцу: развязать себе руки для полной свободы агрессивной внешней политики, предварительно согнув рабочий класс в бараний рог. А представители второй тактики («умеренного» внешнеполитического шантажа) согласны несколько повременить с этим наступлением на рабочий класс и, во всяком случае, не столь обнаженно вести свою антирабочую линию.

Неприменно нужно было выделить особую, хотя бы самую небольшую главу о политике США в Германии и в Японии и хоть десяток страниц посвятить неслыханному провалу американской политики в Китае. Если бы это было сделано, то книжка Б. Вронского устарела бы несравненно позже, чем это может случиться теперь.

И вот почему мы очень приветствовали бы появление второго, дополненного издания этой крайне нужной работы. Фак-

тнческий материал ее точен и разнообразен, и он ценен даже при тех недочетах в архитектуре книги, о которых только что шла речь.

Отчетливо изложена история последовательных и очень «целестремленных» отказов США от сотрудничества с СССР. В особенности выпуклой получилась картина срыва переговоров, уже, казалось бы, принципиально решенных в мае 1948 года, а также и последнего по времени срыва и даже приступа к переговорам после ответов И. В. Сталина на вопросы Кингсбэри Смита в феврале 1949 года.

Но на страницах книги совершенно необходимо было гораздо конкретнее проанализировать непосредственную ближайшую причину этого упорного саботажа переговоров со стороны США. Повторения общих, совершенно, впрочем, правильных соображений о том, что «правящие круги США хотели бы сбросить Советский Союз со счетов любой ценой, устранить его влияние на устройство послевоенного мира и разжечь пламя новой мировой войны», недостаточно. Советский читатель вправе ждать от автора конкретных уточнений и был бы более удовлетворен, если бы ему сказали: США настойчиво стремятся к безусловно необходимому для агрессии против СССР созданию крепкой сухопутной армии в центре Европы, такой армии, которую им не дает ни Англия, ни очень в данном случае сомнительная Франция, ни совсем ничтожный по своим возможностям Бенилюкс, ни Северо-атлантический пакт. А потому все надежды американского империализма возлагаются на будущее немецкое ополчение так называемого западно-германского государства, и в Тризонии уже бойко поэтому работают и усердно производят «моральную мобилизацию» курты шумахеры, эрнесты рейтеры и прочие провокаторы столкновений.

Но так как успешные переговоры США с СССР грозят рано или поздно привести к постановке вопроса о четырехстороннем управлении всеми зонами Германии и поэтому могут затруднить претворение в жизнь мечты о западно-германском государстве, то, следовательно, с точки зрения империалистов, нужно всячески эти переговоры саботировать.

Вот что должен был бы непременно

сказать Б. Вронский вместо повторения вышеприведенных правильных, но слишком уж лаконичных общих тезисов.

Точно так же непременно требовались бы конкретные уточнения и авторские комментарии и в ряде других случаев. Например, на странице 48 читаем: «По мере того, как контуры американской политики в Европе становятся все более явственными, в европейских странах начинает увеличиваться чувство тревоги за свой государственный суверенитет, за свою национальную независимость».

Это тоже совершенно, конечно, правильно, но следовало бы развернуть подробнее этот тезис и привести конкретные иллюстрации: порабощение французской промышленности, основное противоречие в самой идее маршализации Европы, так как американский ввоз непременно должен удушать европейскую индустрию, и именно поэтому буржуазная маршаллизированная Европа, и в частности, Франция, и не сможет никогда вылезть из своих миллиардных долгов Америке.

Тут же безусловно необходимо было бы сказать, что фактическое (уже сейчас!) выпадение Китая из сферы экономического проникновения и владычества обеих англо-саксонских стран совершенно неминуемо влечет за собой обострение борьбы Англии против Америки, жемчужной во что бы то ни стало отвоёвывать у англичан огромные рынки Британской империи. Китайская добыча ускользает, и оттого-то между обоними англо-саксонскими империалистскими хищниками неминуемо и усилились как раз с конца 1948 года рознь и соперничество, борьба за дежез оставшейся добычи. Ведь эти явления тесно связаны между собой.

Словом, разбираемая работа, при всех указанных выше ее качествах, нуждается в большей обстоятельности.

Одним из достоинств книжки является живая характеристика ряда вопиюще гнусных сторон той пародии на демократию, которая сейчас наблюдается в Америке, и, в частности, любопытные факты безобразного отношения господствующего капиталистического строя к бедствиям значительной части рабочего класса. Немаловажным достоинством книги должно признать также и ее хороший литературный русский язык.

Академик Е. ТАРЛЕ.

Мемуары фашистского разбойника

В послевоенные годы жанр воспоминаний, дневников и автобиографий стал особенно распространенным на англо-американском книжном рынке. В мутном потоке мемуаров мелькают «литературные труды» матерого де-голлевца и шпиона полковника Пасси, продажного профашистского эксканцлера Шушнига, Отто Штрассера, известного под кличкой «грязный нацист», и многих других интимных друзей и сообщников Гитлера.

Характерно поразительное единообразие всех этих мемуаров. Совершенно ясно, что авторы «записок», «воспоминаний», «заметок» и «дневников» выполняют один и тот же заказ одного и того же заказчика: они пытаются фальсифицировать историю, скрыть правду о германском фашизме и доказать, что он не так уж плох. Одновременно эти авторы демонстрируют свою преданность англо-американскому империализму.

Мемуары Яльмара Шахта как нельзя лучше характеризуют этот жанр. Политический сообщник и личный друг Гитлера Шахт озаглавил свою книгу «Расчет с Гитлером».

С непревзойденной наглостью и цинизмом Яльмар Шахт утверждает, что у него-де были какие-то разногласия с германскими фашистами и что он даже «боролся»... против гитлеризма. Однако достаточно хотя бы бегло просмотреть книгу Шахта, чтобы еще раз убедиться в том, что никаких существенных разногласий у бывшего «рейхсминистра» Шахта с бывшим «рейхсканцлером» Гитлером не было и не могло быть.

Сам Шахт на страницах своей книги признает, что его вполне устраивала программа нацистской партии, как и разбойничья книга «Майн кампф». По словам Шахта, «нацизм был сносным и возможно даже полезным». Более того, нацизм, по свидетельству Шахта, «восхищал» германских промышленников (значит и Шахта), так как он-де «покончил с классовой борьбой» и «проявил волю к действию и решительность». Другими словами, Шахт благодарен Гитлеру за то, что он потопил в

крови германское рабочее движение и бросил в тюрьмы и концлагери миллионы честных немцев.

В таком же хвалебном стиле живописует Шахт и внешнюю политику гитлеровцев. «Я, — пишет Шахт, — всегда был горячим сторонником колониальной политики». На протяжении всей книги один из заправил германского милитаризма повторяет старую гитлеровскую басню о том, что Германия, якобы, нуждается в новом «жизненном пространстве». Согласно собственным признаниям, Шахт, еще до гитлеровского путча, выступал за эффективное вооружение Германии. Описывая свою первую встречу с Гитлером, Шахт заявляет, что в результате двухчасового разговора с будущим «фюрером» он не заметил «в его словах ничего такого, что показалось бы ему странным». Еще бы! Начинаящий «фюрер» говорил ему о том, о чем уже давно мечтали крупные немецкие промышленники, и в том числе сам Шахт цинично признает, что программа гитлеровцев по существу совпадала с программой германских монополистов.

Хорошо известно, что именно хищные и алчные германские империалисты избрали черные слои фашизма исполнителем своей мечты о мировом господстве. Хорошо известно, что германские милитаристы, магнаты промышленности типа Шахта и Тиссена, Круппа и Стинеса выпестовали, вооружили и благословили фашистов на погромы, на варварские нюрнбергские «законы», на массовые казни, на войну за «жизненные пространства» и на массовое ограбление европейских народов.

В мемуарах Шахт, неразборчиво пробормотав о своих мнимых разногласиях с Гитлером, затем подробно перечисляет собственные заслуги перед фашистским режимом.

Действительно, именно благодаря субсидиям германских промышленников и финансовой политике Яльмара Шахта гитлеровцы могли прийти к власти, а вслед за этим развязать агрессивную войну против европейских стран. «Я, — пишет Шахт, — взял на себя управление предвыборным фондом, созданным промышленными кругами» (речь идет о фонде, с помощью которого германская крупная бур-

Я. Шахт. «Расчет с Гитлером». Гамбург, 1949 (H. S c h a t t. „Abrechnung mit Hitler“. Hamburg, 1949).

жуазия финансировала гитлеровцев до 1933 года). «Пока я занимал пост в рейхбанке или в министерстве хозяйства, — заявляет Шахт далее, — Гитлер никогда не вмешивался в мою работу... И всегда без всякой критики позволял мне самостоятельно и независимо проводить в жизнь мои проекты».

Однако, сообщив об этом явном альянсе между председателем рейхбанка и гитлеровской верхушкой, Шахт с беспардонным цинизмом клянется тут же, что он и только он являлся единственным последовательным и стойким антифашистом в Германии.

В чем же истоки столь циничной лжи, распространяемой бывшим сподвижником Гитлера? Разумеется, престарелый Шахт не прочь порисоваться перед своими читателями. Ему очень хочется увенчать себя лаврами мученика и борца против фашизма. Но дело не только и не столько в этом. Шахт и 이제 с ним, распространяющие сейчас легенду о том, что германские милитаристы стояли в оппозиции к Гитлеру, преследуют весьма далеко идущие цели. И цели эти указаны им Уолл-стри-том. Прежние «хозяева немецкой жизни» весьма по сердцу заокеанским реакционерам, но для того, чтобы поставить их у кормила власти современной Германии, они должны быть хоть немного реабилитированы в глазах немецкого народа и всего мира. Что говорить — задача трудная, но недаром французы сложили поговорку, что «из братьев и сестер самые верные — доллар и ложь». Вот и в этом случае мы наблюдаем кровное и трогательное родство доллара и лжи. С помощью доллара ведут сейчас грязную игру крупные немецкие политические шулеры — недавние соучастники гитлеровской банды. К услугам шулеров — опытные стенографистки, продажные адвокаты, сверхмощные типографии и тонны американской бумаги. Вооруженные этими «техническими средствами», гитлеровские бандиты нагло пирают известную всему миру правду и пытаются выдать себя за демократов и антифашистов.

Нагромождавая одну небылицу за другой, авантюрист и лжец Шахт упорно пытается оправдать себя и своих единомышленников. Однако этим не исчерпывается задача бывшего гитлеровского бонзы. Яльмар

Шахт, так же как и многие другие видные нацисты, пытается выдвинуть сейчас новую реакционную программу взамен обанкротившейся фашистской догмы. Мнимые «разногласия» с Гитлером, о которых повествует Шахт, это не что иное, как попытка дополнить и приукрасить германский фашизм, приспособив его к нуждам и вкусам нынешних англо-американских хозяев Западной Германии.

Эту новую программу германских милитаристов Шахт формулирует в своих многословных мемуарах весьма лаконично и четко. По словам Шахта, Германия должна стать «неотъемлемой частью свободного атлантического сотрудничества народов». Иными словами, Яльмар Шахт считает, что Западную Германию следовало включить в планы американских экспансионистов, сделать ее «неотъемлемой частью» агрессивной политики американских монополистов. Немецкие агрессивные планы, гарантированные поддержкой Уолл-стрита, — таков политический идеал германского милитариста Яльмара Шахта.

На всем протяжении своей карьеры Яльмар Шахт проявляет себя не только заядлым немецким фашистом, но и верным слугою иностранного капитала. Шахт ловко сохранял свои связи с англо-американскими бизнесменами, заинтересованными в превращении Германии в форпост европейской реакции. Свои дела в фашистском «рейхе» Шахт умело сочетал с вояжами за границу, где он систематически консультировался с «нужными людьми». «Можно сказать, что мои иностранные друзья и знакомые, — пишет Шахт в своих мемуарах, — больше знали обо мне, чем германские круги. В частности, я неоднократно обращался к американским дипломатам...».

В своей книге Яльмар Шахт приводит целую серию высказываний влиятельных иностранцев, одобрявших его деятельность на благо германским и американским империалистам. Некий офицер американской разведки заявил, например, что «авторитетные военные и правительственные круги США видели в докторе Шахте одного из наиболее крупных, способных и решительных деятелей».

Англо-американские реакционеры давно уже решили широко использовать в своих целях людей, подобных Шахту. Видные

нацистские промышленники получают командные посты в западно-германской промышленности и западно-германских финансах. Все старые «специалисты» по вооружению Германии, начиная от владельца крупнейшего авиационного завода Хейнкеля и кончая нацистским чиновником Пюндером, объявляются чуть ли не «жертвами фашизма» и получают ответственные назначения в различных административных органах в Западной Германии. По сообщениям демократической печати, даже германские генералы-убийцы широко используются западными властями.

Совершенно очевидно, что для такого видного деятеля реакции и милитаризма,

как Яльмар Шахт, также найдется соответствующий официальный или неофициальный пост по ту сторону Эльбы. Как сообщают немецкие газеты, Шахт уже сейчас консультирует финансовые мероприятия англо-американских властей. Одновременно с этим английская и американская печать всячески рекламирует Шахта. Книга «Мой расчет с Гитлером» является закономерным звеном этой кампании по реабилитации бывшего «рейхсминистра», награжденного золотым значком «наци», крупнейшего фашистского разбойника — Яльмара Шахта.

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ.

★

Чему учит история Китая

Телеграммы ежедневно приносят сообщения о новых успехах китайской демократии. Народно-освободительная армия Китая, отпраздновавшая 1 августа двадцать вторую годовщину своего рождения, быстро продвигается в южные и западные районы страны, являющиеся последним оплотом гоминдановской реакции. О замечательных победах китайского народа лаконично и красноречиво говорит опубликованная в июле этого года сводка генерального штаба Народно-освободительной армии, подводящая итоги трех лет войны, которую развязала при поддержке США клика гоминдановских реакционеров. За этот период гоминдановские войска понесли огромные потери — свыше пяти с половиной миллионов человек. В результате этих побед Народно-освободительной армии территория освобожденных районов Китая увеличилась до трех миллионов квадратных километров, что составляет более 30 процентов всей страны. Освобожденная территория является наиболее населенной частью Китая — на ней проживает около 280 миллионов человек, или 58 процентов всего населения.

Этих данных читатель еще не найдет в недавно вышедшей книге Г. Ефимова «Очерки по новой и новейшей истории Китая». Книга заканчивается тем периодом, когда китайский народ в результате

поражения империалистической Японии во второй мировой войне освободился от многолетнего господства японских оккупантов. Вместе с тем рецензируемая книга дает ключ к пониманию современных событий в Китае, позволяет понять, почему гоминдан из прогрессивной на первом этапе своего существования партии превратился в реакционнейшую партию, ставшую проводником интересов американских монополий, предателем своего народа. Автор правильно отмечает, что во время войны против японских захватчиков гоминдановское командование меньше всего стремилось вести активные военные действия против японских войск. По приказу Чан Кай-ши и по указке из Вашингтона оно занималось, главным образом, тем, что сосредотачивало силы для блокады освобожденных районов и разгрома Народно-освободительной армии.

Еще ярче это предательство проявилось после войны, когда гоминдановская реакция использовала высвободившиеся войска для разжигания антинародной гражданской войны.

Но кто сеет ветер, тот пожинает бурю. Теперь видно, какой плачевный для гоминдановских прислужников иностранного капитала результат принесла развязанная ими гражданская война. Эта война превратилась в народно-освободительную войну против гоминдановской реакции и хозяйничанья в Китае американских монополий.

События в Китае, приковывающие к себе внимание всего человечества, весьма поучительны, как поучительна не только для судеб китайского народа, но и для народов всего мира новая и новейшая история Китая. «Открытие» Китая, происшедшее более ста лет тому назад при помощи выстрелов пушек английских военных кораблей, как известно, позлекло за собой нашествие в эту страну и других капиталистических держав. Автор обстоятельно показывает, как с середины прошлого столетия Китай стал важнейшим объектом колониальной экспансии прожорливых капиталистических акул, среди которых не последнее место занимали США, объектом грызни за лакомый «китайский пирог», центром сосредоточения империалистических противоречий на Тихом океане. Пальма первенства в этой разбойничьей схватке за «место под солнцем в небесной империи» была сначала за Англией. Затем она перешла в руки Японии, а после поражения японского империализма — к Соединенным Штатам. Даже во время второй мировой войны, когда Китай находился в одном лагере с США и Англией, они все еще сохраняли в Китае права экстерриториальности. Заявление об отмене этих прав было сделано только в 1943 году, хотя формально сроки неравноправных договоров истекли еще в период 1926—1934 годов.

Но не прошло и трех лет после этого заявления, как укрепившиеся в Китае американские экспансионисты в ноябре 1946 года навязали ему новый неравноправный договор. Называется он договором «О дружбе, торговле и навигации». Характер этой дружбы примерно таков же, как союз между всадником и лошастью. Что касается торговли и навигации, то не китайцы, а американские «друзья» получили в Китае огромные выгоды и преимущества. Даже гоминдановские газеты, комментируя этот договор, отмечали, что он мало чем отличается от прежних неравноправных кабальных и унижительных для Китая договоров.

Таковы исторические параллели, которые невольно напрашиваются при чтении книги Г. Ефимова.

Только Советское государство с первых дней своего существования заняло по отношению к китайскому народу дружественную позицию, сразу же объявив недейст-

вительными неравноправные договоры, заключенные с Китаем царским правительством. В отличие от других держав, Советский Союз первый признал Китай суверенным государством, заключив с ним равноправные договоры. Автор книги правильно отмечает, что не вторжение англо-американских и иных капиталистов в Китай проложило путь китайскому народу к мировой культуре, к общению с прогрессивным движением человечества. «Китайская стена», отделявшая 475 миллионов людей от внешнего мира, была разрушена в результате Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей для Китая новую эпоху в истории. Об этом ярко говорит вождь китайской компартии Мао Цзе-дун: «Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла прогрессивным элементам мира и Китая применить пролетарское мировоззрение для определения судьбы страны и пересмотра своих собственных проблем. Итти по пути русских — таков был вывод»¹.

Особенно ценно в книге то, что Г. Ефимов подробно показал, как многомиллионные массы Китая поднялись на борьбу за свою национальную независимость. Автор в своей работе много места уделяет последнему тридцатилетию истории Китая, когда китайский народ под руководством коммунистической партии развернул победоносную титаническую борьбу за создание демократического строя.

К сожалению, книга Г. Ефимова не лишена значительных недостатков. Касаясь американской политики в Китае, автор не совсем точно квалифицирует ее империалистический характер. Политику экспансии США в Китае он называет просто «американским влиянием». Автор говорит о китайско-американских отношениях, но не называет политику США в Китае ее подлинным именем — экспансией американского капитала, — утверждает Г. Ефимов, — готовился к прочному обоснованию в Китае, к закрытию «открытых дверей»... Это говорится о периоде конца второй мировой войны, когда было уже видно, что речь идет не о подготовке американских монополий к

¹ Мао Цзе-дун. О диктатуре народной демократии. М. Госполитиздат, 1949, стр. 5.

обоснованию в Китае, а к укреплению там своих позиций, утверждению там своего монопольного господства.

Уже давно от политики «открытых дверей» США перешли к интервенционистской практике в Китае. Об этом ярко свидетельствует опубликованная в августе 1949 года Государственным департаментом США «Белая книга» по китайскому вопросу.

Известно, что Уолл-стрит с давних пор лез из кожи вон, чтобы превратить Китай в свою колонию и военно-стратегический плацдарм. События последнего времени это особенно ярко подтверждают. Американские банкиры не пожалели 6 миллиардов долларов для поддержки антинародного режима в Китае.

Эти доллары были предоставлены гоминдановскому правительству за последние годы в виде займов и кредитов. Тем не менее теперь американские монополисты продолжают поддерживать антинародную клику Чан Кай-ши, обещая предоставить ей новую военную и финансовую помощь.

Известный поджигатель войны американец Дьюи призывал правящие круги США принять срочные меры к спасению гоминдановского режима, считая, что иначе он «пойдет на дно Тихого океана». Происки американских империалистов в Китае сказываются и в попытках создать на юге и юго-западе страны «буферное государство» под эгидой США. Туда они уже

послали военного авантюриста и дельца — генерала в отставке Ченнолта, который предпринимает энергичные попытки создать «иностранный легион» для поддержки гоминдановского режима.

Ченнолт, находившийся в Китае во время японо-китайской войны на посту командующего американскими авиационными силами, снискал печальную славу воздушного пирата. Это его самолеты сбрасывали бомбы не на позиции японских частей и военные объекты Японии, а на мирные города и деревни освобожденных районов Китая. В роли душителя китайской демократии Ченнолт выступает теперь «официально».

Одновременно Вашингтон втягивает своего агента Чан Кай-ши в авантюру антикоммунистического Тихоокеанского блока, призванного быть дальневосточным изданием агрессивного Северо-атлантического пакта.

Однако все эти пожарные меры американских экспансионистов не в состоянии остановить могучий ход истории. Китайский народ уверенно идет к окончательной победе над силами внутренней реакции и американского империализма.

Работа Г. Ефимоза поможет советскому читателю не только познакомиться с фактами истории Китая, но и оценить их в свете современных событий.

Полковник П. КРАЙНОВ.

★

Найденное сочинение А. В. Суворова

Среди литературного наследия, оставленного великим русским полководцем А. Суворовым, заметное место занимает наставление, написанное им для обучения Суздальского пехотного полка, которым он командовал в 1763—1768 годах, после окончания Семилетней войны. В мирной обстановке, в стороне от столицы (полк стоял в Новой Ладоге), А. Суворов впервые обобщил свой богатый боевой опыт и воспитал Суздальский полк в духе тех требований, которые впоследствии легли в основу его знаменитой «Науки побеждать». Суздальский полк стал первым полком рус-

ской армии, обученным по суворовской системе.

Еще в 80-х годах XIX века известный биограф А. Суворова и автор наиболее крупной монографии, посвященной жизни и деятельности великого полководца, А. Петрушевский установил на основании позднейших высказываний А. Суворова существование письменной инструкции, которую сам полководец называл «Суздальским учреждением». Однако все попытки разыскать рукопись этого сочинения или его современную копию, которые неоднократно делались со времени выхода работы А. Петрушевского, поиски в архивах, обращение через печать к частным лицам — кончались неудачей.

Казалось, это раннее произведение А. Суворова, имеющее выдающееся значение для изучения его военно-воспитательной системы, было окончательно утеряно. Только в 1938 году полковнику Т. Воробьеву удалось разыскать драгоценную рукопись в фундаментальной библиотеке Артиллерийского исторического музея в Ленинграде. Судя по сохранившемуся экслибрису, рукопись в начале прошлого столетия принадлежала артиллерийскому генералу П. Капцевичу, из библиотеки которого при неизвестных обстоятельствах она поступила в Артиллерийский музей. На титульной странице рукописи, написанной почерком XVIII века на плотной серой бумаге, стоит надпись: «Полковое учреждение. Ладога». На последней странице четким писарским почерком начала XIX века написано: «Сие Полковое учреждение покойной Генералиссимус Князь Италийский Граф Суворов Рымникский собственною рукою писал». Археографическое изучение рукописи, произведенное Т. Воробьевым, с полным основанием устанавливает, что она и есть то «Суздальское» или «Полковое учреждение» А. Суворова, которое считалось безвозвратно погибшим.

«Полковое учреждение» дает исключительно ясное представление о военно-воспитательной системе А. Суворова, принципиально отличавшейся от принятой в то время системы обучения войск, основанной на жестокой палочной дисциплине. Для А. Суворова солдат — не слепой военный механизм, а разумный человек. Поэтому великий полководец обращал большое внимание на моральную сторону воспитания, на развитие в солдате честности, трудолюбия, смывшенности, интереса к военной службе, правильного честолюбия, любви к чистоте и опрятности.

Предъявляя строгие требования к моральным и воинским качествам солдата, А. Суворов считал, что те и другие органически связаны между собою. «Ежели кто из новоопределенных в роту, — пишет А. Суворов, — имеет какой порок, яко то: склонен к пьянству или иному злему обращению неприличному честному солдату, то стараетца (речь идет о командире роты. — К. Б.) оного увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким истолкованием погреш-

ности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние». Командир роты не только должен был знать поименно всех своих солдат, но и способности каждого. При обучении следовало действовать примером и показом, растолковывать солдату то, что от него требуется, поступать «без жестокости и торопливости», прибегать к наказаниям лишь в крайнем случае. Хотя военная служба требовала постоянного и большого физического напряжения, А. Суворов указывал, что обучение должно производиться «без изнурения» и таким образом, чтобы «упражнение вообще всем забавок служило».

Требую строгой, но разумной дисциплины, А. Суворов выдвигал в качестве одного из важнейших средств для ее поддержания заботливое отношение начальника к подчиненному. Много места А. Суворов уделяет заботам о здоровье солдата, о его пище и одежде. Его внимание к «мелочам» — качеству хлеба и каши, к удобству носимой обуви и к другим вопросам повседневного солдатского быта поразительно. Как все это непохоже на порядки современных А. Суворову иностранных армий, на прусскую систему Фридриха с его тупой и жестокой муштрой!

А. Суворов ни на минуту не забывал, что основной целью воинского обучения является не показная парадная внешность, а полная готовность встретиться с врагом на поле боя. «Не надлежит мыслить, — наставляет А. Суворов, — что слепая храбрость даст над неприятелем победу, но единственно смешенное с оною военное искусство». Солдат во всяких случаях должен быть «бодр, смел, мужествен и на себя надежен».

Замечательны заключительные слова наставления. Напоминая, что Суздальский полк на смотре был поставлен «всем протчим во образец», А. Суворов пишет: «Но всегда о том воспоминая, содержать себя во всегдашней исправности, наблюдать свою должность в тонкость, жертвовать мнимым ленистым успокоением истинному успокоению духа, состоящему в трудолюбивой охоте к военной службе, и заслужить тем себе бессмертную славу».

«Полковое учреждение», написанное молодым полковником А. Суворовым в начале его боевой деятельности, отстоит на

тридцать лет от знаменитой «Науки побеждать», в которой генерал-фельдмаршал А. Суворов, герой Рымника и Измаила, обобщил весь свой боевой многолетний опыт. Тем не менее между обоими произведениями существует непосредственная внутренняя связь. В «Полковом учреждении», как правильно отметил в введении к издаваемой рукописи Т. Воробьев, даны контуры знаменитой системы, разработанной А. Суворовым много позже.

Военное издательство сделало хорошее и полезное дело, опубликовав найденную рукопись сочинения А. Суворова. Чтение «Полкового учреждения» вызывает законное чувство гордости за великого русского полководца и военного писателя, намного обогнавшего военную доктрину Запада и далеко смотревшего вперед. Эту книгу с интересом и удовлетворением прочтет каждый, кто интересуется блестящей историей русского военного искусства.

Профессор К. БАЗИЛЕВИЧ.

★

Техника

Новая книга на старый лад

Проблема межпланетного полета является одной из самых интересных в науке и технике ближайшего будущего. Десятки лет эта проблема служила благодарной темой для фантастических романов. Достижения науки и техники за последние годы сделали ее достоянием ученых и инженеров. «...Полеты на Луну из ведения писателей фантастических романов, возможно, скоро перейдут в более ответственное ведение инженеров», — говорит президент Академии наук СССР академик С. Вавилов. Решение этой проблемы будет новым грандиозным шагом в борьбе за освоение природы.

Среди широких кругов читателей, особенно советской молодежи, велик интерес к проблеме полета в мировое пространство. Это и понятно. Грандиозные перспективы, которые открывает осуществление этой смелой мечты человечества, созвучны духу сталинской эпохи — эпохи великих преобразований.

Мы гордимся тем, что русская наука — трудами замечательного ученого К. Циолковского и других русских ученых и инженеров — открыла человечеству дорогу в мировое пространство.

На тему о межпланетных полетах в тридцатых годах было написано немало научно-популярных книг, но после 1935 года на эту тему не вышло ни одной сколько-нибудь значительной популярной

книги, между тем как наука и техника шагнули в это время далеко вперед.

Но вот перед нами новая книга А. Штернфельда «Полет в мировое пространство». Естественно ожидать, что эта книга ярко покажет читателю как современное состояние проблемы, так и заслуги ученых и инженеров нашей Родины в развитии идеи межпланетного ракетного полета. Однако книга А. Штернфельда не оправдывает этих ожиданий.

Автор недостаточно полно рассказывает о современном состоянии ракетной техники, хотя сам в предисловии отмечает, что «ракеты для полета в мировое пространство принципиально ничем не отличаются от ракет для дальних перелетов в пределах земли... Развитие ракетной техники за последние годы дало большой фактический материал, по которому автор пронесся галопом, отводя ему в общей сложности всего лишь около четырех страниц. Очень мало внимания уделено им и современным жидкостным ракетам, воплотившим в себе замечательные идеи К. Циолковского.

Автор не дает почувствовать читателю, насколько достижения современной ракетной техники приблизили осуществление космического полета; а именно это в сущности должно было явиться одной из основных задач его книги.

Уже в настоящее время может быть построена ракета для полета в мировое пространство. По всей вероятности, пока она сможет поднять только приборы. Но

А. Штернфельд. «Полет в мировое пространство». Гостехиздат, 1949.

это первый шаг, за которым последует и полет ракеты с человеком. Как ни странно, но автор не рассказывает читателю об этом. А. Штернфельд не является новичком в литературе о межпланетных полетах. Его перу принадлежит книга «Введение в космонавтику» (1937) и ряд журнальных статей, пересказывающих эту книгу (1939—1940).

В книге «Введение в космонавтику» была принята роль русской науки и техники и выпячено все, хотя бы и маловажное, но сделанное в этой области за рубежом. Книга пестрела множеством иностранных имен — известных, мало известных и неизвестных.

В рецензируемой книге А. Штернфельда мы также видим недооценку роли русской науки. Проблема полета в мировое пространство излагается им оторванно от работ русских ученых и инженеров — подлинных энтузиастов межпланетного полета, создателей его теории и техники. Автор недостаточно оттеняет то, что именно благодаря К. Циолковскому и другим нашим выдающимся ученым завоевание межпланетных пространств из области фантазии переходит в область науки.

Бросается в глаза одно странное обстоятельство.

Открывая новую книгу А. Штернфельда, мы находим в ней... то же самое, что было уже неоднократно напечатано автором. Правда, есть «существенное» изменение: последние шесть страниц старой книги (стр. 299—305) стали с весьма несущественными сокращениями первыми шестью страницами новой (стр. 7—13). Но не только начало, а и многое другое десятками страниц целиком перекечало из старой книги в новую.

Весь раздел истории ракет почти полностью воспроизводит соответствующую главу старой книги автора. Чрезвычайно скупо говорит автор о работах замечательных русских ученых. Вместо увлекательного рассказа об интереснейших идеях и проектах К. Циолковского. Ю. Кондратюка, Ф. Цандера — сухая справка в несколько строчек, а почти все остальное — перепечатка и пересказ книги, изданной более чем десять лет назад.

Вот, например, что сказано о работе Ю. Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств»: «Следует еще отметить работу Ю. Кондратюка, в которой сжатое изложение сочетается с обилием интереснейших идей». Каких? — вправе спросить читатель, но ответа он не получит.

В книге нет имени конструктора русских боевых ракет А. Засядко. Два небольших абзаца посвящены деятельности творца русского ракетного оружия К. Константинова. Автор не забывает упомянуть о том, что некие «Бюисон и Чиурку производили под Парижем испытание реактивной лодки» и что «во Франции идею использования двигателей прямой реакции защищал Р. Лорен», но «забывает» сказать читателю о замечательных работах русских изобретателей Третеского, Соковнина и других. Он «забывает» рассказать читателю о полетах первых советских жидкостных ракет, осуществленных задолго до пуска пресловутых «Фау-2», о первом в мире полете советского ракетного самолета. Работам выдающихся деятелей русской ракетной техники — Н. Кибальчича и И. Мещерского уделено в среднем по три строчки...

Б. ЛЯПУНОВ.

★

Создатель первого в мире самолета

История возникновения и развития авиации до сих пор исследована крайне недостаточно. Этим широко и бесчестно пользуются в своих корыстных интересах буржуазные фальсификаторы истории.

Н. Черемных, И. Шипилов. «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолета». Военное издательство, 1949.

Особенно набили себе руку на этих нечистых делах реакционные ученые современной Америки и ее продажная пресса. Даже не забираясь в глубины истории, по совершенно свежим следам можно уличить некоторых американских ученых в прямом воровстве. На протяжении десяти лет советский ученый, профессор В. Власов раз-

рабатывал теорию, которая обеспечила бы методы эффективного расчета тонкостенных оболочек и стержней, имеющих большое значение при строительстве ангаров, эллингов, корпусов самолетов и судов. Труды ученого увенчались успехом и в 1935 году были опубликованы и вошли в наши учебники и справочники.

Но вот через семь лет, в сентябре 1942 года, в американском журнале «Прикладная механика» появляется статья американского «ученого», некоего И. Гудира, а вслед за ней в 1944 году в журнале «Наука воздухоплавания» — статья американского «профессора» Л. Баскина. Оба — и Гудир и Баскин — бесовестно использовали труды советского ученого В. Власова, выдав их за свои. Они опубликовали работу В. Власова, не изменив даже терминологию и, уж конечно, промолчав об источнике своего «научного вдохновения».

А сколько подобных махинаций проделано такими, с позволения сказать, «учеными» на протяжении всей истории авиации!

В Америке и в некоторых других капиталистических странах считают, например, что первыми авиаторами в мире были братья Райт и что совершённый ими 17 декабря 1903 года полет на берегу Атлантического океана в тихом местечке Кити-Хоук был тем полетом, с которого начинается история авиации.

На деле же история воздухоплавания и авиации началась задолго до того, как братья Вильбур и Орвиль Райт открыли в Дейтоне велосипедную мастерскую и, прочитав в газетах о некоторых опытах Ливлиенталя, решили строить птицеподобную машину. Родиной воздухоплавания и авиации является не американское местечко Кити-Хоук, а наша страна.

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев в предисловии к своему труду «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», предрекая русскому народу победу над воздухом, писал:

«Россия приличнее для этого всех других стран. У других много берегов водного океана. У России их мало, сравнительно с ее пространством, но зато она владеет обширнейшим против всех других образованных стран берегом еще свободного воздушного океана. Русским поэтому и сподручней овладеть сим последним, тем более, что это бескровное завоевание едва

ли принесет личные выгоды — товары должно быть не будет выгодно посылать по воздуху, а между тем оно, вместе с устройством доступного для всех и уютного двигательного снаряда, составит эпоху, с которой начнется новейшая история образованности».

И русские — передовые ученые и изобретатели — упорно и настойчиво способствовали покорению воздушной стихии, построили летательные аппараты и поднялись в воздух. Это произошло задолго до американцев Райт.

Заслуга книги Н. Черемных и И. Шипилова, выпущенной недавно в свет Военным издательством, в том и заключается, что молодые исследователи истории авиации полно, справедливо и научно обосновали наш приоритет в области самолетостроения и летания. Их книга «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолета» — ценный вклад в историю нашей отечественной авиации.

Александр Федорович Можайский принадлежал к числу тех русских морских офицеров, передовой деятельностью которых законно гордятся наши советские моряки. Еще во второй половине девятнадцатого века Русское техническое общество в Петербурге организовало в своем составе новый, седьмой, отдел, которому надлежало заниматься вопросами покорения воздушной стихии. В журнале заседаний этого отдела имеется такая запись: «А. Ф. Можайский сделал сообщение о своем летательном приборе и произвел опыты с несколькими моделями винтов. Винты эти приводились в движение часовым механизмом и двигали по полу четырехколесную тележку».

По свидетельству инженера Богословского, профессора Алымова и воздухоплователя Спицина, присутствовавших при опытах А. Можайского, модель его «бегаля и летала совершенно свободно и опускалась плавно», представляя собой «моноплан с одной несущей плоскостью и корпусом, похожим на лодку».

Возникновение у А. Можайского идеи об устройстве летательного аппарата исследователи относят к 1855 году. В это время А. Можайский усиленно занимался изучением полета птиц. А. Можайский проводит много опытов и приходит к следующему выводу:

«Для возможности парения в воздухе существует некоторое отношение между тяжестью, скоростью и величиной площади или плоскости и, несомненно, то, что чем больше скорость движения, тем большую тяжесть может нести та же площадь» (докладная записка А. Можайского в Комиссию по рассмотрению проекта летательного аппарата).

Проанализировав результаты своих наблюдений над полетами голубя, А. Можайский произвел точный расчет подъемной силы летательного аппарата и его парения.

Но, делая эти выводы на основе наблюдений за полетом птиц, изобретатель неоднократно подчеркивал, что при устройстве летательных аппаратов нельзя слепо подражать внешнему виду птиц. И к идее своего аэроплана А. Можайский пришел не от подражания птицам, как это случалось со многими неудачными самолетостроителями, а благодаря тщательному изучению полетов обыкновенного бумажного змея. Еще в детстве он увлекался устройством игрушечных змеев. Позже, когда он уже был морским офицером, ему неоднократно приходилось наблюдать, как во время плавания на кораблях воздушные змеи использовались для спасательных целей. Во время большого шторма, когда корабль не мог подойти к берегу, команда делала такой змей из мягкой парусины и на длинной веревке запускала его в сторону берега, перебрасывая таким образом с корабля на берег конец каната.

А. Можайский строит змеев с большой подъемной поверхностью и буксирует его тройкой лошадей. В качестве летчика на этом змее поднялся в воздух сам А. Можайский. Таким образом, воздушный змей, с незапамятных времен служивший игрушкой детям, указал А. Можайскому правильный путь к решению конструкции летающей машины.

Но для того чтобы она могла подняться в воздух, нужен был сильный и легкий двигатель. Опыт с буксировкой змея лошадьми окончательно убедил А. Можайского, что дело только за двигателем.

А. Можайский служил во флоте как раз в те годы, когда русские парусные корабли, после Крымской войны, начали переходить на паровые установки. А. Можайский хорошо знал, какие успехи уже были

достигнуты в строительстве судовых двигателей, и он надеялся, что нужный ему двигатель — достаточно мощный и достаточно легкий по весу — он получит. И он не ошибся..

На основании своих экспериментов и расчетов, в 1882 году у себя на даче в Дудергофе под Петербургом, А. Можайский построил аэроплан в натуральную величину. Конструктивно аппарат А. Можайского напоминал испытывавшиеся им модели и соответствовал тому описанию, которое он давал раньше. К бортам деревянной лодки были прикреплены прямоугольные крылья, несколько выгнутые вверх. Деревянные переплеты крыльев обтягивал желтый шелк, пропитанный лаком. Три винта приводились в движение паровым двигателем, расположенным в лодке. Самолет имел вертикальный и горизонтальный рули. Общий его вес составлял пятьдесят семь пудов.

1 августа (по новому стилю) 1882 года на военном поле в Красном Селе были произведены испытания первого в мире самолета. Как свидетельствуют документы и очевидцы, самолет летал. Об этих полетах сообщалось в газете «Русский инвалид» и в записках Русского технического общества за 1882—1885 годы.

Так устанавливается, что первый самолет русского изобретателя А. Можайского был построен и поднялся в воздух за двадцать лет до самолета братьев Райт. Проблема создания летательных аппаратов тяжелее воздуха была решена не американцами, не немцами, не французами, а русскими. Россия первой вступила на научный путь создания авиации. Именно в России раньше всех и глубже всех было понято, что практическое осуществление тысячелетней мечты о полете должно быть основано на точной и сложной науке, раскрывающей законы полета аппарата тяжелее воздуха. Пусть фальсификаторы истории авиации продолжают трубить о братьях Райт, как о первых авиаторах. Исторические факты сильнее лжи, даже самой крикливой и назойливой. Человечество с уважением будет вспоминать имя русского конструктора А. Можайского — творца первого в мире аэроплана.

Генерал-майор В. МОСКОВСКИЙ.

Естествознание. Медицина**Основоположник эволюционной палеонтологии**

„Гениальный и несчастный Владимир Ковалевский», — так говорили о Владимире Онуфриевиче Ковалевском в среде крупнейших палеонтологов мира. Эти слова — гениальный и несчастный — точно характеризуют и научную деятельность и личную судьбу великого русского ученого. Самобытный гений В. Ковалевского принес ему единодушное признание — как родоначальника эволюционной палеонтологии. Даже зарубежные исследователи, в своем подавляющем большинстве обычно обходившие молчанием труды русских ученых, на этот раз не могли замолчать или умалить достижения В. Ковалевского. У себя на родине В. Ковалевский, высоко ценимый представителями передовой русской науки, был поставлен в невыносимые условия царскими сатрапами и чиновниками от науки. Они не только пытались помешать развитию его гения, но и всячески отравляли жизнь ученого. Только в советское время его научный подвиг получил достойную оценку. В. Ковалевский занял по праву принадлежащее ему место в истории русской и мировой науки.

Трагически сложилась жизнь ученого. Получив юридическое образование, он больше всего интересовался естествознанием и стал энергичным популяризатором его в России. Он перевел и издал наиболее ценные и важные для развития науки книги, как, например, «Происхождение видов» Дарвина и многие другие. Увлечение наукой не мешало ему чутко отзываться и на события общественной жизни. В 1867 году В. Ковалевский едет в Италию, в штаб Гарibaldi, и этого ему впоследствии никогда не прощают отечественные реакционеры.

В следующем году он женится на Софье Евильевне Корвин-Круковской, знаменитой впоследствии первой в мире женщине — профессоре математики. В ближайшие за этим годы он пишет свои основные научные

труды, которые принесли ему потом мировую известность.

Весной 1872 года В. Ковалевский защищает диссертацию на ученую степень доктора философии Иенского университета. Но он стремился получить ученую степень у себя на родине, и в следующем году пробует сдать магистерский экзамен в Одессе. Однако местный профессор Синцов, тупой и бездарный чиновник, о котором В. Ковалевский когда-то отозвался неодобрительно и который, очевидно, к тому же получил соответствующие инструкции, проваливает его на экзамене по палеонтологии. Эта гнусная комедия в присутствии неспециалистов, не способных разобраться в предмете, произвела на В. Ковалевского удручающее впечатление. Лишь спустя два года, после невероятных мытарств, в Петербурге он защищает диссертацию на степень магистра геогнозии и минералогии. Но и ученая степень не дала ему в условиях царской России возможности целиком отдаться науке. Материальные затруднения семьи Ковалевских увеличиваются с рождением ребенка, и на смену научным занятиям приходит работа в пресловутом «Обществе русских фабричных минеральных масел Рагозина и К^о». Грязные дельцы доводят это общество до краха, а ответственность за это возлагают на В. Ковалевского.

Разоренный, окруженный атмосферой клеветы и грязных подозрений, лишенный возможности и даже надежды заняться наукой, В. Ковалевский в минуту отчаяния кончил жизнь самоубийством. Так сложилась в условиях царского строя судьба этого гениального ученого — гордости русской науки.

В своих работах В. Ковалевский продолжал и развивал теорию Дарвина. Но, как это показал советский ученый Л. Давиташвили, В. Ковалевский учился не только у Дарвина: его учителями были также великие русские революционные демократы, выдающиеся ученые и философы-материалисты. Иначе он не мог бы стать основоположником эволюционной палеонтологии.

В. О. Ковалевский. «Палеонтология лошадей». Издательство Академии наук СССР, 1948.

До исследований В. Ковалевского большинство ученых-палеонтологов холодно и даже враждебно относилось к теории Дарвина. Креационисты — сторонники взгляда о неизменяемости видов — стремились регистрировать лишь отличительные признаки между видами ископаемых животных и растений. На переходных формах между видами не только не останавливались, но старались их даже отрицать. Все это делалось для того, чтобы доказать появление видов путем творческого акта. Это, в свою очередь, нужно было для доказательства существования всевышнего творца — бога. Так создавалось впечатление, что эволюционное учение палеонтологией не подтверждается.

Заслугой В. Ковалевского явилось опровержение этого положения. Он не только доказал значение палеонтологической эволюционной теории, но и успешно применил это учение в палеонтологии. На многочисленных примерах изучения остатков ископаемых позвоночных В. Ковалевский дал яркие доказательства существования филогенетических (родословных) линий среди позвоночных. Он показал видоизменение животных от предков через промежуточные, переходные формы к потомкам и объяснил, в каких условиях происходила их эволюция.

Научное наследие, оставленное В. Ковалевским, численно невелико. Но значение его громадно. Труды В. Ковалевского являются гордостью отечественной науки. Из них два первых, по времени опубликования, разбирают вопросы генеалогии типа лошади. Они переизданы сейчас Академией наук СССР в серии «Классики науки».

В них приводится детальное исследование остатков ископаемого животного — анхитерия. Рассматривая его как представителя, стоящего в генеалогическом ряду лошади между вымершими животными — палеотерием и гиппарионом, В. Ковалевский прослеживает родословные изменения в форме костей палеотерия, анхитерия, гиппариона и лошади. Он дает детальную и

наглядную картину изменения костей при переходе от одного типа этого ряда к следующему.

Эти работы В. Ковалевского сохранили свое значение и поныне, а как метод изучения ископаемого материала они будут еще долгое время служить образцом исследований для ученых-палеонтологов.

Ценным приложением к книге Ковалевского является послесловие редактора — действительного члена Академии наук Грузинской ССР Л. Давиташвили и его статья «В. О. Ковалевский. Его научная деятельность и значение его трудов по палеонтологической истории семейства лошадиных». В статье детально освещается научная деятельность В. Ковалевского и приводятся биографические данные. Тщательно разобрав значение палеонтологических и геологических работ В. Ковалевского, Л. Давиташвили глубоко и по-новому освещает проблему о месте В. Ковалевского среди эволюционистов—современников Дарвина. Он показывает, что из современников Дарвина, разрабатывавших вопросы эволюционной теории в области зоологии и палеонтологии, В. Ковалевский был самым выдающимся дарвинистом-материалистом. Являясь глубоким знатоком дарвинизма, В. Ковалевский был первым палеонтологом, широко применившим это учение к исследованию органического мира прошлых времен. Характерно при этом, что В. Ковалевский в конце концов пришел к диалектическому пониманию революций в органическом мире.

Труды В. Ковалевского являются библиографической редкостью и долгое время были мало доступны для широких читательских масс. Академия наук СССР сделала большое и нужное дело, выпустив часть трудов основателя эволюционной палеонтологии. Хотелось бы, чтобы и остальные работы В. Ковалевского стали достоянием советских читателей.

Доктор геолого-минералогических наук

А. ЭБЕРЗИН.

Советская рентгенология в борьбе с легочными заболеваниями

В кабинет врача в поликлинике входит новый пациент. Это рабочий завода, человек средних лет. Уже издали слышен его кашель, временами сухой, надрывистый, временами влажный. Этот кашель, рассказывает больной врачу, мучит его давно, много лет, в последнее время усилился, стал мешать работе, нарушается сон, а оставлять работу не хочется, еще есть достаточно сил. Туберкулеза легких у этого человека нет, как свидетельствует анализ мокроты — отсутствие палочек, да и специалист не нашел этого заболевания.

Какие же неполадки в легких у этого больного? Врач тщательно выстукивает его грудь молоточком и пальцем, выслушивает его стетоскопом. Да, неправильности есть, звук не везде нормальный, кое-где слышны хрипы. Но диагноз еще не ясен, ведь многие патологические процессы в легком могут давать эти симптомы. Нельзя ли привлечь еще и зрение для уточнения диагноза, нельзя ли посмотреть, как выглядят легкие у этого больного? Можно, при помощи рентгеновых лучей. Больной направляется к рентгенологу для обследования.

На экране видно, что легочная ткань у этого человека прозрачна, даже, пожалуй, прозрачнее обычного. Но на фоне этой прозрачности заметны какие-то неясные тяжи, наискось пересекающие легочное поле. Что могут означать эти тяжи? В анатомическую структуру легких входят бронхи, артериальные и венозные сосуды, лимфатические пути. Все эти образования складываются в сложную, переплетающуюся сеть, разобраться в которой не легко. Много усилий потребовалось анатомам и

рентгенологам, чтобы уяснить детали этого сложного легочного рисунка. Ведь на экране или на рентгенограмме мы видим не органы, а только их тени, или отражение, образуемое рентгеновыми лучами. Однако достижения современной рентгенологии позволяют с точностью дифференцировать различные структуры легочного рисунка и выявлять патологические изменения в них. Если бронхи, которые часто являются главным очагом заболевания, не выделяются на экране в силу своего анатомического строения, то имеется возможность создать искусственным образом их «контрастность», как говорят рентгенологи, то есть заполнить их веществом, непрозрачным для рентгеновых лучей. Такой препарат, выпускаемый сейчас фармацевтическим заводом имени Семашко, был еще до войны испытан на практике в некоторых медицинских учреждениях Москвы и Ленинграда и показал хорошие результаты.

К нашему больному с хроническим кашлем неясного происхождения был применен в рентгеновском кабинете этот метод исследования. Характер заболевания был тотчас же выяснен: у больного имелось расширение бронхов — так называемая «бронхоэктатическая болезнь», но никаких признаков туберкулеза.

В текущем году на тему о значении этого метода исследования легких, называемого бронхографией, и о методике заполнения бронхов йодолиполом для диагностики заболеваний легких были с успехом защищены две докторские диссертации Б. Брюмом и Б. Цыбульским. Обе диссертации получили хорошую оценку и были признаны ценным вкладом в советскую медицинскую литературу. Бронхография позволяет с точностью выявлять такие заболевания бронхов, которые долго оставались нераспознанными вследствие неясности клинических симптомов и недостаточной четкости рентгенологической картины. Кроме того, благодаря бронхографии можно точно установить локализацию болезненного очага в легких. Это обстоятельство приобретает существенное значение при хирургическом вмешательстве, так как дает хирургу заранее полное представление о направлении, разме-

К. В. Помельцов. «Флюорография грудной клетки. Метод массового рентгенологического выявления легочного туберкулеза». Издание второе, исправленное и дополненное. Медгиз, 1948.

Б. И. Брюм. «Бронхография». **Б. А. Цыбульский.** «Трансназальная бронхография и ее значение в рентгенодиагностике неспецифических заболеваний легких». Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Издание Центрального научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии имени В. М. Мологова, 1949.

рах и плане предстоящей операции. Замечательные успехи нашей современной хирургии грудной полости в значительной степени связаны с возможностью точной локализации болезненных процессов в легком.

Авторы диссертаций выработали наиболее простую и эффективную методику применения бронхографии. Она доступна в любом учреждении, где имеется рентгеновский аппарат, а такими аппаратами в нашем Союзе снабжены ныне не только областные, но и многие районные больницы.

Новаторская мысль советских врачей на этом не успокоилась. Доктор Г. Хаспекон сконструировал специальный стол для всестороннего обследования больного при бронхографии и других рентгенологических процедурах. Этот стол позволяет в процессе просвечивания придавать любое положение больному, даже находящемуся в тяжелом состоянии. Практика показала большую ценность этого приспособления.

Широкое применение бронхографии в наших лечебных учреждениях несомненно будет способствовать более своевременному распознаванию и лечению многих скрытно протекающих легочных заболеваний, и тем поставит наше здравоохранение на еще более высокую ступень.

Характерной особенностью нашей советской медицины, помимо ее бесплатности, общедоступности и широкого охвата населения, является также профилактическое направление. Предотвратить от заболевания или выявить его в самой начальной стадии, когда оно наиболее легко поддается излечению, — такова задача советских врачей. Это особенно относится к такому серьезному заболеванию, как туберкулез легких, который в начальном периоде часто дает столь мало субъективных симптомов, что больной не считает даже нужным обратиться к врачу. С другой стороны, встречаются случаи, где больной с уже развитым туберкулезом, не зная о характере своей болезни, продолжает являться на работу, посещать собрания, лекции т. п. и таким образом может стать источником распространения болезни.

В советских туберкулезных диспансерах производится медицинское обслуживание та-

ких больных. Однако опыт показывает, что эти диспансеры не всегда могут выявить всех больных туберкулезом данного района. Мощным средством распознавания туберкулеза легких в самых начальных его формах является рентгеновское исследование. Но как заставить большие массы не только больных, но и здоровых людей явиться в рентгеновский кабинет для обследования? Если производить при этом обычное просвечивание или, лучше, снимки, то это повлекло бы колоссальные затраты материальных и денежных средств, большие организационные трудности.

И здесь изобретательство и техника пришли на помощь рентгенологии. Нашей промышленностью освоено производство специальной аппаратуры — флюорографов, которые позволяют в короткое время и без больших затрат производить массовое обследование сотен и тысяч людей. Принцип этого аппарата — автоматизация снимка, причем — и это главное — снимок производится не на большой, дорого стоящей специальной рентгенографической пленке, а на обычной узкой, намотанной на катушку фотопленке, что, конечно, намного удешевляет и упрощает всю процедуру. Врачу-рентгенологу нет надобности даже присутствовать при снимке. Рентгенолаборант записывает фамилию и номер исследуемого, подводит его к аппарату, устанавливает надлежащим образом, нажимает на кнопку — и снимок готов. Это занимает лишь несколько минут. После проявления всей катушки врач просматривает на специальном увеличительном приборе ряд рентгенограмм и отмечает те, на которых видны какие-либо отклонения от нормы. Этим людей берут на учет и подвергают дальнейшему более детальному исследованию.

Для флюорографирования нет надобности вызывать людей в поликлинику, больницу или диспансер. В Московском институте рентгенологии создана оригинальная модель передвижного флюорографа. Аппарат может быть установлен где-нибудь на заводе, в школе, в общежитии, и таким образом массовое обследование лишь очень не надолго отрывает людей от работы. Таким же путем может быть обследовано население отдаленного района.

Так, например, в Якутии и Тувинской области при помощи флюорографа были обследованы многие тысячи детей и взрослых.

Методике, социально-гигиеническому значению и организации флюорографии посвящена книга профессора К. Помельцова. Стоящая на высоком теоретическом уровне, она представляет собой ценное пособие и для врача-практика, знакомя его с последними достижениями в новой области рентгенологии—флюорографии. Этой проблеме посвящено также много интересных работ, проведенных в последнее время сотрудниками Московского и Ленинградского институтов рентгенологии, Московского городского института туберкулеза и других учреждений. Министерство

здравоохранения и медицинская общественность придают большое значение широкому внедрению в практику флюорографического обследования больших масс населения. При министерстве учреждена специальная флюорографическая комиссия. В Москве, Ленинграде и во многих столицах советских республик уже имеются флюорографические станции, повседневно проводящие большую работу.

Советская рентгенология, как и вся советская медицина, добилась за последнее время крупных достижений. Они немедленно внедряются в практику, становясь достоянием всего советского народа.

Заслуженный деятель науки профессор
А. ЦЕЙТЛИН.

★

Победа советской медицины

До недавнего времени у медицины не было надежного средства борьбы с тяжелой изнурительной болезнью, поражающей не только домашних животных, но и человека. Когда было открыто, что эта болезнь вызывается определенной группой бактерий, она по видовому названию этих бактерий получила наименование «бруцеллез».

Действительный член Академии медицинских наук профессор П. Здродовский удостоен в этом году Сталинской премии первой степени за выдающееся исследование по бруцеллезу. Он двадцать пять лет изучал это заболевание и результаты своих исследований опубликовал в рецензируемой монографии. П. Здродовский является основоположником современного учения об эпидемическом бруцеллезе, основателем советской школы медицинских специалистов по бруцеллезу и пионером-организатором ныне действующей системы медицинских мероприятий по борьбе с этой болезнью.

Источником заражения человека бруцеллезом являются домашние животные, пора-

женные этим заболеванием. Бруцеллез крупного рогатого скота и свиней относительно мало заразителен для человека. Напротив, бруцеллез мелкого рогатого скота (коз, овец) в высшей степени заразителен. В местностях, где это заболевание мелкого рогатого скота имеет распространение, среди людей бруцеллез может вызвать эпидемический характер. Смертность от бруцеллеза обычно не превышает 3—5 процентов, но эта изнурительная болезнь часто приводит к длительной инвалидности.

Как проявляется бруцеллез у людей?

Скрытый (инкубационный) период бруцеллеза, то есть время с момента заражения до появления признаков этого заболевания, продолжается от одной до двух-трех недель, а иногда и больше. Клиническое проявление этой болезни отличается большим разнообразием симптомов и осложнений. Самым постоянным и кардинальным симптомом является лихорадка, протекающая в виде последовательного повышения и понижения температуры (температурные волны). Таких температурных волн может быть самое различное количество. Продолжительность лихорадки также варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда даже одного-двух лет.

П. Ф. Здродовский. «Бруцеллез». Издательство Академии медицинских наук СССР, 1948.

В редких случаях бруцеллез характеризуется злокачественным типом лихорадки, сопровождающейся бурным развитием высокой температуры и тяжелым тифоподобным течением болезни, часто заканчивающейся смертельным исходом. Иной раз лихорадка при бруцеллезе может совсем отсутствовать или длительное время не появляться.

Из других симптомов бруцеллеза следует отметить следующие: повышенная потливость кожи, появление на ней сыпи, мелких кровонезилиний, зуда, выпадение волос, ломкость ногтей, увеличение лимфатических желез, осложнения со стороны легких (бронхиты, воспаление, легочное кровотечение); со стороны сердца отмечаются воспалительно-дегенеративные изменения сердечной мышцы, а в редких случаях развивается даже специфический (бруцеллезный) эндокардит. При некоторых формах бруцеллеза поражается желудочно-кишечный тракт, селезенка, печень, почки и другие органы.

Для лечения бруцеллеза наиболее эффективным средством является вакцина (убитые микробы бруцеллеза). Советским микробиологам — П. Здродовскому и его ученикам принадлежит огромная заслуга и приоритет в разработке проблемы предохранительных прививок против бруцеллеза людям и животным с помощью живой вакцины.

Экспериментальные исследования на животных показали, что при прививках убитой вакцины устойчивость к заражению бруцеллезом наступает почти в половине случаев, а при прививках живой ослабленной вакцины появление болезни не зарегистрировано ни в одном случае.

В 1946 году в СССР впервые в мире были осуществлены прививки живой вакцины людям, и с хорошим результатом. Эти прививки получили широкое распространение и являются большой победой советской медицины.

Книга П. Здродовского проникнута новаторским духом передовой советской науки. В книге нашли исчерпывающее изложение проблемы бруцеллеза, обобщен многолетний опыт всестороннего изучения этой инфекции автором и его учениками. Опираясь на ряд глубоких, оригинальных исследований, профессор П. Здродовский сумел во всех разделах своего труда дать убедительный ответ на вопросы, связанные с изучением бруцеллеза. Смело можно сказать, что рецензируемая книга советского ученого не имеет равных в мировой медицинской литературе, посвященной бруцеллезу, и является убедительным примером больших успехов, которых добились деятели советской медицины.

Профессор **И. КОЧЕРГИН.**

★

География

Путь географа

Советский географ Э. Мурзаев принадлежит к числу тех современных географов-исследователей, которые по праву могут считаться продолжателями дела славных русских путешественников — открывателей Средней и Центральной Азии, таких, как П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. Пржевальский, П. Козлов, В. Обручев.

Цели и методы советских географических экспедиций в корне отличаются от целей и методов старых экспедиций. Исследователей малоизвестных стран в про-

шлые века называли «путешественниками». Это слово теперь вышло из употребления. Путешествие для советского географа — лишь одно из средств решения ряда научных проблем, имеющих теоретическое или прикладное значение. Советский географ не забывает, что природу надо не только описать, но и понять, не только понять, но и научиться ею управлять на благо родной страны.

Вспомним, что Н. Пржевальский работал один или в лучшем случае, с несколькими помощниками, поневоле совмещая в своем лице полдюжины специальностей. Отправляясь в крупные экспедиции, советские ис-

Э. М. Мурзаев. «Непроторенными путями». Географгиз, 1948.

следователи объединяются в комплексные отряды, куда входят физико- и экономгеографы, топографы, гидрологи, климатологи, почвоведы, ботаники, зоологи и т. д.

Раньше ученые путешествовали исключительно верхом или пешком, затрачивая месяцы и годы на самый процесс передвижения. Советские географы значительную часть пути совершают на автомобиле или самолете, экономя время для изучения интересующих их объектов.

Бинокль, компас и геологический молоток нередко были единственными орудиями исследователя XIX и начала XX века. Советские географы вооружены прекрасными геодезическими инструментами, фото- и киноаппаратами, к их услугам планшеты аэрофотосъемки, многочисленные лаборатории для анализа собранных материалов.

Мы имеем немало хороших книг о русских и иностранных исследователях старого типа. Но популярной литературы о работе советских географов почти нет. В этом особое значение изданной Географизмом книги Э. Мурзаева.

Новое содержание и методы работы географа определили и поиски новых форм рассказа о ней. Классический жанр дневника, заставляющего читателя шаг за шагом сопровождать путешественника, перестает быть почти единственным и главенствующим жанром. Сама собой напрашивается форма очерков — ярких эпизодов, выхваченных из жизни исследователя. В книге Э. Мурзаева такие эпизоды чередуются с краткими научно-популярными описаниями посещенных автором стран, с рассказами о прежних путешественниках, о жизни и нравах местного населения и т. д. Такое решение кажется нам удачным.

Очерки Э. Мурзаева насыщены яркими и правдивыми впечатлениями очевидца. Научные темы изложены весьма популярно, но на высоком уровне современных знаний, без упрощенчества.

Но самое ценное в очерках то, что они написаны не равнодушно, а с горячей любовью к странам и людям, с которыми встречался автор, и к бродячей жизни гео-

графа, которая позволила ему увидеть так много интересного и увлекательного.

Э. Мурзаев приводит краткую справку о протяженности своих маршрутов: пешком — 3.500 км, на верблюдах и лошадях — 7.000 км, на автомобилях — 33.000 км, на самолетах — 5.000 км. Переезды к месту работы — 150.000 км. В общей сложности это составляет длину пяти кругосветных путешествий по экватору. Все маршруты нанесены на четкие карты, иллюстрирующие книгу.

Основные районы работы автора: Каракумы, Тянь-Шань и Монгольская Народная республика. Перед читателем проходят самые разнообразные ландшафты: от снежных вершин и холодных высокогорных плато до песчаных пустынь и многолюдных цветущих оазисов.

Так же разнообразны задачи экспедиций. Заполнение белых пятен и исправление ошибок на картах, поиски грунтовых вод и изучение других водных ресурсов пустынных стран, восстановление картины древнего рельефа и климата, исследование режима озер, сбор ботанических и зоологических коллекций — таков далеко не полный перечень тематики экспедиций, которыми руководил или в которых принимал участие автор.

Э. Мурзаев написал первый учебник географии Монголии, по которому и до сих пор учатся в школах все монгольские ребята. Кроме того, им написано большое количество научных работ, в которых дается анализ происхождения и современного хода процессов, протекающих в природе Центральной Азии. Но именно поэтому нам хочется сделать автору упрек. В рецензируемой книге, рассчитанной на широкого читателя, Э. Мурзаев мог больше рассказать о научных целях и достижениях его экспедиций, сделать читателя не только сочувствующим зрителем, но и соучастником в решении задач и загадок, которые стояли перед автором на отдельных этапах его странствований.

Другой упрек относится к описанию людей. В ряде очерков автор показывает великую перемену, происшедшую в жизни

народов советской Средней Азии после Октябрьской революции. Он не забывает указать на новое в быту, в технике, в использовании природных ресурсов и производительных сил бывших царских колоний. Но в этих очерках почти нет живых носителей нового, нет героев.

Автора все время сопровождают товарищи — ученые, рабочие экспедиции, он все время в гуще местного населения, об-

щается и дружит с ним, знает его быт и нравы. Но рассказывает он об этих людях зачастую как-то безлико, не индивидуализируя их портреты.

Книга Э. Мурзаева нужна и интересна. Она рисует непроторенные пути, по которым идут советские географы-исследователи.

Кандидат географических наук
Д. АРМАНД.



Главный редактор **Константин Симонов.**
 Редколлегия: **Борис Агапов, Валентин Катаев,**
Александр Кривицкий (зам. главного редактора),
Константин Федин, Михаил Шолохов.

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5 (Почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 29/VIII-49 г.
 А 04393.

Объем 17½ печ. л.

Подписано к печати 30/IX-49 г.
 Тираж 66.300. Заказ № 1733.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.